

ГЮСТАВ ЛЕБОН

# ПСИХОЛОГИЯ ТОЛП

---

ГАБРИЭЛЬ ТАРД

# МНЕНИЕ И ТОЛПА


СОЦИАЛЬНОЙ
ПСИХОЛОГИИ

*Гюстав Лебон*

# Психология толп

*Габриэль Тард*

# Мнение и толпа

Библиотека социальной психологии

# ПСИХОЛОГИЯ ТОЛП

Москва
Институт психологии РАН
Издательство КСП+

1998

**ББК 88.2**
**УДК 159.92**
**П 63**

*В оформлении обложки использован фрагмент картины Питера Брейгеля Старшего «Падение ангелов».*

**П 63 Психология толп.** — М.: Институт психологии РАН, Издательство «КСП+», 1998. — 416 с.

**ISBN 5-201-02259-6** **ISBN 5-89692-002-4**

В данной книге после многих лет забвения или замалчивания печатаются блистательные труды Гюстава Лебона и Габриэля Тарда, положившие начало социальной психологии (психологии масс) как самостоятельной науки.

Читатель сможет иными глазами взглянуть на общественные процессы в современной России, по-иному воспринимать информацию со страниц газет или экрана ТВ после знакомства с работами двух великих французских социологов.

Для психологов, преподавателей, историков, социологов, работников СМИ и студентов соответствующих специальностей.

© Институт психологии РАН — общая редакция серии, вступительная статья, 1998
© Боковиков А. К. — составление тома и серии в целом, 1998
© ЦИТ «Универсум» — оформление тома и серии в целом, 1998

ISBN 5-201-02259-6 (Издательство «Институт психологии РАН»)
ISBN 5-89692-002-4 (Издательство «КСП+»)

# ОГЛАВЛЕНИЕ

*В. Н. Дружинин.*
Лебон и Тард: два взгляда на развитие общества .....9

## *Г. Лебон* ПСИХОЛОГИЯ ТОЛП

### КНИГА I

### ПСИХОЛОГИЯ НАРОДОВ

Введение. *Современные идеи равенства и психологические основы истории*.....15

ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ
Психологические свойства рас

Глава I. *Душа рас*.....20

Глава II. *Пределы изменчивости характера рас*.....27

Глава III. *Психологическая иерархия рас*.....31

Глава IV. *Прогрессивная дифференциация индивидов и рас*.....38

Глава V. *Образование исторических рас*.....43

ВТОРОЙ ОТДЕЛ
Как психологические черты рас обнаруживаются в различных элементах их цивилизаций

Глава I. *История народов как следствие их характера*.....49

Глава II. *Различные элементы цивилизации как внешнее проявление души народа*.....60

Глава III. *Как преобразовываются учреждения, религии и языки*.....69

Глава IV. *Как преобразовываются искусства*.....78

ТРЕТИЙ ОТДЕЛ
Как изменяются психологические черты рас

Глава I. *Роль идей в развитии цивилизаций*.....92

Глава II. *Роль религиозных верований в развитии цивилизации* ..... 103

Глава III. *Роль великих людей в развитии цивилизаций* ..... 107

ЧЕТВЕРТЫЙ ОТДЕЛ
Разложение характера рас и их падение

Глава I. *Как цивилизации бледнеют и гаснут* ..... 112

Глава II. *Общие выводы* ..... 118

**КНИГА II**

ПСИХОЛОГИЯ МАСС

Предисловие ..... 122
Введение. *Эра толпы* ..... 125

ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ
Душа толпы

Глава I. *Общая характеристика толпы. Психологический закон ее духовного единства* ..... 131

Глава II. *Чувства и нравственность толпы* ..... 138

*§1. Импульсивность, изменчивость и раздражительность толпы* ..... 139

*§2. Податливость внушению и легковерие толпы* ..... 141

*§3. Преувеличение и односторонность чувств толпы* ..... 148

*§4. Нетерпимость, авторитетность и консерватизм толпы* ..... 150

*§5. Нравственность толпы* ..... 152

Глава III. *Идеи, рассуждения и воображение толпы* ..... 155

*§1. Идеи толпы* ..... 155

*§2. Рассуждения толпы* ..... 158

*§3. Воображение толпы* ..... 159

Глава IV. *Религиозные формы, в которые облекаются все убеждения толпы* ..... 162

## ВТОРОЙ ОТДЕЛ
### Мнения и верования толпы

Глава I. *Отдаленные факторы мнений и верований толпы* ..... 167
*§1. Раса* ..... 168
*§2. Традиции* ..... 169
*§3. Время* ..... 171
*§4. Политические и социальные учреждения* ..... 172
*§5. Образование и воспитание* ..... 175
Глава II. *Непосредственные факторы мнений толпы* ..... 182
*§1. Образы, слова и формулы* ..... 183
*§2. Иллюзии* ..... 187
*§3. Опыт* ..... 189
*§4. Рассудок* ..... 190
Глава III. *Вожаки толпы и их способы убеждения* ..... 192
*§1. Вожаки толпы* ..... 193
*§2. Способы действия вожаков: утверждение, повторение, зараза* ..... 197
*§3. Обаяние* ..... 201
Глава IV. *Границы изменчивости мнений и верований толпы* ..... 209
*§1. Постоянные верования* ..... 209
*§2. Непостоянные мнения толпы* ..... 213

## ТРЕТИЙ ОТДЕЛ
### Классификация и описание толпы различных категорий

Глава I. *Классификация толпы* ..... 219
*§1. Разнородная толпа* ..... 220
*§2. Толпа однородная* ..... 221
Глава II. *Преступная толпа* ..... 222
Глава III. *Присяжные и уголовные суды* ..... 226
Глава IV. *Избирательная толпа* ..... 232
Глава V. *Парламентские собрания* ..... 239

*Г. Тард*

## МНЕНИЕ И ТОЛПА

Предисловие ..... 257

Публика и толпа ..... 259

Общественное мнение и разговор ..... 300

Мнение ..... 300

Разговор ..... 312

Толпы и преступные секты ..... 365

*Представленная в рамках «Библиотеки социальной психологии» антология трудов классиков социальной психологии в трех томах включает работы, которые создавались в основном на рубеже XIX–XX вв., когда на арену политической жизни выходили массы (толпы, классы, народы) под водительством лидеров уже нового типа — «своих» людей в кепке, черной или коричневой рубашке и т. п. Это устрашало верхи и воодушевляло низы в большинстве стран Европы: и те, и другие видели неизбежность перемен в связи с тем, что позже испанский социолог Ортега-и-Гассет назвал «Восстанием масс».*

*Однако до него, и пожалуй наиболее тщательно, данный феномен общественно-политической жизни отслеживался представителями науки, которая незадолго до этого утвердилась в качестве солидной академической области исследований, а именно психологии, «конфирмация» которой связывается с открытием в 1879 г. по инициативе В. Вундта первой лаборатории в Лейпциге. Характерно и в высшей степени примечательно, что именно Вильгельм Вундт (Wundt) — один из первооснователей физиологической психологии — последние годы посвятил изучению психологии народов (Völkerpsychologie. Bd. 1–10. 1900–1920). Таким образом, острый интерес к психологии масс, психологии толпы, психологии класса, психологии народов пришелся на время бурного развития данной науки*

*в целом, и практически параллельно цивилизационному сдвигу, который повлек за собой революции и войны в одном из наиболее трагических столетий истории — XX веке. С многомиллионными жертвами и неизбывными до наших дней последствиями...*

*Может, поэтому приводимые в антологии работы практически не устарели? Или психология масс в принципе изменяется очень мало — по существу, а не по формам проявления? А может, потому, что мы очередной раз приближаемся к рубежу веков? Ответы на данные вопросы, конечно же не окончательные, но глубокие и до сих пор продуктивные, и даются в работах предлагаемой антологии.*

*Немного об их авторах. Гюстав Лебон (Le Bon) (1841–1921) — врач и социолог, ученый с энциклопедическими познаниями — фактически один из первых заявил о наступлении «эры толпы», или, как пишет современный исследователь С. Московичи, начале времени, имя которому — «Век толп» (в одноименной книге). Число книг о Лебоне перед концом нашего века неуклонно растет (на иностранных языках); пора и нашему читателю возобновить знакомство с его главным произведением. В России работа «Психология толп» (Psychologie des foules, 1895) вышла под названием «Психология народов и масс» год спустя после ее появления на французском языке.*

*Габриэль Тард (Tarde) (1843–1904) — социолог, психолог и криминалист, основоположник экономической психологии, один из пионеров «интерпсихологии» (то есть психологии взаимодействия между людьми) и социологии конфликта, разработчик «закона подражания» как ключевого в массовом поведении — представлен работой «Мнение и толпа» (L'opinion et la foule, 1892). Перевод книги осуществлялся дважды: первое издание вышло в 1893 г. в Казани под броским и бьющим в глаза названием «Преступления толпы».*

*Во втором томе антологии представлены переводы немецкоязычных и италоязычных трудов. О В. Вундте (1832–1920) говорилось выше. Вряд ли нужно особо представлять и Зигмунда Фрейда, приводимая работа кото-*

*рого вышла на немецком языке в 1921 г., а на русском в 1925 г.*

*Несколько слов о часто упоминаемом, но редко представляемом итальянском социальном мыслителе. Ученик знаменитого криминолога Ч. Ломброзо, Сципион Сигеле (S. Sighele) (1868–1913) изучал юриспруденцию и медицину. Феномен толпы исследовался им с опорой на методы статистики, но с позиций глубоко продуманного психологического подхода. Сделавшая его знаменитым книга «Преступная толпа. Опыт коллективной психологии» (La folla criminale) вышла в Турине в 1892 г.*

*В заключительном томе — снова работы французских авторов. Первая — «Революционный невроз» (La nevrose revolutionnaire). Ее автор, Огюстен Кабанес (Cabanes) (1862–1928) (при участии Л. Нассе), так же как и его почти однофамилец Пьер Кабанис (1757–1808), — врач и литератор. Он автор множества трудов, в основном фактологического характера (например, монографии о психологии личности Марата). Но лишь данная его книга после революции 1905 года вышла на русском языке почти одновременно в нескольких переводах. Вряд ли стоит объяснять, почему...*

*Наконец, работа Альфреда Фуллье (Foiullee) (1838–1912) «Психология французского народа» (1898, русский перевод — 1899). Преподаватель Парижской нормальной школы, Фуллье подчеркивал ключевую роль волевого начала в жизни не только общества, но и природы. «Мораль идеи — силы» (название одного из главных его трудов) — движитель и народной жизни, что французский мыслитель показал ярко и убедительно на примере своего народа. По образцу этой книги писались работы, касающиеся психологии и других народов.*

*Авторы работ, вошедших в антологию, — люди, известность которых перешагнула рамки стран и времен, в которых они жили и творили. Можно было бы добавить в этот список и работы русских мыслителей, в первую очередь Н. К. Михайловского, впервые выявившего потенциал «закона подражания» (его приоритет признавал Г. Тард), Д. Н. Овсянико-Куликовского («Психология национальности»,*

*Петроград, 1922), Н. И. Ковалевского, Г. Г. Шпета, того же В. И. Ульянова-Ленина, у которого к психологии масс был далеко не академический интерес... И, может быть, — нужно (хотя бы в отдельной антологии). Как отмечалось выше, мы приближаемся к рубежу следующих веков и даже — тысячелетий. Массы (толпы) активизируются и сейчас, хотя и несколько по-другому. Особенно на Юге всего мира, любого из континентов, а то и почти каждой страны... И хотелось бы надеяться, что предостерегающий голос авторитетных психологов прошлого избавит нас в будущем от взрывов «революционной энергии» масс. Энергии, как показал опыт угаданного ими «века толп», всеразрушающей.*

*В этом плане выход антологии — явление не только научного порядка: она — и предостережение относительно будущего, которое может просто не состояться.*

*Академик Международной Академии*
*педагогических наук,*
*кандидат философских наук*
***Иван В. Задорожнюк***

## Лебон и Тард: два взгляда на развитие общества

Предлагаемая вашему вниманию книга открывает библиотеку, посвященную психологии больших групп и объединяющую труды классиков социальной психологии XIX–XX веков и современных авторов.

Необходимость такого издания ощущалась давно. Не стоит, наверное, говорить о запрете научной («буржуазной») социальной психологии, который, с одной стороны, позволял процветать под сенью марксизма-ленинизма всякого рода компиляторам, а, с другой стороны, задерживал развитие отечественной социально-психологической теории и экспериментальных исследований. Дело в другом: сегодня мы можем увидеть в трудах ученых, принадлежащих к французской социологической мысли конца XIX — начала XX века, истоки тех теорий, направлений, исследовательских программ, которые в яркой новой обертке и при соответствующей рекламе «подают на стол» многие современные авторы.

В этот том вошли труды двух выдающихся ученых: «Психология толп» Гюстава Лебона и «Мнение и толпа» Габриэля Тарда. Случайности здесь нет. Лебон и Тард — оба в конце XIX века стояли у истоков исследований поведения больших групп. Более того, они выделили сам предмет исследований и создали основу понятийного аппарата «социологической» социальной психологии.

На взгляд современного исследователя, работы Лебона и Тарда с большим трудом можно зачислить в реестр строго научных: в них нет ни грамма привычного для нас измерительного подхода к исследованиям социально-психологических явлений. Их работы, если пользоваться терминологией их предтечи и соотечественника Огюста Конта, можно отнести к умозрительному знанию, основанному на индивидуальной наблюдательности, интуиции и здравом смысле исследователя.

Но основоположники социальной психологии обладали незаурядным интеллектом, а этот исследовательский инструмент их редко подводил. Лебон и Тард едины только в проблематике, которую исследовали, но не в подходах. Тард верит в интеллектуальный прогресс, считает, что будущий XX век будет не веком толп, а веком космополитичной публики — людей, опосредованно соединенных средствами массовой коммуникации. В толпе —

большой группе людей, взаимодействующих непосредственно, он видит лишь отрицательные стороны; поведение толпы иррационально, деструктивно.

Лебон — сторонник биологической детерминации психики, проповедник теории иерархии рас (под расой он понимал национальность). История для него — история смены культурного доминирования рас: она идет по кругу, и движущая сила революций — толпа, способная не только на разрушения, но также на героизм и самопожертвование. И здесь он полемизирует с Тардом.

Референтным событием, показавшим всю важность психологии толпы, для французских психологов стала Великая революция 1789 года, а век последующий, «век революций» — материалом для теоретического анализа.

И Г. Тард, и Г. Лебон были свидетелями Парижской коммуны 1871 года. Гюстав Лебон прожил долгий век: с 1841 по 1931 год. Он был блестящим публицистом и разносторонним мыслителем: занимался физикой, антропологией, археологией, социологией. Его работы читала вся образованная Европа. «Психология толп»[1] лежала на письменном столе В. И. Ленина. Трудами Лебона интересовались Теодор Рузвельт, Муссолини, Де Голль. В работах «Эволюция материи» (1886 г.) и «Эволюция сил» (1907 г.) он развивал идеи энергетизма и атомизма. В «Эволюции цивилизации» он изложил свою точку зрения на законы истории.

Лебон был ярым противником социализма и эгалитаризма. В распространении социалистических и уравнительных идей он видел угрозу европейской цивилизации, но прогноз его был пессимистичен. В трудах «Психология революций» и «Психология социализма» он констатировал кризис западноевропейской цивилизации, неизбежность распространения социалистических идей и предсказал катастрофические последствия, к которым они приведут. Он стал свидетелем подтверждения своих прогнозов. Лебон полагал, что всеми достижениями народы обязаны деятельности социальной элиты. Разделяя изобретателей и вождей масс («узколобых» людей одной идеи), он утверждает, что именно вторые творят ситуацию, навязывая массам идеи с помощью убеждения, заражения, повторения. Толпа руководствуется не разумом, а эмоциями. В толпе индивид превращается в подверженное влиянию крайних эмоциональных порывов и примитивных влечений существо.

---

[1] В русском издании 1898 г. книга носила название «Психология народов и масс» (*прим. ред.*)

Взгляды Лебона на отношения личности и толпы ассимилировал З. Фрейд, давший им психоаналитическую интерпретацию в своем классическом труде «Психология масс и анализ человеческого «Я».

Приговор истории, который выносит Лебон, нелицеприятен: «Не в погоне за истиной, но, скорее, в погоне за ложью человечество истратило большую часть своих усилий. Преследуемых им химерических целей оно не в состоянии было достигнуть, но в их преследовании оно совершило весь прогресс, которого вовсе не искало».

Разумеется, сегодня многие из доводов Лебона нельзя воспринимать без улыбки или без возмущения ввиду их необоснованности; это касается, например, его антропометрических аргументов в пользу как неравенства рас, так и самой духовной иерархии народов. Слишком расширительно он толковал и само понятие «толпа», подразумевая под ним любую большую контактную группу. Невозможно без недоумения читать его нападки на процедуру демократических выборов или на особенности характера латинских народов (он любил англичан и терпеть не мог своих соотечественников — французов).

Гюстав Лебон похоронен на кладбище Пер-Лашез, неподалеку от деятелей и жертв революций, интеллектуальной борьбе с которыми он посвятил свою научную деятельность.

Габриэль Тард (1843–1904) — почти ровесник Гюстава Лебона, но ему была суждена более короткая жизнь. Тард по праву стал одним из основоположников социальной психологии. В полемике с Э. Дюркгеймом он отстаивал точку зрения на общество как на продукт взаимодействия индивидуальных сознаний через общение людей. Решающую роль он отводил процессу творчества, изобретения, благодаря которому человек порождает новые элементы культуры. В свою очередь другие люди воспринимают изобретения путем подражания.

Если Э. Дюркгейм считал главными в регуляции общественных отношений коллективные представления и процесс их интериоризации отдельными индивидами, то Г. Тард полагал такую позицию ограниченной и не объясняющей прогресс и распространение социальных изобретений. К ним он относил язык, религию, экономику, и т. д., и т. п.

Идеи Тарда получили поддержку и распространение в США, а не в Западной Европе, поскольку они более отвечали эмпирическому и прагматическому духу американской социологии и социальной психологии.

Именно Тард ввел в практику социально-психологических исследований статистические методы и методы анализа исторических документов. На русском языке до революции издавались его книги «Законы подражания» (1892), «Социальная логика» (1904), «Социальные этюды» (1902) и предлагаемая вашему вниманию «Мнение и толпа», изданная в 1902 г. под названием «Общественное мнение и толпа».

В этом, ставшем классическим, произведении Тард анализирует особенности психологических процессов в больших группах. Основное внимание он уделяет процессу возникновения и распространения общественного мнения (дает классическое определение мнения), а также процессу общения — разговору. Главным достижением Тарда является разделение двух типов больших социальных групп: толпы и публики. Публика — социальная группа, состоящая из индивидов, объединенных общим источником информации (читатели газеты, зрители телепрограммы и т. д.). С точки зрения Тарда толпа — социальная группа прошлого, будущее принадлежит публике. Они — два полюса социальной эволюции. В отличие от толпы, в публике индивиды, «сливаясь в унисон», сохраняют свои индивидуальные различия. Тард видит в толпе нетерпимость, чувство безнаказанности, болезненную восприимчивость, склонность к крайностям и т. д., и полагает, что мир пойдет по пути интеллектуализации, если место толпы займет публика.

И вместе с тем, Тард не наивен: «За преступной толпой стоит еще более преступная публика, а во главе последней — еще более преступные публицисты». Читатель времен Г. Тарда мог принадлежать к разным публикам, читать разные газеты, свобода печати была неоспорима. Тард не знал силы воздействия пропаганды тоталитарного государства. Кто оказался прав в прогнозах: пессимист Лебон или «прогрессист» Тард? История человеческой цивилизации еще не закончена, и поэтому есть надежда, что прав последний.

Социальные психологи с интересом прочтут труды основоположников своей науки. Думаю, что не меньший интерес книги этой серии вызовут и у любого интеллигентного читателя.

*Доктор психологических наук, профессор*

*В. Н. Дружинин*

*Гюстав Лебон*

# ПСИХОЛОГИЯ ТОЛП

***G. Le Bon***
***La Psychologie des foules***

*Печатается по изданию:*

*Г. Лебон. «Психология народов и масс»,*
*издательство Ф. Павленкова, СПб., 1898 г.,*

*с приведением текста к нормам современного русского языка.*

# ОГЛАВЛЕНИЕ

*В. Н. Дружинин.*
Лебон и Тард: два взгляда на развитие общества .....9

## *Г. Лебон* ПСИХОЛОГИЯ ТОЛП

### КНИГА I

### ПСИХОЛОГИЯ НАРОДОВ

Введение. *Современные идеи равенства и психологические основы истории*.....15

ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ
Психологические свойства рас

Глава I. *Душа рас*.....20

Глава II. *Пределы изменчивости характера рас*.....27

Глава III. *Психологическая иерархия рас*.....31

Глава IV. *Прогрессивная дифференциация индивидов и рас*.....38

Глава V. *Образование исторических рас*.....43

ВТОРОЙ ОТДЕЛ
Как психологические черты рас обнаруживаются в различных элементах их цивилизаций

Глава I. *История народов как следствие их характера*.....49

Глава II. *Различные элементы цивилизации как внешнее проявление души народа*.....60

Глава III. *Как преобразовываются учреждения, религии и языки*.....69

Глава IV. *Как преобразовываются искусства*.....78

ТРЕТИЙ ОТДЕЛ
Как изменяются психологические черты рас

Глава I. *Роль идей в развитии цивилизаций*.....92

Глава II. *Роль религиозных верований в развитии цивилизации* ..... 103

Глава III. *Роль великих людей в развитии цивилизаций* ..... 107

ЧЕТВЕРТЫЙ ОТДЕЛ
Разложение характера рас и их падение

Глава I. *Как цивилизации бледнеют и гаснут* ..... 112

Глава II. *Общие выводы* ..... 118

**КНИГА II**

ПСИХОЛОГИЯ МАСС

Предисловие ..... 122
Введение. *Эра толпы* ..... 125

ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ
Душа толпы

Глава I. *Общая характеристика толпы. Психологический закон ее духовного единства* ..... 131

Глава II. *Чувства и нравственность толпы* ..... 138

*§1. Импульсивность, изменчивость и раздражительность толпы* ..... 139

*§2. Податливость внушению и легковерие толпы* ..... 141

*§3. Преувеличение и односторонность чувств толпы* ..... 148

*§4. Нетерпимость, авторитетность и консерватизм толпы* ..... 150

*§5. Нравственность толпы* ..... 152

Глава III. *Идеи, рассуждения и воображение толпы* ..... 155

*§1. Идеи толпы* ..... 155

*§2. Рассуждения толпы* ..... 158

*§3. Воображение толпы* ..... 159

Глава IV. *Религиозные формы, в которые облекаются все убеждения толпы* ..... 162

## ВТОРОЙ ОТДЕЛ
### Мнения и верования толпы

Глава I. *Отдаленные факторы мнений и верований толпы* ..... 167
*§1. Раса* ..... 168
*§2. Традиции* ..... 169
*§3. Время* ..... 171
*§4. Политические и социальные учреждения* ..... 172
*§5. Образование и воспитание* ..... 175
Глава II. *Непосредственные факторы мнений толпы* ..... 182
*§1. Образы, слова и формулы* ..... 183
*§2. Иллюзии* ..... 187
*§3. Опыт* ..... 189
*§4. Рассудок* ..... 190
Глава III. *Вожаки толпы и их способы убеждения* ..... 192
*§1. Вожаки толпы* ..... 193
*§2. Способы действия вожаков: утверждение, повторение, зараза* ..... 197
*§3. Обаяние* ..... 201
Глава IV. *Границы изменчивости мнений и верований толпы* ..... 209
*§1. Постоянные верования* ..... 209
*§2. Непостоянные мнения толпы* ..... 213

## ТРЕТИЙ ОТДЕЛ
### Классификация и описание толпы различных категорий

Глава I. *Классификация толпы* ..... 219
*§1. Разнородная толпа* ..... 220
*§2. Толпа однородная* ..... 221
Глава II. *Преступная толпа* ..... 222
Глава III. *Присяжные и уголовные суды* ..... 226
Глава IV. *Избирательная толпа* ..... 232
Глава V. *Парламентские собрания* ..... 239

# КНИГА I

# ПСИХОЛОГИЯ НАРОДОВ

## Введение

### СОВРЕМЕННЫЕ ИДЕИ РАВЕНСТВА И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСТОРИИ

*Возникновение и развитие идеи равенства. — Произведенные ею последствия. — Во что обошлось уже ее приложение. Нынешнее ее влияние на массы. — Задачи, намеченные в настоящем труде. — Исследование главных факторов общей эволюции народов. — Возникает ли эта эволюция из учреждений? — Не заключают ли в себе элементы каждой цивилизации — учреждения, искусства, верования и пр. — известных психологических основ, свойственных каждому народу в отдельности? — Значение случая в истории и неизменные законы. — Трудность изменить наследственные идеи в данном субъекте.*

Идеи, правящие учреждениями народов, претерпевают очень длин ную эволюцию. Образуясь очень медленно, они вместе с тем очен медленно исчезают. Став для просвещенных умов очевидным заблуждениями, они еще очень долгое время остаются неоспори мыми истинами для толпы и продолжают оказывать свое дейст вие на темные народные массы. Если трудно внушить новую идею то не менее трудно уничтожить старую. Человечество постоянн с отчаянием цепляется за мертвые идеи и мертвых богов.

Уже почти полтора века прошло с тех пор, как поэты и филс софы, крайне невежественные относительно первобытной исто рии человека, разнообразия его душевного строя и законов на следственности, бросили в мир идею равенства людей и рас.

Очень обольстительная для масс, эта идея вскоре прочно ук репилась в их душе и не замедлила принести свои плоды. Он

потрясла основы старых обществ, произвела одну из страшнейших революций и бросила западный мир в целый ряд сильных конвульсий, которым невозможно предвидеть конца.

Без сомнения, некоторые из неравенств, разделяющих индивидуумов и расы, были слишком очевидны, чтобы приходилось серьезно их оспаривать; но люди легко успокаивались на том, что эти неравенства — только следствия различия в воспитании, что все люди рождаются одинаково умными и добрыми и что одни только учреждения могли их развратить. Средство против этого было очень простое: перестроить учреждения и дать всем людям одинаковое воспитание. Таким-то образом учреждения и просвещение стали великими панацеями современных демократий, средством для исправления неравенств, оскорбительных для великих принципов, являющихся единственными божествами современности.

Впрочем, новейшие успехи науки выяснили все бесплодие эгалитарных теорий и доказали, что умственная бездна, созданная прошлым между людьми и расами, может быть заполнена только очень медленными наследственными накоплениями. Современная психология вместе с суровыми уроками опыта показала, что воспитание и учреждения, приспособленные к известным лицам и к известным народам, могут быть очень вредны для других. Но не во власти философов изъять из обращения идеи, пущенные ими в мир, когда они убедятся в их ложности. Как вышедшая из берегов река, которую не в состоянии удержать никакая плотина, идея продолжает свой опустошительный, величественный и страшный поток.

И смотрите, какова непобедимая сила идеи! Нет ни одного психолога, ни одного сколько-нибудь просвещенного государственного человека, и в особенности — ни одного путешественника, который бы не знал, насколько ложно химерическое понятие о равенстве людей, перевернувшее мир, вызвавшее в Европе гигантскую революцию и бросившее Америку в кровавую войну за отделение Южных Штатов от Северо-Американского Союза; никто не имеет нравственного права игнорировать то, насколько наши учреждения и воспитание гибельны для низших народов; и за всем тем не найдется ни одного человека — по крайней мере во Франции — который бы, достигнув власти, мог противиться общественному мнению и не требовать этого воспитания и этих учреждений для туземцев наших колоний. Применение системы, выведенной из наших идей равенства, разоряет метрополию и постепенно приводит все наши колонии в состояние плачевного

упадка; но принципы, от которых система берет начало, еще не поколеблены.

Будучи, впрочем, далекой от упадка, идея равенства продолжает еще расти. Во имя этого равенства социализм, долженствующий, по-видимому, в скором времени поработить большинство народов Запада, домогается обеспечить их счастье. Его именем современная женщина требует себе одинаковых прав и одинакового воспитания с мужчиной.

О политических и социальных переворотах, произведенных этими принципами равенства, и о тех гораздо более важных, какие им суждено еще породить, массы нисколько не заботятся, а политическая жизнь государственных людей слишком коротка для того, чтобы они об этом более беспокоились. Впрочем, верховный властелин современности — общественное мнение, и было бы совершенно невозможно не следовать за ним.

Для оценки социальной важности какой-нибудь идеи нет более верного мерила, чем та власть, какой она пользуется над умами. Заключающаяся в ней доля истины или лжи может представлять интерес только с точки зрения философской. Когда истинная или ложная идея перешла у масс в чувство, то должны постепенно проявляться все вытекающие из нее последствия.

Итак, посредством просвещения и учреждений нужно приступить к осуществлению современной мечты о равенстве. С их помощью мы стараемся, исправляя несправедливые законы природы, отлить в одну форму мозги негров из Мартиники, Гваделупы и Сенегала, мозги арабов из Алжира и наконец мозги азиатов. Конечно, это — совершенно неосуществимая химера, но разве не постоянная погоня за химерами составляла до сих пор главное занятие человечества? Современный человек не может уклониться от закона, которому подчинялись его предки.

Я в другом месте показал плачевные результаты, произведенные европейским воспитанием и учреждениями на низшие народы. Точно также я изложил результаты современного образования женщин и не намереваюсь здесь возвращаться к старому. Вопросы, которые нам предстоит изучить в настоящем труде, будут более общего характера. Оставляя в стороне подробности, или касаясь их лишь постольку, поскольку они окажутся необходимыми для доказательства изложенных принципов, я исследую образование и душевный строй исторических рас, т. е. искусственных рас, образованных в исторические времена случайностями завоеваний, иммиграций и политических изменений, и постараюсь доказать, что из этого душевного строя вытекает их

история. Я установлю степень прочности и изменчивости характеров рас и попытаюсь также узнать, идут ли индивидуумы и народы к равенству или, напротив, стремятся как можно больше отличаться друг от друга. Доказав, что элементы, из которых образуется цивилизация (искусство, учреждения, верования), составляют непосредственные продукты расовой души, и, поэтому, не могут переходить от одного народа к другому, я определю те непреодолимые силы, от действия которых цивилизации начинают меркнуть и потом угасают. Вот вопросы, которые мне уже приходилось не раз обсуждать в моих трудах о цивилизациях Востока[1]. На этот маленький том следует смотреть только как на краткий их синтез.

Наиболее яркое впечатление, вынесенное мною из продолжительных путешествий по различным странам, — это то, что каждый народ обладает душевным строем столь же устойчивым, как и его анатомические особенности, и от него-то и происходят его чувства, его мысли, его учреждения, его верования и его искусства. Токвиль и другие знаменитые мыслители думали найти в учреждениях народов причину их развития. Я же убежден в противном, и надеюсь доказать, беря примеры как раз из тех стран, которые изучал Токвиль, что учреждения имеют на развитие цивилизаций крайне слабое влияние. Они чаще всего являются следствиями, но очень редко бывают причинами.

Без сомнения, история народов определяется очень различными факторами. Она полна особенными событиями, случайностями, которые были, но могли и не быть. Однако рядом с этими случайностями, с этими побочными обстоятельствами существуют великие неизменные законы, управляющие общим ходом каждой цивилизации. Эти неизменные, самые общие и самые основные законы вытекают из душевного строя рас. Жизнь народа, его учреждения, его верования и искусства суть только видимые продукты его невидимой души. Для того, чтобы какой-нибудь народ преобразовал свои учреждения, свои верования и свое искусство, он должен сначала переделать свою душу; для того, чтобы он мог передать другому свою цивилизацию, нужно, чтобы он в состоянии был передать ему также свою душу. Без сомнения, не то нам говорит история; но мы легко докажем, что, записывая противоположные утверждения, она вводит себя в обман пустыми видимостями.

---

[1] «L'Homme et les sociétés, leurs origines et leur histoire», «Les Premières civilisations de l'ancient Orient», «Les Civilisations de l'Inde», «La Civilisation des Arabes», «Les Monuments de l'Inde».

Мне пришлось однажды изложить перед большим конгрессом некоторые из развиваемых в настоящем труде идей. Собрание состояло из всякого рода выдающихся людей: из министров, губернаторов колоний, адмиралов, профессоров, ученых, принадлежавших к цвету различных наций. Я рассчитывал встретить в подобном собрании некоторое единомыслие относительно основных вопросов. Но его вовсе не было. Высказанные мнения оказались совершенно не зависящими от степени культурности тех, кто их высказывал. Передавали эти мнения главным образом то, что составляло наследственные чувства различных рас, к которым принадлежали члены названного конгресса. Никогда мне не было так ясно, что люди каждой расы обладают, несмотря на различие их социального положения, неразрушимым запасом идей, традиций, чувств, способов мышления, составляющих бессознательное наследство от их предков, против которого всякие аргументы совершенно бессильны.

В действительности мысль людей преобразуется не влиянием разума. Идеи начинают оказывать свое действие только тогда, когда они после очень медленной переработки преобразовались в чувства и проникли, следовательно, в темную область бессознательного, где вырабатываются наши мысли. Для внушения идей книги имеют не большую силу, чем слово. Точно также, не с целью убеждать, но чаще всего с целью развлечься, тратят философы свое время на писание. Лишь только человек выходит из обычного круга идей среды, в которой ему приходится жить, он должен заранее отказаться от всякого влияния и довольствоваться узким кругом читателей, самостоятельно пришедших к идеям, аналогичным с теми, которые он защищает. Одни только убежденные апостолы обладают властью заставить себя слушать, плыть против течения, изменять идеал целого поколения, но это чаще всего благодаря узости их мысли и известной дозе фанатизма, в чем им нельзя завидовать. Впрочем, не писанием книг они доставляют торжество какому-нибудь верованию. Они долго спят в земле, прежде чем вздумается литераторам, занятым фабрикацией легенд о них, заставить их говорить.

# ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РАС

## ГЛАВА I

## ДУША РАС

*Как натуралисты классифицируют виды. — Приложение к человеку их методов. — Слабая сторона современных классификаций человеческих рас. — Основания психологической классификации. — Средние типы рас. — До какой степени позволяет их установить наблюдение. — Психологические факторы, определяющие средний тип расы. — Влияние предков и непосредственных родителей. — Общее психологическое достояние, каким обладают все индивидуумы известной расы. — Громадное влияние умерших поколений на современные. — Математические основания этого влияния. — Как коллективная душа распространяется от семьи на деревню, город, провинцию. — Преимущества и опасности, вытекающие из образования города, как обособленного целого. — Обстоятельства, при которых образование коллективной души невозможно. — Пример Италии. — Как естественные расы уступили место историческим расам.*

Натуралисты основывают свою классификацию видов на присутствии известных анатомических особенностей, воспроизводимых наследственностью с правильностью и постоянством. Мы теперь знаем, что эти особенности изменяются наследственным накоплением незаметных изменений; но если рассматривать только краткий период исторических времен, то можно сказать, что виды неизменны.

В приложении к человеку методы классификации натуралистов дали возможность установить известное число совершенно отличных типов. Основываясь на чисто анатомических признаках, таких, как цвет кожи, форма и емкость черепа, стало воз-

можным установить, что человеческий род состоит из многих совершенно отличных видов и, вероятно, очень различного происхождения. Для ученых, относящихся с благоговением к мифологическим традициям, эти виды суть не более, чем расы. Но, как основательно сказал кто-то, «если бы негр и кавказец были улитками, то все зоологи единогласно утверждали бы, что они составляют различные виды, которые никогда не могли происходить от одной и той же пары, от которой они постепенно отдалялись».

Эти анатомические особенности, по крайней мере, те из них, которые имеют отношение к нашему анализу, допускают только общие, очень грубые, подразделения. Их различия появляются только у человеческих видов, совершенно отличных друг от друга, например, у белых, негров и желтых. Но народы, очень похожие по своему внешнему виду, могут сильно отличаться своими способами чувствовать и действовать, и, следовательно, своими цивилизациями, своими верованиями и своими искусствами. Возможно ли соединить в одну группу испанца, англичанина и араба? Не бросаются ли всем в глаза существующие между ними психические различия и не читаются ли они на каждой странице их истории?

За недостатком анатомических особенностей хотели опереться для классификации известных народов на различные элементы, такие, как языки, верования и политические учреждения; но подобные классификации не выдерживают серьезной критики. При случае мы покажем, что многие народы сумели ассимилироваться, преобразовав чужие языки, верования и учреждения настолько, чтобы они могли согласоваться с их душевным складом.

Основания для классификации, которых не могут дать анатомия, языки, среда, политические группировки, даются нам психологией. Последняя показывает, что позади учреждений, искусств, верований, политических переворотов каждого народа находятся известные моральные и интеллектуальные особенности, из которых вытекает его эволюция. Эти-то особенности в своей совокупности и образуют то, что можно назвать душой расы.

Каждая раса обладает столь же устойчивой психической организацией, как ее анатомическая организация. Что первая находится в зависимости от устройства мозга, в этом трудно сомневаться. Но так как наука еще недостаточно ушла вперед, чтобы показать нам детали его механизма, то мы не можем брать его за основание. Впрочем, ближайшее знакомство с ним нисколько не может изменить описания психической организации, которая из него вытекает и которую открывает нам наблюдение.

Моральные и интеллектуальные особенности, совокупность которых выражает душу народа, представляют собой синтез всего его прошлого, наследство всех его предков и побудительные причины его поведения. У отдельных индивидуумов той же расы они кажутся столь же изменчивыми, как черты лица; но наблюдение показывает, что большинство индивидуумов этой расы всегда обладает известным количеством общих психологических особенностей, столь же прочных, как анатомические признаки, по которым классифицируются виды. Как и эти последние, психологические особенности воспроизводятся наследственностью с правильностью и постоянством.

Этот агрегат общих психологических особенностей составляет то, что обоснованно называют национальным характером. Их совокупность образует средний тип, дающий возможность определить народ. Тысяча французов, тысяча англичан, тысяча китайцев, взятых случайно, конечно, должны отличаться друг от друга; однако они обладают в силу наследственности их расы общими свойствами, на основании которых можно воссоздать идеальный тип француза, англичанина, китайца, аналогичный идеальному типу, какой представляет себе натуралист, когда он в общих чертах описывает собаку или лошадь. В приложении к различным разновидностям собаки или лошади подобное описание может заключать только признаки, общие всем, но ничуть не те, по которым можно различать их многочисленные породы.

Если раса достаточно древняя и, следовательно, однородна, то средний ее тип достаточно ясно определился, чтобы быстро укрепиться в уме наблюдателя.

Когда мы посещаем чужой народ, то только поражающие нас особенности можно признать общими всем обитателям объезжаемой нами страны, потому что одни только они постоянно повторяются.

Индивидуальные отличия редко повторяются, а потому и ускользают от нас; и вскоре мы не только умеем различать с первого взгляда англичанина, итальянца, испанца, но начинаем замечать в них известные моральные и интеллектуальные особенности, которые составляют как раз те основные черты, о которых мы говорили выше. Англичанин, гасконец, нормандец, фламандец соответствуют в нашем уме вполне определенному типу, который мы можем легко описать. В приложении к отдельному индивидууму описание может быть очень недостаточным, а иногда неверным; но в приложении к большинству индивидуумов известной расы оно дает самое верное его изображение. Бессоз-

нательная мозговая работа, с помощью которой определяются физический и психический тип какого-нибудь народа, совершенно тождественна по существу с методом, который дает возможность натуралисту классифицировать виды.

Эта тождественность психической организации большинства индивидуумов известной расы имеет очень простые физиологические основания. Каждый индивидуум в действительности есть продукт не только его непосредственных родителей, но еще — своей расы, т. е. всего ряда его предков. Ученый экономист Шейсон вычислил, что во Франции, если считать по три поколения на столетие, каждый из нас имеет в своих жилах кровь по крайней мере 20 миллионов современников какого-либо тысячелетия... «Все жители одной и той же местности, одной и той же провинции по необходимости имеют общих предков, сделаны из одной глины, носят один отпечаток, и постоянно приводятся обратно к среднему типу той длинной и тяжелой цепью, которой они суть только последние звенья. Мы одновременно дети своих родителей и своей расы. Не только чувство, но еще физиология и наследственность делают для нас отечество второй матерью».

Если перевести на язык механики влияния, которым подвергается индивидуум и которые руководят его поведением, то можно сказать, что они бывают троякого рода. Первое и, вероятно, самое важное, — влияние предков; второе — влияние непосредственных родителей; третье, которое обыкновенно считают самым могущественным и которое, однако, есть самое слабое, — влияние среды. Эта последняя, если понимать под нею различные физические и нравственные влияния, которым подвергается человек в продолжение своей жизни и, конечно, в продолжение своего воспитания, производит только очень слабые изменения. Влияния среды начинают оказывать реальное действие только тогда, когда наследственность накапливала их в одном и том же направлении в течение очень долгого времени.

Что бы человек ни делал, он всегда и прежде всего — представитель своей расы. Тот запас идей и чувств, который приносят с рождением на свет все индивидуумы одной и той же расы, образует душу расы. Невидимая в своей сущности, эта душа очень видима в своих проявлениях, так как в действительности она управляет всей эволюцией народа.

Можно сравнивать расу с соединением клеточек, образующим живое существо. Эти миллиарды клеточек имеют очень непродолжительное существование, между тем как продолжительность существования образованного их соединением существа

относительно очень долгая; клеточки, следовательно, одновременно имеют жизнь личную и жизнь коллективную, жизнь существа, для которого они служат веществом. Точно так же, каждый индивидуум какой-нибудь расы имеет очень короткую индивидуальную жизнь и очень долгую коллективную. Эта последняя есть жизнь расы, в которой он родился, продолжению которой он способствует и от которой он всегда зависит.

Раса поэтому должна быть рассматриваема как постоянное существо, не подчиненное действию времени.

Это постоянное существо состоит не только из живущих индивидуумов, образующих его в данный момент, но также из длинного ряда мертвых, которые были их предками. Чтобы понять истинное значение расы, следует продолжить ее одновременно в прошедшее и в будущее. Они управляют неизмеримой областью бессознательного, — той невидимой областью, которая держит под своей властью все проявления ума и характера. Судьбой народа руководят в гораздо большей степени умершие поколения, чем живущие. Ими одними заложено основание расы. Столетие за столетием они творили идеи и чувства и, следовательно, все побудительные причины нашего поведения. Умершие поколения передают нам не только свою физическую организацию; они внушают нам также свои мысли. Покойники суть единственные неоспоримые господа живых. Мы несем тяжесть их ошибок, мы получаем награду за их добродетели.

Образование психического склада народа не требует, как создание животных видов, тех геологических периодов, громадная продолжительность которых не поддается нашим вычислениям. Оно, однако, требует довольно долгого времени. Чтобы создать в таком народе, как наш, и то еще в довольно слабой степени, ту общность чувств, которая образует его душу, нужно было более десяти веков.

Этот период, очень длинный для наших летописей, в действительности довольно короток. Если столь относительно ограниченный промежуток времени достаточен, чтобы закрепить известные особенности, то это обусловливается тем, что действующая в продолжение известного времени в одном направлении какая-нибудь причина быстро производит очень большие результаты. Математики нам доказали, что когда эта причина продолжает производить одно и то же следствие, то причины растут в арифметической прогрессии (1, 2, 3, 4, 5...), а следствия — в геометрической прогрессии (2, 4, 8, 16, 32...).

*Причины суть логарифмы следствий.* В известной задаче об удвоении хлебных зерен на шахматной доске соответственный номер шах-

матной клетки есть логарифм числа хлебных зерен. Точно так же, для капитала, отданного на сложные проценты, закон возрастания таков, что число лет есть логарифм возросшего капитала. Этими соображениями объясняется тот факт, что большинство социальных явлений может быть выражено быстро возрастающими геометрическими кривыми.

В другой работе мне пришлось доказать, что они могут выражаться аналитически уравнением параболы или гиперболы.

Может быть, самое важное дело французской революции было то, что она ускорила это образование почти совершенным уничтожением мелких национальностей: пикардийцев, фламандцев, бургундцев, гасконцев, бретонцев, провансальцев и т. д., между которыми Франция была некогда раздроблена. Нужно, впрочем, чтобы объединение было полное, и именно потому, что французы состоят из слишком различных рас и имеют, следовательно, слишком различные идеи и чувства, они делаются жертвами раздоров, каких не знают более однородные народы, например, англичане. У этих последних англосакс, нормандец, древний бретонец, в конце концов слившись, образовали очень однородный тип, поэтому и образ действия их одинаков. Благодаря этому слиянию, они в конце концов прочно приобрели себе следующие три главных основы народной души: общие чувства, общие интересы, общие верования. Когда какая-нибудь нация достигла этого объединения, то устанавливается инстинктивное согласие всех ее членов по всем крупным вопросам и серьезные разногласия не могут возникать более в ее недрах.

Эта общность чувств, идей, верований и интересов, созданная медленными наследственными накоплениями, придает психическому складу народа большое сходство и большую прочность, обеспечивая ему в то же время громадную силу. Она создала величие Рима в древности, превосходство англичан в наши дни. С того времени, как она исчезает, народы распадаются. Роль Рима кончилась, когда он перестал ею обладать.

Всегда в большей или меньшей степени существовало у всех народов и во все века это сплетение наследственных чувств, идей, традиций и верований, образующее душу какого-нибудь сообщества людей, но его прогрессивное расширение совершалось крайне медленно. Ограниченная вначале пределами семьи и постепенно распространявшаяся на деревню, город, провинцию, коллективная душа охватила собой всех жителей страны только в сравнительно недавнее время. Только тогда возникло понятие отечества в том смысле, как мы его ныне понимаем. Оно стано-

вится возможным только тогда, когда образовалась национальная душа.

Греки никогда не поднимались выше понятия города, и их города всегда воевали друг с другом, потому что они всегда были очень чужды друг другу.

Индия в продолжение 2000 лет не знала другой формы единения, кроме деревни, и вот почему она в течение двух тысячелетий жила всегда под властью чужеземных властителей, эфемерные монархии которых с такой же легкостью разрушались, как и возникали.

Очень слабое, с точки зрения военного могущества, понятие города как исключительного отечества, было, напротив, всегда очень сильно относительно развития цивилизации. Менее обширная, чем душа отечества, душа города бывала иногда более плодовита. Афины — в древности, Флоренция и Венеция — в средние века показывают нам, какой степени цивилизации могут достигнуть небольшие скопления людей.

Когда маленькие города или небольшие провинции живут долгое время самостоятельной жизнью, они в конце концов приобретают такую устойчивую душу, что слияние ее с душами соседних городов и провинций, стремящееся к образованию национальной души, становится невозможным. Подобное слияние даже тогда, когда оно может совершиться, т. е. когда соприкасающиеся элементы не слишком несходны, никогда не бывает делом одного дня, но только делом целых веков. Нужны Ришелье или Бисмарки, чтобы завершить подобное дело; но и такие люди завершают его лишь тогда, когда оно уже предварительно долгое время подготавливалось. Конечно, какая-нибудь страна вроде Италии, может сразу, благодаря исключительным обстоятельствам, образовать единое государство, но было бы ошибочно полагать, что она сразу вместе с тем приобретает и национальную душу. Я хорошо вижу в Италии пьемонтцев, сицилийцев, венецианцев, римлян и т. д.; но не вижу еще там итальянцев.

Какова бы ни была ныне рассматриваемая раса, будет ли она однородна или нет, но в силу одного только того факта, что она цивилизована и с давних пор вошла в историю, ее следует всегда рассматривать как искусственную расу, но не как естественную. Естественные расы в настоящее время можно найти только у дикарей. Только у них можно наблюдать народы, чистые от всякой помеси. Большая же часть цивилизованных рас в настоящее время — только исторические расы.

Мы не намерены теперь заниматься происхождением этих рас. Образованы они природой или историей, это не важно. Нас интересуют только их особенности, которые в них выработало долгое прошлое. Сохраняемые в продолжение столетий одними и теми же условиями существования и накопляемые наследственностью, эти особенности, в конце концов, приобрели большую устойчивость и определили тип каждого народа.

## ГЛАВА II

## ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕНЧИВОСТИ ХАРАКТЕРА РАС

*Изменчивость характера рас, но не его постоянство, составляет кажущееся правило. — Основания этой видимости. — Неизменяемость основных черт и изменчивость второстепенных. — Ассимиляция психологических особенностей с неизменными признаками и изменчивыми особенностями животных видов. — Среда, обстоятельства, воспитание действуют на побочные психологические особенности. — Скрытые возможности характера. — Примеры, представляемые различными эпохами. — Люди террора. — Чем они стали бы в другие эпохи. — Как, несмотря на революции, остаются неизменными национальные характеры. — Разные примеры. — Заключение.*

Только изучив внимательно развитие цивилизаций, можно установить постоянство психического склада рас. С первого взгляда, общим правилом кажется изменчивость его, а не постоянство. История народов действительно может иногда давать повод предполагать, что души их по временам претерпевают очень быстрые и значительные изменения. Не кажется ли вам, например, что существует значительная разница между характером англичанина времен Кромвеля и характером современного англичанина? Не является ли для вас современный итальянец, осторожный и хитрый, совершенно отличным от порывистого и свирепого человека, каким нам его описывает в своих мемуарах Бенвенуто Челлини? Не идя так далеко, ограничимся пределами Франции. Сколько произошло видимых перемен в характере французов за ничтожное число веков и иногда даже лет? Какой историк не отмечал различий в характере между XVII и XVIII веком? И в наши дни: не кажется ли вам, что существует пропасть между

характерами непреклонных членов конвента и послушных рабов Наполеона? Однако это были одни и те же люди, и в несколько лет они кажутся совершенно изменившимися.

Чтобы разъяснить причины этих изменений, мы должны прежде всего вспомнить, что психологический вид, подобно анатомическому, состоит из очень небольшого числа основных неизменных особенностей, вокруг которых группируются изменяемые и непостоянные второстепенные признаки. Скотовод, изменяющий видимую структуру какого-нибудь животного, садовник, переделывающий внешний вид какого-нибудь растения до такой степени, что неопытный глаз с трудом его может узнать, нисколько не коснулись основных особенностей вида; они только действовали на его побочные признаки. Несмотря на все старания искусства, основные особенности всегда стремятся выйти наружу во всяком новом поколении.

И психическая организация имеет основные особенности, столь же неизменные, как анатомические признаки видов; но она вместе с тем обладает и легко изменяемыми второстепенными особенностями; эти-то последние и могут легко изменить среда, обстоятельства, воспитание и различные факторы.

Нам нужно также вспомнить, и это самое важное, что в своей психической организации мы имеем всевозможные задатки характера, которым обстоятельства не всегда доставляют случай обнаруживаться. Раз они случайно получили применение, — тотчас же образуется более или менее эфемерная, новая личность. Этим именно объясняется то, что в эпохи больших религиозных и политических кризисов наблюдают такие мгновенные пертурбации в характере, что кажется, будто все изменилось: нравы, идеи, поведение и т. д. Действительно все изменилось, как поверхность спокойного озера, волнуемого бурей, но очень редко бывает, что бы это было надолго.

В силу этих задатков характера, которые приводятся в действие известными исключительными событиями, деятели больших религиозных и политических кризисов кажутся нам высшими существами в сравнении с нами, своего рода колоссами, по отношению к которым мы является какими-то жалкими ублюдками. Однако это были такие же люди, как мы, у которых обстоятельства привели в действие задатки характера, какими обладают все. Возьмите, например, этих «гигантов конвента», которые смотрели вызывающе на вооруженную Европу и посылали своих противников на гильотину за простое противоречие. Это были, в сущности, такие же почтенные и мирные обыватели, как и мы,

которые в обычное время, вероятно, вели бы в стенах своего кабинета, своей конторы очень тихое и бесцветное существование. Исключительные события привели в движение некоторые клеточки в их мозгу, оставшиеся без применения в обыкновенном состоянии, и они стали теми колоссальными фигурами, которых потомство уже не в состоянии понять. Сто лет спустя Робеспьер был бы, без сомнения, честным мировым судьей, очень дружным со своим священником; Фукье-Тенвиль — судебным следователем, обладающим, может быть, несколько большей суровостью, чем его коллеги, и высокомерным обращением людей его профессии, но которого, вероятно, очень высоко ценили бы за его ревность в преследовании преступников; Сен-Жюст был бы превосходным школьным учителем, уважаемым своими начальниками и очень гордым академическими пальмовыми ветками, которые ему, наверное, удалось бы получить. Впрочем, чтобы не сомневаться в законности наших предвидений, достаточно посмотреть на то, что сделал Наполеон из свирепых террористов, которые еще не успели перерубить друг другу головы. Большая часть их сделалась столоначальниками, преподавателями, судьями или префектами. Волны, поднятые бурей, о которой мы говорили выше, успокоились, и взволнованное озеро приняло снова свой спокойный вид.

Даже в наиболее смутные эпохи, производящие самые странные изменения в личностях, можно легко под новыми формами отыскать основные черты расы. Разве централистский, самовластный и деспотический режим суровых якобинцев в действительности сильно отличался от централистского, самовластного и деспотического режима, который пятнадцать веков монархии глубоко укоренили в души французов? После всех революций латинских народов всегда появляется этот суровый режим, эта неизлечимая потребность быть управляемыми, потому что он представляет собой своего рода синтез инстинктов их расы. Не через один только ореол своих побед Бонапарт сделался властелином. Когда он преобразовал республику в диктатуру, наследственные инстинкты расы обнаруживались с каждым днем все с большей и большей интенсивностью, и за отсутствием артиллерийского офицера был бы достаточен какой-нибудь авантюрист. Пятьдесят лет спустя достаточно было появиться наследнику его имени, чтобы собрать голоса целого народа, измученного свободой и жаждавшего рабства. Не брюмер сделал Наполеона, но душа народа, который почти добровольно шел под его железную пяту.

«По первому мановению, — пишет Тэн, — французы поверглись в повиновение и пребывают в нем, как в естественном положении; низшие — крестьяне и солдаты — с животной верностью; высшие — сановники и чиновники — с византийским раболепством. Со стороны республиканцев — никакого сопротивления; напротив, именно среди них он нашел свои лучшие орудия управления: сенаторов, депутатов, членов государственного совета, судей, всякого рода администраторов. Тотчас под проповедью свободы и равенства он разгадал их самовластные инстинкты, их жажду командовать, притеснять, хотя бы и в подчиненном порядке, и, сверх того, у большинства из них — аппетиты к деньгам и наслаждению. Между делегатом Комитета Общественного Спасения и каким-нибудь министром, префектом или супрефектом Империи разница ничтожная: это тот же человек, но в разных костюмах, сначала в тоге революционера, а потом в вицмундире чиновника».

Если влияние среды на человека кажется столь большим, то, главным образом, потому, что она действует на побочные и временные особенности или на еще скрытые задатки характера, о которых нам выше пришлось говорить. В действительности изменения не очень глубоки. Самый мирный человек под влиянием голода может доходить до степени ожесточения, которая приводит его ко всевозможным преступлениям, а иногда даже к тому, что он пожирает своих ближних. Можно ли на основании этого сказать, что его обычный характер окончательно изменился?

Из того, что условия цивилизации приводят одних к чрезмерной роскоши и ко всем порокам, составляющим их неизбежное следствие, а у других создают очень большие потребности, не давая им средств для их удовлетворения, может последовать общее недовольство и беспокойное состояние, которые будут действовать на поведение и вызывать всякого рода перевороты, но в этих недовольствах, в этих переворотах всегда будут проявляться основные черты расы. Англичане Соединенных Штатов вносили когда-то в свои раздоры, во время междоусобной войны, ту же настойчивость, ту же неукротимую энергию, какую они теперь вкладывают в основание городов, университетов и фабрик. Характер не изменился. Изменились только предметы, к которым он прилагался.

Исследуя один за другим различные факторы, способные действовать на психический склад народов, мы можем всегда констатировать, что они действуют на побочные и непостоянные стороны характера, но нисколько не задевают его основных черт, или задевают их лишь путем очень медленных наследственных накоплений.

Из предыдущего никак нельзя заключить то, что психологические особенности рас совсем не подвергаются изменениям; но только то, что, подобно анатомическим признакам, они обладают очень большой устойчивостью. Вследствие этой устойчивости, душа рас и изменяется так медленно в течение веков.

## ГЛАВА III

## ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ИЕРАРХИЯ РАС

*Психологическая классификация основывается, подобно анатомической классификации, на констатировании небольшого числа неизменных и основных черт. — Психологическая классификация человеческих рас. — Первобытные расы. — Низшие расы. — Средние расы. — Высшие расы. — Психологические элементы, группировка которых допускает эту классификацию. — Элементы, имеющие наибольшую важность. — Характер. — Нравственность. — Умственные качества могут изменяться воспитанием. — Качества характера постоянны и составляют неизменный элемент каждого народа. — Их роль в истории. — Почему различные расы не могут понимать и влиять друг на друга. — Причины невозможности заставить низший народ принять высшую цивилизацию.*

Когда в области естествознания приходится устанавливать основания для классификации видов, то труд этот облегчается тем, что неизменные и, следовательно, основные признаки, по которым определяется каждый вид, очень немногочисленны. Их перечисление всегда занимает несколько строчек. Это потому, что в действительности натуралист занимается только неизменными признаками, не обращая никакого внимания на временные. Впрочем, эти основные признаки влекут за собой неизбежно целый ряд других.

То же самое — с психологическими признаками рас. Если входить в подробности, то между одним народом и другим, между одним индивидуумом и другим можно заметить бесчисленные и тонкие различия; но если обращать внимание только на основные признаки, то придется признать, что для каждого народа они немногочисленны. Только на примерах (мы скоро представим очень характерные) можно ясно показать влияние этого небольшого числа основных признаков на жизнь народов.

Основания психологической классификации рас могут быть изложены лишь после детального изучения психологии различных народов. Это труд, для которого потребовались бы тома; мы же ограничимся тем, что набросаем их психологию крупными штрихами. Рассматривая только главные психологические признаки человеческих рас, мы можем разделить их на следующие четыре группы: первобытные расы, низшие, средние и высшие.

*Первобытные расы* — те, у которых не находят ни малейшего следа культуры, и которые остановились на той эпохе первобытной животности, какую переживали наши предки в каменном веке: таковы нынешние фиджийцы и австралийцы.

Кроме первобытных рас существуют еще *низшие расы*, главными представителями которых являются негры. Они способны к зачаткам цивилизации, но только к зачаткам. Никогда им не удавалось подняться выше совершенно варварских форм цивилизации, хотя случай делал их (например, негров Сан-Доминго) наследниками высших цивилизаций.

К *средним расам* мы относим китайцев, японцев, монголов и семитические народы. Через ассирийцев, монголов, китайцев, арабов они создали высокие типы цивилизаций, которые могли быть превзойдены одними только европейскими народами.

Среди *высших рас* могут занимать место только индоевропейские народы. Как в древности, в эпоху греков и римлян, так и в настоящее время, одни только они оказались способными к великим открытиям в сфере искусства, науки и промышленности. Только им мы обязаны тем высоким уровнем, какого достигла ныне цивилизация. Пар и электричество вышли из их рук. Наименее развитые из этих высших рас, например, индусы, возвысились в области искусства, литературы и философии до такого уровня, какого никогда не могли достигнуть монголы, китайцы и семиты.

Между четырьмя большими группами, которые мы только что перечислили, невозможно никакое слияние; отделяющая их умственная пропасть очевидна. Трудности начинаются только тогда, когда хотят подразделить эти группы. Англичанин, испанец, русский относятся к группе высших народов; однако мы хорошо знаем, что между ними существуют очень большие различия. Чтобы определить эти различия, нужно брать каждый народ в отдельности и описать его характер. Это мы скоро сделаем для двух из них с тем, чтобы дать применение нашему методу и показать важность его результатов. Пока же мы обрисуем

только в самых общих чертах природу главных психологических элементов, по которым можно различать расы.

У первобытных и низших рас (нет надобности их отыскивать среди настоящих дикарей, так как низшие слои европейских обществ подобны первобытным существам) можно всегда констатировать большую или меньшую неспособность рассуждать, т. е. ассоциировать в мозгу идеи, чтобы их сравнивать и замечать их сходства и различия, — идеи, вызванные прошедшими ощущениями, или слова, служащие их знаками, с идеями, произведенными настоящими ощущениями. Из этой неспособности рассуждать проистекает большое легковерие и полное отсутствие критической мысли. У высшего существа, напротив, способность ассоциировать идеи и делать из них умозаключения очень велика, критическая мысль и способность к точному мышлению высоко развиты.

У людей низших рас можно еще констатировать очень слабую степень внимания и соображения, очень большой подражательный ум, привычку делать из частных случаев общие неточные выводы, слабую способность наблюдать и выводить из своих наблюдений полезные результаты, чрезвычайную изменчивость характера и очень большую непредусмотрительность. Инстинкт момента — единственный их путеводитель. Подобно Исаву — типу первобытного человека — они охотно продали бы свое будущее право первородства за настоящую чечевичную похлебку. Когда человек умеет противопоставлять ближайшему интересу будущий, ставить себе цель и с настойчивостью преследовать ее, то он уже осуществил большой прогресс.

Эта неспособность предвидеть отдаленные последствия своих поступков и склонность не иметь иного путеводителя, кроме моментальных побуждений, осуждают индивидуума, точно так же, как и расу, на то, чтобы постоянно оставаться в очень низком состоянии. Только по мере того, как народы приучаются владеть своими инстинктами, т. е. по мере того, как они приобретают волю и, следовательно, власть над собой, они начинают понимать важность порядка, необходимость жертвовать собой для идеала и возвыситься до цивилизации. Если бы нужно было оценить одним мерилом социальный уровень народов в истории, то я охотно принял бы за масштаб степень способности владеть своими инстинктами. Римляне в древности и англо-американцы в настоящее время представляют собой народы, обладающие этим качеством в высшей степени. Оно сильно содействовало сохранению их величия.

Общей группировкой и относительным развитием различных психологических элементов образуются типы психических организаций, по которым можно установить классификацию индивидуумов и рас. Из этих психологических элементов одни имеют отношение к характеру, другие — к уму.

Высшие расы отличаются от низших как характером, так и умом; но высшие народы между собой отличаются, главным образом, характером. Так как этот пункт имеет огромное общественное значение, то его следует изложить ясно. Характер образуется сочетанием в различной пропорции различных элементов, которые психологи обозначают ныне именем чувств.

Из тех, которые играют наиболее важную роль, следует главным образом отметить: настойчивость, энергию, способность владеть собой, — способности, проистекающие из воли. Мы упомянем также среди основных элементов характера нравственность, хотя она — синтез довольно сложных чувств. Это последнее слово мы берем в смысле наследственного уважения к правилам, на которых покоится существование общества. Иметь нравственность для народа — значит иметь известные твердые правила поведения и не отступать от них. Так как эти правила разнообразятся по времени и странам, то нравственность, вследствие этого, кажется вещью очень изменчивой, и она в действительности такова; но для данного народа, для данного момента нравственность должна быть совершенно неизменной. Дочь характера, но ничуть не ума, она может считаться прочно установленной только тогда, когда стала наследственной и, следовательно, бессознательной. Вообще можно сказать, что величие народов зависит главным образом от уровня их нравственности.

Умственные качества могут легко изменяться под влиянием воспитания; качества характера почти совершенно ускользают от его действия. Если воспитание действует на них, то это бывает только у натур безразличных, не имеющих почти никакой воли и, следовательно, легко склоняющихся в ту сторону, куда их толкают. Эти безразличные натуры встречаются у отдельных индивидов, но крайне редко — у целого народа, и если их можно встречать в нем, то только в моменты крайнего упадка.

Открытия ума передаются легко от одного народа к другому. Качества характера не могут передаваться. Это те неизменные основные элементы, которые позволяют различать психический склад высших народов. Открытия, обязанные уму, составляют общее достояние человечества; преимущества или недостатки характера составляют исключительное достояние каждого наро-

да. Это — неизменный утес, в который волна должна бить изо дня в день в течение веков, чтобы обточить только его контуры; он соответствует специфическому признаку вида, плавнику рыбы, клюву птицы, зубу плотоядного. Характер народа, но не его ум, определяет его развитие в истории. Влияние характера можно всегда отыскать в видимых капризах совершенно бессильного случая и очень могущественной судьбы, которая, по различным вероучениям, руководит поступками людей.

Влияние характера — самый могущественный фактор в жизни народов, между тем как влияние ума в действительности очень слабо. Римляне времен упадка имели более утонченный ум, чем ум их грубых предков, но они потеряли прежние качества своего характера: настойчивость, энергию, непобедимое упорство, способность жертвовать собой для идеала, ненарушимое уважение к законам, которые создали величие их предков. Только благодаря характеру 60 тысяч англичан держат под своей властью 250 миллионов индусов, из которых многие по крайней мере равны им по уму, а некоторые неизмеримо превосходят их эстетическим вкусом и глубиной философских воззрений. Только благодаря характеру, они стоят во главе гигантской колониальной империи, какую когда-либо знала история. На характере, но не на уме основываются общества, религии и империи. Характер дает народам возможность чувствовать и действовать. Они никогда не выигрывали много от того, что желали слишком много рассуждать и слишком много мыслить.

Чрезвычайная слабость работ профессиональных психологов и их ничтожный практический интерес зависят, главным образом, от того, что они посвящают себя исключительно изучению ума и оставляют почти совершенно в стороне изучение характера. Я знаю только одного Рибо, который на нескольких страницах, к несчастью слишком кратких, показал значение характера и признал, что он образует истинный фундамент душевного развития. «Ум, — пишет совершенно основательно ученый профессор «College de France», — лишь побочная форма психической эволюции, Основной тип ее есть характер. Ум, когда он слишком развит, скорее ведет к его разрушению».

Я постараюсь здесь доказать, что если желают ознакомиться со сравнительной психологией народов, то следует прежде всего приступить к изучению характера. Тот факт, что столь важная наука (так как из нее вытекают история и политика) никогда не являлась предметом исследования, остался бы совершенно непонятным, если бы нам не было известно, что подобная наука не

приобретается ни в лабораториях, ни в книгах, но только продолжительными путешествиями. Ничто, впрочем, не дает повода предсказать, что к ней скоро приступят профессиональные психологи. Они оставляют в настоящее время все более и более то, что было некогда их областью, чтобы посвятить себя анатомическим и физиологическим исследованиям. Анатомировать мозги, исследовать под микроскопом клетки, определять законы, связывающие возбуждение и реакцию, все это относится к общей физиологии, касаясь одинаково лягушки и человека, но остается без всякого близкого или отдаленного применения к познанию психологического склада различных типов нашего вида. Поэтому нельзя не поощрять такие сочинения, как только что вышедшее в свет интересное исследование Поллана «Les caractères»[1].

Хотя размеры нашего труда очень ограничены, они все-таки позволят нам показать на нескольких совершенно ясных примерах, в какой степени характер народов определяет их судьбу. Я также покажу на других примерах, что вопреки всем историческим видимостям, психический склад рас, когда он уже образовался, обладает почти столь же устойчивыми признаками, как анатомические признаки видов.

Из психического склада рас вытекает их понятие о мире и жизни, а следовательно, их поведение и, наконец, их история. Воспринимая известным образом впечатления от внешних вещей, каждый индивид чувствует, мыслит и поступает совершенно иначе, чем будут чувствовать, мыслить и поступать те, которые обладают совершенно отличным психическим складом. Отсюда следует, что психические организации, построенные по совершенно различным типам, не могут достигнуть полного слияния.

Вековые столкновения рас имеют главным своим основанием непримиримость их характеров.

Ничего нельзя понять в истории, если не имеешь постоянно в виду, что различные расы не могут ни чувствовать, ни мыслить, ни поступать одинаковым образом, ни, следовательно, понимать друг друга. Без сомнения, различные народы имеют в своих языках общие слова, которые они считают синонимами, но эти общие слова будят у тех, которые их слушают, совершенно не-

---

[1] Видимо, имеется в виду Франсуа Поллан, перевод книги которого вышел в издательстве Ф. Павленкова в 1896 г. под названием «Психология характеров» (*прим. ред.*).

сходные чувства, идеи, способы мышления. Нужно пожить с народами, психический склад которых чувствительно отличается от нашего, даже выбирая между ними только лиц, говорящих на нашем языке и получивших наше воспитание, чтобы понять глубину пропасти, существующей между психическим складом различных народов.

Можно и без далеких путешествий составить себе об этом некоторое представление, констатируя глубокое психическое различие, существующее между цивилизованным мужчиной и женщиной, даже в том случае, когда последняя очень образована. Они могут иметь общие интересы, общие чувства, но никогда — одинаковых ассоциаций идей. Они разговаривают между собой в течение веков, не понимая друг друга, потому что их духовные организмы построены по слишком различным типам, чтобы они могли воспринимать одинаковым образом внешние вещи. Уже одна разница в их логике была бы достаточна для того, чтобы создать между ними непроходимую пропасть.

Эта пропасть между психическим складом различных рас и объясняет нам, почему высшим народам никогда не удавалось заставить низшие принять их цивилизацию. Столь еще распространенное мнение, что образование может осуществить подобное дело, — одна из печальнейших иллюзий, какую когда-либо создали теоретики чистого разума. Без сомнения, образование позволяет, благодаря памяти, которой обладают самые низкие существа, и которая не составляет, впрочем, исключительной привилегии человека, дать индивиду, стоящему довольно низко на человеческой лестнице, совокупность познаний, какими обладает европеец. Можно легко сделать бакалавра или адвоката из негра или из японца; но этим ему дают чисто внешний лоск, без всякого воздействия на его психическую природу, из которой он не может извлекать никакой пользы. То, чего ему не может дать никакое образование (потому что их создает одна только наследственность) — это формы мышления, логика, и, главным образом, характер западных людей. Этот негр или этот японец могут получать сколько угодно дипломов, но никогда им не подняться до уровня обыкновенного европейца. За десять лет ему можно легко дать образование очень просвещенного англичанина. Но чтобы сделать из него настоящего англичанина, т. е. человека, действующего, как англичанин, в различных обстоятельствах жизни, в какие он будет поставлен, для этого едва достаточно было бы тысячи лет. Только на внешний взгляд народ круто переменяет свой язык, свой государственный строй, свои верования и

свое искусство. Для того, чтобы произвести подобные перемены в действительности, нужно изменить его душу.

## ГЛАВА IV

## ПРОГРЕССИВНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ИНДИВИДОВ И РАС

*Неравенство между различными индивидами известной расы тем больше, чем эта раса выше. — Психическое равенство всех индивидов низших рас. — Не средние слои, но высшие нужно сравнивать для оценки различий, разделяющих расы. — Успехи цивилизации стремятся все к большему и большему дифференцированию индивидов и рас. — Результаты этой дифференциации. — Психологические основания, мешающие ей стать очень значительной. — Как наследственность постоянно приводит индивидуальные превосходства к среднему типу расы. — Анатомические наблюдения, подтверждающие прогрессивную психологическую дифференциацию рас, индивидов и полов.*

Высшие расы отличаются от низших не только своими психологическими и анатомическими особенностями, но также и разнообразием входящих в их недра элементов. У низших рас все индивиды, даже тогда, когда они принадлежат к различным полам, обладают почти одним и тем же психическим уровнем. Будучи все похожи друг на друга, они вполне представляют собой картину того равенства, о котором мечтают современные социалисты. У высших рас неравенство индивидов и полов, напротив, составляет закон.

И поэтому, сравнивая между собой не средние слои народов, но их высшие, если только у них есть таковые, можно измерить величину отделяющих их различий. Индусы, китайцы, европейцы мало отличаются своими средними слоями и в то же время значительно разнятся высшими.

С успехами цивилизации не только расы, но и индивиды каждой расы, по крайней мере, индивиды высших рас, стремятся дифференцироваться. Вопреки нашим мечтам о равенстве, результат современной цивилизации не тот, чтобы делать людей все более и более равными, но наоборот, — все более и более различными.

Один из главных результатов цивилизации, с одной стороны, — дифференцирование рас посредством все более и более возрастающего с каждым днем умственного труда, возлагаемого ею на народы, дошедшие до высокой ступени культуры, и с другой — все большая и большая дифференциация различных слоев, из которых состоит каждый цивилизованный народ.

Условия современного промышленного развития вынуждают в действительности низшие слои цивилизованных народов на очень специализированный труд, который, будучи очень далек от того, чтобы расширять их умственные способности, скорее стремится их сузить. Сто лет тому назад работник был настоящим художником, способным выполнить все мелочи какого-нибудь механизма, например, часов. Ныне же простая манипуляция, которая никогда не производит более той или другой отдельной части, заставляет его всю жизнь сверлить одни и тоже дыры или полировать одно и то же орудие, вследствие чего его ум должен в скором времени дойти до совершенной атрофии. Теснимый открытиями и конкуренцией, промышленник или руководящий им инженер, напротив, вынужден накапливать неизмеримо больше знаний, духа инициативы и изобретательности, чем тот же промышленник, тот же инженер сто лет тому назад. Постоянно упражняемый, его мозг подчиняется закону, которому в подобном случае подчиняются все органы: он все более и более развивается.

Токвиль в приводимых ниже словах очень ясно показал это прогрессивное дифференцирование социальных слоев и притом в такую эпоху, когда промышленность была еще очень далека от той ступени развития, какой она достигла в настоящее время... «По мере того, как принцип разделения труда получает более полное приложение, рабочий становится все слабее, ограниченнее и зависимее. Искусство делает успехи, ремесленник идет назад. Хозяин и работник с каждым днем все более отличаются друг от друга».

В настоящее время цивилизованный народ, с интеллектуальной точки зрения, можно рассматривать, как своего рода пирамиду со ступенями, основание которой занято темными массами населения, средние ступени — образованными слоями и высшие ступени, т. е. вершина пирамиды, — всем небольшим отбором ученых, изобретателей, артистов, писателей, очень ничтожной группой в сравнении с остальной частью населения, но которая одна определяет уровень страны на шкале цивилизации. Достаточно бы было им исчезнуть, чтобы увидеть, как одновременно исчезло бы и все то, что составляет величие нации.

«Если бы Франция, — пишет Сен-Симон, — вдруг потеряла своих пятьдесят первых ученых, своих пятьдесят первых артистов, своих пятьдесят первых фабрикантов, своих пятьдесят первых агрономов, то нация стала бы телом без души, она была бы обезглавлена. Но если бы ей пришлось, напротив, потерять весь свой служебный персонал, то это событие опечалило бы французов, потому что они добры, но для страны от этого был бы очень небольшой ущерб».

С успехами цивилизации дифференциация между крайними слоями населения быстро возрастает; она даже стремится возрастать в геометрической прогрессии. Итак, если бы известные влияния наследственности не положили этому преграды, то с течением времени высшие слои какого-нибудь народа удалились бы в умственном отношении от низших на такое же большое расстояние, какое отделяет негра от белого, или даже негра от обезьяны.

Но многие причины препятствуют тому, чтобы эта интеллектуальная дифференциация социальных слоев, становясь значительной, совершалась с той быстротой, какую можно было бы допустить теоретически. Во-первых, в действительности дифференциация простирается только на ум, мало или вовсе не задевая характера; а мы знаем, что характер, а не ум, играет главную роль в политической жизни народов. Во-вторых, массы стремятся в настоящее время своей организацией и дисциплиной стать всемогущими.

Кроме двух только что изложенных причин, чисто искусственных, потому что они вытекают из условий цивилизации, способных разнообразиться, есть еще значительно более важная (потому что она — непреодолимый закон природы), которая всегда будет мешать отборной части нации дифференцироваться слишком быстро в интеллектуальном отношении от низших слоев. Рядом с искусственными условиями цивилизации, которые все более и более стремятся дифференцировать людей одной и той же расы, существуют в действительности устойчивые законы наследственности, которые стремятся уничтожить или приводить к среднему индивидов, слишком явно стоящих выше ее. Уже древние наблюдения, приводимые всеми авторами трудов о наследственности, доказали, что потомки выдающихся по уму семейств рано или поздно, чаще всего рано, претерпевают вырождения, имеющие тенденцию их совершенно уничтожить. Большое интеллектуальное превосходство получается лишь под условием оставления за собой только вырождающихся. В действительности верхушка социальной пирамиды, о которой я говорил

выше, может существовать только под условием постоянного заимствования своих продуктивных сил у элементов, помещающихся под нею. Если собрать на уединенном острове всех индивидов, составляющих этот цвет, то можно образовать путем их скрещиваний расу, пораженную всевозможными формами вырождения и, следовательно, осужденную на скорое исчезновение. Большие интеллектуальные превосходства можно сравнивать с ботаническими уродливостями, созданными искусством садовника. Предоставленные самим себе, они вымирают или возвращаются к среднему типу вида, который один и есть всемогущий, потому что он представляет длинный ряд предков.

Итак, все более и более дифференцируясь в течение веков, индивиды какой-нибудь расы постоянно стремятся вращаться вокруг среднего типа этой расы, не будучи в состоянии удалиться от него надолго. К этому-то среднему типу, который возвышается очень медленно, принадлежит значительное большинство членов известной нации. Этот основной остов покрыт, по крайней мере, у высших народов, очень тонким слоем выдающихся умов, важным с точки зрения цивилизации, но не имеющим никакого значения с точки зрения расы. Беспрестанно уничтожаясь, он беспрестанно обновляется за счет среднего слоя, который один изменяется, только очень медленно, потому что малейшие изменения, чтобы стать прочными, должны накапливаться наследственно в том же направлении в продолжение многих веков. В действительности, только наследственным накоплением усовершенствований, приобретенных средними слоями, а не возвышенными умами (потому что гений не передается) образовались те прогрессивные дифференциации, которые постепенно возвысили уровень некоторых рас и вырыли пропасть между этими расами и народами, не сумевшими прогрессировать.

Уже несколько лет тому назад, опираясь на чисто анатомические исследования, я пришел к идеям, изложенным мною выше, относительно дифференциации индивидов и рас, и для оправдания которых я ссылался теперь только на психологические доводы. Так как двоякого рода исследования приводят к одним и тем же результатам, я позволю себе напомнить некоторые из выводов моего первого труда[1]. Они опираются на измерения, произведенные над многими тысячами древних и современных

[1] Dr. Gustave le Bon. Recherches anatomiques et mathématiques sur les variations de volume du cerveau et sur leurs relations avec l'intelligence. — In — 8°, 1879.

черепов, принадлежащих к различным расам. Вот из них наиболее существенные выводы:

«Если оставить в стороне отдельные случаи и обращать внимание только на большое число их, то тесная зависимость между объемом черепа и умственными способностями становится совершенно ясной. Но не эти ничтожные различия в средней емкости черепов составляют тот признак, по которому можно отличить низшие расы от высших, а тот существенный факт, что высшая раса имеет известное число лиц с очень развитым мозгом, между тем как в низшей расе их не встречается. Итак, не народными массами, но единицами, выдающимися среди них, различаются между собой расы. Средняя разница в объеме черепа у различных народов, исключая случаи, когда рассматриваешь низшие расы, никогда не бывает очень значительной.

...Сравнивая черепа различных человеческих рас за настоящее и прошедшее время, можно видеть, что расы, объем черепов у которых представляет большие индивидуальные различия, стоят на высшей ступени цивилизации, что по мере того, как какая-нибудь раса цивилизуется, черепа составляющих ее индивидов все более и более разнятся между собой. Результатом этого является то, что цивилизация ведет нас не к умственному равенству, но к все более и более глубокому неравенству. Анатомическое и физиологическое равенство встречается только среди представителей рас, стоящих на самой низкой ступени развития. Между членами какого-нибудь дикого племени, из которых все посвящают себя одним и тем же занятиям, различие существует самое ничтожное. Напротив, между каким-нибудь крестьянином, имеющим в своем лексиконе не более трехсот слов, и ученым, у которого их — сотня тысяч с соответствующими понятиями, различие существует громадное».

Я должен прибавить к сказанному мною выше, что дифференциация между индивидами, произведенная развитием цивилизации, проявляется также и между полами. У низших народов или у низших слоев высших народов мужчина и женщина в умственном отношении весьма близки друг к другу. Но по мере того, как народы цивилизуются, полы стремятся к тому, чтобы все больше и больше различаться между собой.

Объем черепа мужчины и женщины, даже когда сравниваем только субъектов одинакового возраста, одинакового роста и равного веса, представляет очень быстро возрастающие различия с ростом цивилизации. Очень слабые в низших расах, эти различия становятся громадными в высших. У высших рас женские черепа часто лишь немногим более развиты, чем черепа женщин низших рас. Между тем как средний объем черепа парижанина

ставит его между самыми большими известными черепами, средний объем черепа парижанки ничем не разнится от объема самых маленьких черепов и достигает чуть ли не объема черепа китаянок или даже черепа женщин Новой Каледонии.

## ГЛАВА V

## ОБРАЗОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ РАС

*Как образовались исторические расы — Условия, позволяющие различным расам слиться для образования одной расы. — Влияние числа приходящих в столкновение между собой индивидов, неравенства их признаков, среды и т. д. — Результаты скрещиваний. — Причины большого понижения типа у метисов. — Изменчивость новых психологических признаков, созданных скрещиваниями. — Как укрепляются эти признаки. — Критические эпохи истории. — Скрещивания составляют существенный фактор образования новых рас и, в то же время, могущественный фактор разложения цивилизаций. — Значение учреждения каст. — Влияние среды. — Среда может влиять только на новые расы, находящиеся в период образования, скрещивания которых разложили признаки, унаследованные от предков. — На древние расы среда не оказывает никакого действия. — Различные примеры. — Большинство исторических рас Европы находится еще в периоде образования. — Политические и социальные выводы. — Почему период образования исторических рас должен скоро завершиться.*

Мы уже выше отметили, что теперь нельзя более встретить среди цивилизованных народов настоящие расы, в научном значении этого слова, но только расы исторические, т. е. расы, созданные случайностями завоеваний, иммиграций, политики и т. д. и образованные, следовательно, из смешения людей различного происхождения.

Каким образом сливаются эти разнородные расы и образуют одну историческую расу, обладающую общими психологическими признаками? Это составит предмет нашего ближайшего рассмотрения.

Прежде всего заметим, что элементы, которые привел в столкновение случай, не всегда сливаются. Немцы, венгры,

славяне, живущие под австрийским владычеством, образуют совершенно различные расы и никогда не обнаруживали склонности к слиянию. Ирландец, живущий под владычеством англичан, не в большей степени смешался с ними. Что же касается народов, стоящих на самой низкой ступени развития, например, краснокожих, австралийцев, тасманийцев и т. д., то они не только не сливаются с высшими народами, но быстро исчезают от соприкосновения с ними. Всякий низший народ, приходящий в столкновение с высшим, фатально осужден на скорое исчезновение.

Много условий необходимо для того, чтобы расы могли слиться и образовать новую, более или менее однородную.

Первое из этих условий заключается в том, чтобы скрещивающиеся расы не были слишком неравны численно; второе — чтобы они не слишком отличались своими признаками; третье — чтобы в течение долгого времени они подвергались одинаковым влияниям среды.

Первое из только что перечисленных мною условий имеет главное значение. Небольшое число белых, поселившихся среди многочисленного негритянского племени, обыкновенно исчезает через несколько поколений, не оставив следа своей крови в потомстве. Так исчезли все победители, которые покоряли себе слишком многочисленные народности. Они умели оставить себе свою цивилизацию, свое искусство и свой язык; но никогда не оставляли там своей крови.

Второе из предыдущих условий имеет столь же важное значение. Без сомнения, сильно различающиеся между собой расы, например, белая и черная, могут смешиваться, но рождающиеся от них метисы образуют значительно низшую расу в сравнении с теми, от которых она происходит, и совершенно неспособную создать или даже поддержать какую бы то ни было цивилизацию. Влияние противоположных наследственностей разлагает их нравственность и характер. Когда метисы случайно наследуют (как в Сан-Доминго) высшую цивилизацию, эта цивилизация быстро приходит в состояние плачевного упадка. Скрещивания могут быть элементом прогресса только среди высших рас, достаточно близких друг к другу, таковы англичане и немцы Америки. Но они составляют всегда элемент вырождения, когда эти расы, будучи даже высшими, слишком различаются между собой.

Все страны, заключающие в себе слишком большое число метисов, по одной только этой причине обречены на постоянную анархию, если только ими не будет управлять железная рука.

Такова неизбежная судьба Бразилии. Она насчитывает только треть белых. Остальная часть населения состоит из негров и мулатов. Знаменитый Агассис говорит с полным основанием, что «достаточно побывать в Бразилии, чтобы признать факт вырождения, являющегося результатом скрещиваний, имевших в этой стране место в гораздо более широких размерах, чем где-либо в другом месте. Эти скрещивания сглаживают — говорит он — лучшие расовые качества родичей, будут ли это негры, индейцы или европейцы, и производят неописуемый тип, в котором физическая и душевная энергия ослабли».

Скрещивать два народа — значит изменять одновременно как его физический, так и душевный склад. Впрочем, скрещивания составляют единственное верное средство, каким мы обладаем для того, чтобы основательно изменять характер какого-нибудь народа, так как одна только наследственность достаточно сильна для того, чтобы вступать в борьбу с наследственностью. Они позволяют создать со временем новую расу, обладающую новыми физическими и психологическими признаками.

Таким образом, созданные признаки остаются вначале неустойчивыми и слабыми. Нужны всегда продолжительные наследственные накопления, чтобы закрепить их. Первое действие скрещиваний между различными расами заключается в том, что они уничтожают душу этих рас, т. е. ту совокупность общих идей и чувств, которые составляют силу народов и без которых не могут существовать ни нация, ни отечество. Это критический период истории рас, период первых опытов и блужданий, обязательно проходимый всеми расами, потому что нет ни одного европейского народа, который бы не образовался из останков других народов. Это период, полный междоусобных распрей и всевозможных неожиданностей, продолжающийся до тех пор, пока новые психологические признаки еще не укрепились.

Предыдущее нам показывает, что на скрещивания следует смотреть одновременно как на основной элемент образования новых рас и как на могучий фактор разложения древних рас. Все народы, достигшие высокой ступени цивилизации, старательно избегали смешения с иностранцами и поступали так вполне обоснованно. Без удивительного кастового строя ничтожная горсть арийцев, покорившая 3000 лет тому назад Индию, вскоре потонула бы в бесчисленной массе черных племен, окружавших ее со всех сторон, и никакая цивилизация не возникла бы на почве большого полуострова. Если бы в наши дни англичане не сохранили на практике ту же систему и согласились бы

скрещиваться с туземцами, то громадная империя Индии давно бы от них избавилась. Народ может потерять очень многое, претерпевать всевозможные катастрофы и быть еще в состоянии подняться. Но им все потеряно, и ему уже никогда не подняться, если он потерял свою душу.

Когда цивилизации, находящиеся в состоянии упадка, стали добычей завоевателей, скрещивания играют сначала разрушительную роль, а потом созидательную, о чем я только что говорил. Они разрушают древнюю цивилиэацию, так как губят душу народа, который ею обладал. Они допускают создание новой цивилизации, так как старые психологические признаки пришедших в столкновение рас уничтожены и так как под влиянием новых условий существования могут в скором времени образоваться новые признаки.

Только на расах, находящихся в периоде образования, унаследованные черты которых разрушаются противоположными действиями наследственности, обнаруживается влияние последнего из упомянутых в настоящей главе факторов — среды. Очень слабое в своем воздействии на древние расы, оно влияет очень сильно на новые. Скрещивания, уничтожая психологические признаки, унаследованные от предков, создали своего рода tabula rasa[1] на которой действие среды, продолжающееся в течение веков, в конце концов создает и постепенно укрепляет новые психологические признаки. Тогда и только тогда можно считать образование новой исторической расы завершившимися. Так создалась французская раса.

Отсюда ясно, что влияние среды, как физической так и моральной, или очень велико, или, напротив, очень слабо, смотря по обстоятельствам, и этим можно себе объяснить, почему относительно их влияния высказываются самые противоречивые мнения. Мы только что видели, что это влияние очень велико на расы, находящиеся в периоде образования; но если рассматривать древние расы, прочно установленные с давних пор наследственностью, то можно сказать, что влияние среды, напротив, почти сводится к нулю.

Относительно моральной среды: мы имеем доказательство ничтожности ее действия в полном бессилии наших западных цивилизаций оказать влияние на народы Востока, даже когда они соприкасались с ними в течение многих поколений, как это наблюдается на китайцах, живущих в Соединенных Штатах. Для

---

[1] «Чистая доска», на которой можно писать что угодно — (*лат.*).

физической среды мы можем констатировать слабость ее власти из трудностей акклиматизации. Перенесенная в новую среду, совершенно отличную от прежней, древняя раса — все равно, идет ли речь о человеке, животном или растении — скорее гибнет, чем изменяется. Последовательно завоевываемый десятью различными народами, Египет был всегда их могилой. Ни один из них не мог там акклиматизироваться. Греки, римляне, персы, арабы, турки и т. д. никогда не оставляли там следов своей крови. Единственный тип, который там можно встретить, это тот же неизменный феллах с чертами, верно воспроизводящими те, которые вырезали египетские художники семь тысяч лет тому назад на гробницах и дворцах фараонов.

Большинство исторических народов Европы находится еще в периоде образования, и этот факт очень важен для понимания их истории. Один только современный англичанин представляет собой почти совершенно определившуюся расу. В нем древний бретонец, англосакс и нормандец слились, чтобы образовать новый, очень однородный тип. Во Франции, напротив, провансалец совершенно отличен от бретонца, овернца и нормандца. Однако если еще не существует типа среднего француза, то, по крайней мере, существуют средние типы известных областей. Эти типы, к несчастью, еще слишком разнятся идеями и характером. Поэтому трудно найти учреждения, которые могли бы быть одинаково пригодны для них всех. Их глубокие различия в чувствах и верованиях и вытекающие отсюда политические перевороты держатся, главным образом, на различиях в душевном складе, которые сумеет, может быть, изгладить будущее.

Так бывало всегда, когда стечение обстоятельств заставляло различные расы жить совместно на одной территории. Раздоры и междоусобные войны всегда отличались тем большей интенсивностью, чем различнее были соприкасавшиеся между собой расы. Когда они слишком несходны между собой, становится совершенно невозможным заставить их жить под одними учреждениями и одними законами. История больших империй, образованных из различных рас, всегда была тождественна. Они исчезали чаще всего вместе со своим основателем. Из современных наций одни только голландцы и англичане успели подчинить своему игу азиатские народы, совершенно отличающиеся от них, но это им удалось только потому что они умели уважать нравы, обычаи и законы этих народов, предоставляя в действительности им самим управлять собой и ограничивая свою роль взиманием налогов, торговыми сношениями и поддержанием мира.

За этими редкими исключениями все большие империи, объединяющие несходные народы, могут быть созданы только силой и осуждены погибнуть от насилия.

Для того, чтобы нация могла образоваться и долго существовать, нужно, чтобы она образовывалась медленно, постепенным смешением рас, мало отличных друг от друга, постоянно скрещивающихся между собой, живущих на одной территории, подчиняющихся действию одной и той же среды, имеющих одни и те же учреждения и одни и те же верования. Эти различные расы могут тогда, по истечении нескольких веков, образовать очень однородную нацию.

По мере того как старится мир, расы становятся все более и более устойчивыми, и их изменения путем смешений — все более и более редкими. Вступая в возраст, человечество чувствует, что бремя наследственности становится все тяжелее и изменения все труднее. Что касается Европы, то можно сказать, что эра образования исторических рас для нее в скором времени завершится.

# ВТОРОЙ ОТДЕЛ

# КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ РАС ОБНАРУЖИВАЮТСЯ В РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

## ГЛАВА I

## ИСТОРИЯ НАРОДОВ КАК СЛЕДСТВИЕ ИХ ХАРАКТЕРА

*История народа вытекает всегда из его душевного склада. — Различные примеры. — Как политические учреждения Франции вытекают из души расы. — Их действительная неизменность под кажущейся изменчивостью. — Наши самые различные политические партии преследуют, под различными названиями, одинаковые политические цели. — Централизация и уничтожение личной инициативы в пользу государства. — Как французская революция только исполняла программу древней монархии. — Противоположность между идеалом англосаксонской расы и латинским идеалом. Инициатива гражданина, замененная инициативой государства. — Приложение изложенных в настоящем труде принципов к сравнительному изучению развития Северо-Американских Соединенных Штатов и испано-американских республик. — Причины процветания одних и упадка других, несмотря на одинаковые политические учреждения. — Формы правления и учреждения имеют только очень слабое влияние на судьбы народов. — Эта судьба вытекает главным образом из их характера.*

История в главных своих чертах может быть рассматриваема как простое изложение результатов, произведенных психологическим складом рас. Она проистекает из этого склада, как дыхательные органы рыб из жизни их в воде. Без предварительного знания душевного склада народа история его кажется каким-то хаосом событий, управляемых одной случайностью. Напротив,

когда душа народа нам известна, то жизнь его представляется правильным и фатальным следствием из его психологических черт. Во всех проявлениях жизни нации мы всегда находим, что неизменная душа расы сама творит собственную судьбу.

В особенности в политических учреждениях наиболее очевидно проявляется верховная власть расовой души. Нам легко будет доказать это несколькими примерами.

Возьмем сперва Францию, т. е. одну из мировых стран, испытавших наиболее глубокие перевороты, где в несколько лет учреждения изменялись по виду самым коренным образом, где партии кажутся не только различными, но как будто даже несовместимыми между собой. Но если мы посмотрим с психологической точки зрения на эти, по-видимому, столь несходные, на эти вечно борющиеся партии, то нам придется констатировать, что они, в действительности, обладают совершенно одинаковым общим фондом, точно представляющим идеал их расы. Непримиримые, радикалы, монархисты, социалисты, одним словом, все защитники самых различных доктрин преследуют под разными ярлыками совершенно одинаковую цель: поглощение личности государством. То, чего они одинаково горячо все желают, — это старый централистский и цезаристский режим, государство, всем управляющее, все регулирующее, все поглощающее, регламентирующее малейшие мелочи в жизни граждан и отстраняющее их таким образом от необходимости проявлять хоть малейшие проблески размышления и инициативы. Пусть власть, поставленная во главе государства, называется королем, императором, президентом, коммуной, рабочим синдикатом и т. д., все равно эта власть, бы она ни была, обязательно будет иметь один и тот же идеал, и этот идеал есть выражение чувств расовой души. Она другого не допустит.

«Таков, — пишет очень глубокий наблюдатель Дюпон Уайт, — особенный гений Франции: она не в состоянии успевать в некоторых существенных и желательных вещах, имеющих отношение к украшению или даже к сущности цивилизации, если не поддерживается и не поощряется своим правительством».

Итак, если наша крайняя нервозность, наша большая склонность к недовольству существующим, та идея, что новое правительство сделает нашу участь более счастливой, приводят нас к тому, что мы беспрерывно меняем свои учреждения, то руководящий нами великий голос вымерших предков осуждает нас на то, что мы меняем только слова и внешность. Бессознательная власть души нашей расы такова, что мы даже не замечаем иллюзии, жертвами которой являемся.

Если обращать внимание только на внешность, то трудно, конечно, представить себе другой режим, который бы сильнее отличался от старого, чем созданный нашей великой революцией. В действительности, однако, и в этом нельзя сомневаться, она только продолжала королевскую традицию, заканчивая дело централизации, начатой монархией несколько веков перед тем. Если бы Людовик XIII и Людовик XIV вышли из своих гробов, чтобы судить дело революции, то им, несомненно, пришлось бы осудить некоторые из насилий, сопровождавших его осуществление, но они рассматривали бы его как строго согласное с их традициями и с их программой, и признали бы, что если бы какому-нибудь министру было ими поручено привести в исполнение эту программу, то он не выполнил бы ее лучше. Они сказали бы, что наименее революционное из правительств, какие когда-либо знала Франция, есть именно правительство революции. Кроме того, они констатировали бы, что в течение столетия ни один из различных режимов, следовавших друг за другом во Франции, не пытался трогать этого дела: до такой степени оно — продукт правильного развития, продолжение монархического идеала и выражение гения расы. Без сомнения, эти славные выходцы с того света, ввиду их громадной опытности, представили бы некоторые критические замечания и, может быть, обратили бы внимание на то, что «новый строй», заменив правительственную аристократическую касту бюрократической, создал в государстве безличную власть, более значительную, чем власть старой аристократии, потому что одна только бюрократия, ускользая от влияния политических перемен, обладает традициями, корпоративным духом, безответственностью, постоянством, т. е. целым рядом условий, обязательно ведущих ее к тому, чтобы стать единственным властелином в государстве. Впрочем, я полагаю, что они не особенно настаивали бы на этом возражении, принимая во внимание то, что латинские народы, мало заботясь о свободе, но очень много — о равенстве, легко переносят всякого рода деспотизм, лишь бы этот деспотизм был безличным. Может быть, они еще нашли бы совершенно излишними и очень тиранническими те бесчисленные постановления, те тысячи пут, которые окружают ныне малейший акт жизни, и обратили бы внимание на то, что если государство все поглотит, все обставит ограничениями, лишит граждан всякой инициативы, то мы добровольно очутимся, без всякой новой революции, в полном социализме. Но тогда божественный свет, освещающий верхи «сфер», или, за недостатком его, математические познания,

учащие нас, что следствия растут в геометрической прогрессии, пока продолжают действовать те же причины, дали бы им возможность понять, что социализм есть не что иное, как крайнее выражение монархической идеи, для которой революция была ускорительной фазой.

Итак, в учреждениях какого-нибудь народа мы одновременно находим те случайные обстоятельства, перечисленные нами в начале этого труда, и постоянные законы, которые мы пытались определить. Случайные обстоятельства создают только названия, внешность. Основные же законы вытекают из народного характера и создают судьбу наций.

Вышеизложенному примеру мы можем противопоставить пример другой расы — английской, психологический склад которой совершенно отличен от французского. Вследствие одного только этого факта ее учреждения коренным образом отличаются от французских.

Имеют ли англичане во главе себя монарха, как в Англии, или президента, как в Соединенных Штатах, их образ правления будет всегда иметь те же основные черты: деятельность государства будет доведена до минимума, деятельность же частных лиц — до максимума, что составляет полную противоположность латинскому идеалу. Порты, каналы, железные дороги, учебные заведения будут всегда создаваться и поддерживаться личной инициативой, но никогда не инициативой государства[1]. Ни революции, ни конституции, ни деспоты не могут давать какому-нибудь народу тех качеств характера, какими он не обладает, или отнять у него имеющиеся качества, из которых проистекают его учреждения. Не раз повторялась та мысль, что каждый народ имеет ту форму правления, какую он заслуживает. Трудно допустить, чтобы он мог иметь другую.

Предшествующие краткие рассуждения показывают, что учреждения народа составляют выражение его души, и что, если ему бывает легко изменить их внешность, то он не может изменить их основания. Мы теперь покажем на еще более ясных примерах, до какой степени душа какого-нибудь народа управляет его судьбой, и какую ничтожную роль играют учреждения в этой судьбе.

---

[1] Этот перевес личной инициативы должен особенно наблюдаться в Америке. В Англии он за последние двадцать пять лет значительно понизился, и государство, по-видимому, начинает там делать все большие и большие захваты.

Эти примеры я беру в стране, где живут бок о бок, почти в одинаковых условиях среды, две европейские расы, одинаково цивилизованные и развитые, но отличающиеся только своим характером: я хочу говорить об Америке. Она состоит из двух отдельных материков, соединенных перешейком. Величина каждого из этих материков почти равна, почвы их очень сходны между собой. Один из них был завоеван и населен английской расой, другой — испанской. Эти две расы живут под одинаковыми республиканскими конституциями, так как все республики Южной Америки списывали свои конституции с конституции Соединенных Штатов. Итак, у нас нет ничего такого, чем мы могли бы объяснить себе различные судьбы этих народов, кроме расовых различий. Посмотрим, что произвели эти различия.

Резюмируем сначала в нескольких словах черты англосаксонской расы, населившей Соединенные Штаты. Нет, может быть, никого на свете с более однородным и более определенным душевным складом, чем представители этой расы.

Преобладающими чертами этого душевного склада, с точки зрения характера, являются: запас воли, каким (может быть, исключая римлян) обладали очень немногие народы, неукротимая энергия, очень большая инициатива, абсолютное самообладание, чувство независимости, доведенное до крайней необщительности, могучая активность, очень живучие религиозные чувства, очень стойкая нравственность и очень ясное представление о долге.

С точки зрения интеллектуальной, трудно дать специальную характеристику, т. е. указать те особенные черты, каких нельзя было бы отыскать у других цивилизованных наций. Можно только отметить здравый рассудок, позволяющий схватывать на лету практическую и положительную сторону вещей и не блуждать в химерических изысканиях; очень живое отношение к фактам и умеренно-спокойное к общим идеям и к религиозным традициям.

К этой общей характеристике следует прибавить еще тот полный оптимизм человека, жизненный путь которого совершенно ясен и который даже не предполагает, что можно выбрать лучший. Он всегда знает, что требуют от него его отечество, его семья и его религия. Этот оптимизм доведен до того, что заставляет его смотреть с презрением на все чужеземное. Это презрение к иностранцу и к их обычаям превышает, до известной степени, в Англии даже то, какое некогда питали римляне в эпоху своего величия по отношению к варварам. Оно таково, что по отношению

к иностранцу исчезает всякое нравственное правило. Нет ни одного английского политического деятеля, который не считал бы относительно другой нации совершенно законными поступки, рискующие вызвать самое глубокое и единодушное негодование, если бы они практиковались по отношению к его соотечественникам. Несомненно, что это презрение к иностранцу, с точки зрения философской, есть чувство очень низменного свойства; но с точки зрения народного благосостояния, оно крайне полезно. Как правильно заметил английский генерал Уолслей, оно есть одно из тех качеств, которые создают силу Англии. Кто-то очень удачно выразился по поводу их отказа (вполне, впрочем, основательного) позволить построить туннель под Ла-Маншем, который облегчил бы сношения Англии с материком, что англичане прилагают столько же старания, как и китайцы, чтобы воспрепятствовать всякому чужеземному влиянию проникнуть к ним.

Все черты, которые только что перечислены нами, можно отыскать в различных общественных, слоях; нельзя назвать ни одного элемента английской цивилизации, на который бы они не наложили своего глубокого отпечатка. Разве не поражает это сразу каждого иностранца, посетившего впервые Англию? Он заметит потребность независимой жизни в хижине самого скромного работника, — помещении, правда, тесном, но защищенном от всякого принуждения и уединенном от всякого соседства; на наиболее посещаемых вокзалах, где беспрерывно циркулирует публика, не будучи загоняема, как стадо смирных баранов за барьер, охраняемый жандармом, как будто только силой можно обеспечить безопасность людей, не способных находить в себе самих доли необходимого внимания, чтобы не задавить друг друга. Он найдет энергию расы как в напряженном труде работника, так и в труде учащегося, который будучи предоставлен самому себе с малых лет, научается один руководить собою, зная уже, что в жизни никто не станет заниматься его судьбой, кроме него самого; у профессоров, очень умеренно налегающих на учение, но зато обращающих усиленное внимание на выработку характера, который они считают одним из величайших двигателей в мире.

Уполномоченный английской королевой определить условия получения ежегодного приза, назначенного ею для Колледжа Веллингтона, принц Альберт решил, что он будет присуждаться не тому воспитаннику, который оказал наибольшие успехи в науках, но тому, за кем будет признан наиболее возвышенный характер. Все наше образование (понимая под ним то, что мы считаем высшим образованием) заключается в

том, чтобы заставлять молодежь пересказывать лекции. Она и впоследствии до такой степени сохраняет эту привычку, что продолжает повторять давно затверженное в продолжение всей остальной своей жизни.

Вникая в общественную жизнь гражданина, он увидит, что если нужно исправить источник в селе, построить морской порт или проложить железную дорогу, то апеллируют всегда не к государству, а к личной инициативе. Продолжая свое исследование, он скоро узнает, что этот народ, несмотря на недостатки, которые делают его для иностранца самой несносной из наций, один только истинно свободен, потому что он только один научился искусству самоуправления и сумел оставить за правительством минимум деятельной власти. Если пробегаешь его историю, то видишь, что он первый сумел освободиться от всякого господства — как от господства церкви, так и от господства автократов. Уже с XV века Фортескью противопоставлял римский закон, наследие латинских народов, английскому закону: один является делом автократизма и весь проникнут тем, чтобы пожертвовать личностью; другой — дело общей воли и всегда готовый защищать личность.

В какое бы место земного шара подобный народ ни переселился, он немедленно станет господствующим и положит основание могущественным империям. Если порабощенная им раса, например, краснокожие в Америке, достаточно слаба, но недостаточно полезна, она будет систематически искоренена. Но если порабощенная раса, например, народности Индии, слишком многочисленна для того, чтобы быть уничтоженной, и может, между прочим, доставлять продуктивный труд, то она будет просто приведена в состояние очень суровой вассальной зависимости и вынуждена работать исключительно на своих господ.

Но особенно в такой новой стране, как Америка, можно следить за теми удивительными успехами, которые обязаны своим существованием только душевному складу английской расы. Переселившись в страны без культуры, едва населенные немногими дикарями, и не имея возможности ни на кого рассчитывать, как только на самое себя, всем известно, чем она сделалась. Ей нужно было менее одного столетия, чтобы стать в первом ряду великих мировых держав, и ныне нет никого, кто бы мог вступить в состязание с нею. Я рекомендую прочесть книгу М. Рузье о Соединенных Штатах лицам, желающим составить себе понятие об огромной массе инициативы и личной энергии, расходуемой гражданами великой республики. Способность людей самоуправляться, объединяться для учреждения крупных

предприятий, основывать города, школы, гавани, железные дороги и т. д. доведена до такого максимума и деятельность государства низведена до такого минимума, что можно сказать, что там почти не существует государственной власти. Помимо полиции и дипломатического представительства, даже нельзя придумать, к чему она могла бы служить.

Впрочем, благоденствовать в Соединенных Штатах можно только под условием обладания качествами характера, какие я только что описывал, и вот почему иммиграции иностранцев не могут изменить основного духа расы. Условия существования таковы, что тот, кто не обладает этими качествами, осужден на быструю гибель. В этой атмосфере, насыщенной независимостью и энергией, может жить один только англосакс. Итальянец умирает там с голода, ирландец прозябает в низших занятиях.

Великая республика есть, конечно, земля свободы, но вместе с тем, она не земля ни равенства, ни братства. Ни в одной стране на земном шаре естественный отбор не давал сильнее чувствовать своей железной лапы. Он здесь проявляется безжалостно; но именно вследствие его безжалостности, раса, образованию которой он способствовал, сохраняет свою мощь и энергию.

На почве Соединенных Штатов нет совсем места для слабых, заурядных и неспособных. Отдельные индивидуумы и целые расы осуждены на гибель в силу одного только того факта, что они низшие. Краснокожие, став бесполезными, были истреблены железом и голодом; китайцы-работники, труд которых составляет очень неприятную конкуренцию, скоро подвергнутся той же участи. Закон, которым постановлено было их совершенное изгнание, не мог быть применен из-за громадных расходов, каких стоило бы его исполнение[1]. Но и помимо закона они будут подвергаться систематическому уничтожению, что отчасти уже практикуется в некоторых округах. Другие законы были недавно вотированы с тем, чтобы запретить доступ на американскую территорию бедным эмигрантам. Что касается негров, которые служили предлогом для аболиционистской войны, войны между теми, кто владел рабами, и теми, кто сам не владел, и другим не позволял владеть ими, то они едва терпимы в обществе, будучи

[1] 53-й конгресс должен был отложить до мая 1894 г. исполнение закона Geary (Cinese exclusion act) просто потому, что, как выяснилось потом, для выселения 100000 китайцев нужно было бы израсходовать 10 миллионов рублей, между тем как сумма, назначенная в бюджет для выселения китайских работников, достигала только 40000 рублей.

всегда связаны с теми низшими занятиями, которых не захотел бы взять на себя ни один американский гражданин. В теории они имеют все права; но на практике с ними обращаются, как с полезными животными, от которых стараются избавиться, когда они становятся опасными. Короткая расправа по закону Линча признается повсюду для них совершенно достаточной. При первом серьезном преступлении их расстреливают или вешают. Статистика, знающая только часть этих казней, зарегистрировала их 1100 только за последние семь лет.

Это, конечно, темные стороны картины. Она достаточно ярка, чтобы сделать их незаметными. Если бы нужно было определить одним словом различие между континентальной Европой и Соединенными Штатами, то можно было бы сказать, что первая представляет максимум того, что может дать официальная регламентация, заменяющая личную инициативу; вторые же — максимум того, что может дать личная инициатива, совершенно свободная от всякой официальной регламентации. Эти основные различия являются следствиями характера. Не на почве суровой республики имеет шансы привиться европейский социализм. Будучи последним выражением тирании государства, он может процветать только у старых рас, подчинявшихся в продолжение веков режиму, отнявшему у них всякую способность управлять самими собой.

Мы только что видели, что произвела в одной части Америки раса, обладающая известным душевным складом, в котором преобладают настойчивость, энергия и воля. Нам остается показать, что стало почти с той же самой страной в руках другой расы, хотя очень развитой, но не обладающей ни одним из тех качеств характера, о которых мне пришлось только что говорить.

Южная Америка, с точки зрения своих естественных богатств, — одна из богатейших стран на земном шаре. В два раза большая, чем Европа, и в десять раз менее населенная, она не знает недостатка в земле и находится, так сказать, в распоряжении каждого. Ее преобладающее население — испанского происхождения и разделено на много республик: Аргентинскую, Бразильскую, Чилийскую, Перуанскую, и т. д. Все они заимствовали свой политический строй от Соединенных Штатов и живут, следовательно, под одинаковыми законами. И за всем тем, в силу одного только расового различия, т. е. вследствие недостатка тех основных качеств, какими обладает раса, населяющая Соединенные Штаты, все эти республики без единого исключения являются постоянными жертвами самой кровавой анархии, и,

несмотря на удивительные богатства их почвы, одни за другими впадают во всевозможные хищения, банкротство и деспотизм. Нужно просмотреть замечательный и беспристрастный труд Т. Чайльда об испано-американских республиках, чтобы оценить глубину их падения. Причины его коренятся в душевном складе расы, не имеющей ни энергии, ни воли, ни нравственности. В особенности отсутствие нравственности превосходит вое, что мы знаем худшего в Европе. Приводя в пример один из значительнейших городов, Буэнос-Айрес, автор объявляет его совершенно невозможным для жительства тем, кто сохранил еще хоть малейшую совестливость и нравственность. По поводу одной из наименее упавших южноамериканских республик, Аргентинской, тот же писатель прибавляет: «Изучите эту республику с коммерческой точки зрения, и вы будете поражены безнравственностью, которая здесь всюду выставляет себя напоказ».

Что касается учреждений, то ни один пример не показывает лучше, до какой степени они — продукт расового характера и насколько невозможно переносить их от одного народа к другому. Было бы очень интересно знать, чем станут столь либеральные учреждения Соединенных Штатов, будучи перенесены к низшей расе?

«Эти страны, — замечает Чайльд, говоря о различных испано-американских республиках, — находятся под ферулой[1] президентов, пользующихся столь же неограниченным самодержавием, как и турецкий султан; даже более неограниченным, поскольку они защищены от назойливости и влияния европейской дипломатии. Административный персонал состоит только из их креатур[2].., граждане подают голос за то, что им кажется хорошим, но он не обращает никакого внимания на их голосования... Аргентинская республика — республика только по имени; в действительности это олигархия людей, сделавших из политики торговлю».

Единственная страна, Бразилия, несколько избегла этого глубокого падения, и то только благодаря монархическому режиму, ограждавшему власть от соискательства. Слишком либеральный для этих рас без энергии и без воли, он в конце концов пал. Тотчас же страна впала в полную анархию, и за два или за три года люди, стоящие у власти, до такой степени расхитили казну, что нужно было увеличить налоги на 60%.

Конечно, падение латинской расы, населяющей Южную Америку, обнаруживается не только в политике, но и во всех эле-

---

[1] Т. е. под бдительным надзором (*прим. ред.*).

[2] Т. е. ставленников (*прим. ред.*).

ментах цивилизации. Предоставленные самим себе, эти несчастные республики вернулись бы к чистому варварству. Вся промышленность и вся торговля находятся в руках иностранцев — англичан, американцев и немцев. Вальпараисо сделался английским городом, и в Чили ничего бы не осталось, если бы у него отняли иностранцев. Только благодаря им эти страны сохранили еще внешний лоск цивилизации, напоминающий иногда Европу. Аргентинская республика насчитывает 4 миллиона белых испанского происхождения; не знаю, можно ли было бы назвать из них хоть одного, помимо иностранцев, во главе какого-нибудь истинно крупного предприятия.

Этот страшный упадок латинской расы, предоставленной самой себе, в сопоставлении с процветанием английской расы в соседней стране, составляет один из самых печальных и, вместе с тем, самых поучительных опытов, какие можно привести для подтверждения изложенных мной психологических законов.

Мы видим из этих примеров, что народ не может избавиться от того, что вытекает как следствие из его душевного склада; и если ему это удается, то в очень редкие моменты — так песок, поднятый бурей, кажется, освободился на время от законов тяготения. По нашему мнению, верить, что формы правления и конституции имеют определяющее значение в судьбе народа — значит предаваться детским мечтам. Только в нем самом находится его судьба, но не во внешних обстоятельствах. Все, что можно требовать от правительства, — это то, чтобы оно было выразителем чувств и идей народа, управлять которым оно призвано. По большей части, в силу одного только того факта, что то или другое правительство существует, оно представляет точное отображение народа. Нет ни форм правления, ни учреждений, относительно которых можно было бы сказать, что они абсолютно хороши или абсолютно дурны. Правление дагомейского короля — вероятно, превосходное правление для народа, которым он призван был править; и самая искусная европейская конституция была бы для этого же самого народа хуже выработанного им режима. Вот что, к несчастью, игнорируют многие государственные люди, воображающие, что форма правления есть предмет вывоза и что колонии могут быть управляемы учреждениями метрополии. Столь же резонно было бы стараться убедить рыб жить на воздухе, на том только основании, что воздушным дыханием пользуются все высшие животные. В силу одного только различия своего душевного склада, различные народы не могут долго пребывать под одинаковым режимом.

Ирландец и англичанин, славянин и венгр, араб и француз могут быть удерживаемы под одними законами с величайшими трудностями и ценой беспрерывных революций. Большие империи, состоящие из различных народов, всегда осуждены на эфемерное существование. Если они существовали иногда продолжительное время, как империя моголов, а потом англичане в Индии, то с одной стороны — потому что туземные расы были до такой степени многочисленны, до того различны и, следовательно, до того враждебны друг другу, что они не могли и думать о том, чтобы соединиться против иностранцев; с другой стороны — потому что эти чужеземные властелины имели довольно верный политический инстинкт, чтобы уважать обычаи покоренных народов и предоставить им жить по своим собственным законам.

Нужно было бы написать много книг и даже переделать всю историю с совершенно новой точки зрения, если бы исследователи задались целью показать все следствия, вытекающие из психологического склада народов. Более глубокое изучение его должно было бы стать основанием для политики и для педагогики. Можно даже сказать, что это изучение избавило бы людей от бездны ошибок и многих переворотов, если бы народы вообще могли избегнуть злополучии, вытекающих из свойств их расы, если бы голос разума не заглушался всегда повелительным голосом предков.

## ГЛАВА II

## РАЗЛИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЦИВИЛИЗАЦИИ КАК ВНЕШНЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ДУШИ НАРОДА

*Элементы, из которых образуется цивилизация, составляют внешние проявления души создавших их народов. — Важность этих различных элементов разнообразится от одного народа к другому. — Искусство, литература, учреждения и т. д. играют у разных народов различную роль. — Примеры, представляемые в древности египтянами, греками и римлянами. — Различные элементы цивилизации могут иметь эволюцию, совершенно независимую от общего хода этой цивилизации. — Примеры, представляемые искусством. — Что оно передает. — Невозможность найти в каком-нибудь одном элементе цивилизации мерило ее уровня. — Элементы, обеспечивающие превосходство како-*

*му-нибудь народу. — Элементы, с философской точки зрения, очень низкие, могут быть очень важными с общественной точки зрения.*

Различные элементы: язык, учреждения, идеи, верования, искусство, литература, из которых образуется цивилизация, должны быть рассматриваемы как внешнее проявление души создавших их людей. Но, смотря по эпохам и расам, важность этих элементов как выражения души какого-нибудь народа очень неодинакова.

Трудно в настоящее время встретить книгу, посвященную произведениям искусства, в которой бы не повторялось, что они верно передают мысль народов и служат наиболее существенным выражением их цивилизации.

Без сомнения, часто бывает и так, но не достает еще многого для того, чтобы это правило было абсолютным и чтобы развитие искусства соответствовало всегда интеллектуальному развитию наций. Если есть народы, для которых произведения искусства составляют самое важное выражение их души, то есть, в свою очередь, другие, очень высоко стоящие на лестнице цивилизации, у которых искусство играло только очень второстепенную роль. Если бы предстояло написать историю цивилизации каждого народа, принимая во внимание только один ее элемент, то этот элемент должен был бы разнообразиться от одного народа к другому. Одни народы давали бы возможность лучше узнать искусство; другие — политические и военные учреждения, промышленность и т. д. Этот пункт важно установить с самого начала, потому что он нам даст возможность позже понять, почему различные элементы цивилизации, передаваясь от одного народа к другому, претерпели очень неодинаковые изменения.

Среди народов древности египтяне и римляне представляют собой очень характерные примеры этого неравенства в развитии различных элементов цивилизации и даже различных отраслей, из которых образуется каждый из названных элементов.

Возьмем сперва египтян. У них литература всегда была очень слаба, живопись — очень посредственна. Напротив, архитектура и скульптура имеют шедевры. Их памятники еще теперь вызывают наше удивление. Статуи, которые они нам оставили, могут служить образцами и в настоящее время, а грекам нужен был только очень короткий период, чтобы успеть их превзойти.

От египтян переходим к римлянам, которые играли такую господствующую роль в истории. У них не было недостатка ни в

воспитателях, ни в образцах, так как у них были уже предшественники в лице египтян и греков; и однако они, не успели создать оригинального искусства. Никогда, может быть, ни один народ не обнаружил меньше оригинальности в своих художественных произведениях. Римляне очень мало заботились об искусстве, смотря на него только с утилитарной точки зрения и видя в нем только своего рода предмет ввоза, подобный другим продуктам, например, металлы, благовонные вещества и пряности, которые требовались ими от иностранных народов. Даже тогда, когда они уже были властелинами мира, римляне не имели национального искусства; и даже в эпоху, когда всеобщий мир, богатство и потребности в роскоши развили немного их слабые художественные чувства, они только из Греции выписывали образцы и художников. История римской архитектуры и скульптуры есть не более как дополнительная глава к истории греческой архитектуры и скульптуры.

Но этот великий римский народ, столь незначительный в своем искусстве, поднял на недосягаемую высоту три других элемента цивилизации. Он имел военную организацию, которая обеспечила ему мировое господство; затем — политические и судебные учреждения, с которых мы еще до сих пор берем образцы, и наконец — литературу, которой вдохновлялась наша в течение веков.

Итак, мы поразительно ясно видим неравенство в развитии элементов цивилизации у двух наций, высокая ступень культуры которых не может быть оспариваема, и потому можно заранее предсказать ошибки, в какие рискует попасть тот, кто примет за масштаб только один из этих элементов, например, искусство. Мы только что нашли у египтян чрезвычайно оригинальное и замечательное искусство, за исключением живописи, и очень посредственную литературу. У римлян — очень посредственное искусство без малейшего следа оригинальности, но зато блестящую литературу и, наконец, перворазрядные политические и военные учреждения.

Сами греки, один из народов, обнаруживших свое превосходство в самых разнообразных отраслях, могут быть также приведены в пример, чтобы показать отсутствие параллелизма в развитии различных элементов цивилизации. В гомеровские времена их литература уже была очень блестяща. Еще и теперь песни Гомера рассматриваются как образцы, на которых в течение веков воспитывается университетская молодежь Европы; и, однако, открытия современной археологии показали, что в эпоху

возникновения гомеровских песен греческая архитектура и скульптура были грубо варварскими и состояли только из безобразных подражаний египетской и ассирийской.

Но лучше всего показывают нам эти неравенства в развитии индусы. С точки зрения архитектуры, найдется очень мало народов, которые бы их превзошли. С точки зрения философии, их умозрения достигали такой глубины, какой европейская мысль достигла только в самое недавнее время. Если литература индусов стоит ниже греческой и римской, то все-таки она дала нам несколько замечательных вещей. В области скульптуры индусы, напротив, очень посредственны и значительно ниже греков. В сфере наук и исторических знаний они абсолютно ничтожны, и можно констатировать у них отсутствие точности, чего нельзя встретить ни у одного народа на подобной ступени развития. Их наука — только ребяческие умозрения; их исторические книги — нелепые легенды, не заключающие в себе ни одной хронологической даты и, вероятно, ни одного точного события. Ясно, что изучение одного только искусства было бы недостаточным для определения уровня цивилизации у этого народа.

Много других примеров можно было бы привести для подтверждения сказанного. Существуют расы, которые, никогда не занимая очень высокого положения, успевали, однако, создать себе совершенно индивидуальное искусство, без видимой связи с предшествующими образцами. Таковы были арабы. Менее столетия после того, как их поток нахлынул на старый греко-римский мир, они прежде всего изменили заимствованную ими византийскую архитектуру до того, что невозможно было бы открыть, какими образцами вдохновлялось их творчество, если бы мы не имели пред глазами целого ряда памятников смешанного стиля.

Впрочем, даже тогда, когда какой-нибудь народ не обладает никакими ни художественными, ни литературными способностями, он может создать очень высокую цивилизацию. Таковы были финикийцы, не имевшие иного превосходства, кроме своих коммерческих способностей. Только благодаря их посредничеству и цивилизовался древний мир, различные части которого были приведены ими в соприкосновение друг с другом; но сами они почти ничего не произвели, и история их цивилизации есть только история их торговли.

Наконец, существуют народы, у которых все элементы цивилизации, за исключением искусства, остались в очень низком состоянии. Таковы были моголы. Воздвигнутые ими в Индии памятники, стиль которых не заключает в себе почти ничего

индусского, до такой степени великолепны, что некоторые из нас признаются со стороны компетентных художников самыми прекрасными произведениями рук человеческих; однако никому не придет в голову поместить моголов среди высших рас.

Впрочем, можно заметить, что даже у самых цивилизованных народов искусство достигало высшей ступени развития не всегда в кульминационную эпоху их развития. У египтян и индусов самые совершенные памятники вместе с тем и самые древние; в Европе процветало чудное готическое искусство, удивительные произведения которого не имели себе никогда ничего равного в средние века, рассматриваемые как полуварварская эпоха.

Итак, совершенно невозможно судить об уровне развития какого-нибудь народа только по развитию его искусства. Оно, повторяю, составляет только один из элементов его цивилизации; и вовсе не доказано, что этот элемент точно так же, как литература — самый высокий. Часто, напротив, у народов, стоящих во главе цивилизации (у римлян в древности, у американцев в настоящее время) художественные произведения — самые слабые. Часто также, как мы только что заметили, народы создавали свои литературные и художественные шедевры в полуварварские века.

Итак, можно считать, что период индивидуальности в искусстве есть расцвет его детства или его юности, но не его зрелого возраста, и если принять во внимание, что в утилитарных заботах нового мира, зарю которого мы только едва различаем, роль искусства едва заметна, то можно предвидеть тот день, когда оно будет помещено если не среди низших, то по крайней мере — среди совершенно второстепенных проявлений цивилизации.

Впрочем, очень много доводов можно выставить против того мнения, что искусство прогрессирует одновременно с остальными элементами цивилизации: оно имеет свою самостоятельную и специальную эволюцию. Возьмем ли Египет, Грецию или различные народы Европы, мы всегда констатируем тот общий закон, что лишь только искусство достигло известного уровня, создав известные шедевры, начинается немедленно период подражания, за которым неизбежно следует период упадка, совершенно независимый от движения остальных элементов цивилизации. Этот период упадка продолжается до тех пор, пока какая-нибудь политическая революция, нашествие, принятие новой религии или какой-нибудь другой фактор не введут в искусство новые элементы. Таким образом в средние века крестовые походы принесли знания и новые идеи, давшие искусству толчок,

который имел последствием преобразование романского стиля в готический. Таким же образом несколько веков спустя возрождение изучения греко-римской жизни повлекло за собой преобразование готического искусства в искусство эпохи Возрождения. Точно так же, в Индии нашествия мусульман привели к преобразованию индусского искусства.

Важно также заметить, что, так как искусство выражает в общих чертах известные потребности цивилизации и соответствует известным чувствам, то оно осуждено претерпевать согласные с этими потребностями изменения и даже совершенно исчезнуть, если сами родившие его потребности и чувства случайно изменяются или исчезают. Из этого еще вовсе не следует, что цивилизация в упадке, и здесь мы опять видим отсутствие параллелизма между эволюцией искусства и эволюцией остальных элементов цивилизации. Ни в одну историческую эпоху цивилизация не была так высока, как в настоящее время, и ни в одну эпоху, может быть, не было более банального и менее индивидуального искусства. Так как исчезли религиозные верования, идеи и потребности, делавшие из искусства существенный элемент цивилизации в эпохи, когда оно считало за святыни храмы и дворцы, то и само искусство стало чем-то побочным, предметом развлечения, которому невозможно посвящать ни много времени, ни много денег. Не будучи более предметом необходимости, оно может быть только ремесленным и подражательным. Нет в настоящее время ни одного народа, который бы имел национальное искусство, и каждый в архитектуре, как в скульптуре, живет только более или менее удачными копиями с отдаленных времен.

Искусство — только низший род промышленности, когда оно перестает быть выражением потребностей, идей и чувств известной эпохи. Я удивляюсь теперь искренним произведениям наших средневековых художников, рисовавших святых, рай и ад — предметы очень существенные тогда и составлявшие главный центр существования; но когда художники, у которых уже нет настоящих верований, покрывают наши стены теми же сюжетами, силясь вернуться к технике другого века, то они делают только жалкие подражания, совершенно не интересные для настоящего времени и которые будет презирать будущее. Милые наивности ребенка вызывают отвращение, когда им начинает подражать старик.

То, что сейчас сказано нами о живописи, приложимо и к нашей архитектуре, пробавляющейся в настоящее время подражаниями

формам, соответствующим потребностям и верованиям, каких у нас уже нет. Единственная искренняя архитектура наших дней, потому что она только одна соответствует потребностям и идеям нашей цивилизации, — это архитектура пятиэтажного дома, железнодорожного моста и вокзала. Это утилитарное искусство также характерно для известной эпохи, как были некогда готическая церковь и феодальный замок; а для будущей археологии большие современные гостиницы и готические соборы будут представлять одинаковый интерес, потому что они будут последовательными страницами тех каменных книг, которые оставляет после себя каждый век, и, вместе с тем, она отбросит с презрением, как негодные документы, жалкие подделки, составляющие все современное искусство.

Ошибка наших художников заключается в том, что они желают оживить формулы, соответствующие эстетическим потребностям и чувствам, каких у нас уже нет. Наше жалкое классическое воспитание набило их головы отжившими понятиями и внушает им эстетический идеал, совершенно не интересный для наших дней. Все меняется с веками — люди, их потребности и верования. Во имя каких принципов решаются утверждать, что одна только эстетика не подчиняется закону развития, который управляет вселенной? Каждая эстетика являет собой идеал прекрасного известной эпохи и известной расы, и, в силу одного того, что эпохи и расы бывают различные, и идеал прекрасного должен постоянно меняться. С точки зрения философской, все идеалы равноценны, потому что они составляют только временные символы. Когда влияние греков и римлян, в течение стольких веков фальсифицирующее европейский ум, наконец исчезнет из нашего воспитания, и когда мы научимся самостоятельно смотреть вокруг себя, то для нас сделается ясным, что мир обладает памятниками, представляющими, по меньшей мере, одинаковую эстетическую ценность с ценностью Парфенона и имеющими для современных народов гораздо высший интерес.

Из всего вышесказанного можно заключить, что если искусство, как и все элементы цивилизации, составляет внешнее проявление души народа, который их создал, то это еще не значит, что оно составляет для всех народов точное выражение их мысли.

Это разъяснение было необходимо. Ибо важностью, какую имеет у известного народа тот или другой элемент цивилизации, измеряется преобразующая сила, прилагаемая этим народом к тому же элементу, когда он его заимствует у чужеземной расы. Если, например, индивидуальность его главным образом прояв-

ляется в искусстве, то он не в состоянии будет воспроизвести ввезенных образцов, не наложив на них глубокого своего отпечатка. Напротив, он очень мало изменит элементы, которые не могут служить истолкователями его гения. Когда римляне заимствовали архитектуру у греков, они не делали в ней никаких коренных изменений, потому что они больше всего вкладывали свою душу отнюдь не в свои памятники.

И, однако, даже у такого народа, совершенно лишенного оригинальной архитектуры, вынужденного искать себе образцы и художников за границей, искусство должно в несколько веков подчиниться влиянию среды и стать, почти вопреки себе, выражением расы, которая его заимствует. Храмы, дворцы, триумфальные арки, барельефы античного Рима — работы греков или греческих учеников; и, однако, характер этих памятников, их назначение, их орнаменты, даже их размеры не будят больше в нас поэтических и нежных воспоминаний об афинском гении, но больше — идею силы, господства, военной страсти, которая приподнимала великую душу Рима. Таким образом, даже в той сфере, где раса обнаруживает меньше всего оригинальности, она не может делать шага, чтобы не оставить какого-нибудь следа, который принадлежит только ей и раскрывает нам нечто из ее душевного склада и из ее затаенных мыслей.

Действительно, настоящий художник, будь он архитектор, литератор или поэт, обладает магической способностью передавать в великолепных обобщениях душу известной эпохи и известной расы. Очень впечатлительные, почти бессознательные, мыслящие преимущественно образами, очень мало резонерствующие, художники являются самым верным зеркалом того общества, где они живут; их произведения — самые верные документы, на которые можно указать, чтобы воспроизвести истинный образ какой-нибудь цивилизации. Они слишком бессознательны, чтобы не быть искренними, и слишком восприимчивы к впечатлениям окружающей их среды, чтобы не передавать верно ее идей, чувств, потребностей и стремлений. Свободы у них нет никакой, и это составляет их силу. Они заключены в тесном круге традиций, идей, верований, совокупность которых образует душу расы и эпохи, наследие чувств, мыслей и внушений, влияние которых на них всемогуще, потому что оно управляет темной сферой бессознательного, в которой вырабатываются их произведения. Если бы, не имея этих произведений, мы знали о минувших веках только то, что повествуют нам нелепые рассказы и тенденциозные сочинения древних историков, то

истинное прошлое каждого народа было бы для нас почти столь же скрыто, как прошлое той затопленной морем таинственной Атлантиды, о которой говорит Платон.

Свойство художественного произведения заключается в том, чтобы искренно выражать потребности и идеи, вызвавшие его на свет; но если художественное произведение — верный язык, то этот язык часто трудно истолковать. Между произведением и создавшей его бессознательной мыслью существует интимная связь; но как найти нить, позволяющую нам восходить от одного к другой? Эта мысль, формировавшаяся изо дня в день из бесчисленных влияний среды, верований, потребностей, накопленная наследственностью, часто непонятна для людей другой расы и другого века; однако она менее непонятна, когда передается нам посредством камня, чем когда доходит до нас посредством слов; ибо слова — эластичные формы, покрывающие одним и тем же одеянием совершенно несходные идеи. Из всех различных языков, рассказывающих прошлое, произведения искусства, в особенности произведения архитектуры, — еще самые понятные. Более искренние, чем книги, менее искусственные, чем религия и язык, они передают одновременно чувства и потребности. Архитектор — строитель жилища человека и обители богов; а ведь всегда в ограде храма или около домашнего очага вырабатывались первые причины событий, составляющих историю.

Из вышесказанного мы можем заключить, что если различные элементы, из которых образуется цивилизация, являются верным выражением души создавшего их народа, то некоторые из них воспроизводят душу этого народа гораздо лучше, чем другие. Но, так как природа этих элементов разнообразится от одного народа к другому, от одной эпохи к другой, то очевидно, что невозможно найти среди них хотя бы один, которым можно было бы пользоваться как общим мерилом для различных цивилизаций.

Очевидно также, что нельзя установить между этими элементами иерархического распределения, ибо распределение это меняется от века к веку по мере того, как социальная полезность самих рассматриваемых элементов меняется с эпохами.

Если судить о важности различных элементов цивилизации с чисто утилитарной точки зрения, то пришлось бы сказать, что самые важные элементы — те, которые дают возможность одному народу поработить другие, т. е. военные учреждения. Но тогда пришлось бы поставить греков (художников, философов и ученых) ниже тяжеловесных римских когорт; мудрых и ученых

египтян — ниже полуварварских персов; индусов — ниже тоже полуварварских моголов.

Этими тонкими различиями история не занимается. Единственное превосходство, перед которым она всегда преклоняется, — это военное; но последнее очень редко сопровождается соответствующим превосходством в остальных элементах цивилизации или, по крайней мере, не дает ему долго существовать рядом с собою. К несчастью, военное превосходство у какого-нибудь народа не может ослабеть без того, чтобы он не был осужден на скорое исчезновение. Всегда бывало так, что когда высшие народы достигали апогея цивилизации, они должны были уступать варварам, значительно ниже их стоящим по уму, но обладающим известными качествами характера и воинственности, которые слишком утонченными цивилизациями всегда уничтожались.

Итак, нужно прийти к тому печальному выводу, что те элементы цивилизации, которые с философской точки зрения очень низки, с общественной точки зрения являются самыми важными. Если законы будущего должны быть такими же, как законы прошедшего, то можно сказать, что для народа самое вредное — если он достигает слишком высокой ступени развития и культуры. Народы гибнут по мере того, как портятся качества их характера, составляющие основу их души, и эти качества портятся по мере того, как растут их цивилизация и развитие.

## ГЛАВА III

## КАК ПРЕОБРАЗОВЫВАЮТСЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, РЕЛИГИИ И ЯЗЫКИ

*Высшие расы не могут точно так же, как и низшие, резко изменить элементы своей цивилизации. — Противоречия, представляемые народами, переменившими свою религию, свой язык и свое искусство. — В чем видны эти перемены. Глубокие изменения, каким подверглись буддизм, брамanизм, исламизм и христианство в зависимости от принявших их рас. — Изменения, каким подвергаются учреждения и языки в зависимости от принимающей их расы. — Слова, рассматриваемые как соответствующие в различных языках, представляют совершенно несходные идеи и способы мышления. — Невозможность вследствие этого*

*перевода некоторых языков на чужие. — Почему в исторических сочинениях цивилизация какого-нибудь народа иногда претерпевает глубокие изменения. — Пределы взаимного влияния различных цивилизаций.*

В одном из своих трудов я показал, что высшие расы не в состоянии навязать свою цивилизацию низшим. Перебирая одно за другим самые сильные средства воздействия, какими располагают европейцы, — воспитание, учреждения и верования — я доказал абсолютную недостаточность этих средств воздействия для того, чтобы изменить социальное состояние низших народов. Я пытался также установить, что поскольку элементы какой-нибудь цивилизации соответствуют известному, вполне определенному душевному складу, созданному долгим воздействием наследственности, то было бы невозможно переменить их, не изменив одновременно душевного склада, из которого они возникают. Одни только века, а не завоеватели, могут выполнить подобный труд. Я показал также, что только через целый ряд последовательных этапов, аналогичных тем, через которые переходили варвары, разрушители греко-римской цивилизации, народ может подниматься по лестнице цивилизации. Если посредством воспитания стараются избавить его от таких этапов, то этим разрушают только его нравственность и умственные способности и, в конце концов, низводят его до гораздо низшего уровня, чем тот, какого он достиг сам.

Аргументация, применимая к низшим расам, вполне приложима и к высшим. Если принципы, изложенные в этом труде, верны, то мы должны утверждать, что и высшие расы не могут резко изменить своей цивилизации. Им тоже нужны время и последовательные этапы. Если иногда кажется, что какой-нибудь высший народ принял верования, учреждения, язык и искусство, совершенно отличные от тех, какие были у его предков, то в действительности это возможно только после того, как он их медленно и глубоко изменил с тем, чтобы привести в соответствие со своим душевным складом.

Очевидно, что история противоречит на каждой странице только что высказанному положению. Там можно очень часто видеть, что народы меняют элементы своей цивилизации, принимают новые религии, новые языки, новые учреждения. Одни оставляют свои многовековые верования, чтобы перейти в христианство, буддизм или ислам; другие преобразовывают свой язык; третьи, наконец, коренным образом изменяют свои учреж-

дения и искусство. Даже кажется, что достаточно какого-нибудь завоевателя или апостола, или даже простого каприза, чтобы очень легко производить подобные перемены.

Но, рассказывая нам про эти резкие перевороты, история исполняет только обычное свое дело: создавать и распространять в продолжение многих лет заблуждения. Когда изучаешь ближе все эти мнимые перемены, то замечаешь скоро, что легко меняются только названия вещей, между тем как сущности, скрывающиеся за этими словами, продолжают жить и изменяются только крайне медленно.

Чтобы убедиться в этом и показать, вместе с тем, как за похожими названиями совершается медленное развитие вещей, пришлось бы изучить элементы каждой цивилизации у различных народов, т. е. написать совершенно новую их историю. К этой трудной работе я уже приступал во многих томах и не намерен ее здесь возобновлять. Оставляя в стороне бесчисленные элементы, из которых образуется цивилизация, я выберу только один из них — искусство.

Однако, прежде, чем приступить (в особой главе) к изучению эволюции, совершаемой искусством при переходе от одного народа к другому, я скажу несколько слов об изменениях, испытываемых остальными элементами цивилизации, с тем, чтобы показать, что законы, приложимые к одному из этих элементов, приложимы также ко всем остальным, и что, если искусство народов находится в связи с известным душевным складом, то и язык, учреждения, верования и т. д. находятся в такой же взаимной зависимости и, следовательно, не могут круто меняться и переходить от одного народа к другому.

Эта теория может казаться парадоксальной, поскольку она касается религиозных верований, и, однако, в истории именно этих верований можно найти лучшие примеры, чтобы доказать, что народу так же невозможно круто изменить элементы своей цивилизации, как индивиду изменить свой рост или цвет своих глаз.

Без сомнения, всякому известно, что все великие религии, браманизм, буддизм, христианство, ислам, вызвали массовые обращения среди целых рас, которые формально сразу их приняли; но когда углубляешься немного в изучение этих обращений, то сразу можно заметить, что если и переменили что-нибудь народы, то только название своей старой религии, а не самую религию; что в действительности принятые верования подверглись изменениям, необходимым для того, чтобы

примкнуть к старым верованиям, которым они пришли на смену и по отношению к которым были только простым продолжением.

Изменения, испытываемые верованиями при переходе от одного народа к другому, часто бывают даже столь значительны, что вновь принятая религия не имеет, никакого видимого родства с той, название которой она сохраняет. Лучший пример представляет нам буддизм, который после того, как был перенесен в Китай, до того стал там неузнаваем, что ученые сначала приняли его за самостоятельную религию и потребовалось очень много времени, чтобы узнать, что эта религия — просто буддизм, видоизмененный принявшей его расой. Китайский буддизм — вовсе не буддизм Индии, сильно отличающийся от буддизма Непала, а последний, в свою очередь, удаляется от буддизма Цейлона. В Индии буддизм был только схизмой предшествовавшего ему браманизма (от которого он в сущности очень мало отличается), точно так же, как в Китае — схизмой прежних верований, к которым он тесно примыкает.

То, что строго доказано для буддизма, не менее верно для браманизма. Так как расы Индии чрезвычайно различны, то легко было допустить, что под одинаковыми названиями у них должны были быть чрезвычайно различные религиозные верования. Несомненно, все браманистские племена считают Вишну и Шиву своими главными божествами, а Веды — своими священными книгами; но эти главные божества оставили в религии только свои имена, священные же книги — только свой текст. Рядом с ними образовались бесчисленные культы, в которых можно находить в зависимости от расы самые разнообразные верования: монотеизм, политеизм, фетишизм, пантеизм, культ предков, демонов, животных, и т. д. Если судить о культах Индии только по тому, что говорят Веды, то невозможно было бы составить ни малейшего представления о божествах и верованиях, господствующих на громадном полуострове. Заглавие священных книг почитается у всех браминов, но от религии, которой эти книги учат, вообще ничего не остается.

Даже сам ислам, несмотря на простоту его монотеизма, не избег этого закона: существует громадное расстояние между исламом Персии, Аравии и Индии. Индия, в сущности политеистическая, нашла средства сделать политеистической наиболее монотеистическую из религий. Для 50 миллионов мусульман-индусов Магомет и святые ислама являются только новыми божествами, прибавленными к тысячам других.

Ислам даже не успел установить того равенства всех людей, которое в других местах было одной из причин его успеха: мусульмане Индии применяют, подобно другим индусам, систему каст. На Декане, среди дравидийских народностей, ислам стал до того неузнаваем, что нельзя его более отличать от браманизма; он бы от него вовсе не отличался, если бы не имя Магомета и не мечеть, где поклоняются обоготворенному пророку.

Вовсе не нужно идти в Индию, чтобы видеть глубокие изменения, каким подвергался ислам, переходя от одной расы к другой. Достаточно посмотреть на Алжир. Он заключает в себе две совершенно различные расы: арабов и берберов, одинаково мусульман. Но от ислама первых до исламизма последних очень далеко; полигамия Корана превратилась в моногамию у берберов, религия которых есть только соединение ислама со старым язычеством, царившим между ними в течение многих веков, когда еще господствовал Карфаген.

И религии Европы не ускользнули от общего закона — видоизменяться сообразно с душой принимающих их рас. Как и в Индии, буква догматов, установленных текстами, осталась неизменной; но это только простые формулы, смысл которых каждый истолковывает по-своему. Под общим названием христиан мы находим в Европе настоящих язычников, например, нижнебретонца, молящегося идолам; фетишистов, например, испанца, обожающего амулеты; политеистов, например, итальянца, почитающего за различные божества Мадонн каждого селения. Ведя исследование дальше, можно было бы легко показать, что великий религиозный раскол Реформации был необходимым следствием истолкования одной и той же религиозной книги различными расами: северные расы сами желают исследовать свою веру и регулировать свою жизнь; южные же народы остались далеко позади с точки зрения независимости и философского развития. Ни один пример не может быть более убедительным.

Но это факты, развитие которых нас завлекло бы очень далеко. Нам придется еще меньше места посвятить двум остальным основным элементам цивилизации, учреждениям и языку, потому что нужно было бы вдаться в технические подробности, которые слишком выходили бы из границ этого труда. То, что верно для верований, одинаково верно и для учреждений; эти последние не могут передаваться от одного народа к другому, не подвергаясь изменениям. Не желая утомлять читателя массой примеров, я прошу его просто обратить внимание на то, до какой степени в новейшие времена изменяются у разных рас одни и те

же учреждения, навязанные силой или убеждением, несмотря на то, что сохраняют одинаковые названия. Я это показал в предыдущей главе на примере различных стран Америки.

Учреждения, в действительности, составляют только следствие необходимостей, на которые воля одного поколения не может оказать никакого действия. Для каждой расы и для каждого фазиса развития этой расы существуют условия существования, чувств, мыслей, мнений, наследственных влияний, предполагающих одни учреждения и исключающих другие. Правительственные ярлыки очень мало значат. Никогда не было дано какому-нибудь народу выбирать учреждения, которые казались ему лучшими. Если очень редкий случай позволяет ему их выбирать, то он не умеет их сохранять. Многочисленные революции, беспрерывные изменения конституций, которым французы предаются уже в продолжение века, составляют опыт, который должен был бы уже давно выработать у государственных людей определенный взгляд на этот счет. Я, впрочем, думаю, что только в голове темных масс и в узкой мысли некоторых фанатиков способна еще держаться та идея, что важные общественные перемены могут совершаться путем декретов. Единственная полезная роль учреждений заключается в том, чтобы дать законную санкцию изменениям, которые уже приняты нравами и общественным мнением. Они следуют за этими переменами, но не предшествуют им. Не учреждениями изменяются характер и мысль людей. Не ими можно сделать народ религиозным или скептиком, научить его руководить самим собою вместо того, чтобы беспрестанно требовать от государства обуздывающих его мер.

Я не буду долго останавливаться на языках, только напомню, что даже тогда, когда язык уже установился благодаря письменности, он необходимо изменяется, переходя от одного народа к другому, и это именно делает столь нелепой идею о всемирном языке. Менее чем в два столетия после завоевания галлы, несмотря на свое неизмеримое численное превосходство, приняли латинский язык; но этот язык народ скоро переделал сообразно своим потребностям и особенной логике своего ума. Из этих видоизменений получился в конце концов современный французский язык.

Различные расы не могут долгое время говорить на одном и том же языке. Случайности завоеваний, коммерческих интересов могут, без сомнения, заставить какой-нибудь народ принять чужой язык вместо своего родного, но в течение немногих поколений заимствованный язык совершенно преобразуется. Преобра-

зование будет тем глубже, чем раса, у которой язык был заимствован, сильнее отличается от той, которая его заимствовала.

Всегда можно встретить несходные языки в странах, где существуют различные расы. Индия представляет этому блестящий пример. Большой полуостров населен очень многими и очень различными расами; ученые насчитывают там 240 языков, некоторые из них отличаются друг от друга гораздо больше, чем греческий от французского. Двести сорок языков, не говоря уже о почти трехстах диалектах! Между этими языками самый распространенный — еще совершенно новый, так как он существует не дольше трех столетий; это индостанский, образовавшийся из соединения персидского и арабского, на которых говорили завоеватели-мусульмане, с индусским, одним из наиболее распространенных в завоеванных странах языков. Победители и побежденные вскоре забыли свой первобытный язык, чтобы говорить на новом языке, приспособленном к потребностям новой расы, образовавшейся путем скрещивания различных совместно живущих народов.

Я не могу дольше останавливаться на этом вопросе и вынужден ограничиться указанием основных идей. Если бы я мог входить в необходимые подробности, то пошел бы дальше и показал бы, что когда народы различны, то слова, которые мы считаем у них равнозначными, в действительности представляют до такой степени далекие друг от друга способы мышления и чувствования, что вполне верный перевод с одного языка на другой невозможен. Это легко понять, видя, как на протяжении нескольких веков в одной и той же стране, у одной и той же расы одно и то же слово соответствует совершенно несходным понятиям.

Старинные слова представляют понятия людей прежнего времени. Слова, бывшие вначале знаками действительных вещей, вскоре утратили свой смысл вследствие изменений в идеях, нравах и обычаях. Продолжают рассуждать с помощью этих привычных знаков, изменить которые было бы слишком трудно, но нет уже никакого соответствия между тем, что они представляли ранее, и тем, что обозначают в настоящее время. Когда речь идет о народах, очень удаленных от нас, принадлежащих к цивилизациям, не имеющим никакого сходства с нашими, то переводы могут дать только слова, совершенно лишенные своего настоящего первоначального смысла, т. е. вызывающие в нашем уме идеи, не находящиеся ни в какой связи с теми, какие они некогда вызывали. Это явление особенно поразительно для древних

языков Индии. У этого народа (индусов) с колеблющимися идеями, логика которого не имеет никакого родства с нашей, слова никогда не имели того точного и определенного смысла, какой им, в конце концов, дали в Европе века и склад нашего ума. Есть книги, например, Веды, перевод которых невозможен[1]. Проникать в мысль индивидуумов, с которыми мы живем, но от которых нас отделяют некоторые различия в возрасте, в половом отношении, в воспитании, уже очень трудно; проникать же в мысль рас, над которыми тяготеет пыль веков, — труд, который никогда не удастся выполнить ни одному ученому. Все доступное нам знание служит только для того, чтобы показать полную бесполезность подобных попыток.

Как бы ни были кратки и мало развиты предыдущие примеры, они вполне достаточны для того, чтобы показать, каким глубоким изменениям подвергаются элементы цивилизации у народов, их заимствующих. Заимствование кажется часто значительным, потому что по названию оно бывает иногда очень рельефно; но усвоение его является всегда в действительности очень ничтожным. С веками, благодаря медленной работе поколений и вследствие постепенных прибавлений, заимствованный элемент сильно отличается от своего первоначального прототипа. С этими постепенными изменениями история, интересующаяся главным образом внешностью, вовсе не считается, и когда она нам говорит, например, что какой-нибудь народ принял новую религию, то мы сейчас же представляем себе не те верования, какие, в действительности, были им приняты, но именно ту религию, какая нам известна в настоящее время. Нужно глубоко изучить эти медленные приспособления, чтобы хорошо понять их генезис и уловить различия, отделяющие слова от сущностей.

Итак, история цивилизации состоит из медленных приспособлений, из ничтожных постепенных изменений. Если они нам кажутся внезапными и значительными, то потому, что мы, как в геологии, пропускаем промежуточные фазы и рассматриваем только крайние.

В действительности, как бы ни был развит и одарен какой-нибудь народ, его способность усваивать тот или другой новый

---

[1] Говоря о многочисленных попытках перевода Вед, выдающийся санскритолог Барт прибавляет: «Один только результат открывается из этих столь различных и иногда столь противоречивых изучений — наше бессилие перевести эти документы с сохранением настоящего их значения».

элемент цивилизации всегда очень ограничена. Мозговые клеточки не могут усвоить себе в день то, на создание чего потребовались века, и что было приспособлено к чувствам и потребностям совершенно различных организмов. Одни только медленные наследственные приобретения допускают возможность подобных ассимиляций. Когда мы перейдем к изучению эволюции искусства у наиболее развитого из народов древности, у греков, то увидим, что ему нужно было много веков для того, чтобы выйти из грубых подражаний ассирийским и египетским образцам и последовательными этапами дойти до шедевров, которым еще поныне удивляется человечество.

И однако все народы, следовавшие друг за другом в истории, исключая некоторые первобытные народы, каковы египтяне и халдеи, только и делали, что усваивали себе элементы цивилизации, составлявшие наследие прошлого, изменяя их сообразно своему душевному складу. Развитие цивилизаций совершалось бы несравненно медленнее, и история различных народов была бы только вечным повторением, если бы они не могли воспользоваться материалами, выработанными до них. Цивилизации, созданные 7 или 8 тысяч лет тому назад жителями Египта и Халдеи, образовали источник материалов, куда поочередно приходили черпать все нации. Греческое искусство родилось из искусства, созданного на берегах Тигра и Нила. Из греческого стиля получился римский, который, в свою очередь, смешанный с восточными влияниями, дал начало последовательно византийскому, романскому и готическому стилям, разнообразящимся в зависимости от гения и возраста народов, у которых они возникли, но имеющим общее происхождение.

То, что мы сейчас сказали об искусстве, приложимо ко всем элементам цивилизации, учреждениям, языкам и верованиям. Европейские языки происходят от одного языка-праотца, на котором некогда говорили жители центрального плоскогорья Азии. Наше право — детище римского права, которое, в свою очередь, родилось от предшествовавших прав. Сами наши науки не были бы тем, что они представляют собой теперь, без медленной работы веков. Великие основатели современной астрономии: Коперник, Кеплер, Ньютон находятся в связи с Птолемеем, сочинения которого служили учебными руководствами вплоть до XV века; Птолемей же примыкает через Александрийскую школу к египтянам и халдеям. Мы видим, таким образом, несмотря на страшные пробелы, которыми полна история цивилизации, медленную эволюцию наших знаний, заставляющую нас восходить

через века и империи к заре этих древних цивилизаций, причем эти последние современная наука пытается ныне связать с теми первобытными временами, когда человечество не имело еще истории. Но если источник общий, то изменения — прогрессивные или регрессивные, — каким подверглись заимствованные элементы у каждого народа, сообразно его душевному складу, очень различны. История этих изменений и составляет историю цивилизаций.

Мы только что показали, что основные элементы, из которых образуется цивилизация, индивидуальны для каждого народа, что они составляют не только результат, но даже выражение структуры его души, и не могут, следовательно, переходить от одной расы к другой, не подвергаясь очень глубоким изменениям. Мы также видели, что величину этих изменений маскируют с одной стороны лингвистические потребности, заставляющие нас обозначать одинаковыми словами совершенно различные вещи, а с другой — неизбежные недостатки исторических сочинений, обращающих наше внимание только на крайние формы цивилизации и не показывающих нам соединяющих их промежуточных форм. Переходя в следующей главе к общим законам эволюции искусств, мы сумеем показать еще более ясно последовательность изменений, совершающихся в основных элементах какой-нибудь цивилизации по мере перехода их от одного народа к другому.

## ГЛАВА IV

## КАК ПРЕОБРАЗОВЫВАЮТСЯ ИСКУССТВА

*Применения вышеизложенных принципов к изучению эволюции искусств у восточных народов. — Египет. — Религиозные идеи, от которых происходит его искусство. — Чем стало его искусство после перенесения его к различным расам: эфиопам, грекам и персам. — Первобытный низкий уровень греческого искусства. — Медленность его развития. — Принятие и развитие в Персии греческого, египетского и ассирийского искусств. — Преобразования, испытываемые искусством, зависят от расы, но нисколько не от религиозных верований. — Примеры, представляемые большими изменениями, каким подверглось арабское искусство в зависимости от рас, принявших ислам. — Приме-*

*нение наших принципов к изменению происхождения и развития индусского искусства. — Индия и Греция черпали из одного источника, но ввиду различия рас они пришли к искусствам, не имеющим никакого родства. — Громадные изменения, каким подверглась архитектура в Индии, в зависимости от населявших ее рас и несмотря на сходство верований.*

Исследуя отношения, связывающие душевный склад известного народа с его учреждениями, верованиями и языком, я должен был ограничиться на этот счет краткими указаниями. Чтобы осветить разносторонне подобные вопросы, нужно было бы написать тома.

Что касается искусства, то здесь ясное и точное изложение несравненно легче. Учреждения, верования — вещи сомнительной определенности и очень трудно поддающиеся объяснению. Нужно изучать сущности, меняющиеся с каждой эпохой и скрывающиеся за мертвыми текстами, посвятить себя всецело аргументации и критике, чтобы, в конце концов, прийти к спорным выводам. Напротив, художественные произведения, в особенности памятники, очень определенны и легко поддаются истолкованию. Каменные книги — самые ясные из книг, единственные никогда не лгущие, и на этом основании я им отвожу главное место в своих трудах по истории цивилизаций Востока. Я всегда питал большое недоверие к литературным документам. Они часто вводят в заблуждение и редко учат. Памятник никогда не обманывает и всегда учит. Он лучше всего хранит мысль исчезнувших народов. Нужно сожалеть об умственной слепоте специалистов, желающих находить на них только надписи.

Итак, мы кратко исследуем, каким образом искусства являются выражением душевного склада какого-нибудь народа и как они преобразовываются, переходя от одной цивилизации к другой.

В этом исследовании я займусь только восточным искусством. Генезис и преобразование европейского искусства подчинялись одинаковым законам; но чтобы показать его эволюцию у различных народов, нужно было бы входить в подробности, каких не допускают чрезвычайно тесные рамки этого исследования.

Возьмем сначала искусство Египта и посмотрим, чем оно некогда стало, переходя последовательно к трем различным расам: неграм Эфиопии, грекам и персам.

Из всех цивилизаций, когда-либо процветавших на земном шаре, цивилизация Египта наиболее полно вылилась в своем

искусстве. Она выразилась в нем с такой силой и ясностью, что художественные типы, родившиеся на берегах Нила, могли годиться для одного только Египта и быть приняты другими народами только после того, как они подверглись значительным изменениям.

Египетское искусство, в особенности архитектура, есть выражение особенного идеала, который в продолжение 50 веков постоянно интересовал весь народ. Египет мечтал создать человеку нетленное жилище ввиду его эфемерного существования. Эта раса, вопреки стольким другим, презирала жизнь и лелеяла мысль о смерти.

Более всего ее занимала неподвижная мумия, которая своими покрытыми эмалью глазами в своей золотой маске вечно созерцает в глубине своего темного жилища таинственные иероглифы. Не опасаясь никакой профанации в своем гробовом доме, огромном, как дворец, среди расписанных и покрытых изваяниями стен бесконечных коридоров, эти мумии находили здесь все, что прельщало человека в течение его короткого земного существования. Для них копались подземелья, воздвигались обелиски, пилоны, пирамиды, для них же обтесывались задумчивые колоссы, сидящие с выражением спокойствия и величия на своих каменных тронах.

Все прочно и массивно в этой архитектуре, потому что она стремилась быть вечной.

Если бы из всех народов древности нам были известны только одни египтяне, то мы за всем тем могли бы утверждать, что искусство — самое верное выражение создавшей его расовой души.

Очень различные друг от друга народы: эфиопы (низшая раса), греки и персы (высшие расы), заимствовали свое искусство или у одного Египта, или частью у Египта, частью у Ассирии. Посмотрим же, чем оно стало в их руках.

Возьмем сначала самый низший из только что поименованных нами народов, эфиопов.

Известно, что в очень раннюю эпоху египетской истории (XXIV династия) народы Судана, воспользовавшись анархией и упадком Египта, завладели некоторыми из его провинций и основали царство, имевшее последовательно своей столицей Напату и Мероэ и сохранившие свою независимость в продолжение многих веков. Ослепленные цивилизацией побежденных, они пытались подражать их памятникам и искусству; но эти подражания, образцы которых у нас имеются, большей частью грубые оболваненные статуи. Эти негры были варварами; слабое разви-

тие их мозга осудило их на застой; и действительно, несмотря на цивилизующее влияние египтян, продолжавшееся в течение многих веков, они никогда не вышли из варварства. Нет примера ни в древней, ни в современной истории, чтобы какое-нибудь негритянское племя возвысилось до известного уровня цивилизации; всякий раз, когда в силу одной из тех случайностей, которые в древности сложились в Эфиопии, а в наши дни — в Гаити, высокая цивилизация попадала в руки негритянской расы, эта цивилизация быстро принимала очень плачевные формы.

Другая раса, тогда тоже варварская, но белая, греческая раса заимствовала у Египта и Ассирии первые образцы своего искусства, и она также сначала ограничивалась безобразными подражаниями. Произведения искусства этих двух великих цивилизаций были доставлены ей финикийцами, тогдашними властелинами над морскими путями, соединяющими берега Средиземного моря, и народами Малой Азии, хозяевами сухих путей, ведших в Ниневию и Вавилон.

Каждому хорошо известно, насколько, в конце концов, греки поднялись выше своих образцов. Но открытия современной археологии также доказали, насколько грубы были их первые оболваненные статуи, и что им нужны были века, чтобы дойти до шедевров, завоевавших себе бессмертие. На этот тяжелый труд — создать оригинальное искусство, оставившее за собой позади иностранное, греки потратили около 700 лет; но успехи, сделанные ими в последний век, значительнее успехов всех предшествовавших веков. Больше всего времени требуется какому-нибудь народу для прохождения не высших этапов цивилизации, а низших. Самые древние произведения греческого искусства, произведения сокровищницы в Микенах, относящиеся к XII веку до Р. Х., обнаруживают совершенно варварские опыты, грубые копии с восточных образцов; шесть веков спустя искусство остается также еще восточным; Аполлон Тенейский и Аполлон Орхоменский чрезвычайно похожи на египетские статуи; но скоро успехи становятся очень быстрыми, и век спустя мы уже встречаем Фидия и чудные статуи Парфенона, т. е. искусство, освободившееся от своего восточного происхождения и стоящее значительно выше образцов, которыми оно вдохновлялось в течение столь долгого времени.

То же самое было с архитектурой, хотя этапы ее развития труднее установить. Мы не знаем, какими могли быть дворцы гомеровских поэм около IX века до Р. Х.; но медные стены, разноцветные крыши, золотые и серебряные животные, охраняющие

ворота, заставляют невольно вспомнить об ассирийских дворцах, облицованных бронзовыми досками и эмалированными кирпичами и охраняемых изваянными быками. Во всяком случае, нам известно, что тип наиболее древних дорических греческих колонн, которые, по-видимому, восходят к VII веку, можно найти в Египте, в Карнаке и в Бени-Хасане, что ионическая колонна заимствовала многие из своих частей у Ассирии; но мы также знаем, что из этих чужеземных элементов, сначала наложенных друг на друга, потом слившихся и, наконец, преобразовавшихся, возникли новые колонны, совершенно отличные от своих первобытных образцов.

На другом конце древнего мира Персия показывает нам пример аналогичного заимствования и развития, но развития, не успевшего достигнуть своего апогея, потому что оно было круто остановлено чужеземным завоеванием. Персия не имела семи столетий, как Греция, но только два века, чтобы создать себе искусство. Единственный народ, арабы, успел до сих пор выработать оригинальное искусство в столь короткое время.

История персидской цивилизации начинается только с Кира и его преемников, которые успели за пять веков до Р. Х. завладеть Вавилоном и Египтом, т. е. двумя крупными центрами цивилизации, освещавшими тогда своей славой восточный мир. Греки, которые должны были господствовать, в свою очередь, тогда еще не шли в счет. Персидская империя сделалась центром цивилизации, пока она не была ниспровергнута Александром, переместившим, вместе с тем, центр мировой цивилизации. Не обладая никаким искусством, персы после овладения Египтом и Вавилонией заимствовали у них художников и образцы искусства. Их власть продолжалась только два века, поэтому они не имели времени глубоко изменить унаследованное ими искусство; но когда эти завоеватели в свою очередь были покорены, они начали уже его преобразовывать. Развалины Персеполиса, еще и теперь стоящие, рассказывают нам о генезисе этих преобразований. Мы находим там несомненное смешение или, скорее, наслоение египетского и ассирийского искусства, смешанных с некоторыми греческими элементами; но и новые элементы, именно высокая персеполитанская колонна с двуглавыми капителями, показываются уже там и позволяют предсказать, что если бы у персов не было столь ограниченного времени господства, то эта высшая раса создала бы себе столь же оригинальное, если не столь же высокое искусство, как греческое.

Доказательством этого могут служить персидские памятники, найденные десять веков спустя. После династии Ахеменидов, ниспровергнутой Александром, наследовала династия Селевкидов, потом династия Арсакидов и наконец династия Сасанидов, ниспровергнутая в VII веке арабами. Вместе с ними Персия приобретает новую архитектуру, и когда она снова начинает строить памятники, то они носят на себе печать несомненной оригинальности, вытекающей из сочетания арабского искусства с древней архитектурой Ахеменидов, измененной сочетанием с эллинизированным искусством Арсакидов (гигантские порталы во всю вышину фасада, эмалированные кирпичи, стрельчатые своды и т. д.). Это-то новое искусство и перенесли впоследствии моголы в Индию, предварительно преобразовав его по-своему.

В предыдущих примерах мы находим различные ступени преобразований, какие может совершить один народ в искусстве другого, смотря по его расе и времени, каким он располагает на это преобразование.

У низшей расы (у эфиопов), имевшей в своем распоряжении века, но обладавшей очень слабым психологическим развитием, мы видели, что заимствованное искусство было приведено в низшую форму. У расы высокой и имевшей в своем распоряжении века, у греков, мы констатировали полное преобразование древнего искусства в новое, значительно высшее. У другой расы, у персов, менее развитой, чем греки, и располагавшей коротким временем, мы нашли большую способность приспособления и зачатки преобразования.

Но помимо примеров, большей частью отдаленных, какие мы только что привели, есть еще другие, гораздо более современные, показывающие величину тех изменений, какие приходится совершить той или другой расе в заимствованном ею искусстве. Эти примеры тем более типичны, что в данном случае речь идет о народах, исповедующих одну и ту же религию, но имеющих различное происхождение.

Когда в VII веке нашей эры арабы завладели самой большой частью старого греко-римского мира и основали гигантскую империю, простиравшуюся от Испании до Центральной Азии, захватив весь север Африки, они очутились лицом к лицу с вполне определенной архитектурой — византийской. С самого начала они ее целиком приняли — как в Испании, так в Египте и в Сирии, для построения своих мечетей. Мечеть Омара в Иерусалиме, мечеть Амру в Каире и другие памятники, еще теперь сохранившиеся, свидетельствуют нам о таком заимствовании. Но это

продолжалось недолго, и мы видим, как памятники видоизменялись от страны к стране, от века к веку. В своей «Истории цивилизации арабов»[1] я показал происхождение этих изменений. Они до такой степени значительны, что между таким памятником начала завоевания, как мечеть Амру в Каире (742 г.), и мечетью Каит-Бей (1468 г.) конца великой арабской эпохи нет ни малейшего сходства. Я показал своими объяснениями и рисунками, что в различных странах, подчиненных закону ислама, — в Испании, в Африке, в Сирии, Персии, Индии — памятники имеют столь значительные различия, что их совершенно невозможно соединить под общим названием, как это можно сделать, например, по отношению к готическим памятникам, которые, несмотря на все свои различия, обнаруживают явное сходство.

Эти коренные различия в архитектуре мусульманских стран не могут зависеть от различия в религиях, так как в данном случае религия одна и та же; они зависят от расовых различий, влияющих на развитие искусства так же глубоко, как и на судьбы империи.

Если это утверждение верно, то мы должны находить в одной и той же стране, населенной различными расами, очень несходные памятники, несмотря на одинаковость верований и единство политической власти. Это как раз и наблюдается в Индии. В Индии легче всего найти примеры, годные для подтверждения общих принципов, изложенных в этом труде, и потому-то я постоянно возвращаюсь к ней. Большой полуостров представляет собой самую поучительную и самую философскую из исторических книг. В настоящее время это в действительности единственная страна, где можно по желанию перемещаться во времени и видеть еще живущими целые ряды последовательных этапов, которые человечество должно было пройти, чтобы достигнуть высших ступеней цивилизации. В Индии можно встретить все формы развития: там имеют своих представителей и каменный век, и век электричества. Нигде нельзя лучше видеть роль крупных факторов, управляющих происхождением и развитием цивилизаций.

Применяя принципы, развитые в настоящем труде, я пытался в другом разрешить долго неподдававшуюся решению проблему: происхождение индусского искусства. Так как сочинение это очень мало известно и составляет интересное приложение моих

---

[1] Le Bon Gustave. La Civilisation des Arabes (*прим. ред.*).

идей относительно психологии рас, то мы приведем здесь из него наиболее существенные строки[1].

С точки зрения искусства, Индия появляется в истории только очень поздно. Самые древние ее памятники, например, колонны Асоки, храмы Карли, Рарут, Санчи и т. д. восходят едва к III веку до Р. Х. Когда они были построены, то большая часть старых цивилизаций древнего мира, цивилизации Египта, Персии и Ассирии и даже самой Греции закончили свое развитие и погружались в мрак упадка. Единственная цивилизация, римская, заместила все остальные. Мир знал только одного властелина.

Индия, так поздно выступившая из мрака истории, могла поэтому заимствовать многое у предшествовавших ей цивилизаций; но глубокая изолированность, в которой, как еще недавно полагали, она всегда жила, и удивительная оригинальность ее памятников без всякого видимого родства со всеми теми, которые им предшествовали, заставляли долгое время отвергать всякую гипотезу о чужеземных заимствованиях.

Со стороны неоспоримой оригинальности, первые памятники Индии выказали такую высоту исполнения, выше которой они уже никогда не поднимались. Произведениям такого совершенства предшествовали долгие поиски ощупью; но, несмотря на самые кропотливые исследования, ни одна из ее статуй, ни один из памятников не открыл следа этих блужданий.

Недавнее открытие в некоторых изолированных странах северо-западной части полуострова обломков статуй и памятников, показывая несомненные греческие влияния, в конце концов убедило индианистов, что Индия заимствовала свое искусство у Греции.

Приложение вышеизложенных принципов и более глубокое исследование большинства памятников, существующих еще в Индии, привели меня к совершенно другому решению. Индия, по моему мнению, несмотря на свое случайное соприкосновение с греческой цивилизацией, не заимствовала у нее ни одного из своих искусств и не могла заимствовать. Две соприкасавшиеся

---

[1] За техническими подробностями, которых в этом томе нельзя коснуться даже слегка, я отсылаю к своему сочинению «Les monuments de l'Inde», том in-folio, иллюстрированный 400 гравюрами по нашим фотографическим снимкам, планами и рисунками. Многие из этих гравюр в уменьшенном виде появились в нашем труде «La Civilisation de l'Inde», in 4°, 800 стр.

расы были слишком различны, мысли их слишком несходны, художественный их гений слишком характерен, чтобы они могли взаимно влиять друг на друга.

Изучение древних памятников, рассеянных по Индии, показывает нам прямо, что между ее искусством и греческим нет никакого родства. Тогда как наши европейские памятники полны элементами, заимствованными у греческого искусства, памятники Индии не представляют нам ни одного. Самое поверхностное изучение показывает, что мы имеем тут дело с совершенно различными расами и что, может быть, никогда не было более несходных гениев, я скажу даже более противных друг другу, чем греческий и индусский.

Это общее понятие только еще более выясняется, когда глубже вникаешь в изучение памятников Индии и в интимную психологию народов, их создавших. Скоро замечаешь, что индусский гений слишком индивидуален, чтобы подчиниться чужеземному влиянию, слишком несогласному с его собственной мыслью. Это чужеземное влияние может быть, без сомнения, навязано; но, сколько бы оно ни продолжалось, оно остается совершенно поверхностным и непрочным. Кажется, что между душевным складом различных рас Индии и других народов существуют столь же высокие преграды, как страшные препятствия, созданные природой между большим полуостровом и другими странами земного шара. Индусский гений до такой степени оригинален, что, какой бы предмет ему ни пришлось заимствовать, этот предмет тотчас же преобразовывается и становится индусским. Даже в архитектуре, где трудно скрывать заимствования, индивидуальность этого своеобразного гения, эта способность быстрого искажения сказывается очень скоро. Можно, конечно, заставить индусского архитектора скопировать греческую колонну, но нельзя ему помешать видоизменить ее в колонну, которую с первого взгляда будут принимать за индусскую. Даже в наши дни, когда европейское влияние столь сильно в Индии, такие видоизменения наблюдаются ежедневно. Дайте индусскому художнику скопировать какой-нибудь европейский образец, он примет от него только общую форму, но преувеличит одни части, умножит, предварительно исказив, орнаментные детали, и вторая или третья копия совершенно потеряет свой западный характер, чтобы сделаться исключительно индусской.

Основная особенность индусской архитектуры, а также и литературы — это крайнее преувеличение, бесконечное изобилие

деталей, сложность, составляющая как раз противоположность правильной и холодной простоте греческого искусства. Изучая искусство Индии, можно всего лучше понять, до какой степени пластические произведения известной расы находятся в связи с ее душевным складом и составляют наиболее ясный язык для тех, кто в состоянии его истолковать. Если бы индусы, подобно ассирийцам, совершенно исчезли из истории, то барельефы их храмов, их статуи и памятники были бы достаточны, чтобы открыть нам их прошлое. В особенности они говорили бы нам, что методический и ясный ум греков никогда не мог оказать ни малейшего влияния на разнузданное и неметодическое воображение индусов. Они нам объяснили бы также, почему греческое влияние в Индии могло быть только временным и ограниченным всегда той областью, где оно на короткое время было навязано.

Археологическое изучение памятников позволило нам подтвердить точными документами то, что непосредственно открывает общее знание памятников Индии и индусского духа. Оно позволило нам констатировать тот любопытный факт, что индусские государи, находясь в сношениях с Арсакидами — царями Персии, цивилизация которой носила сильный отпечаток эллинизма, много раз (и особенно в первые два века нашей эры) хотели вводить в Индию греческое искусство, но никогда не преуспевали в этом.

Это заимствованное искусство, совершенно официальное и без всякой связи с духом народа, к которому оно было занесено, исчезало всегда вместе с политическими влияниями, вызвавшими его на свет. Впрочем, такая пересадка была слишком противна индусскому гению, чтобы иметь даже в период, когда она была навязана, какое-нибудь влияние на национальное искусство. Действительно, в тогдашних и в позднейших памятниках, каковы многочисленные подземные храмы, нельзя найти следа греческих влияний. С другой стороны, они сами по себе слишком характерны, чтобы их нельзя было узнать. Помимо соразмерности, которая всегда характерна, есть еще технические подробности, особенно искусство драпировки, тотчас же выдающее руку греческого художника.

Исчезновение греческого искусства в Индии было столь же внезапно, как и его появление, и сама эта внезапность показывает, до какой степени оно было заносным искусством, официально навязанным, без всякого родства с тем народом, который должен был принять его. Никогда не бывает, чтобы искусства совершенно исчезали у какого-нибудь народа; они преобразовываются и

новое искусство заимствует всегда что-нибудь у того, которому оно является на смену. Внезапно придя в Индию, греческое искусство внезапно же исчезло оттуда, и произвело там такое же ничтожное влияние, как европейские памятники, построенные там англичанами два века тому назад.

Нынешнее отсутствие влияния европейского искусства в Индии, несмотря на более чем столетнее неограниченное господство, может быть сопоставлено с ничтожным влиянием греческого искусства 18 веков тому назад. Нельзя отрицать, что тут существует какая-то непримиримость эстетических чувств, ибо мусульманское искусство, хотя оно такое же чужеземное, как и европейское, вызвало подражания во всех частях полуострова. Даже там, где мусульмане никогда не пользовались никакой властью, редко можно встретить храм, не заключающий некоторых мотивов арабской орнаментации. Без сомнения, как и в отдаленную эпоху царя Канишки, мы видим в настоящее время, что раджи вроде Гвалиора, прельщенные величием власти иностранцев, выстраивают себе дворцы в греко-латинском стиле, но, как и во времена Канишки, такое официальное искусство, нагроможденное на туземное, остается без всякого влияния на это последнее.

Итак, греческое искусство и индусское некогда существовали бок о бок, как в настоящее время европейское искусство и индусское, но никогда не влияли друг на друга. Что касается памятников чисто индусских, то нет среди них ни одного, о котором можно было бы сказать, что он представляет в целом или в деталях хоть самое отдаленное сходство с греческим памятником.

Это бессилие греческого искусства привиться в Индии является чем-то поразительным и его следует, конечно, приписать указанной нами непримиримости между душами двух рас, но не врожденной неспособности Индии усвоить себе чужеземное искусство, так как она прекрасно умела усвоить и преобразовать искусства, согласовавшиеся с ее душевным складом.

Археологические документы, которые нам удалось собрать, доказали, что Индия искала начала своего искусства на самом деле в Персии, но не в Персии, слегка эллинизированной, времен Арсакидов, а в Персии — наследнице древних цивилизаций Ассирии и Египта. Известно, что когда, 330 лет до Р. Х., Александр ниспроверг династию царей Ахеменидов, персы обладали уже два столетия блестящей цивилизацией. Конечно, они не нашли формулы какого-то нового искусства, но смесь египетско-

го и ассирийского, которую они унаследовали, произвела замечательные произведения. Мы можем судить о них по сохранившимся еще развалинам Персеполиса. Там пилоны Египта, крылатые быки Ассирии и даже некоторые греческие элементы показывают нам, что в этой ограниченной области Азии сошлись все искусства великих предшествовавших цивилизаций.

В Персию Индия пришла черпать, но в действительности черпала из искусств Халдеи и Египта, которые Персия только и заимствовала.

Изучение памятников Индии открывает нам, каким заимствованиям они обязаны своим появлением на свет; но чтобы констатировать эти заимствования, нужно обратиться к самым древним памятникам: индусская душа до такой степени оригинальна, что заимствованные вещи, чтобы приспособиться к ее понятиям, должны подвергнуться очень крупным изменениям, после которых они скоро становятся неузнаваемыми.

Почему Индия, оказавшаяся столь неспособной заимствовать что бы то ни было у Греции, напротив, оказалась столь способной заимствовать у Персии? Очевидно, что персидское искусство вполне соответствовало ее душевному складу, между тем как греческое нисколько с ним не согласовалось. Простые формы, поверхности с ничтожными орнаментами греческих памятников не могли прийтись по вкусу индусскому духу, между тем как изысканные формы, обилие украшений, богатство орнаментации персидских памятников должны были его прельстить.

Впрочем, не только в ту отдаленную, предшествовавшую нашей эре, эпоху Персия, представительница Египта и Ассирии, оказывала своим искусством влияние на Индию. Когда много веков спустя на полуострове появились мусульмане, то их цивилизация во время своего прохождения через Персию глубоко пропиталась персидскими элементами; и то, что она принесла в Индию, было, главным образом, персидским искусством, которое носило еще на себе след своих старых ассирийских традиций, продолженных ахеменидскими царями. Гигантские двери мечетей и, в особенности, покрывающие их эмалированные кирпичи — признаки халдео-ассирийской цивилизации. Это искусство Индия сумела еще усвоить, потому что оно согласовалось с духом ее расы, между тем как прежнее греческое и современное европейское, глубоко противные ее способу чувствовать и мыслить, всегда оставались без влияния на нее.

Итак, не к Греции, как продолжают еще утверждать археологи, но к Египту и Ассирии — через посредничество Персии —

примыкает Индия. Индия ничего не взяла у Греции, но обе они черпали из одного источника, из той общей сокровищницы, фундамента всех цивилизаций, выработанного в течение веков народами Египта и Халдеи.

Греция заимствовала у него через посредничество финикийцев и народов Малой Азии; Индия — через посредничество Персии. Греческая и индусская цивилизации восходят, таким образом, к общему источнику; однако, в обеих этих странах течения, вышедшие из этого источника, скоро глубоко разошлись соответственно духу каждой расы.

Но если, как мы это уже говорили, искусство находится в тесной связи с душевным складом расы и если на этом основании одно и то же искусство, заимствованное несходными расами, принимает тотчас совершенно различные формы, то мы должны встретить в Индии, населенной очень разнообразными расами, совершенно различные искусства, архитектурные стили малейшего сходства, несмотря на одинаковость верований.

Изучение памятников различных областей показывает, до какой степени это действительно так. Различия между памятниками до такой степени глубоки, что мы их могли классифицировать только по странам, т. е. по расам, но вовсе не по религии, к которой принадлежат построившие их народы. Нет никакого сходства между памятниками Северной Индии и памятниками Южной, воздвигнутыми в одну и ту же эпоху народами, исповедующими одинаковую религию. Даже во время мусульманского господства, т. е. в период, когда политическое единство Индии было наиболее полным, чисто мусульманские памятники имеют глубокие различия в разных областях. Мечети Ахмедабада, Лагора, Агра, Бижапура, хоть и посвященные одному и тому же культу, представляют только очень слабое родство, даже гораздо меньшее, чем то, которое связывает памятник эпохи Возрождения с памятниками готического периода.

Не только архитектура отличается в Индии от одной расы к другой, но и скульптура разнообразится в различных областях, как по представленным типам, так, в особенности, по манере их передачи. Сравните барельефы и статуи Санчи с почти одновременными барельефами и статуями Рарута, и различие уже очевидно. Оно оказывается еще больше, когда сравниваешь барельефы и статуи провинции Ориссы с барельефами и статуями Бюнделькунда, или еще — статуи Мисоры со статуями больших пагод Южной Индии. Влияние расы проявляется всюду. Оно, между прочим, сказывается в малейших художественных пред-

метах: каждому известно, насколько они не сходны между собой в различных частях Индии. Не нужно очень опытного глаза, чтобы отличить деревянный сундучок резной работы из Мисоры от такого же сундучка, украшенного резьбой в Гузра, или чтобы различать драгоценную вещь с Орисского берега от драгоценной вещи с Бомбейского берега.

Без сомнения, архитектура Индии, как и всех восточных народов, архитектура по преимуществу религиозная; но как бы велико ни было религиозное влияние, в особенности на Востоке, однако, влияние расы еще гораздо значительнее.

Эта расовая душа, руководящая судьбой народов, руководит также их верованиями, учреждениями и искусством; какой бы элемент цивилизации мы ни изучали, мы всегда найдем ее в нем. Она — единственная сила, которой никакая другая не может превозмочь. Она представляет собой тяжесть тысяч поколений, синтез их мысли.

# ТРЕТИЙ ОТДЕЛ

# КАК ИЗМЕНЯЮТСЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ РАС

## ГЛАВА I

## РОЛЬ ИДЕЙ В РАЗВИТИИ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

*Руководящих идей в каждой цивилизации всегда бывает очень немного. — Крайняя медленность их возникновения и исчезновения. — Идеи влияют на поведение только после того, как преобразовались в чувства. — Они участвуют тогда в образовании характера. — Благодаря медленности развития идей, цивилизации обладают известной устойчивостью. — Как устанавливаются идеи. — Действие рассуждений на массы совершенно ничтожно. — Влияние утверждения и престижа. — Роль убежденных и апостолов. — Искажение, испытываемое идеями, когда они спускаются в массы. — Общепринятая идея действует скоро на все элементы цивилизации. — Благодаря общности идей люди каждого века имеют известный запас средних понятий, который делает их очень сходными в их мыслях и в их делах. — Иго обычая и общественного мнения. — Оно уменьшается только в критические эпохи истории, когда старые идеи потеряли свое влияние и еще не заменены новыми. — Эта критическая эпоха — единственная, когда оспаривание мнений может быть терпимо. — Догматы держатся только под условием отсутствия критики. — Народы не могут изменить своих идей и своих догматов, не будучи тотчас же вынуждаемы переменить свою цивилизацию.*

Показав, что психологические черты рас обладают большой устойчивостью и что из этих черт вытекает история народов, мы прибавили, что психологические элементы могли, подобно ана-

томическим, под конец преобразоваться медленными наследственными накоплениями. Большей частью от этих изменений зависит развитие цивилизации.

Факторы, способные вызывать психологические перемены, весьма разнообразны. К числу их относятся: потребности, борьба за существование, действие известной среды, успехи знаний и промышленности, воспитание, верования и проч. Я посвятил их изучению уже целый том[1] и не буду трактовать теперь об этом предмете подробно, а возвращаюсь к нему лишь с тем, чтобы показать механизм их действия, которому и будут посвящены настоящая и следующие главы.

Изучение различных цивилизаций, следовавших друг за другом от начала мира, показывает, что руководящая роль в их развитии всегда принадлежала очень незначительному числу основных идей. Если бы история народов сводилась к истории их идей, то она никогда бы не была очень длинной. Когда какая-нибудь цивилизация успела создать в век или в два основные идеи в области искусств, наук, литературы и философии, то можно рассматривать ее как исключительно блестящую.

Нам уже известно, что ход какой-нибудь цивилизации вытекает, главным образом, из характера, т. е. из наследственных чувств народа, у которого эта цивилизация проявилась. Мы видели также, что эти наследственные чувства имеют большую прочность, но что они могут под конец измениться под влиянием различных факторов. В ряду между этими факторами последними следует поставить влияние идей.

Но идеи могут оказать настоящее действие на душу народов только, когда они, после очень медленной выработки, спустились из подвижных сфер мысли в ту устойчивую и бессознательную область чувств, где вырабатываются мотивы наших поступков. Они составляют тогда некоторым образом часть характера и могут влиять на поведение.

Когда идеи подверглись уже этой медленной выработке, сила их очень значительна, потому что разум перестает иметь власть над ними.

Убежденный человек, над которым господствует какая-нибудь идея, религиозная или другая, неприступен для рассуждений, как бы основательны они ни были. Все, что он может попробовать, это ввести путем искусственных мыслительных приемов и,

---

[1] Le Bon Gustave. L'homme et les sociétés, leurs origines et leur histoire, Evolution des sociétés.

часто, путем очень больших искажений опровергающую ее мысль в круг господствующих над ним понятий.

Если идеи могут оказать влияние только после того, как они медленно спустились из сознательных сфер в сферу бессознательного, то не трудно понять, с какой медленностью они должны изменяться, а также — почему руководящие идеи какой-нибудь цивилизации столь немногочисленны и требуют так много времени для своего развития. Нам нужно радоваться, что это так, ибо в противном случае цивилизации не могли бы иметь никакой прочности. Счастье также, что новые идеи могут в конце концов заставить принять себя, ибо если бы старые идеи остались совершенно неподвижными, то цивилизации не могли бы совершать никакого прогресса. Ввиду медленности наших психических изменений нужно много человеческих поколений, чтобы дать восторжествовать новым идеям и еще много человеческих поколений, чтобы заставить их исчезнуть. Наиболее цивилизованные народы — те, руководящие идеи которых сумели держаться на равном расстоянии от изменчивости и устойчивости. История устлана останками тех, которые не были в состоянии сохранить этого равновесия.

Итак, легко понять, почему при изучении истории народов более всего поражает не богатство или новизна их идей, но, напротив, крайняя бедность этих идей, медленность их изменений и власть, какую они имеют. Цивилизации являются результатами некоторых основных идей; когда же случайно изменяются эти идеи, то и питаемые ими цивилизации осуждены скоро измениться.

Средние века жили двумя основными идеями: религиозной и феодальной. Из этих двух идей вытекало их искусство, литература и их понятия о жизни. В эпоху Возрождения обе эти идеи немного изменяются; идеал, найденный в древнем греко-латинском мире, воспринимается Европой, и скоро понятие о жизни, искусство, философия и литература начинают преобразовываться. Потом начинает колебаться авторитет предания, научные истины заменяют собой постепенно откровенную истину, и снова преобразовывается цивилизация. В настоящее время старые религиозные идеи явно окончательно потеряли большую часть своей власти и, вследствие этого одного, все общественные учреждения, опиравшиеся на нее, угрожают рухнуть.

История происхождения идей, их господства, отживания, преобразований и исчезновения может быть убедительно изложена только, когда подтверждаешь ее многочисленными приме-

рами. Если бы мы могли входить в детали, то показали бы, что каждый элемент цивилизации: философия, религия, искусство, литература и т. д., подчинен очень небольшому числу руководящих идей, развитие которых чрезвычайно медленно. Сами науки не избегают этого закона. Вся физика вытекает из идеи сохранения энергии, вся биология — из идеи трансформизма (изменяемости), вся медицина — из идеи действия бесконечно малых, и история этих идей показывает, что хотя последние обращаются к самым просвещенным умам, но устанавливаются они только мало-помалу и с трудом. В наше время, когда все идет так быстро, и притом в сфере исследований, где не говорят уже ни страсти, ни интересы, для установления основной научной идеи требуется не меньше двадцати пяти лет. Наиболее ясные, наиболее легкие для доказательства идеи, которые должны были давать меньше всего поводов для споров (например, идея кровообращения), потребовали не меньше времени.

Будет ли это научная, художественная, философская, религиозная, одним словом, какая бы то ни была идея, распространение ее совершается всегда одинаковым способом. Нужно, чтобы она сначала была принята небольшим числом апостолов, которым сила их веры или авторитет их имени дают большой престиж. Они действуют тогда более внушением, чем доказательствами. Не в достоинстве какого-нибудь доказательства следует искать существенные элементы механизма убеждения. Внушают свои идеи престижем, которым обладают, или обращаясь к страстям, но нельзя произвести никакого влияния, если обращаться только к разуму. Массы не дают себя никогда убеждать доказательствами, но только утверждениями, и авторитет этих утверждений зависит от того обаяния, каким пользуется тот, кто их высказывает.

Когда апостолы успели уже убедить небольшой кружок своих учеников и образовали таким образом новых апостолов, новая идея начинает входить в область спорного. Она сначала поднимает против себя всеобщую оппозицию, потому что сильно задевает много старых и установленных вещей. Апостолы, ее защищающие, естественно, возбуждаются этой оппозицией, убеждающей их только в их превосходстве над остальными людьми, и они защищают с энергией новую идею не потому, что она истинна, чаще всего они ничего этого не знают, но просто потому, что они ее приняли. Новая идея тогда все больше и больше обсуждается, т. е. в действительности, принимается без оговорок одними и отвергается без оговорок другими. Обмениваются

утверждениями и отрицаниями и очень немногими аргументами, так как они не могут служить единственными мотивами принятия или отвержения какой-нибудь идеи для громадного большинства людей, как мотивы чувства, в которых рассуждения не могут играть никакой роли.

Благодаря этим всегда страстным дебатам, идея прогрессирует очень медленно. Новые поколения, видя, что она оспаривается, склонны принять ее в силу одного того, что она оспаривается. Для молодежи, всегда жаждущей независимости, полная оппозиция принятым идеям представляет самую доступную для нее форму проявлять свою оригинальность.

Итак, идея продолжает расти и скоро она уже не будет нуждаться ни в какой поддержке. Ее распространение теперь станет совершаться повсюду одним только действием подражания, путем заражения, способностью, которой люди вообще одарены в той же степени, как и человекообразные обезьяны.

С того времени, как вмешался механизм заражения, идея вступает в фазу, приводящую ее быстро к успеху. Общественное мнение принимает ее скоро. Она приобретает тогда проникающую и непреодолимую силу, покоряющую ей все умы, создавая, вместе с тем, специальную атмосферу, общую манеру мышления. Как тонкая пыль, проникающая всюду, она проскальзывает во все понятия и умственные продукты известной эпохи. Идея и выводы из нее составляют тогда часть того запаса наследственных банальностей, который навязывается нам воспитанием. Она восторжествовала и вошла в область чувства, что впредь ее ограждает на долгое время от всяких посягательств.

Из различных идей, руководящих цивилизацией, одни, относящиеся, например, к искусству или к философии, остаются в высших слоях; другие, особенно относящиеся к религиозным и политическим понятиям, спускаются иногда в глубину масс. Последние доходят туда обыкновенно сильно искаженными, но когда им уже удалось туда проникнуть, то власть, какую они имеют над первобытными, неспособными к рассуждению умами, громадна. Идея представляет собой тогда что-то непобедимое, и ее следствия распространяются со стремительностью потока, которого не может удержать никакая плотина. Тогда-то и вспыхивают те великие события, которые создают исторические перевороты и которые могут совершить одни только массы. Не учеными, не художниками и не философами основывались новые религии, управлявшие миром, ни те громадные империи, которые простирались от одного полушария до другого, ни те вели-

кие религиозные и политические революции, которые перевернули Европу, но людьми, достаточно поглощенными известной идеей, чтобы пожертвовать своей жизнью для ее распространения. С этим очень ничтожным в теории, но очень сильным на практике, багажом кочевники аравийских пустынь завоевали часть древнего греко-римского мира и основали одну из величайших империй, какие когда-либо знала история. С подобным же нравственным багажом, преданностью идее героические солдаты Конвента победоносно отражали коалицию вооруженной Европы.

Сильное убеждение непобедимо, пока оно не встретилось с таким же сильным убеждением: последнее может бороться против первого с шансами на победу. У веры нет другого более серьезного врага, чем вера. Она уверена в победе, когда физическая сила, которую против нее выставляют, служит слабым чувствам и ослабленным верованиям. Но если она находится лицом к лицу со столь же сильной верой, то борьба становится очень оживленной и успех тогда решается случайными обстоятельствами, большей частью нравственного порядка, каковы дух дисциплины и лучшая организация. При более близком знакомстве с историей арабов, о которой только что шла речь, мы заметили бы, что в своих первых победах, а эти победы всегда и самые трудные, и самые важные, они встретили морально очень слабых противников, хотя их военная организация была достаточно высока. Сначала арабы направили свое оружие против Сирии. Там они нашли только византийские войска, образованные из наемников, мало расположенных жертвовать собой для какого бы то ни было дела. Воодушевленные живой верой, удесятерившей их силы, они рассеяли эти отряды без идеала так же легко, как некогда горсть греков, воодушевленных любовью к отечеству, рассеяла многочисленные полчища Ксеркса. Исход их предприятия был бы совершенно другой, если бы несколькими веками раньше они столкнулись с римскими когортами. История доказывает многочисленными примерами, что когда сталкиваются между собой одинаково могущественные моральные силы, то одерживают верх всегда лучше организованные. Вандейцы, наверное, имели очень живую веру; это были очень сильно убежденные люди; с другой стороны и солдаты Конвента имели также очень стойкие убеждения, но так как они были в военном отношении лучше организованы, то и одержали верх. В религии, как и в политике, успех всегда принадлежит верующим, но никогда — скептикам, и если в настоящее время кажется, что будущее принадлежит

социалистам, несмотря на явную незрелость их учений, то лишь потому, что только они горячо верят в спасительность своих идеалов. Современные правящие классы потеряли веру в плодотворность своей деятельности. Они не верят ни во что, даже в возможность защищаться от угрожающей волны варваров, окружающих их ее всех сторон.

Когда после более или менее долгого периода блужданий, переделок, пропаганды какая-нибудь идея приобрела определенную форму и проникла в душу масс, то она образует догмат, т. е. одну из тех абсолютных истин, которые уже не оспариваются. Она составляет тогда часть тех общих верований, на которых держится существование народов. Ее универсальный характер позволяет ей тогда играть преобладающую роль. Великие исторические эпохи, такие как век Августа или век Людовика XIV, — те, в которых идеи, выйдя из периода блужданий и обсуждения, утвердились и стали верховными властительницами мысли людей. Они становятся тогда светящими маяками и все, что им приходится освещать своим светом, принимает их окраску.

С того времени, как новая идея водворилась в мире, она кладет свою печать на малейшие элементы цивилизации; но чтобы эта идея могла произвести все свои следствия, всегда нужно, чтобы она проникла в душу масс. С интеллектуальных вершин, где идея часто зарождалась, она спускается от слоя к слою, беспрестанно изменяясь и преобразуясь, пока не примет формы, доступной для народной души, которая ей и подготовит торжество. Она может быть тогда выражена в нескольких словах, а иногда даже в одном слове, но это слово вызывает яркие образы, то обольстительные, то страшные, и, следовательно, всегда производящие сильное впечатление. Таковы *рай* и *ад* в средние века — короткие слова, имеющие магическую силу отвечать на все и для простых душ объяснять все. Слово *социализм* представляет собой для современного рабочего одну из магических синтетических формул, способных властвовать над душами. Она вызывает, в зависимости от среды, в которую проникала, различные образы, но обычно сильно действующие, несмотря на их всегда зачаточные формы.

У французского теоретика слово «социализм» вызывает представление о каком-то рае, где люди равные, справедливые, добрые, и все, ставшие работниками, будут наслаждаться под покровительством государства идеальным счастьем. Для немецкого рабочего вызванный образ представляется в виде накуренного трактира, где правительство предлагает даром каждому прихо-

дящему громадные пирамиды сосисок с кислой капустой и бесконечное число кружек пива. Понятно, что ни один из таких мечтателей о кислой капусте и равенстве не потрудился узнать действительную сумму вещей, подлежащих разделу, или число участников в дележе. Особенность этой идеи заключается в том, что она внушается в безусловной форме, против которой бессильны всякие возражения.

Когда идея постепенно преобразовалась в чувство и сделалась догматом, торжество ее обеспечено на долгий период и всякие попытки поколебать ее были бы напрасны. Несомненно, что и новая идея подвергнется, в конце концов, участи идеи, которую ей удалось заместить. Эта идея состарится и придет в упадок; но, прежде чем стать совершенно негодной, ей придется испытать целый ряд регрессивных изменений и странных искажений, для осуществления которых потребуется много поколений. Прежде чем окончательно умереть, она будет долгое время составлять часть старых наследственных идей, которые называют предрассудками, но которые мы, однако, уважаем. Старая идея даже тогда, когда она не более, как слово, звук, мираж, облачат магической властью, способной еще подчинять нас своему влиянию.

Так держится это старое наследие отживших идей, мнений, условностей, которые мы благоговейно принимаем, хотя они не выдержали бы малейшего прикосновения критики, если бы нам вздумалось исследовать их. Но много ли людей, способных разобраться в своих собственных мнениях, и много ли найдется таких мнений, которые могли бы устоять даже после самого поверхностного исследования?

Лучше не браться за это страшное исследование. К счастью, мы мало к тому и склонны. Критический дух составляет высшее, очень редкое качество, между тем как подражательный ум представляет собой весьма распространенную способность: громадное большинство людей принимает без критики все установившиеся идеи, какие ему доставляет общественное мнение и передает воспитание.

Таким-то образом, через наследственность, воспитание, среду, подражание и общественное мнение люди каждого века и каждой расы получают известную сумму средних понятий, которые делают их похожими друг на друга, и притом до такой степени, что когда они уже лежат под тяжестью веков, то по их художественным, философским и литературным произведениям мы узнаем эпоху, в которую они жили. Конечно, нельзя сказать, чтобы они составляли точные копии друг с друга; но то, что было у

них общего — одинаковые способы чувствования и мышления — необходимо приводило к очень родственным произведениям.

Нужно радоваться тому, что дело обстоит так, а не иначе; ибо как раз эта сеть общих традиций, идей, чувств, верований, способов мышления составляет душу народа. Мы видели, что эта душа тем устойчивее, чем крепче указанная сеть. В действительности, она и только она одна сохраняет нации, не имея возможности разорваться без того, чтобы не распались тотчас же эти нации. Она составляет разом и их настоящую силу, и их настоящего властелина. Иногда представляют себе азиатских монархов в виде деспотов, которые ничем не руководствуются, кроме своих фантазий. Напротив, эти фантазии заключены в чрезвычайно тесные пределы. В особенности на Востоке сеть традиций очень крепка. Религиозные традиции, столь поколебленные у нас, там сохранили свою силу, и самый своенравный деспот никогда не оскорбит традиций и общественного мнения — этих двух властелинов, которые, как он знает, значительно сильнее его самого.

Современный цивилизованный человек живет в одну из тех критических эпох истории, когда, вследствие того, что старые идеи, от которых происходит его цивилизация, потеряли свою власть, а новые еще не образовались, критика терпима. Ему нужно перенестись мысленно в эпохи древних цивилизаций или только на два или три века назад, чтобы понять, чем было тогда иго обычая и общественного мнения, и чтобы знать, сколько нравственного мужества надо было иметь новатору, чтобы напасть на эти две силы. Греки, которые, по мнению невежественных краснобаев, наслаждались такой свободой, в действительности были подчинены игу общественного мнения и обычая. Каждый гражданин был окружен сетью безусловно ненарушимых верований; никто не смел и думать об оспаривании общепринятых идей и подчинялся им без протеста. Греческий мир не знал ни религиозной свободы, ни свободы частной жизни, ни какой бы то ни было свободы вообще. Афинский закон не позволял даже гражданину жить вдали от народных собраний или не участвовать в религиозных национальных празднествах. Мнимая свобода античного мира была только бессознательной и, следовательно, совершенной формой полного порабощения гражданина игу идей города. В состоянии всеобщей войны, среди которой жил тогдашний мир, общество, члены которого обладали бы свободой мысли и действия, не просуществовало бы ни одного дня. Веком упадка всегда начинался для богов, учреждений и догматов тот день, когда они подвергались критике.

Так как в современных цивилизациях старые идеи, служившие основанием для обычая и общественного мнения, почти уничтожены, то власть их над душами стала очень слаба. Они вошли в тот фазис обветшания, когда старая идея уже переходит в состояние предрассудка. Пока их заменят новые идеи, в умах царствовать будет анархия. Только благодаря этой анархии и может быть терпима критика. Писатели, мыслители и философы должны благословлять настоящий век и спешить воспользоваться им, ибо мы больше его не увидим. Это, может быть, век упадка, но это один из тех редких моментов в истории мира, когда выражение мысли свободно. Новые догматы, которые в скором времени родятся, не могут, в действительности, иначе утвердиться, как только под условием недопущения никакой критики, и быть так же нетерпимыми, как те, которые им предшествовали.

Современный человек ищет еще идей, которые могли бы служить основанием для будущего социального строя, и тут кроется опасность для него. Важны в истории народов и глубоко влияют на их судьбу не революции, не войны — следы их опустошений скоро изглаживаются, — но перемены в основных идеях. Они не могут совершиться без того, чтобы одновременно все элементы цивилизации не были осуждены на преобразование. Настоящие революции, действительно опасные для существования известного народа, — это те, которые касаются его мысли.

Не столько опасно для какого-нибудь народа принятие новых идей, сколько непрерывная проба идей, на что он неминуемо обречен, прежде чем найти ту из них, на которой он мог бы прочно обосновать новое социальное здание, предназначенное заменять старое. Впрочем, идея опасна не потому что она ошибочна, а потому что нужны долговременные опыты, чтобы узнать, могут ли новые идеи приспособиться к потребностям обществ, которые их принимают. К несчастью, степень их полезности может стать ясной для толпы только посредством опыта...

История нам часто показывает, во что обходились пробы недоступных для известной эпохи идей, но не в истории человек черпает свои уроки. Карл Великий тщетно пытался восстановить Римскую Империю. Идея универсализма не была тогда осуществима, и его дело погибло вместе с ним, как должны были позже погибнуть дела Кромвеля и Наполеона. Филипп II бесплодно истратил свой гений и силу Испании, тогда еще господствовавшей, на борьбу с духом свободного исследования, который под именем протестантизма распространялся в Европе. Все его усилия

против новой идеи успели только ввергнуть Испанию в состояние разорения и упадка, из которого она уже никогда не поднималась. В наши дни химерические идеи коронованного мечтателя[1], вдохновленного неизлечимым сентиментализмом своей расы, создали единство Италии и Германии и стоили Франции двух провинций и мира на долгое время.

Та, столь глубоко ложная идея, что количество составляет силу армий, покрыла Европу своего рода вооруженной национальной обороной и ведет ее к неизбежному разорению. Социалистические идеи о труде, капитале, преобразовании частной собственности в государственную доконают те народы, которые избегнут гибели от постоянных армий и банкротства.

Национальный принцип, столь дорогой некогда государственным деятелям и составлявший единственное основание их политики, может быть еще приведен в числе тех руководящих идей, вредное влияние которых пришлось испытать цивилизованному миру. Его осуществление привело Европу к самым гибельным войнам, поставило ее под оружие и постепенно приведет все современные государства к разорению и упадку. Единственный разумный мотив, который можно было привести для защиты этого принципа, был тот, что самые большие и самые населенные страны, вместе с тем, и наиболее защищены от нападений. Втайне думали также, что они наиболее способны к завоеваниям. Но, в настоящее время, оказывается, что как раз самые маленькие и наименее населенные страны — Португалия, Греция, Швейцария, Бельгия, Швеция, мелкие Балканские княжества — менее всего могут бояться нападений. Идея объединения разорила, некогда столь счастливую, Италию до того, что в настоящее время она находится накануне революции и банкротства. Ежегодный бюджет расходов всех итальянских государств, который до осуществления итальянского объединения доходил до 550 миллионов, в настоящее время достиг 2 миллиардов.

Но не во власти людей остановить ход идей, когда они уже проникли в душу; тогда нужно, чтобы их эволюция завершилась. Защитниками их чаще всего являются те, которые намечены их первыми жертвами. По отношению к идеям, мы только бараны, покорно идущие за вожатым, ведущим нас на бойню. Преклонимся пред силой идеи. Когда она уже достигла известного периода своего развития, то нет уже ни рассуждений, ни доказательств, которые могли бы ее победить. Чтобы народы

---

[1] Имеется в виду Наполеон III (*прим. ред.*).

могли освободиться из-под ига какой-нибудь идеи, нужны века или насильственные революции, а иногда и то, и другое. Человечеству остается только считать химеры, которые оно себе вымышляло и жертвой которых последовательно становилось.

## ГЛАВА II

## РОЛЬ РЕЛИГИОЗНЫХ ВЕРОВАНИЙ В РАЗВИТИИ ЦИВИЛИЗАЦИИ

*Преобладающее влияние религиозных верований. — Они всегда составляли наиболее важный элемент жизни народов. — Большая часть исторических событий так же, как политические и социальные учреждения, проистекают из религиозных идей. — С новой религиозной идеей рождается всегда новая цивилизация. — Власть религиозного идеала. — Его влияние на характер. — Он направляет все способности к одной цели. — Политическая, художественная и литературная история народов — дочь их верований. — Малейшая перемена в состоянии верований какого-нибудь народа имеет результатом целый ряд изменений в его существовании. — Разные примеры.*

Среди различных идей, руководящих народами и составляющих маяки истории и полюсы цивилизации, религиозные идеи играли слишком преобладающую и слишком основную роль, чтобы не посвятить им отдельной главы.

Религиозные верования составляли всегда самый важный элемент в жизни народов и, следовательно, в их истории. Самыми значительными историческими событиями, имевшими наиболее колоссальное влияние, были рождение и смерть богов. Вместе с новой религиозной идеей рождается и новая цивилизация. Во все века в древние времена, как и в новые, основными вопросами для человека были всегда вопросы религиозные. Если бы человечество могло предоставить возможность всем своим богам умереть, то о таком событии можно было бы сказать, что оно по своим последствиям было бы самым важным из совершившихся когда-либо на поверхности нашей планеты со времени возникновения первых цивилизаций.

В действительности, не следует забывать, что с самой зари исторических времен все политические и социальные учреждения

основывались на религиозных верованиях и что на мировой сцене боги всегда играли первую роль. Помимо любви, которая также есть своего рода религия, но личная и временная, одни только религиозные верования могут быстро действовать на характер. Завоевания арабов, крестовые походы, Испания времен инквизиции, Англия в пуританскую эпоху, Франция с Варфоломеевской ночью и религиозными войнами показывают, чем становится народ, фанатизированный своими верованиями. Последние производят своего рода постоянную гипнотизацию, до такой степени сильную, что весь душевный склад глубоко преобразовывается ею. Без сомнения, человек создал богов, но, создав их, он сам быстро был порабощен ими. Они — не сыновья страха, но скорее — надежды, и вот почему их влияние будет вечным.

То, что боги дали человеку и что одни только они до сих пор в состоянии были дать, — это душевное состояние, приносящее счастье. Никакая философия никогда еще не в состоянии была осуществить это.

Следствие — если не цель — всех цивилизаций, всех философий, всех религий заключается в том, чтобы произвести известные душевные состояния. Но из этих душевных состояний одни заключают в себе счастье, другие не заключают его. Счастье зависит очень мало от внешних обстоятельств, но очень много — от состояния нашей души. Мученики на своих кострах, вероятно, чувствовали себя гораздо счастливее, чем их палачи. Сторож на железной дороге, который ест беззаботно свою натертую чесноком корку хлеба, может быть бесконечно счастливее миллионера, осаждаемого заботами. Развитие цивилизации, к несчастью, создало у современного человека массу потребностей, не давая ему средств для их удовлетворения, и произвело, таким образом, всеобщее недовольство в душах. Цивилизация, несомненно, — мать прогресса, но она также мать социализма и анархии, этих грозных выражений отчаяния масс, которых уже не поддерживает никакая религия. Сравните беспокойного, лихорадочного, недовольного своей участью европейца с жителем Востока, всегда счастливым своей судьбой. Чем они отличаются, как не своим душевным состоянием? Изменяется народ, когда меняется его способ понимания, а следовательно, мышления и действия. Найти средства для создания душевного состояния, делающего человека счастливым, — вот что, прежде всего, должно искать общество под страхом лишиться своего существования. Все до сих пор основанные общества находили поддержку в идеале, способном подчинить

души, и они всегда исчезали, когда идеал переставал оказывать на них свое действие. Одна из крупных ошибок современного века — вера в то, что человеческая душа может находить счастье только во внешних вещах. Оно в нас самих, созданное нами самими, но почти никогда — вне нас самих. Уничтожив идеалы старых веков, мы теперь замечаем, что невозможно без них жить и что под страхом неминуемой гибели нужно разрешить загадку замены их новыми. Истинные благодетели человечества, заслуживающие, чтобы признательные народы воздвигали им колоссальные золотые статуи, — те сильные чародеи, творцы идеалов, которых человечество иногда производит, но производит так редко. Над потоком бессмысленных явлений, единственных реальностей, которые человек может познать, над холодным и мертвым механизмом мира они вызвали появление сильных и примиряющих химер, закрывающих человеку темные стороны его судьбы и создающих для него очаровательные жилища мечты и надежды.

Ставя себя исключительно на политическую точку зрения, можно заметить, что и там влияние религиозных верований огромно. Непреодолимую их силу образует то, что они составляют единственный фактор, который может моментально дать какому-нибудь народу полную общность интересов, чувств и мыслей. Религиозный дух заменяет, таким образом, сразу постепенные наследственные приобретения, необходимые для образования национальной души. Народ, поглощенный каким-нибудь верованием, не меняет, конечно, душевного склада, но все его способности обращены к одной цели: к торжеству его религии, и, в силу одного этого, мощь его становится страшной. Только в религиозные эпохи моментально преобразившиеся народы совершают те неимоверные усилия, кладут основание тем империям, которые удивляют историю. Таким образом несколько арабских племен, объединенных мыслью о Магомете, завоевали в несколько лет нации, не знавшие даже их названий, и основали свою громадную империю. Не качество веры надо иметь в виду, но степень власти, какую она имеет над душами. Пусть призываемый бог будет Молох или какое-нибудь другое, еще более варварское, божество, это неважно. Слишком терпимые и слишком кроткие боги не дают никакой власти своим поклонникам. Последователи сурового Магомета господствовали долго над большей частью мира и страшны еще теперь; последователи мирного Будды никогда не основали ничего продолжительного и уже забыты историей.

Итак, религиозный дух играл главную политическую роль в существовании народов. Конечно, боги не бессмертны, но религиозный дух вечен. Усыпленный на время, он пробуждается, лишь только создана новая религия. Он позволил век тому назад Франции победоносно устоять против вооруженной Европы. Мир лишний раз видел, что может религиозный дух; ибо тогда, в самом деле, основывалась новая религия, которая воодушевила своим дыханием весь народ. Божества, которые только что успели родиться, были слишком хрупки, чтобы быть в состоянии просуществовать долго; но пока они существовали, они пользовались неограниченной властью.

Власть преобразовывать души, которой обладают религии, впрочем, довольно эфемерна. Редко верования сохраняются в течение более или менее долгого времени в той степени интенсивности, какая способна совершенно изменить характер. Сновидение, в конце концов, начинает бледнеть, гипнотизированный понемногу просыпается, и старый фон характера появляется снова.

Даже тогда, когда верования всемогущи, национальный характер узнается всегда по тому, как верования были приняты, и по тем проявлениям, какие они вызывают. Посмотрите на одну и ту же религию в Англии, в Испании и во Франции: какие различия! Разве Реформация возможна была когда-нибудь в Испании, и разве Англия могла когда-нибудь согласиться подчиниться ужасному игу инквизиции? Разве у народов, принявших Реформацию, трудно заметить основные черты рас, которые, несмотря на гипнотизацию верований, сохранили специфические черты своего душевного склада: независимость, энергию, привычку рассуждать и не подчиняться рабски закону властелина?

Политическая, художественная и литературная история народов — дочь их верований; но эти последние, совершенно изменяя их характер, в свою очередь глубоко изменяются им. Характер какого-нибудь народа и его верования — вот ключи к разгадке его судьбы. Первый, в основных своих элементах, неизменен, и именно потому, что он не изменяется, история какого-нибудь народа сохраняет всегда известное единство. Верования могут изменяться, и именно потому, что они изменяются, история записывает столько переворотов. Малейшая перемена в состоянии верований какого-нибудь народа имеет необходимым следствием целый ряд преобразований в условиях его существования. Мы сказали в предыдущей главе, что во Франции люди XVIII века казались совершенно отличными от людей XVII века. Несомнен-

но; но каково происхождение этого различия? Просто: в том факте, что в промежуток этих двух веков мысль перешла от теологии к науке, противопоставила разум традиции и добытые истины — откровенной истине. В силу этой простой перемены в понимании изменилась физиономия века, и если бы мы хотели проследить все вышедшие отсюда последствия, то увидели бы, что Великая Французская Революция, так же как и события, следовавшие за нею и продолжающиеся поныне, являются простым следствием эволюции религиозных доктрин. И если в настоящее время старое общество колеблется в своих устоях и видит все свои учреждения сильно пошатнувшимися, то это потому, что оно все более и более теряет свои старые верования, которыми люди жили до сих пор. Когда человечество их совершенно потеряет, новая цивилизация, основанная на новой вере, необходимо займет ее место. История показывает нам, что народы не переживают долго исчезновения своих богов. Родившиеся с ними цивилизации умирают также с ними. Нет ничего более разрушительного, чем прах умерших богов.

## ГЛАВА III

## РОЛЬ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ В РАЗВИТИИ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

*Крупные успехи каждой цивилизации осуществлялись всегда небольшой кучкой высших умов. — Сущность их роли. — Они синтезируют все усилия известной расы. — Примеры, доставляемые великими открытиями. — Политическая роль великих людей. — Они воплощают господствующий идеал своей расы. — Влияние великих людей, страдающих галлюцинациями. — Гениальные изобретатели преобразовывают цивилизацию. — Фанатики и страдающие галлюцинациями делают историю.*

Изучая иерархию и дифференциацию рас, мы видели, что действительное отличие европейских народов от восточных заключается в том, что одни только первые обладают небольшим отбором высших людей. Постараемся очертить в немногих строках пределы их влияния.

Этот небольшой отбор выдающихся людей, которым обладает цивилизованный народ и которых достаточно было бы уничтожить в каждом поколении, чтобы немедленно вычеркнуть этот

народ из списка цивилизованных наций, составляет истинное воплощение сил расы. Им, и им только одним, мы обязаны прогрессом, сделанным в науках, искусствах, промышленности, одним словом, во всех отраслях цивилизации.

Изучение цивилизаций показывает, что, в действительности, только очень незначительной кучке избранных мы обязаны всеми завоеванными успехами.

Хотя толпа пользуется этими успехами, однако, она не любит слишком явного превосходства над собой, и самые великие мыслители и изобретатели очень часто делались ее мучениками. Однако все поколения, все прошлое известной расы расцветают в этих прекрасных гениях, составляющих чудные цветы старого человеческого древа. Они — истинная слава нации, и каждый из членов общества, до самого низшего, может гордиться ими. Они не появляются ни случайно, ни чудом, но представляют собой венец долгого прошлого, как бы концентрируя в себе величие своего времени и своей расы. Благоприятствовать их появлению и их развитию, значит благоприятствовать расцветанию прогресса, которым будет пользоваться все человечество. Если бы мы слишком ослеплялись нашими мечтами о всеобщем равенстве, то нам пришлось бы сделаться первыми его жертвами. Равенство возможно только на низшей ступени. Чтобы равенство царствовало в мире, нужно было бы понижать мало-помалу все, что составляло ценность известной расы, до уровня того, что в ней есть самого низкого. Поднять интеллектуальный уровень последнего из крестьян до гения какого-нибудь Лавуазье невозможно. Легко уничтожить таких гениев, но их нельзя заменить.

Но если роль великих людей значительна в развитии цивилизации, то она, однако, совершенно не такая, какой ее обыкновенно считают. Их действие, еще раз повторяю, состоит в синтезе всех усилий какой-нибудь расы; их открытия всегда являются результатом длинного ряда предшествовавших открытий; они строят здание из камней, которые медленно обтесывали их предки. Историки, обыкновенно очень односторонние, всегда полагали, что можно написать под каждым изобретением имя одного человека; и однако среди великих изобретений, преобразовавших мир, каковы книгопечатание, порох, пар, электрический телеграф, нет ни одного, относительно которого можно было бы сказать, что оно создано одной головой. Когда изучаешь происхождение подобных открытий, то видишь, что они родились из целого ряда подготовительных усилий: окончательное изобретение есть только венец. Наблюдение

Галилея относительно одновременности колебаний подвешенной лампады подготовило изобретение точных хронометров, откуда должна была последовать для моряка возможность верно находить путь в океане. Пушечный порох получился из медленно видоизменявшегося греческого огня.

Паровая машина представляет собой сумму целого ряда изобретений, из которых каждое требовало громадных трудов. Грек, будь он во сто раз гениальнее Архимеда, не мог бы выдумать локомотива, ибо для выполнения такой задачи ему нужно было бы ждать, чтобы механика осуществила успехи, которые потребовали двухтысячелетних усилий.

Хотя, по-видимому, политическая роль великих государственных людей более независима от прошлого, но, в действительности, она не более самостоятельна, чем роль великих изобретателей. Ослепленные шумным блеском этих мощных двигателей человечества, преобразовавших политическое существование народов, такие писатели, как Гегель, Кузен, Карлейль и т. д., хотели из них сделать полубогов, пред которыми все должно преклониться, и один гений которых изменяет судьбу народов. Несомненно, они могут нарушить эволюцию какого-нибудь общества, но не в их власти изменить ее течение. Гений какого-нибудь Кромвеля или Наполеона не в силах выполнить подобного дела. Великие завоеватели могут уничтожить огнем и мечем города, людей и империи, как ребенок может сжечь музей, наполненный сокровищами искусства; но эта разрушительная сила не должна нас обманывать насчет характера своей роли. Влияние великих политических деятелей продолжается лишь до тех пор, пока, как Цезарь или Ришелье, они умеют направлять свои усилия в духе потребностей эпохи; настоящая причина их успехов предшествовала им самим. Двумя или тремя веками раньше Цезарю не удалось бы подчинить великую римскую республику власти монарха, и Ришелье был бы бессилен осуществить объединение Франции. В политике настоящие великие люди — те, которые предвидят зарождающиеся потребности, события, подготовленные прошлым, и указывают путь, которого следует держаться. Никто, может быть, не видел этого пути, но роковые условия эволюции должны были скоро толкнуть туда народы, судьбами которых временно управляют эти могущественные гении. Они, так же как и великие изобретатели, синтезируют результаты долгого предшествовавшего труда.

Не нужно, однако, проводить слишком далеко эти аналогии. Изобретатели играют важную роль в развитии цивилизации, но

никакой непосредственной роли — в политической истории народов. Великие люди, которым мы обязаны всеми важными открытиями, от плуга до телеграфа, составляющими общее достояние человечества, никогда не обладали качествами характера, необходимыми для основания религии или для завоевания империи, т. е. для заметного изменения внешнего вида истории. Мыслитель слишком ясно видит сложность проблем, чтобы он мог иметь когда-либо очень глубокие убеждения, и слишком мало политических целей кажутся ему достойными его усилий, чтобы он мог преследовать хоть одну из них. Изобретатели могут изменить внешний вид цивилизации; фанатики с ограниченным умом, но с энергичным характером и с сильными страстями одни только могут основывать религии, империи и поднимать массы.

По призыву какого-то Петра Пустынника миллионы людей устремились на Восток; слава человека, страдавшего галлюцинациями, как Магомет, создала силу, необходимую для того, чтобы восторжествовать над старым греко-римским миром; какой-то неизвестный монах Лютер предал Европу огню и крови. Не среди масс может найти лишь слабый отклик голос какого-нибудь Галилея или Ньютона. Гениальные изобретатели ускоряют ход цивилизации. Фанатики и страдающие галлюцинациями творят историю.

Из чего, в действительности, состоит история, по крайней мере та, с которой мы знакомимся по книгам, как не из длинного повествования о той борьбе, какую приходилось вынести человеку для того, чтобы создать идеал, поклоняться ему, а затем его уничтожить? Но разве перед чистой наукой подобные идеалы имеют большую цену, чем пустые миражи, образуемые светом на подвижных песках пустыни?

Однако некоторые страдавшие галлюцинациями знаменитые творцы подобных миражей наиболее глубоко преобразовали мир. Из глубины своих могил они гнут еще душу масс под иго своих мыслей. Не будем упускать важности их роли, но не станем, вместе с тем, забывать, что предпринятый ими труд они успели совершить только потому, что бессознательно воплотили в себе и выразили господствующий идеал своей расы и своего времени. Нельзя быть вождем народа, не воплощая его мечтаний. Моисей олицетворял собой в глазах евреев жажду освобождения, которая таилась годами в их душах рабов, истерзанных египетскими бичами. Будда сумел понять бесконечные бедствия своего времени и выразить в религии потребность любви и жалости, которые в эпохи всеобщего страдания начинали проявляться в мире. Ма-

гомет осуществил объединением религии политическое объединение народа, разделенного на тысячи враждебных племен. Артиллерист Наполеон воплотил идеал военной славы, блеска и революционной пропаганды, составлявших тогда основные черты народа, который он в продолжение пятнадцати лет водил через всю Европу, преследуя самые безумные приключения.

В конце концов, идеи, а следовательно, и те люди, которые их воплощают и распространяют, руководят миром. Их торжество обеспечено с того момента, как они имеют в числе своих защитников страдающих галлюцинациями и убежденных. Для силы их действия мало имеет значения: истинны ли они или ложны. История нам даже показывает, что наиболее нелепые идеи всегда сильнее фанатизировали людей и играли наиболее важную роль. Во имя самых обманчивых химер мир до сих пор подвергался сильнейшим потрясениям: цивилизации, казавшиеся вечными, рушились и основывались другие. Земля принадлежит нищим духом, но под тем условием, чтобы они обладали слепой верой, двигающей горы. Философы, посвящающие часто века на уничтожение того, что люди глубокого убеждения иногда создают в один день, должны преклониться перед ними. Убежденные как бы участвуют в тех скрытых силах, которые управляют миром. Они вызвали наиболее важные события, записанные историей.

Несомненно, фанатики распространяли только иллюзии, но этими иллюзиями, одновременно страшными, обольстительными и пустыми до сих пор жило человечество и, без сомнения, будет продолжать еще жить. Это только тени, однако, их следует уважать. Благодаря им наши отцы узнали надежду, и в своей героической и безумной погоне за этими тенями вывели нас из первобытного варварства и привели к тому пункту, где мы находимся в настоящее время. Из всех факторов развития цивилизаций иллюзии составляют едва ли не самый могущественный. Иллюзия вызвала на свет пирамиды и покрывала Египет в течение пяти тысяч лет каменными колоссами. Иллюзия выстроила в средние века наши гигантские соборы и заставила Запад броситься на Восток для завоевания фикции. В преследовании иллюзий основывались религии, которые умели подчинить своим законам половину человечества, ими же созидались и уничтожались самые громадные империи. Не в погоне за истиной, но скорее в погоне за ложью человечество истратило большую часть своих усилий. Преследуемых им химерических целей оно не в состоянии было достигнуть, но в их преследовании оно совершило весь прогресс, которого вовсе не искало.

# ЧЕТВЕРТЫЙ ОТДЕЛ

# РАЗЛОЖЕНИЕ ХАРАКТЕРА РАС И ИХ ПАДЕНИЕ

## ГЛАВА I

## КАК ЦИВИЛИЗАЦИИ БЛЕДНЕЮТ И ГАСНУТ

*Разложение психологических видов. — Как наследственные предрасположенная, требовавшие века для своего образования, могут быть быстро потеряны. — Всегда нужно очень долгое время для известного народа, чтобы подняться на высокую ступень цивилизации и иногда — очень короткое, чтобы упасть с нее. — Главный фактор падения какого-нибудь народа — понижение его характера. — Механизм разложения цивилизаций до сих пор был один и тот же для всех народов. — Симптомы упадка, представляемые некоторыми латинскими народами. — Развитие эгоизма. — Ослабление инициативы и воли. — Понижение характера и нравственности. — Современная молодежь.*

Точно так же, как анатомические виды, и психологические виды не вечны. Условия среды, поддерживающие постоянство их признаков, не всегда существуют. Если же эта среда случайно изменяется, то и элементы душевного склада, поддерживаемые ее влиянием, в конце концов, подвергаются регрессивным изменениям, приводящим их к исчезновению. По физиологическим законам, которые наблюдаются у всех существ, для исчезновения органа требуется бесконечно меньше времени, чем нужно для его образования. Всякий орган, остающийся без действия, теряет скоро способность функционировать. Глаза рыб, живущих в пещерных озерах, под конец атрофируются, и эта атрофия в конце концов становится наследственной. Даже в пределах короткой индивидуальной жизни орган, на образование которого путем медленных приспособлений и наследственных наклонностей тре-

бовались, может быть, тысячи веков, очень быстро доходит до атрофии, если его перестают приводить в действие.

Душевный склад существ не может избежать этих физиологических законов. Мозговая клеточка, которая не упражняется, в свою очередь перестает функционировать, и психические качества, требовавшие века для своего образования, могут быть быстро потеряны. Храбрость, инициатива, энергия, дух предприимчивости и различные качества характера, очень медленно приобретаемые, могут изгладиться довольно быстро, раз им не представляется больше повода упражняться. Этим объясняется тот факт, что какому-нибудь народу всегда нужно очень долгое время, чтобы подняться на высокую ступень культуры, и иногда очень короткое время, чтобы упасть в пропасть вырождения.

Когда исследуешь причины, постепенно приводившие к гибели все различные народности, о которых нам рассказывает история, будут ли это персы, римляне, или какой-либо другой народ, то видишь, что основным фактором их падения была всегда перемена в их душевном складе, вытекавшая из понижения их характера. Я не знаю ни одного народа, который бы исчез вследствие понижения своих умственных способностей.

Для всех прошедших цивилизаций механизм разложения был одинаков и притом до такой степени, что остается только спросить себя, как это сделал один поэт, не состоит ли в сущности история, занимающая столько книг, всего из одной страницы? После того, как какой-нибудь народ достиг той ступени цивилизации и могущества, когда он, уверенный в своей безопасности, начинает наслаждаться благодеяниями мира и благосостояния, доставляемыми ему богатством, его военные доблести постепенно теряются, излишество цивилизации развивает в нем новые потребности, растет эгоизм. Гоняясь только за лихорадочным наслаждением быстроприобретенными благами, граждане предоставляют ведение общественных дел государству и скоро теряют все качества, некогда создавшие их величие. Тогда соседние варвары и полуварвары, имея очень малые потребности и очень интенсивный идеал, совершают нашествие на слишком цивилизованный народ, уничтожают его и на развалинах разрушенной цивилизации образуют новую. Таким-то образом, несмотря на страшную военную организацию римлян и персов, варвары уничтожили империю первых и арабы — империю вторых. Впрочем, не умственного развития недоставало подвергшимся нашествию народам. С этой точки зрения, невозможно было никакое сравнение между победителями и побежденными. Именно

когда Рим уже носил в себе зародыши близкого упадка, т. е. при первых императорах, он насчитывал больше всего художников, литераторов и ученых. Почти все произведения, создавшие его величие, восходят к этой эпохе его истории. Но он потерял тот основной элемент, которого никакое умственное развитие не может заменить: характер. «Нравы были испорчены, семья разлагалась, характеры были изнежены. Под рукой абсолютной власти выродившийся человек съеживался. Было столько ужасных притеснений, но никогда ни малейшего протеста». Римляне древних веков имели очень слабые потребности и очень сильный идеал. Этот идеал — величие Рима — абсолютно господствовал над всеми душами, и каждый гражданин готов был пожертвовать для него своей семьей, своим состоянием и своей жизнью. Когда Рим сделался центром вселенной, самым богатым в мире городом, он наводнился иностранцами, пришедшими со всех стран, и которым, в конце концов, даны были права гражданства. Требуя для себя только наслаждения роскошью, они очень мало интересовались своей славой. Великий город сделался громадным постоялым двором, но это не был уже больше Рим. Он казался еще живущим, когда варвары явились у его ворот, но душа его уже была мертва давно.

Аналогичные причины упадка угрожают нашим утонченным цивилизациям, но к ним присоединяются еще другие, обязанные эволюции, произведенной в умах современными научными открытиями. Наука обновила наши идеи и отняла всякий авторитет у наших религиозных и социальных понятий. Она показала человеку ничтожное место, какое он занимает во вселенной, и полное равнодушие природы к нему. Он увидел, что то, что считалось им свободой, было только незнанием причин, которым он покоряется, и что в системе необходимостей, которые им руководят, естественное положение всех существ таково, чтобы быть в порабощении. Он заметил, что природа не знает того, что мы называем состраданием, и что весь завоеванный прогресс достигнут был только путем безжалостного подбора, ведущего беспрестанно к подавлению слабых в пользу сильных.

Все эти ледяные и холодные понятия, столь противоречащие всему тому, что говорили старые верования, очаровывавшие наших отцов, вызвали тревожные сомнения в душах современных поколений. В посредственных головах они произвели то анархическое состояние идей, которое кажется наиболее характерным для современного человека. У молодого поколения художников и образованных людей эти внутренние противоречия привели к

своего рода мрачному равнодушию, убийственному для всякой воли, к замечательной неспособности воодушевляться каким-нибудь делом и к исключительному культу непосредственных и личных интересов.

Комментируя очень верную мысль де Вогюэ, что «чувство относительного господствует над современной мыслью», министр народного просвещения провозгласил с явным удовольствием в недавней речи, что «замена относительных идей абстрактными понятиями во всех областях человеческого знания составляет величайшее завоевание науки». Новая объявленная победа, в действительности, очень стара. Уже много веков тому назад совершила ее индусская философия. Мы не можем особенно радоваться тому, что она стремится и теперь распространиться. Настоящая опасность для современной цивилизации заключается как раз в том, что люди потеряли всякую веру в абсолютную ценность принципов, на которых она держится. Я не знаю, можно ли назвать от начала мира хоть одну цивилизацию, одно учреждение, одно верование, которые сумели сохраниться, опираясь на принципы, рассматриваемые, как имеющие только относительную ценность. И если будущее, по-видимому, принадлежит социалистическим доктринам, то именно потому, что только их апостолы говорят во имя истин, которые они провозглашают абсолютными. Массы всегда обратятся к тем, которые ему будут говорить об абсолютных истинах и вполне основательно отвернутся от других. Чтобы быть государственным человеком, нужно уметь проникать в душу толпы, понять ее мечты и оставить для нее философские абстракции. Вещи сами по себе не меняются. Одни только идеи, которые составляются о них, могут сильно изменяться. На эти-то идеи и нужно уметь действовать.

Конечно, мы из действительного мира можем узнать только явления, простые состояния сознания, ценность которых очевидно относительна. Но когда мы себя ставим на общественную точку зрения, то можем сказать, что для данного века и для данного общества существуют условия существования, моральные законы, учреждения, имеющие абсолютную ценность, так как это общество без них не могло бы существовать. С тех пор, как стала оспариваться ценность их и распространяться в умах сомнение, общество осуждено на скорую смерть.

Вот истины, которые можно смело провозглашать, ибо они не из тех, которые могла бы оспаривать какая-нибудь наука. Противоположная доктрина может производить только самые гибельные последствия. Современные государственные люди слишком много

верят в значение учреждений и слишком мало — в значение идей. Наука показывает им, однако, что первые всегда дети вторых и не могут существовать, не опираясь на них. Идеи представляют собой невидимые пружины вещей. Когда они исчезли, то и скрытые подпорки учреждений и цивилизаций поломаны. Для народа всегда был страшным часом тот, когда его старые идеи спускались в темные подземелья, где почивают мертвые боги.

Оставляя теперь в стороне причины, чтобы изучить результаты, мы должны признать, что большинству великих европейских наций серьезно угрожает явное вырождение, в особенности так называемым латинским и тем, которые принадлежат к ним если не по крови, то, по крайней мере, по традициям и по воспитанию. Они теряют с каждым днем свою инициативу, свою энергию, свою волю и свою способность действовать. Удовлетворение постоянно растущих материальных потребностей стремится стать единственным их идеалом. Семья разлагается, социальные пружины ослабляются. Недовольство и беспокойство распространяются во всех классах, как самых богатых, так и самых бедных. Подобно кораблю, потерявшему свой компас и блуждающему наудачу по произволу ветров, современный человек блуждает по произволу случая в пространствах, которые некогда населяли боги и которые трезвое знание сделало пустынными.

Став очень впечатлительными и крайне переменчивыми, массы, не удерживаемые уже никакими преградами, по-видимому, осуждены беспрестанно колебаться между самой бешеной анархией и самым грубым деспотизмом. Они очень легко поднимаются по одному слову, и их однодневные божества скоро становятся их жертвами. Кажется, что массы жадно добиваются свободы; в действительности же они ее всегда отталкивают и беспрестанно требуют от государства, чтобы оно ковало для них цепи. Они слепо повинуются самым темным сектантам и самым ограниченным деспотам. Краснобаи, желающие руководить массами и, чаще всего, следующие за ними, возбуждают нетерпение и нервозность, заставляя беспрестанно менять повелителей с настоящим духом независимости, отучая таким образом от повиновения какому бы то ни было повелителю. Государство, каков бы ни был его номинальный режим, является божеством, к которому обращаются все партии. От него требуют с каждым днем все более тяжелой регламентации и покровительства, облекающих малейшие акты жизни в самые тиранические формальности. Молодежь все более и более отказывается от карьер, требующих

понимания, инициативы, энергии, личных усилий и воли; малейшая ответственность ее пугает. Ограниченная сфера функций, за которые получается жалованье от государства, ее вполне удовлетворяет.

Энергия и деятельность заменены у государственных людей страшно бесплодными личными препирательствами, у масс — восторгами и злобами дня, у образованных — каким-то плаксивым, бессильным и неопределенным сентиментализмом и бледными рассуждениями о горестях жизни. Безграничный эгоизм развивается всюду. Каждый в конце концов стал заниматься только собой. Совесть становится покладистой, общая нравственность понижается и постепенно гаснет. Человек теряет всякую власть над собой. Он не умеет больше владеть собой; а тот, кто не умеет владеть собой, осужден скоро подпасть под власть других.

Это понижение нравственности становится очень серьезным, когда оно наблюдается в таких областях, как суд и нотариат, у которых некогда честность была так же обычна, как храбрость у военных. Что касается нотариата, то нравственность его в настоящее время упала до очень низкого уровня. Те же симптомы глубокой деморализации наблюдаются, к несчастью, у всех латинских народов. Скандал итальянских государственных банков, где воровство практиковалось в широких размерах наиболее высокопоставленными политическими деятелями, несостоятельность Португалии, жалкое финансовое положение Испании, финансы которой не лучше финансов Италии, глубокое падение латинских республик Америки доказывают, что характер и нравственность известных народов страдает неизлечимой болезнью и что их роль в мире близится к концу.

Переменить все это было бы трудным делом. Нужно было бы, прежде всего, переменить наше плачевное воспитание. Оно отнимает всякую инициативу и всякую энергию даже у тех, кто получил их по наследственности. Оно тушит всякий проблеск интеллектуальной самостоятельности, давая молодежи как единственный идеал ненавистные конкурсы, которые, не требуя ничего кроме усилий памяти, приводят к тому, что умственное развитие начинает считаться выше всего; но именно рабская привычка к подражанию делает ее совершенно неспособной к проявлению индивидуальности и к личным усилиям. «Я стараюсь влить железо в душу детей», сказал английский педагог министру Гизо, посетившему школы Великобритании. Где у латинских народов педагоги и программы, которые могли бы осуществить подобную мечту?

Этому общему понижению характера, этой неспособности граждан управлять самими собой и их эгоистическому равнодушию обязана, главным образом, та трудность, какую испытывают большинство европейских народов, — жить под либеральными законами, одинаково далекими как от деспотизма, так и от анархии.

Что подобные законы мало симпатичны массам, это легко понять, ибо цезаризм обещает им если не свободу, о которой они очень мало заботятся, то, по крайней мере, очень большое равенство в рабстве. Напротив, то, что республиканские учреждения могут быть очень охотно приняты просвещенными классами, не трудно будет понять, если оценить надлежащим образом силу влияний предков. Не благодаря ли этим учреждениям имели больше всего возможностей проявиться всякие превосходства, и в особенности — умственные? Можно даже сказать, что единственный действительный недостаток этих учреждений для мечтателей об абсолютном равенстве заключается в том, что они способствуют образованию могущественных умственных аристократий. Напротив, самым притеснительным режимом как для характера, так и для ума является цезаризм в его различных формах. Он может только легко привести к равенству в низости, к покорности в рабстве. Он очень приспособлен к низким потребностям вырождающихся народов, и поэтому, лишь только им представляется возможность, они возвращаются к нему. Первый попавшийся плюмаж какого-нибудь генерала приводит их к нему. Когда какой-нибудь народ дошел до этого, то час его пришел и время его завершилось.

Он, этот цезаризм старых веков, появление которого история всегда видела во всех цивилизациях при самом первом их возникновении и при крайнем их упадке, теперь претерпевает явную эволюцию...

## ГЛАВА II

## ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

Нам пришлось указать во введении к настоящему труду, что он представляет собой только краткое резюме, своего рода синтез томов, посвященных нами истории цивилизаций. Каждая из составляющих его глав должна быть рассматриваема как вывод из предшествовавших трудов. Поэтому очень трудно сжать идеи,

и без того уже очень сжатые. Я хочу, однако, попытаться для читателей, которым дорого время, представить в виде очень кратких положений основные принципы, составляющие философию настоящего труда.

- Раса обладает почти столь же устойчивыми психологическими признаками, как и ее анатомические признаки. Как и анатомический вид, психологический изменяется только после многовековых накоплений.
- К устойчивым и наследственным психологическим признакам, сочетание которых образует психический склад расы, присоединяются, как и у анатомических видов, побочные элементы, созданные различными изменениями среды. Беспрестанно возобновляемые, они оставляют расе широкий простор для внешних изменений.
- Психический склад расы представляет собой не только синтез составляющих ее живых существ, но в особенности — синтез всех предков, способствовавших ее образованию. Не только живые, но и мертвые играют преобладающую роль в современной жизни какого-нибудь народа. Они творцы его морали и бессознательные двигатели его поведения.
- Очень большие анатомические различия, разделяющие различные человеческие расы, сопровождаются не менее значительными психологическими различиями. Когда сравниваешь между собой средние каждой расы, психические различия кажутся часто довольно слабыми. Они становятся громадными, лишь только мы распространяем сравнение на высшие элементы каждой расы. Тогда можно заметить, что главным отличием высших народов от низших служит то, что первые выделяют из своей среды известное число очень развитых мозгов, тогда как у вторых их нет.
- Индивиды, составляющие низшие расы, имеют между собой очевидное равенство. По мере того как расы поднимаются по лестнице цивилизации, их члены стремятся все больше различаться между собой. Неизбежный результат цивилизации — дифференциация индивидов и рас. Итак, не к равенству идут народы, но к большему неравенству.
- Жизнь какого-нибудь народа и все проявления его цивилизации составляют простое отражение его души, видимые знаки невидимой, но очень реальной вещи. Внешние события образуют только видимую поверхность определяющей их скрытой ткани.

- Ни случай, ни внешние обстоятельства, ни, в особенности, политические учреждения не играют главной роли в истории какого-нибудь народа.
- Различные элементы цивилизации какого-нибудь народа, будучи только внешними знаками его психического склада, выражением известных способов чувствования и мышления, свойственных данному народу, не могут передаваться без изменений народам совершенно иного психического склада. Передаваться могут только внешние, поверхностные и не имеющие значения формы.
- Глубокие различия, существующие между психическим складом различных народов, приводят к тому, что они воспринимают внешний мир совершенно различно. Из этого вытекает то, что они чувствуют, рассуждают и действуют совершенно различно и что между ними существует разногласие по всем вопросам, когда они приходят в соприкосновение друг с другом. Большая часть войн, которыми полна история, возникала из этих разногласий. Завоевательные, религиозные и династические войны всегда были в действительности расовыми войнами.
- Скоплению людей различного происхождения удается образовать расу, т. е. сформировать в себе коллективную душу, только тогда, когда путем повторяющихся веками скрещиваний и одинаковой жизнью в тождественной среде оно приобрело общие чувства, общие интересы, общие верования.
- У цивилизованных народов нет уже естественных рас, а существуют только искусственные, созданные историческими условиями.
- Новая среда, моральная или физическая, действует глубоко только на новые расы, т. е. на помеси древних рас, скрещивания которых разложили унаследованные от предков черты. Одна только наследственность достаточно сильна, чтобы бороться с наследственностью. На расы, у которых скрещивания еще не успели уничтожить устойчивости признаков, влияния среды имеют только чисто разрушительное влияние. Древняя раса скорее гибнет, чем подвергается изменениям, которые требует приспособление к новой среде.
- Приобретение прочно сложенной коллективной души представляет собой для известного народа апогей его величия. Разложение этой души означает всегда час ее падения.

Вмешательство чужеземных элементов составляет одно из наиболее верных средств достигнуть этого разложения.

- Психологические виды, как и анатомические, подвергаются действию времени. Они также осуждены стареть и угасать. Всегда очень медленно образуясь, они, напротив, могут быстро исчезать. Достаточно глубоко нарушить функционирование их органов, чтобы заставить их испытать регрессивные изменения, результатом которых бывает часто очень быстрое уничтожение. Народам нужны многие века, чтобы приобрести определенный психический склад, и они его иногда теряют в очень короткое время. Восходящая дорога, которая ведет их на высокую ступень цивилизации, всегда очень длинна; покатость же, ведущая их к падению, чаще всего бывает очень короткой.
- Рядом с характером нужно поставить идеи как один из главных факторов эволюции какой-нибудь цивилизации. Они действуют только тогда, когда после очень медленной эволюции преобразовались в чувства. Тогда они застрахованы от возражений, и требуется очень долгое время для их исчезновения. Каждая цивилизация происходит из очень небольшого числа общепринятых основных идей.
- Среди наиболее важных руководящих идей какой-нибудь цивилизации находятся религиозные идеи. Из изменений религиозных верований непосредственно вытекало большинство исторических событий. История человечества всегда была параллельна истории его богов. Эти дети наших мечтаний имеют столь сильную власть, что даже имя их не может измениться без того, чтобы тотчас же не был потрясен мир. Рождение новых богов всегда означало зарю новой цивилизации, и их исчезновение всегда означало ее падение. Мы живем в один из тех исторических периодов, когда на время небеса остаются пустыми. В силу одного этого должен измениться мир.

# КНИГА II

# ПСИХОЛОГИЯ МАСС

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Мы посвятили свою предшествующую работу описанию души рас; теперь же займемся изучением души толпы.

Общие черты, обусловливаемые наследственностью у всех индивидов одной и той же расы, составляют душу этой расы. Но когда известное число этих индивидов образует действующую толпу, наблюдение указывает, что результатом такого сближения индивидов одной расы являются новые психологические черты, не только противополагающиеся характеру рас, но часто отличающиеся от него в значительной степени.

Организованная толпа всегда играла большую роль в жизни народов, но роль эта еще никогда не имела такого важного значения, как в данную минуту. Главной характерной чертой нашей эпохи служит именно замена сознательной деятельности индивидов бессознательной деятельностью толпы.

Я сделал попытку изучения трудной проблемы толпы посредством исключительно научных приемов, т. е. старался отыскать метод, оставляя в стороне мнения, теории и доктрины. Я полагаю, что это единственный способ, дающий возможность раскрыть хоть частицу правды, особенно в таком вопросе, который так сильно волнует умы.

Ученый, приступающий к изучению какого-нибудь явления, не имеет нужды принимать во внимание интересы, которые могут быть задеты его открытиями. Недавно один из выдающихся современных мыслителей высказал замечание, что, так как я не принадлежу ни к одной из современных школ, то весьма часто оказываюсь в оппозиции с выводами и заключениями всех школ. Эта новая моя работа, по всей вероятности, вызовет подобные же замечания. Принадлежать к какой-нибудь школе — это значит необходимым образом разделять все ее предрассудки и предубеждения.

Я должен, однако, объяснить читателям, почему в моих исследованиях я прихожу иногда к совершенно иным выводам, чем это можно было бы ожидать с первого взгляда: я указываю, например, на крайне низкую степень толпы в умственном отношении, включая сюда даже собрания избранных, и, между тем, я все-таки заявляю, что было бы опасно коснуться организации этих собраний.

Внимательное наблюдение исторических фактов заставило меня прийти к тому заключению, что социальные организмы столь же сложны, как и организмы всех живых существ, и не в нашей власти вызывать в них глубокие изменения. Природа действует иногда радикально, но никогда — в том смысле, как мы это понимаем; вот почему мания великих реформ бывает очень пагубна для народа, как бы ни казались хороши эти реформы в теоретическом отношении. Они могли бы принести пользу лишь в том случае, если бы можно было мгновенно изменить душу наций, но таким могуществом обладает лишь время. Управляют людьми идеи, чувства, нравы, то, что мы носим в себе. Учреждения и законы являются лишь отражением нашей души, выражением наших нужд; поэтому-то они и не могут изменить душу народов, так как сами из нее происходят.

Изучение социальных явлений не может идти отдельно от изучения народов, у которых они наблюдаются. В философском отношении эти явления могут даже представлять собой абсолютную ценность, но в практическом отношении ценность их всегда относительная. Поэтому-то, изучая какое-нибудь социальное явление, надо рассматривать его последовательно с двух различных сторон. Таким образом, яснее выступает то положение, что весьма часто веление чистого разума находятся в прямом противоречии с поучениями практического ума. Это наблюдается всюду, даже там, где дело касается данных физики. С точки зрения абсолютной истины, куб и круг представляют собой неизменные геометрические фигуры, строго определяемые известными формулами. Но для нашего глаза фигуры эти могут принимать самые разнообразные формы. Так, перспектива может превратить куб в пирамиду или квадрат, круг — в эллипс или даже в прямую линию, и эти фиктивные формы для нас гораздо важнее, нежели реальные, так как мы видим только их, и фотография или живопись могут воспроизводить только эти формы. Нереальное в некоторых случаях бывает даже правдивее реального. Представлять предметы лишь в их точных геометрических формах было бы искажением природы и сделало бы ее неузнаваемой.

Представим себе такой мир, обитатели которого могли бы лишь фотографировать и срисовывать различные предметы, не имея возможности к ним прикасаться; этим обитателям было бы очень трудно составить себе верное понятие об их форме. Впрочем, знание этой формы, доступное лишь небольшому числу ученых, не представило бы для них особенного интереса.

Философ, изучающий социальные явления, должен всегда помнить, что вместе с теоретическим значением они имеют еще и практическую ценность, и с точки зрения эволюции цивилизаций, эта последняя — единственная, представляющая некоторое значение. Такая точка зрения должна сделать его очень осторожным в тех выводах, которые, по-видимому, внушаются ему логикой. Но и другие мотивы также заставляют его быть сдержанным в своих заключениях. Сложность социальных фактов такова, что их нельзя обнять все сразу и невозможно предвидеть результаты их взаимного влияния. Кроме того, за видимыми фактами весьма часто скрываются тысячи невидимых причин. Социальные же явления являются следствием громадной бессознательной работы, большей частью недоступной нашему анализу. Эти видимые явления можно сравнить с волнами, служащими на поверхности океана выражением подземных сотрясений его дна, которые нам неизвестны. Наблюдая большинство поступков толпы, мы видим, что они, чаще всего, служат выражением ее замечательно низкого умственного уровня. Но есть такие случаи, когда действиями толпы руководят, по-видимому, таинственные силы, называвшиеся в древности судьбой, природой, провидением и теперь именуемые голосом мертвых. Мы не можем не признавать могущества этих сил, хотя совершенно не знаем их сущности. Иногда кажется, что в недрах наций находятся скрытые силы, руководящие их действиями. Что может быть, например, более сложным, более логичным и удивительным, нежели язык народа?

# ЭРА ТОЛПЫ

*Эволюция современной эпохи. — Великие изменения цивилизации суть следствия перемен в мысли народов. — Современное верование в могущество толпы. — Оно преобразовывает традиционную политику государств. — Как выступают низшие классы и как проявляется их могущество. — Толпа может играть только разрушительную роль. — Толпа заканчивает процесс распада устаревших цивилизаций. — Всеобщее незнание психологии толпы. — Важность изучения толпы для законодателей и государственных людей.*

Великие перевороты, предшествующие изменению цивилизации, например, падение Римской империи и основание арабской, на первый взгляд определяются главным образом политическими переменами, нашествием иноплеменников, падением династий. Но более внимательное изучение этих событий указывает, что за этими кажущимися причинами чаще всего скрывается глубокое изменение идей народов. Истинно исторические перевороты — не те, которые поражают нас своим величием и силой. Единственные важные перемены, из которых вытекает обновление цивилизаций, совершаются в идеях, понятиях и верованиях. Крупные исторические события являются лишь видимыми следствиями невидимых перемен в мысли людей. Перемены эти, однако, случаются редко, потому что самое прочное в каждой расе — это наследственные основы ее мыслей.

Современная эпоха представляет собой один из таких критических моментов, когда человеческая мысль готовится к изменению. В основе этого изменения лежат два главных фактора. Первый — это разрушение религиозных, политических и социальных верований, давших начало всем элементам нашей цивилизации; второй — это возникновение новых условий существования и совершенно новых идей, явившихся следствием современных открытий в области наук и промышленности.

Идеи прошлого, хотя и наполовину разрушенные, все еще достаточно сильны; идеи же, которые должны их заменять, находятся

пока еще в периоде своего образования — вот почему современная эпоха есть время переходное и анархическое.

Нелегко предсказать, что может выйти из такого периода, поневоле имеющего хаотический характер. Каковы будут основные идеи, на которых воздвигнутся новые общества, идущие нам на смену? Мы этого пока не знаем. Но мы уже теперь можем видеть, что при своей организации им придется считаться с новой силой, последней повелительницей современной эпохи — могуществом масс. Эта сила возникла на развалинах многих идей, считавшихся некогда истинными и теперь исчезнувших, многих сил, разрушенных последовательно революциями, и, по-видимому, готова поглотить и остальные. И в то время, как все наши древние верования колеблются и исчезают, старинные столпы общества рушатся друг за другом, могущество масс представляет собой единственную силу, которой ничто не угрожает и значение которой все увеличивается. Наступающая эпоха будет поистине *эрой масс*.

Не более столетия тому назад традиционная политика государств и соперничество государей были главными факторами событий. Мнение масс не принималось в расчет, да, большей частью, оно и не существовало. В настоящее же время политические традиции, личные склонности монархов, их соперничество уже более не принимаются в расчет, и, наоборот, голос толпы становится преобладающим. Массы диктуют правительству его поведение, и именно к их желаниям оно и старается прислушаться. Не в совещаниях государей, а в душе толпы подготавливаются теперь судьбы наций.

Вступление народных классов на арену политической жизни, т. е., в действительности, их постепенное превращение в руководящие классы, представляет одну из наиболее выдающихся характерных черт нашей переходной эпохи. Это вступление, на самом деле, вызвано вовсе не всеобщей подачей голосов, которая долгое время не имела самостоятельной, руководящей роли и легко подчинялась сторонним влияниям. Прогрессивный рост могущества толпы совершился, прежде всего, путем распространения известных идей, которые медленно насаждались в умах, и затем — посредством постепенного образования ассоциаций индивидов с целью осуществления теоретических построений. Путем ассоциации толпа выработала идеи (если не совсем справедливые, то, во всяком случае, вполне определенные) о своих интересах и получила сознание своей силы. Толпа составляет синдикаты, перед которыми капитулируют все власти, одна за

другой, и организует биржи труда, стремящиеся управлять условиями работы и заработной платы. Толпа посылает в правительственные собрания своих представителей, лишенных всякой инициативы и, чаще всего, служащих только простым орудием тех комитетов, которые их избрали.

В настоящее время притязания толпы становятся все более и более определенными. Ограничение рабочих часов, экспроприация рудников, железных дорог, фабрик, земли, равномерное распространение всех продуктов и т. д., и т. д. — вот в чем заключаются требования толпы.

Мало склонные к теоретическим рассуждениям, массы зато очень склонны к действию. Благодаря своей теперешней организации, толпа получила огромную силу. Догматы, только что нарождающиеся, скоро получат силу старых догматов, т. е. ту тираническую верховную силу, которая не допускает никаких обсуждений. Божественное право масс должно заменить божественное право королей.

Писатели, пользующиеся симпатиями нашей современной буржуазии и лучше всего умеющие выразить ее несколько узкие идеи, поверхностный скептицизм и, подчас, чрезмерный эгоизм, теряются при виде новой силы, растущей на их глазах, и, чтобы как-нибудь побороть «беспорядок», господствующий в умах, обращаются с отчаянными воззваниями к нравственным силам церкви, которыми некогда они так пренебрегали. Они говорят нам о банкротстве науки и, возвращаясь кающимися грешниками из Рима, призывают нас к изучению истин откровения. Но все эти новообращенные забывают, что уже слишком поздно! Если бы даже в самом деле милость Божия коснулась их, все-таки они не могли бы теперь иметь достаточной власти над душами, мало интересующимися теми вопросами, которыми так поглощены новоиспеченные святоши. Толпа не хочет теперь тех богов, которых они сами не хотели знать еще так недавно и ниспровержению которых сами способствовали. Нет такой божественной или человеческой власти, которая могла бы заставить реку течь обратно к своему источнику!

С наукой не произошло никакого банкротства, и она ни при чем — ни в нынешней анархии умов, ни в образовании новой силы, растущей посреди этой анархии. Наука обещала нам истину или, по крайней мере, знание тех отношений, которые доступны нашему уму, но она никогда не обещала нам ни мира, ни счастья. Совершенно равнодушная к нашим чувствам, наука не слышит наших жалоб. Мы должны прилаживаться к

ней, потому что ничто не может вернуть нам тех иллюзий, которые она рассеяла.

Общие симптомы, заметные у всех наций, указывают нам быстрый рост могущества масс и не допускают мысли, что это могущество скоро перестанет расти. Что бы оно нам ни принесло с собой, мы должны будем с ним примириться. Всякие рассуждения и речи против этого могущества — пустые слова. Конечно, возможно, что вступление на сцену толпы знаменует собой одни из последних этапов цивилизации Запада, полное возвращение к периодам смутного переходного времени, всегда, по-видимому, предшествующего расцвету каждого нового общества. Но как же помешать этому?

До сих пор самой определенной ролью масс было великое разрушение устаревших цивилизаций. Роль эта существует не с нынешнего дня. История указывает нам, что как только нравственные силы, на которых покоилась цивилизация, теряют власть, дело окончательного разрушения завершается бессознательной и грубой толпой, справедливо называемой варварами. Цивилизации создавались и оберегались маленькой горстью интеллектуальной аристократии, никогда — толпой. Сила толпы направлена лишь к разрушению. Владычество толпы всегда указывает на фазу варварства. Цивилизация предполагает существование определённых правил, дисциплину, переход от инстинктивного к рациональному, предвидений будущего, более высокую степень культуры, а это все условия, которых толпа, предоставленная сама себе, никогда не могла осуществить. Благодаря своей исключительно разрушающей силе, толпа действует, как микробы, ускоряющие разложение ослабленного организма или трупа. Если здание какой-нибудь цивилизации подточено, то всегда толпа вызывает его падение. Тогда-то обнаруживается ее главная роль, и на время философия численности становится, по-видимому, единственной философией истории.

Будет ли так же и с нашей цивилизацией? Мы можем этого бояться, но еще не можем этого знать. Что бы там ни было, но мы должны покориться и пережить царство толпы.

Эту толпу, о которой начинают так много говорить, мы знаем очень мало. Профессиональные психологи, жившие вдали от нее, всегда ее игнорировали, а если занялись ею в последнее время, то лишь с точки зрения ее преступности. Без сомнения, есть преступная толпа, но есть также толпа добродетельная, героическая и много других. Преступления толпы составляют лишь частный случай ее психологии; нельзя узнать духовную организацию

толпы, изучая только ее преступления, так же как нельзя узнать духовную организацию какой-нибудь личности, изучая только ее пороки. Впрочем, говоря по правде, все властители мира, все основатели религий или государств, апостолы всех верований, выдающиеся государственные люди и, в сфере более скромной, простые вожди маленьких человеческих общин всегда были бессознательными психологами, инстинктивно понимающими душу толпы и часто — очень верно. Именно благодаря этому пониманию, они и становились властелинами толпы. Наполеон прекрасно постиг психологию масс той страны, в которой царствовал, но зачастую выказывал полное непонимание психологии толпы других народов и рас[1]. Только потому что он не понимал этой психологии, он и мог вести войну с Испанией и Россией, нанесшую его могуществу удар, от которого оно погибло.

Знание психологии толпы составляет в настоящее время последнее средство, имеющееся в руках государственного человека, — не для того, чтобы управлять массами, так как это уже невозможно, а для того, чтобы не давать им слишком много воли над собой.

Только вникая глубже в психологию масс, можно понять, до какой степени сильна над ними власть внушенных идей. Толпами нельзя руководить посредством правил, основанных на чисто теоретической справедливости, а надо отыскивать то, что может произвести на нее впечатление и увлечь ее. Если, например, какой-нибудь законодатель желает учредить новый налог, то должен ли он в таком случае выбрать такой налог, который будет наиболее справедливым? Никоим образом! Самый несправедливый налог может в практическом отношении оказаться самым лучшим для масс. Если такой налог не бросается в глаза и кажется наименее тяжелым, он всего легче будет принят массами. Поэтому косвенный налог, как бы он ни был велик, не вызовет протеста толпы, так как он не стесняет ее привычек и не производит на нее впечатления, ибо взимается ежедневно и уплачивается по мелочам при покупке предметов потребления. Но попробуйте заменить этот налог пропорциональным налогом на заработок или другие доходы и потребуйте уплаты этого налога

[1] Самые хитрые из его советников понимали эту психологию не лучше его. Талейран, например, писал Наполеону, что «Испания примет его солдат как освободителей». Но она отнеслась к ним, как к хищным зверям. Психолог же, понимающий наследственные инстинкты расы, легко мог бы это предвидеть.

сразу, — вы вызовете единодушные протесты, хотя бы теоретически этот налог и был бы в десять раз легче первого. Вместо незаметных копеек, уплачиваемых ежедневно, тут получается сравнительно высокая сумма, и в тот день, когда ее придется вносить, она покажется чрезмерной и потому уже произведет внушительное впечатление. Если бы откладывать постепенно по грошу, то, конечно, она не показалась бы такой большой, но подобный экономический прием указывал бы на предусмотрительность, к которой вообще толпа неспособна.

Указанный пример весьма прост, и справедливость его бросается в глаза. Такой психолог, как Наполеон, конечно, понимал это, но большинство законодателей, не знающих души толпы, не заметят этой особенности. Опыт еще недостаточно убедил их в том, что нельзя руководить массами посредством предписаний только одного разума.

Психология масс может иметь применение и во многих других случаях. Она бросает свет на множество исторических и экономических фактов, которые без нее были бы совершенно необъяснимы. Я буду иметь случай указать здесь, что если самый замечательный из современных историков, Тэн, так плохо понимал в некоторых случаях события нашей великой революции, то это произошло лишь потому что он никогда не думал изучать душу толпы. Он взял для себя руководством при изучении этого сложного периода описательный метод натуралистов; но ведь среди явлений, которые приходится наблюдать натуралистам, мы не находим нравственных сил, а между тем, эти силы и составляют истинные пружины истории.

Итак, изучение психологии толпы представляется желательным с практической точки зрения, но если бы даже оно представляло исключительно только теоретический интерес, то и в таком случае заслуживало бы внимания. Распознать двигатели, управляющие действиями людей, не менее интересно, чем распознать какой-нибудь минерал или цветок.

Наше исследование души толпы не может быть ничем иным как простым синтезом, кратким изложением наших прежних изысканий. Нельзя требовать от нашего очерка ничего другого, кроме некоторых взглядов, наводящих на размышления. Другие углубят ту борозду, которую мы провели на поверхности до сих пор еще очень мало исследованной почвы.

# ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ

# ДУША ТОЛПЫ

## ГЛАВА I

### ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОЛПЫ. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАКОН ЕЕ ДУХОВНОГО ЕДИНСТВА

*Что составляет толпу с психологической точки зрения? — Многочисленное скопление индивидов недостаточно для образования толпы. — Специальный характер одухотворенной толпы. — Фиксирование идей и чувств у индивидов, составляющих такую толпу, и исчезновение их собственной личности. — В толпе всегда преобладает бессознательное. — Прекращение деятельности мозговых полушарий и преобладание спинного мозга. — Понижение умственных способностей и полное изменение чувств. — Измененные чувства могут быть лучше или хуже тех, которые присущи отдельным индивидам, составляющим вместе толпу. — Толпа так же легко становится героичной, как и преступной.*

Под словом «толпа» подразумевается в обыкновенном смысле собрание индивидов, какова бы ни была их национальность, профессия или пол и каковы бы ни были случайности, вызвавшие это собрание. Но, с психологической точки зрения, слово это получает уже совершенно другое значение. При известных условиях — и притом только при этих условиях — собрание людей имеет совершенно новые черты, отличающиеся от тех, которые характеризуют отдельных индивидов, входящих в состав этого собрания. Сознательная личность исчезает, причем чувства и идеи всех отдельных единиц, образующих целое, именуемое толпой, принимают одно и то же направление. Образуется коллективная душа, имеющая, конечно, временный характер,

но и очень определенные черты. Собрание в таких случаях становится тем, что я назвал бы, за неимением лучшего выражения, организованной толпой или толпой одухотворенной, составляющей единое существо и подчиняющейся *закону духовного единства толпы.*

Без всякого сомнения, одного факта случайного нахождения вместе многих индивидов недостаточно для того, чтобы они приобрели характер организованной толпы; для этого нужно влияние некоторых возбудителей, природу которых мы и постараемся определить.

Исчезновение сознательной личности и ориентирование чувств и мыслей в известном направлении — главные черты, характеризующие толпу, вступившую на путь организации, — не требуют непременного и одновременного присутствия нескольких индивидов в одном и том же месте. Тысячи индивидов, отделенных друг от друга, могут в известные моменты подпадать одновременно под влияние некоторых сильных эмоций или какого-нибудь великого национального события и приобретать, таким образом, все черты одухотворенной толпы. Стоит какой-нибудь случайности свести этих индивидов вместе, чтобы все их действия и поступки немедленно приобрели характер действий и поступков толпы. В известные моменты даже шести человек достаточно, чтобы образовать одухотворенную толпу, между тем как в другое время сотня человек, случайно собравшихся вместе, при отсутствии необходимых условий, не образует подобной толпы. С другой стороны, целый народ под действием известных влияний иногда становится толпой, не представляя при этом собрания в собственном смысле этого слова. Одухотворенная толпа после своего образования приобретает общие черты — временные, но совершенно определенные. К этим общим чертам присоединяются частные, меняющиеся сообразно элементам, образующим толпу и могущим в свою очередь изменить ее духовный состав. Одухотворенная толпа может быть подвергнута известной классификации. Мы увидим далее, что разнокалиберная толпа, т. е. такая, которая состоит из разнородных элементов, имеет много общих черт с однородной толпой, т. е. такой, которая состоит из более или менее родственных элементов (секты, касты и классы). Рядом с этими общими чертами, однако, резко выступают особенности, которые дают возможность различать оба рода толпы.

Прежде чем говорить о различных категориях толпы, мы должны изучить ее общие черты и будем поступать, как натуралист, начинающий с описания общих признаков, существующих у

всех индивидов одной семьи, и затем уже переходящий к частностям, позволяющим различать виды и роды этой семьи.

Нелегко изобразить с точностью душу толпы, так как ее организация меняется не только сообразно расе и составу собраний, но и, соответственно, природе и силе возбудителей, которым подчиняются эти собрания. Впрочем, на такие же затруднения мы наталкиваемся, приступая к психологическому изучению отдельного индивида. Только в романах характер отдельных личностей не меняется в течение всей их жизни; в действительности же однообразие среды создает лишь кажущееся однообразие характеров. В другом месте я указал уже, что в каждой духовной организации заключаются такие задатки характера, которые тотчас же заявляют о своем существовании, как только в окружающей среде произойдет внезапная перемена. Так, например, среди наиболее суровых членов Конвента можно было встретить совершенно безобидных буржуа, которые при обыкновенных условиях, конечно, были бы простыми мирными гражданами, занимая должности нотариусов или судей. Когда гроза миновала, они вернулись к своему нормальному состоянию мирных буржуа, и Наполеон именно среди них нашел себе самых покорных слуг.

Не имея возможности изучить здесь все степени организации толпы, мы ограничимся преимущественно толпой, уже совершенно организованной. Таким образом, из нашего изложения будет видно лишь то, чем может быть толпа, но не то, чем она всегда бывает. Только в этой позднейшей фазе организации толпы среди неизменных и преобладающих основных черт расы выделяются новые специальные черты и происходит ориентирование чувств и мыслей собрания в одном и том же направлении, и только тогда обнаруживает свою силу вышеназванный *психологический закон духовного единства толпы.*

Некоторые психологические черты характера толпы общи у нее с изолированными индивидами; другие же, наоборот, присущи только ей одной и встречаются только в собраниях. Мы, прежде всего, рассмотрим именно эти специальные черты, для того чтобы лучше выяснить их важное значение.

Самый поразительный факт, наблюдающийся в одухотворенной толпе, следующий: каковы бы ни были индивиды, составляющие ее, каков бы ни был их образ жизни, занятия, их характер или ум, одного их превращения в толпу достаточно для того, чтобы у них образовался род коллективной души, заставляющей их чувствовать, думать и действовать совершенно иначе, чем думал бы, действовал и чувствовал каждый из них в отдельности. Существуют

такие идеи и чувства, которые возникают и превращаются в действия лишь у индивидов, составляющих толпу. Одухотворенная толпа представляет собой временный организм, образовавшийся из разнородных элементов, на одно мгновение соединившихся вместе, подобно тому, как соединяются клетки, входящие в состав живого тела и образующие, посредством этого соединения, новое существо, обладающее свойствами, отличающимися от тех, которыми обладает каждая клетка в отдельности.

Вопреки мнению, встречающемуся, к нашему удивлению, у такого проницательного философа, как Герберт Спенсер, в агрегате, образующем толпу, нет ни суммы, ни среднего входящих в состав ее элементов, но существует комбинация этих элементов и образование новых свойств, подобно тому, как это происходит в химии при сочетании некоторых элементов, оснований и кислот, например, образующих новое тело, обладающее совершенно иными свойствами, чем те, которыми обладают элементы, послужившие для его образования.

Нетрудно заметить, насколько изолированный индивид отличается от индивида в толпе, но гораздо труднее определить причины этой разницы. Для того, чтобы хоть несколько разъяснить себе эти причины, мы должны вспомнить одно из положений современной психологии, а именно то, что явления бессознательного играют выдающуюся роль не только в органической жизни, но и в отправлениях ума. Сознательная жизнь ума составляет лишь очень малую часть по сравнению с его бессознательной жизнью. Самый тонкий аналитик, самый проницательный наблюдатель в состоянии подметить лишь очень небольшое число бессознательных двигателей, которым он повинуется. Наши сознательные поступки вытекают из субстрата бессознательного, создаваемого, в особенности, влияниями наследственности. В этом субстрате заключается бесчисленные наследственные остатки, составляющие собственно душу расы. Кроме открыто признаваемых нами причин, руководящих нашими действиями, существуют еще тайные причины, в которых мы не признаемся, но за этими тайными причинами есть еще более тайные, потому что они неизвестны нам самим. Большинство наших ежедневных действий вызывается скрытыми двигателями, ускользающими от нашего наблюдения.

Элементы бессознательного, образующие душу расы, именно и являются причиной сходства индивидов этой расы, отличающихся друг от друга, главным образом, элементами сознательного, — тем, что составляет плод воспитания или же результат

исключительной наследственности. Самые несходные между собой по своему уму люди могут обладать одинаковыми страстями, инстинктами и чувствами; и во всем, что касается чувства, религии, политики, морали, привязанностей и антипатий и т. п., люди самые знаменитые только очень редко возвышаются над уровнем самых обыкновенных индивидов. Между великим математиком и его сапожником может существовать целая пропасть с точки зрения интеллектуальной жизни, но с точки зрения характера между ними часто не замечается никакой разницы или же очень небольшая.

Эти общие качества характера, управляемые бессознательным и существующие в почти одинаковой степени у большинства нормальных индивидов расы, соединяются вместе в толпе. В коллективной душе интеллектуальные способности индивидов и, следовательно, их индивидуальность исчезают; разнородное утопает в однородном, и берут верх бессознательные качества.

Такое именно соединение заурядных качеств в толпе и объясняет нам, почему толпа никогда не может выполнить действия, требующие возвышенного ума. Решения, касающиеся общих интересов, принятые собранием даже знаменитых людей в области разных специальностей, мало все-таки отличаются от решений, принятых собранием глупцов, так как и в том и в другом случае соединяются не какие-нибудь выдающиеся качества, а только заурядные, встречающиеся у всех. В толпе может происходить накопление только глупости, а не ума. «Весь мир», как это часто принято говорить, никак не может быть умнее Вольтера, а наоборот, Вольтер умнее, нежели «весь мир», если под этим словом надо понимать толпу.

Если бы индивиды в толпе ограничивались только соединением заурядных качеств, которыми обладает каждый из них в отдельности, то мы имели бы среднюю величину, а никак не образование новых черт. Каким же образом возникают эти новые черты? Вот этим-то вопросом мы и займемся теперь.

Появление этих новых специальных черт, характерных для толпы и притом не встречающихся у отдельных индивидов, входящих в ее состав, обусловливается различными причинами. Первая из них заключается в том, что индивид в толпе приобретает, благодаря только численности, сознание непреодолимой силы, и это сознание дозволяет ему поддаваться таким инстинктам, которым он никогда не дает волю, когда бывает один. В толпе же он менее склонен обуздывать эти инстинкты, потому что толпа анонимна и не несет на себе ответственности. Чувство ответственности,

сдерживающее всегда отдельных индивидов, совершенно исчезает в толпе.

Вторая причина — заразительность или зараза — также способствует образованию в толпе специальных свойств и определяет их направление. Зараза представляет собой такое явление, которое легко указать, но не объяснить; ее надо причислить к разряду гипнотических явлений, к которым мы сейчас перейдем. В толпе всякое чувство, всякое действие заразительно, и притом в такой степени, что индивид очень легко приносит в жертву свои личные интересы интересу коллективному. Подобное поведение, однако, противоречит человеческой природе, и потому человек способен на него лишь тогда, когда он составляет частицу толпы.

Третья причина, и притом самая главная, обусловливающая появление у индивидов в толпе таких специальных свойств, которые могут не встречаться у них в изолированном положении, — это восприимчивость к внушению; зараза, о которой мы только что говорили, служит лишь следствием этой восприимчивости. Чтобы понять это явление, следует припомнить некоторые новейшие открытия физиологии. Мы знаем теперь, что различными способами можно привести индивида в такое состояние, когда у него исчезает сознательная личность, и он подчиняется всем внушениям лица, заставившего его прийти в это состояние, совершая по его приказанию поступки, часто совершенно противоречащие его личному характеру и привычкам. Наблюдения же указывают, что индивид, пробыв несколько времени среди действующей толпы, под влиянием ли токов, исходящих от этой толпы, или каких-либо других причин — неизвестно, приходит скоро в такое состояние, которое очень напоминает состояние загипнотизированного субъекта. Такой субъект вследствие парализованности своей сознательной мозговой жизни становится рабом бессознательной деятельности своего спинного мозга, которой гипнотизер управляет по своему произволу. Сознательная личность у загипнотизированного совершенно исчезает, так же как воля и рассудок, и все чувства и мысли направляются волей гипнотизера.

Таково же приблизительно положение индивида, составляющего частицу одухотворенной толпы. Он уже не сознает своих поступков, и у него, как у загипнотизированного, одни способности исчезают, другие же доходят до крайней степени напряжения. Под влиянием внушения такой субъект будет совершать известные действия с неудержимой стремительностью; в толпе же эта неудержимая стремительность проявляется с еще боль-

шей силой, так как влияние внушения, одинакового для всех, увеличивается путем взаимности. Люди, обладающие достаточно сильной индивидуальностью, чтобы противиться внушению, в толпе слишком малочисленны, и потому не в состоянии бороться с течением. Самое большее, что они могут сделать, — это отвлечь толпу посредством какого-нибудь нового внушения. Так, например, удачное слово, какой-нибудь образ, вызванный кстати в воображении толпы, отвлекали ее иной раз от самых кровожадных поступков.

Итак, исчезновение сознательной личности, преобладание личности бессознательной, одинаковое направление чувств и идей, определяемое внушением, и стремление превратить немедленно в действия внушенные идеи — вот главные черты, характеризующие индивида в толпе. Он уже перестает быть самим собой и становится автоматом, у которого своей воли не существует.

Таким образом, становясь частицей организованной толпы, человек спускается на несколько ступеней ниже по лестнице цивилизации. В изолированном положении он, быть может, был бы культурным человеком; в толпе — это варвар, т. е. существо инстинктивное. У него обнаруживается склонность к произволу, буйству, свирепости, но также и к энтузиазму и героизму, свойственным первобытному человеку, сходство с которым еще более усиливается тем, что человек в толпе чрезвычайно легко подчиняется словам и представлениям, не оказавшим бы на него в изолированном положении никакого влияния, и совершает поступки, явно противоречащие и его интересам, и его привычкам. Индивид в толпе — это песчинка среди массы других песчинок, вздымаемых и уносимых ветром. Благодаря именно этому свойству толпы, нам приходится иной раз наблюдать, что присяжные выносят приговор, который каждый из них в отдельности никогда бы не произнес; мы видим, что парламентские собрания соглашаются на такие мероприятия и законы, которые осудил бы каждый из членов этого собрания в отдельности. Члены Конвента, взятые отдельно, были просвещенными буржуа, имевшими мирные привычки. Но, соединившись в толпу, они уже без всякого колебания принимали самые свирепые предложения и отсылали на гильотину людей, совершенно невинных; в довершение они отказались от своей неприкосновенности, вопреки своим собственным интересам, и сами себя наказывали.

Но не одними только поступками индивид в толпе отличается от самого же себя в изолированном положении. Прежде чем он потеряет всякую независимость, в его идеях и чувствах должно

произойти изменение, и притом настолько глубокое, что оно может превратить скупого в расточительного, скептика — в верующего, честного человека — в преступника, труса — в героя. Отречение от всех своих привилегий, вотированное аристократией под влиянием энтузиазма в знаменитую ночь 4 августа 1789 года, никогда не было бы принято ни одним из ее членов в отдельности.

Из всего вышесказанного мы делаем вывод, что толпа в интеллектуальном отношении всегда стоит ниже изолированного индивида, но с точки зрения чувств и поступков, вызываемых этими чувствами, она может быть лучше или хуже его, смотря по обстоятельствам. Все зависит от того, какому внушению повинуется толпа. Именно это обстоятельство упускали совершенно из виду все писатели, изучавшие толпу лишь с точки зрения ее преступности. Толпа часто бывает преступна — это правда, но часто также она бывает героична. Толпа пойдет на смерть ради торжества какого-нибудь верования или идеи; в толпе можно пробудить энтузиазм и заставить ее, ради славы и чести, идти без хлеба и оружия, как во времена крестовых походов, освобождать Гроб Господень из рук неверных, или же, как в 1793 году, защищать родную землю. Это героизм, несколько бессознательный, конечно, но именно при его-то помощи и делается история. Если бы на счет народам ставились только одни великие дела, хладнокровно обдуманные, то в мировых списках их значилось бы весьма немного.

## ГЛАВА II

## ЧУВСТВА И НРАВСТВЕННОСТЬ ТОЛПЫ

*§1. Импульсивность, изменчивость и раздражительность толпы. — Импульсы, которым повинуется толпа, достаточно сильны, чтобы уничтожить личные интересы. — Толпа никогда не поступает преднамеренно.*

*§2. Податливость внушениям и легковерие толпы. — Исчезновение различия между ученым и глупцом в толпе. — Невозможность верить показаниям толпы. — Единогласность показаний многочисленных свидетелей менее всего годится для подтверждения какого-нибудь факта. — Малоценность исторических сочинений.*

*§3. Преувеличение и односторонность чувств толпы.*

*§4. Нетерпимость, авторитетность и консерватизм толпы. — Временное проявление революционных инстинктов в толпе не мешает ей быть глубоко консервативной.*
*§5. Нравственность толпы. — Толпа редко руководствуется личными интересами, тогда как именно личный интерес чаще всего служит исключительным двигателем поступков отдельных индивидов. — Морализирующая роль толпы.*

Указав в общих чертах на главные свойства толпы, мы перейдем теперь к подробному рассмотрению этих свойств.

В числе специальных свойств, характеризующих толпу, мы встречаем, например, такие: импульсивность, раздражительность, неспособность обдумывать, отсутствие рассуждения и критики, преувеличенную чувствительность и т. п., которые наблюдаются у существ, принадлежащих к низшим формам эволюции, как то: у женщин, дикарей и детей. На эту аналогию, однако, я указываю лишь мимоходом, так как мне пришлось бы нарушить рамки этой работы, если бы я захотел ее доказывать. Впрочем, это было бы бесполезно для людей, знакомых с психологией первобытного человека, тогда как для тех, кто не знаком с нею, такие доказательства все равно были бы недостаточно убедительны.

Теперь я перехожу к последовательному рассмотрению различных свойств, наблюдаемых в толпе в большинстве случаев.

### *§1. Импульсивность, изменчивость и раздражительность толпы*

Изучая основные свойства толпы, мы указали, что она почти исключительно управляется бессознательным. Ее действия гораздо более подчиняются влиянию спинного, нежели головного мозга, и в этом отношении она приближается к совершенно первобытным существам. Совершенные толпой поступки могут быть превосходны сами по себе, но так как ум не руководит ими, то индивид в толпе действует сообразно случайностям. Толпа служит игралищем всех внешних возбуждений и отражает все их перемены; она, следовательно, рабски покоряется импульсам, которые получает. Отдельный индивид может подвергаться тем же возбуждениям, какие действуют на него в толпе, но, изолированный от толпы, он уже подчиняется рассудку и противостоит влиянию этих возбуждений. Физиологически это можно выразить следующим образом: изолированный индивид обладает

способностью подавлять свои рефлексы, тогда как толпа этой способности не имеет.

Различные импульсы, которым повинуется толпа, могут быть, смотря по характеру возбуждений, великодушными или свирепыми, героическими или трусливыми, но они всегда настолько сильны, что никакой личный интерес, даже чувство самосохранения, не в состоянии их подавить. Так как возбудители, действующие на толпу, весьма разнообразны, и толпа всегда им повинуется, то отсюда вытекает ее чрезвычайная изменчивость. Вот почему мы видим, что толпа может внезапно перейти от самой кровожадной жестокости к великодушию и выказать даже при случае самый абсолютный героизм. Толпа легко становится палачом, но так же легко она идет и на мученичество. Из ее недр лились те потоки крови, которые нужны были для того, чтобы восторжествовала какая-нибудь вера. Незачем обращаться к героическому веку для того, чтобы увидеть, на что способна толпа именно с этой точки зрения. Толпа никогда не дорожит своей жизнью во время возмущения, и еще очень недавно один генерал (Буланже?), внезапно сделавшийся популярным, легко мог бы найти сотни тысяч человек, готовых умереть за его дело, если бы он только того потребовал.

В толпе нет предумышленности; она может последовательно пройти всю школу противоречивых чувствований, но всегда будет находиться под влиянием возбуждений минуты. Толпа похожа на листья, поднимаемые ураганом и разносимые в разные стороны, а затем падающие на землю. Говоря далее о некоторых видах революционной толпы, мы укажем несколько примеров изменчивости ее чувств.

Из-за этой изменчивости толпой очень трудно руководить, особенно, если часть общественной власти находится в ее руках. Если бы нужды обыденной жизни не представляли собой род невидимого регулятора вещей, то народодержавие не могло бы долго просуществовать. Но хотя все желания толпы всегда бывают очень страстными, они все же продолжаются недолго, и толпа так же мало способна проявить настойчивую волю, как и рассудительность.

Толпа не только импульсивна и изменчива; как и дикарь, она не допускает, чтобы что-нибудь становилось между ее желанием и реализацией этого желания. Толпа, тем менее, способна допустить это, что численность создает в ней чувство непреодолимого могущества. Для индивида в толпе понятия о невозможности не существует. Изолированный индивид сознает, что он не может

один поджечь дворец, разграбить магазин, а если даже он почувствует влечение сделать это, то легко устоит против него. В толпе же у него является сознание могущества, доставляемого ему численностью, и достаточно лишь внушить ему идеи убийства и грабежа, чтобы он тотчас же поддался искушению. Всякое неожиданное препятствие будет уничтожено толпой со свойственной ей стремительностью, и если бы человеческий организм допускал неослабевающее состояние ярости, то можно было бы сказать, что нормальное состояние толпы, наткнувшейся на препятствие — это ярость.

В раздражительности толпы, в ее импульсивности и изменчивости, так же как и во всех народных чувствах, которые мы будем рассматривать далее, всегда проявляются основные черты расы, образующие неизменную почву, на которой развиваются все наши чувства. Всякая толпа всегда раздражительна и импульсивна — это вне сомнения. Но степень этой раздражительности и импульсивности бывает различна. Так, например, разница в этом отношении между латинской и англосаксонской толпой поразительна, и даже в новейшей истории есть факты, указывающие на это. Достаточно было, например, опубликования двадцать пять лет тому назад простой телеграммы, сообщающей о предполагаемом оскорблении посланника, для того, чтобы произошел взрыв ярости, немедленным результатом которого явилась ужасная война. Несколько лет спустя телеграфное извещение о незначительной неудаче в Лангсоне опять вызвало новый взрыв, который повлек за собой низвержение правительства. В то же время, гораздо более значительная неудача английской экспедиции в Хартуме вызвала в Англии лишь весьма слабое волнение, и никакое министерство от этого не пострадало. Толпа всегда обнаруживает черты женского характера, и всего резче эти черты выражаются в латинской толпе. Кто опирается на нее, тот может взобраться очень высоко и очень быстро, но постоянно будет прикасаться к Тарпейской скале и всегда должен ожидать, что в один прекрасный день он будет свергнут с этой скалы[1].

## *§2. Податливость внушению и легковерие толпы*

Мы уже говорили, описывая толпу, что одним из ее общих свойств является необыкновенная податливость внушению. Мы

[1] В Древнем Риме с Тарпейской скалы сбрасывали осужденных на смерть государственных преступников (*прим. ред.*).

указывали, что во всякой человеческой агломерации внушение становится заразительным, и этим объясняется быстрое ориентирование чувств в известном направлении. Как бы ни была нейтральна толпа, она все-таки находится чаще всего в состоянии выжидательного внимания, которое облегчает всякое внушение. Первое формулированное внушение тотчас же передается вследствие заразительности всем умам, и немедленно возникает соответствующее настроение. Как у всех существ, находящихся под влиянием внушения, идея, овладевшая умом, стремится выразиться в действии. Толпа так же легко совершит поджог дворца, как и какой-нибудь высший акт самоотвержения; все будет зависеть от природы возбудителя, а не от тех отношений, которые у изолированного индивида существуют между внушенным актом и суммой рассудочности, противодействующей его выполнению.

Блуждая всегда на границе бессознательного, легко подчиняясь всяким внушениям и обладая буйными чувствами, свойственными тем существам, которые не могут подчиняться влиянию рассудка, толпа, лишенная всяких критических способностей, должна быть чрезвычайно легковерна. Невероятное для нее не существует, и это надо помнить, так как этим объясняется та необычная легкость, с которой создаются и распространяются легенды и самые неправдоподобные рассказы.

Люди, находившиеся в Париже во время осады, видели множество примеров такого легковерия толпы. Зажженная свеча в верхнем этаже принималась тотчас же за сигнал неприятелю, хотя довольно было бы минуты размышления, чтобы убедиться в нелепости этого предположения, так как, конечно, неприятель не мог различить пламя свечи на расстоянии нескольких миль.

Образование легенд, легко распространяющихся в толпе, обусловливается не одним только ее легковерием, а также и теми искажениями, которые претерпевают события в воображении людей, собравшихся толпой. В глазах толпы самое простое событие быстро принимает совсем другие размеры. Толпа мыслит образами, и вызванный в ее воображении образ, в свою очередь, вызывает другие, не имеющие никакой логической связи с первым. Мы легко поймем это состояние, если вспомним, какое странное сцепление мыслей порождает у нас иногда воспоминание о каком-нибудь факте. Рассудок указывает нам на те несообразности, которые заключаются в этих образах, но толпа их не видит и примешивает к действительному событию то, что создано ее искажающим воображением. Толпа совсем не отделяет

субъективное от объективного; она считает реальными образы, вызванные в ее уме и зачастую имеющие лишь очень отдаленную связь с наблюдаемым ею фактом.

Казалось бы, что искажения, которые претерпевает какое-нибудь событие в глазах толпы, должны иметь весьма разнообразный характер, потому что индивиды, составляющие толпу, обладают весьма различными темпераментами. Но ничуть не бывало. Под влиянием заразы эти искажения имеют всегда одинаковый характер для всех индивидов. Первое искажение, созданное воображением одного из индивидов собрания, служит ядром заразительного внушения. Прежде чем изображение св. Георгия было замечено всеми на стенах Иерусалима и на всех окнах, его увидел сначала только один из присутствующих, и путем внушения и заразы чудо, указанное им, было тотчас же принято на веру всеми остальными.

Таков всегда механизм всех коллективных галлюцинаций, о которых часто говорится в истории и достоверность которых подтверждается тысячами человек. Было бы лишнее, ввиду опровержения вышесказанного, указывать на умственные качества индивидов, входящих в состав толпы. Эти качества не имеют значения; невежда и ученый, раз уж они участвуют в толпе, одинаково лишаются способности к наблюдению. Положение это может, пожалуй, показаться парадоксальным, но чтобы доказать его, нам пришлось бы цитировать такое множество исторических фактов, что на это понадобились бы целые тома. Не желая, однако, оставлять читателя под впечатлением бездоказательных утверждений, я приведу несколько примеров, взятых случайно среди той массы фактов, которую мне пришлось бы цитировать.

Наиболее типичный случай такой коллективной галлюцинации — причем толпа состояла из индивидов всякого рода, как самых невежественных, так и самых образованных, — рассказан лейтенантом Жюльеном Феликсом в его книге о морских течениях и был напечатан некогда в «Revue Scientifique». Фрегат «La Belle Poule» крейсировал в море, разыскивая корвет «Berceau» с которым он был разъединен сильной бурей. Дело было днем и солнце светило ярко. Вдруг часовой увидал покинутое судно. Экипаж направил свои взоры на указанный пункт, и все, офицеры и матросы, ясно заметили плот, нагруженный людьми, прикрепленный буксиром к лодкам, на которых виднелись сигналы бедствия. Все это было, однако, ничем иным, как коллективной галлюцинацией. Адмирал Дефоссе тотчас же отправил лодки на помощь погибающим. Приближаясь к месту катастрофы,

офицеры и матросы ясно видели кучи людей, волнующихся, протягивающих руки, и слышали глухой и смешанный шум большого количества голосов. Когда же наконец лодки подошли к этому месту, то оказалось, что там ничего не было, кроме нескольких ветвей с листьями, унесенных волнами с соседнего берега. Такие явные доказательства, конечно, заставили галлюцинацию исчезнуть.

На этом примере мы можем ясно проследить механизм образования коллективной галлюцинации. С одной стороны мы имеем толпу в состоянии выжидательного внимания, с другой — внушение, сделанное часовым, увидевшим покинутое судно в море; это внушение уже путем заразы распространилось на всех присутствовавших, как офицеров, так и матросов.

Не обязательно толпа должна быть многочисленна, чтобы способность видеть правильно то, что происходит перед нею, была бы в ней уничтожена, и чтобы место реальных фактов заступили галлюцинации, не имеющие с ними никакой связи. Как только несколько индивидов соберутся вместе, то они уже составляют толпу, даже в таком случае, если они — выдающиеся ученые. Иногда они все-таки приобретают все свойства толпы по отношению ко всему, что выходит за пределы их специальности. Способность наблюдения и критики, существующие у каждого из этих ученых в отдельности, тотчас же исчезают в толпе. Остроумный психолог Даве представил нам очень любопытный пример такого состояния, описанный в «Annales des Sciences psychiques». Созвав выдающихся наблюдателей, в числе которых находился один из первых ученых Англии, Уоллес, Даве представил перед ними (предварительно предложив им исследовать все предметы, находящиеся в комнате, и положить всюду печати) все классические феномены спиритов, как то: материализацию духов, писание на доске и т. д. Получив затем от них письменное подтверждение виденного, в котором заявлялось, что вышеназванные феномены не могут быть произведены иначе, как при посредстве сверхъестественных сил, Даве сознался, что эти явления были результатом весьма простого обмана. «Самое изумительное в опытах Даве, — говорит автор рассказа, — это не столько сами фокусы, весьма, впрочем, диковинные, сколько замечательная несостоятельность показаний, данных свидетелями, не посвященными в его цели. Из этого следует, что положительные рассказы многочисленных свидетелей могут быть совершенно неверными, так как в данном случае, например, если признать верными эти показания, то пришлось бы согласиться,

что описанные явления нельзя объяснить никаким обманом. Однако методы, употребленные Даве, были так просты, что надо удивляться его смелости пользоваться ими. Но он имел такую власть над умами толпы, что мог уверить и в том, что она видит то, чего нет на самом деле». И в этом случае опять-таки мы видим проявление власти гипнотизера над загипнотизированным, и если этой власти подчиняются высшие умы, недоверие которых предварительно возбуждено, то как же легко должна ей подчиняться обыкновенная толпа!

Таких примеров множество. В то время как я пишу эти строки, все газеты переполнены рассказами о двух маленьких утопленницах, вытащенных из Сены. По крайней, мере около дюжины свидетелей признали личность этих детей самым категорическим образом. Все их показания были так согласны, что в уме следователя не могло возникнуть никакого сомнения, и он написал уже свидетельство о смерти. Но в тот момент, когда хотели хоронить утопленниц, обнаружилось, что предполагаемые жертвы живы и только чуть-чуть похожи на утонувших. Как во всех предыдущих примерах, и тут довольно было уверений первого свидетеля, поддавшегося иллюзии, чтобы немедленно образовалось внушение, повлиявшее уже и на всех прочих свидетелей.

Во всех таких случаях источником внушения всегда является иллюзия, вызванная у одного какого-нибудь индивида более или менее смутными воспоминаниями. Эта первоначальная иллюзия путем утверждения становится источником заразы. Для впечатлительного человека достаточно бывает случайного незначительного сходства, какой-нибудь подробности, напоминающей другое лицо, чтобы ему показалось, что это именно и есть то самое лицо. Вызванное представление становится, таким образом, ядром для дальнейшей кристаллизации, заполняющей всю область разума и парализующей всякие критические способности. Этим объясняется, например, такой удивительный факт, как ошибка матери, признавшей в чужом своего собственного ребенка, как это было в том случае, о котором теперь напомнили газеты. В этом случае можно проследить такой же механизм внушения, какой был уже описан мною.

«Ребенок узнал в мертвом своего товарища, но это было ошибка, вызвавшая тотчас же целый ряд подобных же ошибок, причем произошла следующая удивительная вещь: одна женщина, увидев труп ребенка, воскликнула: «Ах, Боже мой, это мой ребенок!» Посмотрев ближе, она заметила шрам на лбу и сказала:

«Да, это мой бедный сынок, пропавший в июле. У меня его похитили и убили!»

Женщина эта была привратницей в улице дю-Фур и называлась Шаводрэ. Пригласили ее зятя, который без всякого колебания объявил: «Вот маленький Филибер». Несколько обитателей этой улицы также признали в мертвом ребенке Филибера Шаводрэ, и даже его собственный учитель, заметив медаль, признал в мертвеце своего прежнего ученика.

И что же? Соседи, зять, школьный учитель и мать — все ошиблись! Шесть недель спустя личность ребенка была окончательно установлена: оказалось, что это был ребенок из Бордо, там убитый и привезенный дилижансом в Париж («Eclair», 21 апреля 1895 г.).

Такие ошибочные распознавания, как это уже замечено, чаще всего делаются женщинами и детьми, т. е. наиболее впечатлительными субъектами, и указывают нам, в то же время, какое значение для правосудия могут иметь подобные свидетельства. Что касается детей, например, то их показания никогда бы не следовало принимать во внимание. Судьи любят повторять, что в детском возрасте не лгут, но если бы они сколько-нибудь знали психологию, то им было бы известно, что, наоборот, в этом возрасте всегда и лгут. Ложь эта, без сомнения, невинная, но это все-таки ложь. Лучше было бы жребием решать судьбу какого-нибудь подсудимого, нежели произносить приговор, как это много раз бывало, на основании показаний ребенка!

Возвращаясь к наблюдениям, производимым толпой, скажем, что эти коллективные наблюдения — самые ошибочные из всех и чаще всего представляют не что иное, как иллюзию одного индивида, распространившуюся путем заразы и вызвавшую внушение. Можно было бы до бесконечности умножить число таких фактов, указывающих, что с недоверием надо относиться к показаниям толпы. Тысячи людей, например, присутствовали при знаменитой кавалерийской атаке во время Седанской битвы, между тем, невозможно, ввиду самых противоречивых показаний очевидцев, узнать, кто командовал этой атакой. Английский генерал Уолслей доказывает в своем новом сочинении, что до сих пор относительно важнейших факторов битвы при Ватерлоо существуют самые ошибочные представления, несмотря на то, что эти факты подтверждаются сотнями свидетелей.

Можем ли мы знать относительно какого бы то ни было сражения, как оно в действительности происходило? Я сильно в этом сомневаюсь. Мы знаем, кто были побежденные и победители, и далее этого наши

знания, вероятно, не идут. То, что Д'Аркур, участник и свидетель, рассказывает о Сольферинской битве, может быть применено ко всяким сражениям: «Генералы, получающие сведения, конечно, от сотни свидетелей, составляют свои официальные доклады; офицеры, которым поручено передавать приказы, изменяют эти документы и составляют окончательный проект отчета; начальник главного штаба опровергает его и составляет сызнова. Тогда уже его несут к маршалу, который восклицает: «Вы решительно ошибаетесь!» и составляет новую редакцию. От первоначального доклада уже не остается ничего». Д'Аркур рассказывает этот факт, как доказательство невозможности установить истину даже относительно события, наиболее поразительного и наиболее известного.

Подобного рода факты достаточно указывают, какое значение имеют показания толпы. Согласно логике, единогласное показание многочисленных свидетелей следовало бы, по-видимому, причислить к разряду самых прочных доказательств какого-нибудь факта. Но то, что нам известно из психологии толпы, показывает, что именно в этом отношении трактаты логики следовало бы совершенно переделать. Самые сомнительные события — это именно те, которые наблюдались наибольшим числом людей. Говорить, что какой-нибудь факт единовременно подтверждается тысячами свидетелей, — это значит сказать, в большинстве случаев, что действительный факт совершенно не похож на существующие о нем рассказы.

Из всего вышесказанного явственно следует, что к историческим сочинениям надо относиться как к произведениям чистой фантазии, фантастическим рассказам о фактах, наблюдавшихся плохо и сопровождаемых объяснениями, сделанными позднее. Месить известку — дело гораздо более полезное, чем писать такие книги. Если бы прошедшее не завещало нам своих литературных и художественных произведений и памятников, то мы бы не знали истины о прошлом. Разве мы знаем хоть одно слово правды о жизни великих людей, игравших выдающуюся роль в истории человечества, например, о Геркулесе, Будде и Магомете? По всей вероятности, нет! В сущности, впрочем, действительная жизнь их для нас имеет мало значения; нам интересно знать этих великих людей только такими, какими их создала народная легенда. Именно такие легендарные, а вовсе не действительные герои и оказывали влияние на душу толпы.

К несчастью, легенды, даже когда они записаны, все-таки не имеют сами по себе никакой устойчивости. Воображение толпы постоянно меняет их сообразно времени и, особенно, сообразно

расам. Как далек, например, кровожадный библейский Иегова от Бога любви, которому поклонялась св. Тереза; и Будда, обожаемый в Китае, не имеет ничего общего с Буддой, которому поклоняются в Индии!

Не нужно даже, чтобы прошли столетия после смерти героев, для того, чтобы воображение толпы совершенно видоизменило их легенду. Превращение легенды совершается иногда в несколько лет. Мы видели, как менялась несколько раз, менее чем в пятьдесят лет, легенда об одном из величайших героев истории. При Бурбонах Наполеон изображался каким-то идиллическим филантропом и либералом, другом униженных, воспоминание о котором, по словам поэтов, должно жить долго под кровлей хижин. Тридцать лет спустя добродушный герой превратился в кровожадного деспота, который, завладев властью и свободой, погубил три миллиона человек, единственно только для удовлетворения своего тщеславия. Теперь мы присутствуем при новом превращении этой легенды. Когда пройдет еще несколько десятков столетий, то ученые будущего, ввиду таких противоречивых повествований о герое, быть может, подвергнут сомнению и самое его существование, подобно тому, как они сомневаются иногда в существовании Будды, и, пожалуй, будут видеть в этих сказаниях о герое какой-нибудь солнечный миф или же дальнейшее развитие легенды о Геркулесе. Но эти ученые, вероятно, легко примирятся с такими сомнениями, так как лучше нас посвященные в психологию толпы, они будут, конечно, знать, что история может увековечивать только мифы.

### *§3. Преувеличение и односторонность чувств толпы*

Каковы бы ни были чувства толпы, хорошие или дурные, характерными их чертами являются односторонность и преувеличение. В этом отношении, как и во многих других, индивид в толпе приближается к примитивным существам. Не замечая оттенков, он воспринимает все впечатления гуртом и не знает никаких переходов. В толпе преувеличение чувства обусловливается еще и тем, что это самое чувство, распространяясь очень быстро посредством внушения и заразы, вызывает всеобщее одобрение, которое и содействует в значительной степени увеличению его силы.

Односторонность и преувеличение чувств толпы ведут к тому, что она не ведает ни сомнений, ни колебаний. Как женщина, толпа всегда впадает в крайности. Высказанное подозрение

тотчас превращается в неоспоримую очевидность. Чувство антипатии и неодобрения, едва зарождающееся в отдельном индивиде, в толпе тотчас же превращается у него в самую свирепую ненависть.

Сила чувств толпы еще более увеличивается отсутствием ответственности, особенно в толпе разнокалиберной. Уверенность в безнаказанности, тем более сильная, чем многочисленнее толпа, и сознание значительного, хотя и временного, могущества, доставляемого численностью, дает возможность скопищам людей проявлять такие чувства и совершать такие действия, которые невозможны для отдельного человека. В толпе дурак, невежда и завистник освобождаются от сознания своего ничтожества и бессилия, заменяющегося у них сознанием грубой силы, преходящей, но безмерной. К несчастью, преувеличение чаще обнаруживается в дурных чувствах толпы, атавистическом остатке инстинктов первобытного человека, которые подавляются у изолированного и ответственного индивида боязнью наказания. Это и является причиной легкости, с которой толпа совершает самые худшие насилия.

Из этого не следует, однако, что толпа неспособна к героизму, самоотвержению и очень высоким добродетелям. Она даже более способна к ним, нежели изолированный индивид. Мы скоро вернемся к этому предмету, изучая нравственность толпы.

Обладая преувеличенными чувствами, толпа способна подчиняться влиянию только таких же преувеличенных чувств. Оратор, желающий увлечь ее, должен злоупотреблять сильными выражениями. Преувеличивать, утверждать, повторять и никогда не пробовать доказывать что-нибудь рассуждениями — вот способы аргументации, хорошо известные всем ораторам публичных собраний. Толпа желает видеть и в своих героях такое же преувеличение чувств; их кажущиеся качества и добродетели всегда должны быть увеличены в размерах. Справедливо замечено, что в театре толпа требует от героя пьесы таких качеств, мужества, нравственности и добродетели, какие никогда не практикуются в жизни. Совершенно верно указывалось при этом, что в театре существуют специальные оптические условия, но, тем не менее, правила театральной оптики чаще всего не имеют ничего общего со здравым смыслом и логикой. Искусство говорить толпе, без сомнения, принадлежит к искусствам низшего разряда, но, тем не менее, требует специальных способностей. Часто совсем невозможно объяснить себе при чтении успех некоторых театральных пьес.

Директора театров, когда им приносят такую пьесу, зачастую сами бывают неуверены в ее успехе, так как для того, чтобы судить о ней, они должны были бы превратиться в толпу. И здесь, если бы нам можно было войти в подробности, мы указали бы выдающееся влияние расы. Театральная пьеса, вызывающая восторги толпы в одной стране, часто не имеет никакого успеха в другой, или же только условный успех, потому что она не действует на те пружины, которые двигают ее новой публикой.

Этим объясняется то, что иногда пьесы, отвергнутые всеми директорами театров и случайно сыгранные на какой-нибудь сцене, имеют поразительный успех. Так, например, пьеса Коппе «Pour la couronne», отвергавшаяся в течение десяти лет всеми театрами, имела недавно огромный успех; такой же успех выпал на долю «Marraine de Charley», отвергнутой во всех театрах и, в конце концов, поставленной за счет одного биржевого маклера, после чего она выдержала 200 представлений во Франции и более тысячи — в Англии. Если бы не эта невозможность мысленно превратиться в толпу, то такие грубые ошибки со стороны директоров театров, лиц компетентных в этом отношении и наиболее заинтересованных в этом деле, просто были бы необъяснимы. Я не могу подробнее разобрать здесь этот вопрос, который заслуживал бы, чтобы им занялся какой-нибудь знаток театра и, в то же время, тонкий психолог вроде Сарсэ.

Мне нечего прибавлять, что преувеличение выражается только в чувствах, а не в умственных способностях толпы. Я уже указывал раньше, что одного факта участия в толпе достаточно для немедленного и значительного понижения интеллектуального уровня. Ученый юрист Тард также констатировал это в своих исследованиях преступлений толпы. Только в области чувств толпа может подняться очень высоко или спуститься очень низко.

### *§4. Нетерпимость, авторитетность и консерватизм толпы*

Толпе знакомы только простые и крайние чувства; всякое мнение, идею или верование, внушенные ей, толпа принимает или отвергает целиком и относится к ним или как к абсолютным истинам, или же как к столь же абсолютным заблуждениям. Так всегда бывает с верованиями, которые установились путем внушения, а не путем рассуждения. Каждому известно, насколько сильна религиозная нетерпимость и какую деспотическую власть имеют религиозные верования над душами.

Не испытывая никаких сомнений относительно того, что есть истина и что — заблуждение, толпа выражает такую же авторитетность в своих суждениях, как и нетерпимость. Индивид может перенести противоречие и оспаривание, толпа же никогда их не переносит. В публичных собраниях малейшее прекословие со стороны какого-нибудь оратора немедленно вызывает яростные крики и бурные ругательства в толпе, за которыми следуют действия и изгнание оратора, если он будет настаивать на своем. Если бы не мешающее присутствие агентов власти, то жизнь спорщика весьма часто подвергалась бы опасности.

Нетерпимость и авторитетность суждений общи для всех категорий толпы, но выражаются все-таки в различных степенях. Тут также выступают основные свойства расы, подавляющие все чувства и мысли людей. В латинской толпе нетерпимость и авторитетность преимущественно развиты в высокой степени, и притом настолько, что они совершенно уничтожают то чувство индивидуальной независимости, которое так сильно развито у англосаксов. Латинская толпа относится чувствительно только к коллективной независимости своей секты; характерной чертой этой независимости является потребность немедленно и насильственно подчинить своей вере всех диссидентов. В латинской толпе якобинцы всех времен, начиная с инквизиции, никогда не могли возвыситься до иного понятия о свободе.

Авторитетность и нетерпимость представляют собой такие определенные чувства, которые легко понимаются и усваиваются толпой и так же легко применяются ею на практике, как только они будут ей навязаны. Массы уважают только силу, и доброта их мало трогает, так как они смотрят на нее как на одну из форм слабости. Симпатии толпы всегда были на стороне тиранов, подчиняющих ее себе, а не на стороне добрых властителей, и самые высокие статуи толпа всегда воздвигает первым, а не последним. Если толпа охотно топчет ногами повергнутого деспота, то это происходит лишь оттого, что, потеряв свою силу, деспот этот уже попадает в категорию слабых, которых презирают, потому что их не боятся. Тип героя, дорогого сердцу толпы, всегда будет напоминать Цезаря, шлем которого прельщает толпу, власть внушает ей уважение, а меч заставляет бояться.

Всегда готовая восстать против слабой власти, толпа раболепно преклоняется перед сильной властью. Если сила власти имеет перемежающийся характер, то толпа, повинующаяся всегда своим крайним чувствам, переходит попеременно от анархии к рабству и от рабства к анархии.

Верить в преобладание революционных инстинктов в толпе — это значит не знать ее психологии. Нас вводит тут в заблуждение только стремительность этих инстинктов. Взрывы возмущения и стремления к разрешению всегда эфемерны в толпе. Толпа слишком управляется бессознательным и, поэтому, слишком подчиняется влиянию вековой наследственности, чтобы не быть на самом деле чрезвычайно консервативной. Предоставленная самой себе, толпа скоро утомляется своими собственными беспорядками и инстинктивно стремится к рабству. Самые гордые и самые непримиримые из якобинцев именно-то и приветствовали наиболее энергическим образом Бонапарта, когда он уничтожал все права и дал тяжело почувствовать Франции свою железную руку.

Трудно понять историю, и особенно историю народных революций, если не уяснить себе хорошенько глубококонсервативных инстинктов толпы. Толпа готова менять названия своих учреждений и иногда устраивает бурные революции для того, чтобы добиться такой перемены, но основы этих учреждений служат выражением наследственных потребностей расы, и, поэтому, толпа всегда к ним возвращается. Изменчивость толпы выражается только поверхностным образом; в сущности же — в толпе действуют консервативные инстинкты, столь же несокрушимые, как и у всех первобытных людей. Она питает самое священное уважение к традициям и бессознательный ужас, очень глубокий, ко всякого рода новшествам, способным изменить реальные условия ее существования. Если бы демократия обладала таким же могуществом, как теперь, в ту эпоху, когда было изобретено машинное производство, пар и железные дороги, то реализация этих изобретений была бы невозможна, или же она осуществилась бы ценой повторных революций и побоищ. Большое счастье для прогресса цивилизации, что власть толпы начала нарождаться уже тогда, когда были выполнены великие открытия в промышленности и науке.

## *§5. Нравственность толпы*

Если под словом «нравственность» понимать неизменное уважение известных социальных постановлений и постоянное подавление эгоистических побуждений, то, без сомнения, толпа слишком импульсивна и слишком изменчива, чтобы ее можно было назвать нравственной. Но если мы сюда же причислим и временное проявление известных качеств, например: самоотвержения,

преданности, бескорыстия, самопожертвования, чувства справедливости, то должны будем признать, что толпа может выказать, иногда, очень высокую нравственность. Немногие психологи, изучавшие толпу, рассматривали ее лишь с точки зрения ее преступных действий и, наблюдая, как часто толпа совершает такие действия, они пришли к заключению, что нравственный уровень толпы очень низок. Это верно в большинстве случаев, но отчего? Просто оттого, что инстинкты разрушительной свирепости, составляющие остаток первобытных времен, дремлют в глубине души каждого из нас. Поддаваться этим инстинктам опасно для изолированного индивида, но когда он находится в безответственной толпе, где, следовательно, обеспечена ему безнаказанность, он может свободно следовать велению своих инстинктов. Не будучи в состоянии в обыкновенное время удовлетворять эти свирепые инстинкты на наших ближних, мы ограничиваемся тем, что удовлетворяем их на животных. Общераспространенная страсть к охоте и свирепые действия толпы вытекают из одного и того же источника. Толпа, медленно избивающая какую-нибудь беззащитную жертву, обнаруживает, конечно, очень подлую свирепость, но для философа в этой свирепости существует много общего со свирепостью охотников, собирающихся дюжинами для одного только удовольствия присутствовать при том, как их собаки преследуют и разрывают несчастного оленя.

Но если толпа способна на убийство, поджоги и всякого рода преступления, то она способна также и на очень возвышенные проявления преданности, самопожертвования и бескорыстия, более возвышенные чем даже те, на которые способен отдельный индивид. Действуя на индивида в толпе и вызывая у него чувство славы, чести, религии и патриотизма, легко можно заставить его пожертвовать даже своей жизнью. История богата примерами, подобными крестовым походам и волонтерам 1793 года. Только толпа способна к проявлению величайшего бескорыстия и величайшей преданности. Как много раз толпа героически умирала за какое-нибудь верование, слова или идеи, которые она сама едва понимала! Толпа, устраивающая стачки, делает это не столько для того, чтобы добиться увеличения своего скудного заработка, которым она удовлетворяется, сколько для того, чтобы повиноваться приказанию. Личный интерес очень редко бывает могущественным двигателем в толпе, тогда как у отдельного индивида он занимает первое место. Никак не интерес, конечно, руководил толпой во многих войнах, всего чаще недоступных ее понятиям, но она шла на смерть и так же легко принимала

ее, как легко дают себя убивать ласточки, загипнотизированные зеркалом охотника.

Случается очень часто, что даже совершенные негодяи, находясь в толпе, проникаются временно самыми строгими принципами морали. Тэн говорит, что сентябрьские убийцы приносили в комитеты все деньги и драгоценности, которые они находили на своих жертвах, хотя им легко было утаить все это. Завывающая многочисленная толпа оборванцев, завладевшая Тюильрийским дворцом во время революции 1848 года, не захватила ничего из великолепных вещей, ослепивших ее, хотя каждая из этих вещей могла обеспечить ей пропитание на несколько дней.

Такое нравственное влияние толпы на отдельных индивидов хотя и не составляет постоянного правила, но все-таки встречается довольно часто; оно наблюдается даже в случаях менее серьезных, чем те, о которых я только что упомянул. Я уже говорил, что в театре толпа требует от героев пьесы преувеличенных добродетелей, и самое простое наблюдение указывает, что собрание, даже состоящее из элементов низшего разряда, обыкновенно обнаруживает большую щепетильность в этом отношении. Профессиональный вивер, зубоскал, оборванец и сутенер зачастую возмущаются, если в пьесе есть рискованные сцены и не совсем приличные разговоры, которые, однако, в сравнении с их всегдашними разговорами, должны бы показаться очень невинными.

Итак, если толпа часто подпадает под влияние низших инстинктов, то все же иногда она в состоянии явить примеры очень высокой нравственности. Если считать нравственными качествами бескорыстие, покорность и абсолютную преданность химерическому или реальному идеалу, то надо признать, что толпа очень часто обладает этими качествами в такой степени, в какой они редко встречаются даже у самого мудрого из философов. Эти качества толпа прилагает к делу бессознательно, но что за беда! Не будем слишком сетовать о том, что толпа, главным образом, управляется бессознательными инстинктами и совсем не рассуждает. Если бы она рассуждала иногда и справлялась бы со своими непосредственными интересами, то, быть может, никакая цивилизация не развилась бы на поверхности нашей планеты, и человечество не имело бы истории.

# ГЛАВА III

## ИДЕИ, РАССУЖДЕНИЯ И ВООБРАЖЕНИЕ ТОЛПЫ

*§1. Идеи толпы. — Основные и прибавочные идеи. — Как могут существовать одновременно самые противоречивые идеи. — Превращения, которым должны подвергнуться высшие идеи, для того, чтобы сделаться доступными толпе.*
*§2. Рассуждения толпы. — Идеи, ассоциируемые толпой, только по виду могут представлять последовательность.*
*§3. Воображение толпы. — Толпа мыслит образами, и эти образы следуют друг за другом без всякой связи. — Толпа особенно восприимчиво к чудесному. — Чудесное и легендарное являются истинной опорой цивилизации.*

### *§1. Идеи толпы*

Изучая в первой части этой книги («Психология народов») роль идей в эволюции народов, мы указали, что всякая цивилизация вытекает из небольшого количества основных идей, очень редко обновляемых. Мы представили, как эти идеи утверждаются в душе толпы, с какой трудностью они проникают в нее и какое приобретают могущество после того, как утвердились в ней. Мы видели, как часто великие исторические перевороты вытекают из изменения основных идей толпы.

Я уже достаточно говорил об этом предмете, и потому не буду к нему возвращаться теперь; скажу только несколько слов об идеях, доступных толпе, и о том, в какой форме они усваиваются толпой.

Эти идеи можно разделить на два разряда. К первому мы причисляем временные и скоропреходящие идеи, зародившиеся под влиянием минуты; преклонение перед каким-нибудь индивидом или доктриной, например; ко второму — все основные идеи, которым среда, наследственность, общественное мнение дают очень большую устойчивость, таковы прежние религиозные верования и нынешние социальные и демократические идеи.

Основные идеи можно представить себе в виде массы вод какой-нибудь реки, медленно развивающей свое течение, тогда как преходящие идеи — это маленькие волны, постоянно изменяющиеся и возмущающие поверхность большой массы вод; эти

волны не имеют действительного значения, но более заметны для глаз, нежели движение самой реки.

В настоящее время великие основные идеи, которыми жили наши предки, стали расшатываться; они потеряли всякую прочность, и, вследствие этого, глубоко поколебались также и все учреждения, опирающиеся на эти идеи. Мы наблюдаем ежедневно образование мелких преходящих идей, о которых я только что говорил, но весьма немногие из этих идей развиваются далее и могут приобрести выдающееся влияние.

Каковы бы ни были идеи, внушенные толпе, они могут сделаться преобладающими не иначе, как при условии быть облеченными в самую категорическую и простую форму. В таком случае эти идеи представляются в виде образов, и только в такой форме они доступны толпе. Такие идеи-образы не соединяются между собой никакой логической связью аналогии или последовательности и могут заменять одна другую совершенно так, как в волшебном фонаре одно стекло заменяется другим рукой фокусника, вынимающего их из ящика, где они были сложены вместе. Вот почему в толпе удерживаются рядом идеи самого противоречивого характера. Сообразно случайностям минуты, толпа подпадает под влияние одной из разнообразных идей, имеющихся у нее в запасе, и поэтому может совершать самые противоположные действия; отсутствие же критической способности мешает ей заметить эти противоречия.

Такое явление, однако, не составляет специального свойства толпы; его можно заметить у многих изолированных индивидов, и не только у первобытного человека, но и у всех тех, которые какой-нибудь стороной своего ума приближаются к нему, например, у последователей какого-нибудь резко выраженного религиозного верования. Я наблюдал это явление у ученых индусов, воспитанных в наших европейских университетах и имеющих дипломы. На незыблемых основных религиозных или наследственных специальных идей у них положен был слой западных идей, нисколько не изменивший прежних основ и не имеющий с ними никакой родственной связи. Под влиянием случайностей минуты, те или другие из этих идей выступали на поверхность, вызывая соответствующие поступки и речи, и один и тот же индивид мог на этом основании представить самые резкие противоречия. Впрочем, все эти противоречия, больше кажущиеся, нежели действительные, потому что лишь одни только наследственные идеи обладают такой силой в изолированном индивиде, что могут руководить всеми его поступками. Только тогда,

когда, вследствие скрещивания, человек очутился под влиянием различных наследственных импульсов, его поступки на самом деле становятся противоречивыми. Было бы лишним настаивать здесь на этих явлениях, хотя их психологическое значение и очень важно; но я думаю, что нужно, по крайней мере, десять лет наблюдений и путешествий для того, чтобы их понять как следует.

Идеи, доступные толпе лишь в самой простой форме, для того, чтобы сделаться популярными, часто должны претерпеть глубокие изменения. В области философских и научных, более возвышенных, идей в особенности можно заметить глубину изменений, которые необходимы для того, чтобы эти идеи могли постепенно спуститься до уровня понятий толпы. Изменения эти находятся в зависимости от категории и расы, к которым принадлежит толпа, но всегда имеют упрощающий и понижающий характер. Вот почему, с социальной точки зрения, не существует в действительности идейной иерархии, т. е. более или менее возвышенных идей. Уже одного факта проникновения идеи в толпу и выражения ее в действиях бывает достаточно, чтобы лишить ее всего того, что способствовало ее возвышенности и величию, как бы она ни была истинна и велика при своем начале.

С социальной точки зрения, иерархическая ценность идеи, впрочем, не имеет значения, а принимать во внимание надо только ее последствия. Средневековые мистические идеи, демократические идеи прошлого века, современные социальные идеи нельзя назвать очень возвышенными. С философской точки зрения, нельзя не считать их довольно прискорбными заблуждениями, а между тем, их роль была и будет очень велика, и они долго будут считаться самыми существенными факторами в поведении государств.

Но даже когда идея претерпела изменения, сделавшие ее доступной толпе, она все-таки действует лишь в том случае, если посредством известных процессов, о которых будет речь в другом месте, она проникла в область бессознательного и стала чувством, а на это требуется всегда довольно продолжительное время.

Не следует думать, что идея производит впечатление, даже на культурные умы, лишь в том случае, если доказана ее справедливость. Легко убедиться в этом, наблюдая, как мало действуют даже самые непреложные доказательства на большинство людей. Очевидность, если она очень бросается в глаза, может быть замечена каким-нибудь образованным индивидом в толпе, но новообращенный, находясь под властью бессознательного, все-таки

очень быстро вернется к своим первоначальным воззрениям. Если вы увидитесь с ним через несколько дней, то он вам снова представит все свои прежние аргументы и в тех же самых выражениях, так как находится под влиянием прежних идей, сделавшихся чувствами; эти-то последние служат глубокими двигателями наших речей и поступков. В толпе происходит то же самое.

Когда посредством известных процессов идея проникает, наконец, в душу толпы, она получает непреодолимую власть над нею и порождает ряд последствий, которые приходится переносить. Философские идеи, приведшие к французской революции, потребовали целое столетие для того, чтобы укрепиться в душе толпы. Известно уже, какую непреодолимую силу они приобрели после того, как укрепились. Стремление целого народа к приобретению социального равенства, к реализации абстрактных прав и вольностей расшатало все троны и глубоко потрясло западный мир. В течение целых двадцати лет народы устремлялись друг на друга, и Европа пережила такие гекатомбы, которые могли бы испугать Чингисхана и Тамерлана. Никогда еще миру не приходилось наблюдать в такой степени результаты владычества какой-нибудь идеи.

Нужно очень долгое время для того, чтобы идеи укрепились в душе толпы, но не менее времени надо и для того, чтобы они исчезли из нее. Поэтому-то толпа в отношении идей всегда отставала на несколько поколений от ученых и философов. Все государственные люди знают в настоящее время, как много ошибочного заключается в основных идеях, о которых я только что говорил, но так как влияние этих идей еще очень сильно, то государственные деятели вынуждены управлять согласно принципам, в истинность которых они сами уже не верят более.

## *§2. Рассуждения толпы*

Нельзя утверждать абсолютным образом, что толпа не рассуждает и не подчиняется рассуждениям. Но аргументы, употребляемые ею, и те, которые на нее действуют, принадлежат с точки зрения логики к такому разряду, что разве только на основании аналогии их можно назвать рассуждениями.

Рассуждения толпы, несмотря на свое невысокое достоинство, также основываются на ассоциациях, как и рассуждения более возвышенного рода, но они связаны между собой лишь кажущейся аналогией и последовательностью. В них замечается точно

такая же связь, как и в идеях эскимоса, знающего по опыту, что лед прозрачен и тает во рту, и выводящего отсюда заключение, что и стекло, как прозрачное тело, должно также таять во рту; или же в идеях дикаря, полагающего, что если он съест сердце мужественного врага, то тем самым усвоит себе его храбрость; или в идеях рабочего, подергавшегося эксплуатации со стороны своего хозяина и выводящего отсюда заключение, что все хозяева должны быть эксплуататорами.

Ассоциация разнородных вещей, имеющих лишь кажущееся отношение друг к другу, и немедленное обобщение частных случаев — вот характеристичные черты рассуждений толпы. Подобного рода аргументация всегда выставляется теми, кто умеет управлять толпой, и это единственная, которая может влиять на нее. Сцепление логических рассуждений совершенно непонятно толпе, вот почему нам и дозволяется говорить, что толпа не рассуждает или рассуждает ложно и не подчиняется влиянию рассуждений. Не раз приходится удивляться, как плохи в чтении речи, имевшие огромное влияние на толпу, слушавшую их. Не следует, однако, забывать, что эти речи предназначались именно для того, чтобы увлечь толпу, а не для того, чтобы их читали философы. Оратор, находящийся в тесном общении с толпой, умеет вызвать образы, увлекающие ее. Если он успеет в этом, то цель его будет достигнута, и двадцать томов речей, всегда придуманных потом, зачастую не стоят нескольких удачных фраз, произнесенных в должную минуту и подействовавший на умы тех, кого нужно было убедить.

Считаем лишним прибавлять здесь, что эта неспособность толпы правильно рассуждать мешает ей критически относиться к чему-либо, т. е. отличать истину от заблуждений и иметь определенное суждение о чем бы то ни было. Суждения толпы всегда навязаны ей и никогда не бывают результатом всестороннего обсуждения. Но как много есть людей, которые не возвышаются в данном случае над уровнем толпы! Легкость, с которой распространяются иногда известные мнения, именно и зависит от того, что большинство людей не в состоянии составить себе частное мнение, основывающееся на собственных рассуждениях.

### *§3. Воображение толпы*

Как у всех существ, неспособных к рассуждению, воспроизводительная способность воображения толпы очень развита, очень деятельна, и очень восприимчива к впечатлениям. Вызванные в

уме толпы каким-нибудь лицом образы, представление о каком-нибудь событии или случае по своей живости почти равняются реальным образам. Толпа, до некоторой степени, напоминает спящего, рассудок которого временно бездействует и в уме которого возникают образы чрезвычайно живые, но эти образы скоро рассеялись бы, если бы их можно было подчинить размышлению. Для толпы, неспособной ни к размышлению, ни к рассуждению, не существует поэтому ничего невероятного, а ведь невероятное-то всегда и поражает всего сильнее.

Вот почему толпа поражается больше всего чудесной и легендарной стороной событий. Подвергая анализу какую-нибудь цивилизацию, мы видим, что в действительности настоящей ее опорой является чудесное и легендарное. В истории кажущееся всегда играло более важную роль, нежели действительное, и нереальное всегда преобладает в ней над реальным.

Толпа, способная мыслить только образами, восприимчива только к образам. Только образы могут увлечь ее или породить в ней ужас и сделаться двигателями ее поступков.

Театральные представления, где образы представляются толпе в самой явственной форме, всегда имеют на нее огромное влияние. Хлеб и зрелища некогда составляли для римской черни идеал счастья, и она больше ничего не требовала. Века прошли, но этот идеал мало изменился. Ничто так не действует на воображение толпы всех категорий, как театральные представления. Весь зрительный зал испытывает одни и те же эмоции, и если они не превращаются немедленно в действия, то это потому, что даже самый бессознательный из зрителей не может не знать в данном случае, что он — жертва иллюзии и что он смеялся и плакал над воображаемыми, а не истинными приключениями. Иногда, впрочем, внушенные образами чувства бывают так сильны, что стремятся, подобно обыкновенным внушениям, выразиться в действиях. Много раз уже цитировалась история одного народного театра, где всегда игрались на сцене лишь одни только мрачные драмы. Актер, изображавший изменника, подвергался постоянной опасности при выходе из театра, и его должны были охранять, так как зрители, возмущенные его воображаемыми преступлениями, готовы были растерзать его. Я полагаю, что это может служить одним из самых замечательных указаний умственного состояния толпы и того, в особенности, как легко она поддается внушению. Нереальное действует на нее почти так же, как и реальное, и она имеет явную склонность не отличать их друг от друга.

Могущество победителей и сила государств именно-то и основываются на народном воображении. Толпу увлекают за собой, действуя главным образом на ее воображение. Все великие исторические события — буддизм, христианство, исламизм, реформа и революция и угрожающее в наши дни нашествие социализма — являются непосредственным или отдаленным последствием сильных впечатлений, произведенных на воображение толпы. Таким образом, все государственные люди всех веков и стран, включая сюда и абсолютных деспотов, всегда смотрели на народное воображение, как на основу своего могущества, и никогда не решались действовать наперекор ему. «Представившись католиком, — сказал Наполеон в государственном совете, — я мог окончить вандейскую войну; представившись мусульманином, я укрепился в Египте, а представившись ультрамонтаном[1], я привлек на свою сторону итальянских патеров. Если бы мне нужно было управлять еврейским народом, то я восстановил бы храм Соломона». Никогда еще со времен Александра и Цезаря ни один человек не умел лучше Наполеона действовать на воображение толпы. Он постоянно думал только о том, как бы поразить ее воображение; он заботился об этом во всех своих победах, речах, во всех своих действиях и даже на одре смерти.

Как действуют на воображение толпы — это мы скоро увидим. Теперь же ограничимся только тем замечанием, что влиять на толпу нельзя, действуя на ее ум и рассудок, т. е. путем доказательств. Антонию, например, удалось возбудить народ против убийц Цезаря никак не посредством искусной риторики, а посредством чтения его завещания и указания на его труп.

Образы, поражающие воображение толпы, всегда бывают простыми и ясными, не сопровождающимися никакими толкованиями, и только иногда к ним присоединяются какие-нибудь чудесные или таинственные факты: великая победа, великое чудо, крупное преступление, великая надежда. Толпе надо всегда представлять вещи в цельных образах, не указывая на их происхождение. Мелкие преступления и несчастные случаи вовсе не поражают воображения толпы, как бы они ни были многочисленны; наоборот, какой-нибудь крупный несчастный случай или преступление глубоко действуют на толпу, хотя бы последствия их были далеко не так пагубны, как последствия многочисленных, но мелких несчастных случаев и преступлений.

---

[1] Т. е. иезуитом (*прим. ред.*).

Эпидемия инфлюэнцы, унесшая несколько лет тому назад в Париже около 5000 жертв, очень мало подействовала на народное воображение. Эта настоящая гекатомба не выразилась какими-нибудь явственными образами, и на нее указывали лишь еженедельные статистические отчеты. Но какой-нибудь другой крупный несчастный случай, например, падение Эйфелевой башни, причем если погибло бы не 5000, а всего 500 человек, но зато единовременно и в общественном месте, непременно подействовал бы гораздо сильнее на воображение толпы. Предполагаемая гибель одного трансатлантического парохода на том основании, что о нем долго не получалось известий, сильно поразила воображение толпы, между тем как официальная статистика указывает, что в одном только 1894 году погибло 850 парусных судов и 203 паровых. Эта гибель судов, гораздо более важная, если смотреть на нее с точки зрения потери человеческих жизней и товаров, нежели гибель трансатлантического парохода, не произвела ровно никакого впечатления на толпу. Из этого следует, что не факты сами по себе поражают народное воображение, а то, каким образом они распределяются и представляются толпе. Необходимо, чтобы, сгущаясь, если мне будет позволено так выразиться, эти факты представили бы такой поразительный образ, что он мог бы овладеть всецело умом толпы и наполнить всю область ее понятий. Кто владеет искусством производить впечатление на воображение толпы, тот и обладает искусством ею управлять.

## ГЛАВА IV

## РЕЛИГИОЗНЫЕ ФОРМЫ, В КОТОРЫЕ ОБЛЕКАЮТСЯ ВСЕ УБЕЖДЕНИЯ ТОЛПЫ

*Что составляет религиозное чувство. — Оно независимо от обожания какого-нибудь божества. — Его характеристика. — Могущество убеждений, облеченных в религиозную форму. Различные примеры. — Народные боги никогда не исчезали. — Новые формы, в которых они возрождаются. Религиозные формы атеизма. — Значение этих понятий с исторической точки зрения. — Реформа, Варфоломеевская ночь, террор и аналогичные события являются последствием религиозных чувств толпы, а не отдельных индивидов.*

Мы уже говорили о том, что толпа не рассуждает, что она принимает или отбрасывает идеи целиком, не переносит ни споров, ни противоречий, что внушения всецело овладевают ее мыслительными способностями и немедленно стремятся перейти в действие. Мы указывали, что толпа под влиянием соответствующего внушения готова принести себя в жертву ради внушенного ей идеала, и что ей свойственны только сильные и крайние чувства, причем симпатия у нее быстро превращается в обожание, а антипатия, едва народившись, тотчас же превращается в ненависть. Эти общие указания дозволяют нам предугадывать убеждения толпы.

Исследуя ближе убеждения толпы как во время эпох веры, так и во время великих политических переворотов, например, переворотов предшествовавшего века, можно видеть, что всегда эти убеждения принимают специальную форму, которую я не могу лучше определить, как назвав ее религиозным чувством. Это чувство характеризуется очень просто: обожание предполагаемого верховного существа, боязнь приписываемой ему магической силы, слепое подчинение его велениям, невозможность оспаривать его догматы, желание распространять их, стремление смотреть как на врагов на всех тех, кто не признает их — вот главные черты этого чувства. Относится ли это чувство к невидимому Богу, к каменному или деревянному идолу, или к герою, к политической идее, — с того самого момента, как в нем обнаруживаются вышеуказанные черты, оно уже имеет религиозную сущность. Сверхъестественное и чудесное встречаются в нем в одинаковой степени. Толпа бессознательно награждает таинственной силой политическую формулу или победоносного вождя, возбуждающего в данный момент ее фанатизм.

Религиозность обусловливается не одним только обожанием какого-нибудь божества; она выражается и тогда, когда все средства ума, подчинение воли, пылкость фанатизма всецело отдаются на службу какому-нибудь делу или существу, которое становится целью и руководителем помыслов и действий толпы.

Нетерпимость и фанатизм составляют необходимую принадлежность каждого религиозного чувства и неизбежны у тех, кто думает, что обладает секретом земного или вечного блаженства. Эти черты встречаются в каждой группе людей, восстающих во имя какого-нибудь убеждения. Якобинцы времен террора были так же глубоко религиозны, как и католики времен инквизиции, и их свирепая пылкость вытекала из одного и того же источника.

Все убеждения толпы имеют такие черты слепого подчинения, свирепой нетерпимости, потребности в самой неистовой пропаганде, которые присущи религиозному чувству; вот почему мы и вправе сказать, что верования толпы всегда имеют религиозную форму. Герой, которому поклоняется толпа, поистине для нее Бог. Наполеон был им в течение пятнадцати лет, и никогда еще ни одно божество не имело таких преданных поклонников и ни одно из них не посылало с такой легкостью людей на смерть. Языческие и христианские боги никогда не пользовались такой абсолютной властью над покоренными ими душами. Основатели религиозных или политических верований только потому могли достигнуть цели, что умели внушить толпе чувство фанатизма, заставляющее человека находить счастье в обожании и подчинении и с готовностью жертвовать своей жизнью для своего идола. Так было во все времена. В своей прекрасной книге о римской Галлии Фюстель де Куланж указывает, что римская империя держалась не силой, а чувством религиозного восхищения, которое она внушала. «Это был бы беспримерный случай в истории, — говорит он не без основания, — когда режим, ненавидимый народом, держался целых пять веков... Нельзя было бы объяснить себе, как тридцать легионов империи могли принуждать к послушанию стомиллионный народ. Если же эти миллионы людей повиновались, то потому лишь, что император, олицетворявший в их глазах римское величие, пользовался обожанием с общего согласия, подобно божеству. В самой маленькой деревушке империи императору воздвигались алтари. В душе народа, от одного края империи до другого, народилась новая религия, в которой божествами были императоры. За несколько лет до христианской эры вся Галлия, составляющая шестьдесят городов, воздвигла сообща храм Августу близ Лиона... Священники, выбранные собранием галльских городов, были первыми лицами в стране... Нельзя приписывать все это чувству страха и раболепству. Целые народы раболепны быть не могут или, во всяком случае, не могут раболепствовать в течение трех веков. Императора обожали не царедворцы, а Рим, и не только Рим, а вся Галлия, Испания, Греция и Азия».

В настоящее время великим завоевателям душ не строят больше алтарей, но зато им воздвигают статуи, и культ, оказываемый им теперь, не отличается заметным образом от того, который им оказывали в прежние времена. Философия истории становится нам понятной лишь тогда, когда мы вполне усвоим

себе основные пункты психологии толпы, указывающие, что для толпы надо быть богом или ничем.

Не следует думать, что эти предрассудки прошлых веков окончательно изгнаны рассудком. В своей вечной борьбе против разума чувство никогда не бывало побежденным. Толпа не хочет более слышать слов «божество» и «религия», во имя которых она так долго порабощалась, но никогда еще она не обладала таким множеством фетишей, как в последние сто лет, и никогда не воздвигала столько алтарей и памятников своим старым божествам. Изучавшие народное движение последних лет, известное под именем буланжизма[1], должны были убедиться, с какой легкостью возрождаются религиозные инстинкты толпы. Не было ни одной деревенской гостиницы, в которой не имелось бы изображения героя. Ему приписывалась сила уничтожить все бедствия и восстановить справедливость; тысячи людей готовы были отдать за него свою жизнь. Какое бы место он мог занять в истории, если бы его характер оказался на высоте этой легенды!

Незачем повторять здесь, что толпа нуждается в религии, так как все верования, политические, божественные и социальные, усваиваются ею лишь в том случае, если они облечены в религиозную форму, недопускающую оспариваний. Если бы было возможно заставить толпу усвоить атеизм, то он выразился бы в такой же пылкой нетерпимости, как и всякое религиозное чувство, и в своих внешних формах скоро превратился бы в настоящий культ. Эволюция маленькой секты позитивистов любопытным образом подтверждает это положение. С нею случилось то же, что с тем нигилистом, историю которого нам рассказывает глубокий писатель Достоевский. Озаренный в один прекрасный день светом разума, этот нигилист разбил изображения божества и святых, украшавшие алтарь его часовни, потушил восковые свечи и, не теряя ни минуты, заменил уничтоженные изображения творениями философов-атеистов, таких как Бюхнер и Молешотт, и снова благоговейно зажег свечи[2]. Предмет его религиозных верований изменился, но можно ли сказать в самом деле, что изменилось также и его религиозное чувство?

---

[1] Движение во Франции конца XIX века за войну с Германией, роспуск парламента и пересмотр конституции 1875 года, возглавляемое генералом Ж. Буланже (*прим. ред.*).

[2] Г. Лебон имеет в виду «одного подпоручика» из романа «Бесы» (*прим. ред.*).

Некоторые исторические события, и притом наиболее важные, только тогда становятся понятными, — еще раз повторяю это, — когда мы вполне уясним себе ту религиозную форму, в которую всегда, в конце концов, облекаются все убеждения толпы. Существуют социальные явления, которые надо изучать скорее с точки зрения психолога, нежели натуралиста. Наш великий историк Тэн изучал революцию только как натуралист, вот почему генезис событий часто ускользал от него. Он прекрасно наблюдал факты, но, не зная психологии толпы, не всегда добирался до их источников. Факты испугали его своим кровожадным, анархистским и свирепым характером; он видел в героях этой великой эпопеи только стаю диких эпилептиков, повинующихся без всяких преград своим инстинктам; однако все насилия революции, убийства, потребность в пропаганде, объявление войны всем королям, легко объясняются, если смотреть на них просто как на возникновение нового религиозного верования в душе толпы. Реформа, Варфоломеевская ночь, религиозные войны, инквизиция, террор — все это явления тождественные, совершенные толпой, воодушевленной религиозными чувствами, которые необходимым образом требуют истребления огнем и мечом всего того, что противится упрочению нового верования. Методы инквизиции — это методы всех искренно убежденных людей, и эти люди не были бы таковыми, если бы употребляли другие методы.

Перевороты, аналогичные тем, которые я только что приводил, не были бы возможны, если бы душа толпы не вызывала их. Ни один из самых абсолютных деспотов не мог бы их вызвать. Когда историки рассказывают нам, что Варфоломеевская ночь была делом короля, то они лишь указывают этим, что психология толпы им так же незнакома, как и психология королей. Подобного рода манифестации порождаются только душою толпы; самый абсолютный из монархов, самый деспотичный может только или ускорить их появление, или же замедлить их. Не короли создали Варфоломеевскую ночь, религиозные войны, и не Робеспьер, Дантон или Сен-Жюст создали террор. Во всех этих событиях действовала душа толпы, а не могущество королей.

# ВТОРОЙ ОТДЕЛ

# МНЕНИЯ И ВЕРОВАНИЯ ТОЛПЫ

## ГЛАВА I

## ОТДАЛЕННЫЕ ФАКТОРЫ МНЕНИЙ И ВЕРОВАНИЙ ТОЛПЫ

*Подготовительные факторы верований толпы. — Развитие этих верований есть последствие предшествующей обработки.*

*§1. Раса. — Ее преобладающее влияние. — В этом влиянии выражаются внушения предков.*

*§2. Традиции. — Традиции служат выражением синтеза души расы. — Социальное значение традиций. — В чем заключается их вред. — Толпа является самой стойкой хранительницей традиционных идей.*

*§3. Время. — Оно последовательно подготавливает упрочение верований, а затем их разрушение. — Благодаря его влиянию из хаоса восстанавливается порядок.*

*§4. Политические и социальные учреждения. — Ошибочное представление об их роли. — Они представляют собой следствие, а не причины. — Учреждения — не что иное как ярлыки, которые прикрывают одним общим названием самые несходные вещи. — Как создаются конституции. — Потребность некоторых народов в известных, теоретически дурных, учреждениях, как например централизация.*

*§5. Образование и воспитание. — Современное ошибочное представление о влиянии образования на толпу. — Статистические указания. — Деморализующая роль латинского воспитания. — Роль, которую могло бы исполнять образование. — Примеры, которые можно встретить у разных народов.*

Изучив духовное устройство толпы, ее способы мыслить, чувствовать и рассуждать, мы переходим теперь к исследованию того, как возникают и устанавливаются ее мнения и верования.

Факторы, определяющие характер мнений и верований толпы, бывают двоякого рода: факторы непосредственные и факторы отдаленные.

Отдаленные факторы — это те, которые делают толпу доступной к восприятию известных убеждений и совершенно неспособной проникнуться некоторыми другими взглядами. Эти факторы подготавливают почву, на которой впоследствии внезапно развиваются какие-нибудь новые идеи, поражающие своей силой и результатами. Впрочем, внезапность появления этих идей только кажущаяся. Действительно, некоторые идеи зачастую возникают в толпе и приводятся в исполнение с быстротой молнии, но это так — лишь с первого взгляда, так как на самом деле этот взрыв всегда является результатом долгой предшествующей работы.

Непосредственные факторы, влияющие на толпу, действуют уже на подготовленную отдаленными факторами почву и без этого не вызвали бы никаких результатов; они порождают в толпе активную уверенность, т. е. облекают в известную форму идею и развивают ее со всеми ее последствиями. Благодаря этим непосредственным факторам, в толпе возникают решения, увлекающие ее; благодаря им разражается бунт, устраивается стачка, или же громадное большинство вдруг возносит какого-нибудь человека к власти или низвергает какое-нибудь правительство.

Во всех великих событиях истории мы можем наблюдать последовательное действие этих двойных факторов. Возьмем один из самых разительных примеров — французскую революцию. Отдаленными факторами этого события были творения философов, вымогательства аристократии, успехи научной мысли. Подготовленная таким образом душа толпы легко уже была увлечена непосредственными факторами, как то: речами ораторов и сопротивлением двора по поводу самых незначительных реформ.

К числу отдаленных факторов принадлежат такие общие факторы, которые встречаются в глубине всех верований и мнений толпы, это раса, традиции, время, учреждения и воспитание. Постараемся теперь изучить роль всех этих разнообразных факторов.

## *§1. Раса*

Этот фактор, раса, должен стоять в первом ряду, так как своим значением он превосходит все другие. Ранее мы указали на его влияние и потому не будем больше возвращаться к этому вопросу. В предшествующем труде мы говорили о том, что такое историческая раса и какую она получает силу, благодаря закону на-

следственности, после того, как сформировались окончательно ее черты; тогда ее верования, учреждения и искусства, одним словом, все элементы ее цивилизации являются уже не чем иным, как только внешним выражением ее души. Влияние расы таково, что ни один из этих элементов не может перейти от одного народа к другому, не претерпев самых глубоких изменений. Среда, обстоятельства и события служат лишь выражением социальных внушений минуты. Все это может иметь значительное влияние, но оно всегда бывает кратковременным, если только идет вразрез с внушенными идеями расы, т. е. целого ряда предков.

Нам еще представится случай не раз вернуться к этому влиянию расы и указать, как оно велико и как оно преобладает даже в специальных чертах души толпы. Этим объясняется, например, тот факт, что толпа разных стран имеет большие различия в своих верованиях и поступках и что на нее нельзя влиять одинаковым образом.

## *§2. Традиции*

В традициях выражаются идеи, потребности и чувства прошлого расы; в них заключается синтез расы, всей своей тяжестью давящий на нас.

Так как эта высказанная мною мысль еще нова, — историю же трудно понять без нее, — я посвятил ей в своем предшествующем труде («Психология народов») четыре главы. Читатель увидит из этих глав, что, несмотря на обманчивую внешность, ни язык, ни религия, ни искусства, одним словом, ни один из элементов цивилизации не переходит в неприкосновенном виде от одного народа к другому.

Биологические науки претерпели большие изменения с тех пор, как эмбриология показала, какое громадное влияние имеет прошлое на эволюцию живых существ. Такое же изменение произойдут и в исторической науке, когда идея о влиянии прошлого получит большее распространение. До сих пор еще она недостаточно распространилась и многие государственные люди проникнуты еще идеями теоретиков прошлого века, думавших, что общество может порвать со своим прошлым и может быть переделано во всех направлениях, если будет руководствоваться светом разума.

Народ — это организм, созданный прошлым, и как всякий организм, он может быть изменен не иначе, как посредством долгих наследственных накоплений.

Люди руководствуются традициями особенно тогда, когда они находятся в толпе, причем меняются легко только одни названия, внешние формы.

Жалеть об этом нечего. Без традиций не может быть ни национальной души, ни цивилизации. Поэтому-то одним из главных занятий человека с тех пор, как он существует, было создание сети традиций и разрушение ее после того, как благодетельное действие традиций иссякало. Без традиций не может быть цивилизации; без разрушения традиций не может быть никакого прогресса. Трудность заключается в том, чтобы отыскать равновесие между постоянством и изменчивостью, и эта трудность очень велика. Если какой-нибудь народ допустит прочно укрепиться привычкам в течение нескольких поколений, он уже более не может измениться и, как Китай, становится неспособным к совершенствованию. Насильственные революции тут ничего не могут сделать, так как обломки разорванной цепи либо спаиваются вместе, и прошлое опять, без всяких изменений, приобретает свою власть, либо эти обломки остаются рассеянными, и тогда за анархией вскоре следует упадок.

Таким образом, идеал каждого народа состоит в сохранении учреждений прошлого и в постепенном и нечувствительном их изменении мало-помалу. Но этот идеал очень трудно достижим. Древние римляне и современные англичане — единственные, реализовавшие этот идеал.

Именно толпа и является самой стойкой хранительницей традиционных идей и всего упорнее противится их изменениям, — особенно те категории толпы, которые именуются кастами. Я указывал уже на этот консервативный дух толпы и говорил, что самые бурные возмущения ведут лишь к перемене слов. Имея в виду разрушенные церкви в конце прошлого столетия, казни и изгнания священников и общее преследование, которым подвергался весь католический культ, можно было думать, конечно, что старые религиозные идеи потеряли окончательно свою власть. А между тем, прошло лишь несколько лет после этого, и отмененный культ был восстановлен вследствие общих требований. Вытесненные на время традиции снова вернули свое царство.

В докладе бывшего члена конвента Фуркруа, цитированном Тэном, говорится об этом отношении вполне определенно: «Повсеместное празднование воскресного дня и посещение церквей указывает, что масса французов желает возвращения к прежним обычаям, и теперь не время противиться этой национальной склонности... Огромная масса

людей нуждается в религии, культе и священниках. Ошибка нескольких современных философов, в которую и я был вовлечен, заключалась именно в том, что они полагали, будто образование, если оно достаточно распространится в народе, может уничтожить религиозные предрассудки. Эти предрассудки служат источником утешения для огромного числа несчастных... Надо, следовательно, оставить народной массе ее священников, ее алтари и культ».

Ни один пример не показывает лучше этого, какую власть имеют традиции над душой толпы. Не в храмах надо искать самых опасных идолов, и не во дворцах обитают наиболее деспотические из тиранов. И те, и другие могут быть разрушены в одну минуту. Но истинные, невидимые властелины, царящие в нашей душе, ускользают от всякой попытки к возмущению и уступают лишь медленному действию веков.

### *§3. Время*

В социальных, как и в биологических, проблемах одним из самых энергичных факторов служит время. Время является единственным истинным творцом и единственным великим разрушителем. Время воздвигло горы из песчинок и возвысило до степени человеческого достоинства безвестную клетку геологических эпох. Достаточно вмешательства веков для того, чтобы какое-нибудь явление подверглось полному изменению. Справедливо говорят, что муравей мог бы сгладить Монблан, если б только ему было дано на это время. Если бы какое-нибудь существо получило магическую власть изменять течение времени по желанию, то эта власть была бы равносильна могуществу, которое приписывается верующими только Богу.

Мы ограничимся здесь рассмотрением влияния времени на генезис мнений толпы. В этом отношении действие его очень велико, и ему подчиняются такие великие силы, как расы, которые не могли бы образоваться без него. Время способствует возникновению, развитию и уничтожению верований; время дает им силу и могущество, и время же лишает их и того, и другого. Время подготавливает мнения и верования толпы или, по крайней мере, почву, на которой они могут развиваться. Вот почему некоторые идеи могут быть осуществимы только в известные эпохи, так как они развиваются и возникают вовсе не внезапно и не случайно, и корни каждой из них можно найти в очень отдаленном прошлом. Если наступает расцвет этих идей, значит время подготовило его. И генезис этих идей становится понятен

лишь если мы обратимся к прошлому. Идеи — это дочери прошлого и матери будущего и всегда — рабыни времени!

Таким образом, нашим истинным властелином является время, и нам надо только предоставить ему действовать, чтобы видеть перемену во всем. В настоящий момент нас тревожат грозные притязания толпы и те разрушения и перевороты, которые они, по-видимому, готовят нам. Но время позаботится о том, что бы восстановить равновесие. «Никакой режим не возник в один день, — говорит Лавосс. — Политические и социальные организации создаются веками. Феодализм существовал в бесформенном и хаотическом виде в течение многих веков, пока не подчинился известным правилам. Абсолютная монархия существовала также многие века, пока не найден был правильный правительственный режим, — и во все эти переходные периоды всегда были большие смуты».

### *§4. Политические и социальные учреждения*

Еще довольно распространена та идея, что учреждения могут служить к исправлению недостатков общества, что прогресс народов является последствием усовершенствования учреждений и правительств, и социальные перемены можно производить с помощью декретов. Французская революция имела своей исходной точкой именно эту идею, и современные социальные теории в ней находят точку опоры.

Продолжительный опыт все-таки не в состоянии был серьезно поколебать эту опасную химеру, и напрасно историки и философы пробовали доказать ее неосновательность. Им, однако, нетрудно было бы доказать, что все учреждения представляют собой продукт идей, чувств и нравов, и что эти идеи, чувства и нравы нельзя так легко переделать посредством одного только изменения кодексов. Народ не сам выбирает для себя учреждения, точно так же, как и не сам выбирает для себя цвет глаз и волос. Учреждения и правительства — это продукт расы, и не они создают эпоху, а эпоха их создает. Народы управляются не так, как того требует их характер. Нужны целые века для образования какого-нибудь политического режима, и точно так же нужны века для его изменения. Учреждения, сами по себе, не могут быть ни хороши, ни дурны, и те, которые хороши для какого-нибудь народа в данную минуту, могут быть совершенно непригодны для него в другое время. Поэтому-то не во власти народа изменять эти учреждения на самом деле; он может толь-

ко посредством насильственных революций менять название учреждений, но сущность их не изменится. Названия, впрочем, не имеют значения — это не более как ярлыки, и историк, проникающий в самую суть вещей, не станет обращать на них особенного внимания. Так, например, самая демократическая страна на свете, Англия, управляется монархическим режимом, между тем в испано-американских республиках, несмотря на существующие там республиканские учреждения, господствует самый тяжелый деспотизм. Судьбы народов определяются их характером, а никак не правительствами. В предшествующей своей работе я старался доказать это яркими примерами.

Это признается даже в Соединенных Штатах самыми передовыми из республиканцев. Американский журнал «Forum» высказал по этому поводу следующее категорическое мнение, которое я заимствую из «Review of Reviews» за декабрь 1894 года: «Даже самые ярые враги аристократии не должны забывать, что Англия — самая демократическая страна на свете, где наиболее уважаются права личности и где личность пользуется наибольшей свободой».

Таким образом, тщательное сочинение конституции представляется совсем ненужным и бесполезным упражнением в риторике, так как время и нужда сами позаботятся о том, чтобы выработать подходящую форму конституции, если мы предоставим действовать этим двум факторам. Именно так поступали англосаксы, как это мы узнаём от великого английского историка Маколея, слова которого, сказанные по этому поводу, следовало бы выучить наизусть всем политикам латинских стран, доказав, как много добра сделали законы, казавшиеся с точки зрения чистого разума собранием нелепостей и противоречий. Маколей сравнивает разные конституции, погибшие во время волнений латинских народов Европы и Америки, с конституцией Англии и говорит, что эта последняя изменялась медленно, частями, под влиянием непосредственной нужды, но никогда не на основании спекулятивных рассуждений. «Не заботиться о симметрии, — говорит Маколей, — но больше всего думать о пользе; не отменять аномалий только на том основании, что это аномалии; не вводить новое, пока не ощущается чувство неловкости, причем нововведения допускаются лишь постольку, поскольку они нужны для устранения этого чувства; не переходить за пределы того частного случая, которому надо помочь, — вот правила, которыми обыкновенно руководствовались наши 250 парламентов со времен Иоанна до эпохи Виктории».

Надо изучить отдельно законы и учреждения каждого народа, чтобы составить себе ясное понятие о том, до какой степени они служат выражением потребностей расы и уже поэтому не могут быть изменены насильственным образом. Можно, например, рассуждать с философской точки зрения о преимуществах и недостатках централизации, но если мы вспомним, что великая революция, стремившаяся низвергнуть все учреждения прошлого, все-таки вынуждена была не только уважать эту централизацию, но даже еще увеличила ее, то поневоле должны будем признать, что это учреждение — продукт настоятельной необходимости и что оно составляет одно из условий существования народа; поэтому-то нам и приходится пожалеть об ограниченности некоторых политических деятелей, требующих ее уничтожения. Если бы случайно им удалось достигнуть своей цели, это послужило бы немедленно сигналом к ужасной гражданской войне, которая опять-таки привела бы к новой централизации, еще более тяжелой, нежели прежняя.

Если мы проведем параллель между нынешними глубокими религиозными и политическими разногласиями, разделяющими различные партии во Франции и составляющими, главным образом, расовый вопрос, и сепаратистскими тенденциями, обнаружившимися в эпоху революции и снова заявившими о себе к концу франко-прусской войны, то увидим, что различные расы, существующие во Франции, далеко не слились между собой. Энергичная централизация и учреждение искусственных департаментов, которые должны были произвести слияние прежних провинций, без сомнения, были самым полезным делом революции. Но если бы можно было произвести децентрализацию, о которой так много толкуют теперь непредусмотрительные люди, то она очень скоро привела бы к самым кровавым раздорам. Не признавать этого — значит игнорировать всю историю нашей страны.

Из всего вышесказанного мы должны вывести то заключение, что нельзя действовать посредством учреждений на душу толпы. Если мы видим, что некоторые страны, например, Соединенные Штаты, достигли высокой степени процветания, имея демократические учреждения, в других же, например, испано-американских республиках, господствует самая печальная анархия, несмотря на такие же точно учреждения, то все же тут учреждения нисколько не виноваты ни в величии одних, ни в упадке других. Народы управляются свойствами своего характера, и такие учреждения, которые не соответствуют самым точным образом характеру расы, представляют собой не что иное, как заимствованные одежды, временное переодевание. Кровавые войны и

бурные революции не раз возникали и будут возникать с целью ввести учреждения, которым приписывается, как реликвиям святых, сверхъестественная сила создавать счастье людей. В некотором смысле, конечно, можно было бы сказать, что учреждения действуют на душу толпы, потому что они порождают подобные восстания, но на самом деле тут действуют вовсе не учреждения, так как будут ли они побеждены или восторжествуют, они все-таки сами по себе не обладают никакими качествами. На толпу действуют только иллюзии и особенно слова, химерические и сильные, и мы укажем в скором времени, как велико их изумительное влияние на толпу.

### *§5. Образование и воспитание*

В первом ряду идей, имеющих преобладающее значение в какую-нибудь эпоху и обладающих силой, несмотря на свой часто иллюзорный характер и свою немногочисленность, мы должны поставить в настоящее время следующую: образование в состоянии значительно изменить людей и непременно должно улучшить их и даже создать между ними равенство. Путем повторения это уверение сделалось одним из самых непоколебимых догматов демократии, и в настоящее время так же трудно касаться его, как некогда было трудно касаться догматов церкви.

Но относительно этого пункта, как и относительно многих других, демократические идеи оказались в полном разногласии с данными психологии и опыта. Многие знаменитые философы, в том числе Герберт Спенсер, без труда доказали, что образование не делает человека ни более нравственным, ни более счастливым и не изменяет ни его инстинктов, ни его наследственных страстей, а иногда даже, если только оно дурно направлено, причиняет более вреда, нежели пользы. Статистики подтвердили этот взгляд, показав нам, что преступность увеличивается вместе с обобщением образования или, по крайней мере, с обобщением известного рода образования. В недавнем своем труде Адольф Гилльо указывает, что в настоящее время на 1000 необразованных преступников приходится 3000 образованных, и в промежуток 50 лет количество преступников возросло с 227 на 100000 жителей до 552 и, следовательно, увеличилась на 143%.

Без сомнения, никто не станет отрицать, что правильно направленное образование может дать очень полезные практические результаты, если не в смысле повышения нравственности, то, во всяком случае, в смысле развития профессиональных способностей.

К сожалению, латинские народы, особенно в течение последних 25 лет, основали свои образовательные системы на совершенно ложных принципах и, несмотря на слова самых знаменитых людей, таких как Брюль, Фюстель де Куланж, Тэн и др., они продолжают настаивать на своих печальных заблуждениях. Я указал уже в одной из своих прежних работ[1], как наша современная воспитательная система превращает во врагов общества тех, кто получил это воспитание, и как она подготавливает последователей самых худших видов социализма.

Главная опасность этой воспитательной системы, вполне справедливо именуемой латинской системой, заключается в том, что она опирается на то основное психологическое заблуждение, будто заучиванием наизусть учебников развивается ум. Исходя из такого убеждения, заставляют учить как можно больше, и от начальной школы до получения ученой степени молодой человек только и делает, что заучивает книги, причем ни его способность к рассуждению, ни его инициатива нисколько не упражняются. Все учение заключается для него в том, чтобы отвечать наизусть и слушаться. «Учить уроки, — пишет один из бывших министров народного просвещения, Жюль Симон, — знать наизусть грамматику или конспект, хорошенько повторять и подражать — вот забавная воспитательная система, где всякое усилие является лишь актом веры в непогрешимость учителя и ведет лишь к тому, чтобы нас умалить и сделать беспомощными».

Если бы такое воспитание было только бесполезно, то можно было бы ограничиться сожалением о несчастных детях, которым предпочитают преподавать генеалогию сыновей Клотария, или историю борьбы Невстрии и Австрозии, или зоологические классификации, вместо того, чтобы обучить их в первоначальной школе чему-нибудь полезному. Но такая система воспитания представляет собой гораздо более серьезную опасность: она внушает тому, кто ее получил, отвращение к условиям своего общественного положения, так что крестьянин уже не желает более оставаться крестьянином, и самый последний из буржуа не видит для своего сына другой карьеры, кроме той, которую представляют должности, оплачиваемые государством. Вместо того, чтобы подготавливать людей для жизни, школа готовит их только к занятию общественных должностей, где можно достигнуть успеха, не проявляя ни малейшей инициативы и не действуя самостоятельно. Внизу

---

[1] «Психология воспитания» (СПб, 1910). Эту же идею Лебон развивает в книге «Психология социализма» (*прим. ред.*).

лестницы такая воспитательная система создает целые армии недовольных своей судьбой пролетариев, готовых к возмущению, вверху — легкомысленную буржуазию, скептическую и легковерную, питающую суеверное доверие к провиденциальной силе государства, против которого, однако, она постоянно фрондирует, и всегда обвиняет правительство в своих собственных ошибках, хотя в то же время сама решительно неспособна предпринять что бы то ни было без вмешательства власти.

Государство, производящее всех этих дипломированных господ, может использовать из них лишь очень небольшое число, оставляя всех прочих без всякого дела, и таким образом оно питает одних, а в других создает себе врагов. Огромная масса дипломированных осаждает в настоящее время все официальные посты, и на каждую, даже самую скромную официальную должность кандидаты считаются тысячами, между тем как какому-нибудь негоцианту, например, очень трудно найти агента, который мог бы быть его представителем в колониях. В одном только департаменте Сены насчитывается 20000 учителей и учительниц без всяких занятий, которые, презирая ремесла и полевые работы, обращаются к государству за средствами к жизни. Так как число избранных ограничено, то неизбежно возрастает число недовольных, и эти последние готовы принять участие во всякого рода возмущениях, каковы бы ни были их цели и каковы бы ни были их вожди. Приобретение таких познаний, которые затем не могут быть приложены к делу, служит верным средством к тому, чтобы возбудить в человеке недовольство.

Это явление свойственно не только латинским странам; мы можем наблюдать то же самое в Китае — стране, также управляемой солидной иерархией мандаринов, где звание мандарина, так же как у нас, достигается путем конкурса, причем все испытание заключается в безошибочном цитировании наизусть толстых руководств. Армия ученых, не имеющих никаких занятий, считается в настоящее время в Китае истинным национальным бедствием. То же самое стало наблюдаться и в Индии после того, как англичане открыли там школы не для воспитания, как это делается в Англии, а для того только, чтобы обучать туземцев. Вследствие этого в Индии и образовался специальный класс ученых, бабу, которые, не получая занятий, становятся непримиримыми врагами английского владычества. У всех бабу — имеющих занятия или нет — первым результатом полученного ими образования было понижение уровня нравственности. Этот факт, о котором я много говорил в своей книге «Les Civilisations de l'Inde», констатируется всеми авторами, посещавшими Индию.

Вернуться назад теперь, по-видимому, слишком поздно. Только опыт, последний воспитатель народов, возьмет на себя указать нам наши ошибки и только опыт в состоянии будет убедить нас в необходимости заменить наши скверные руководства, наши жалкие конкурсы профессиональным воспитанием, которое вернет нашу молодежь к полю, мастерским и колониальным предприятиям, избегаемым ею всеми средствами в настоящее время.

Это профессиональное воспитание, которого так добиваются теперь все просвещенные умы, существовало у нас некогда, и народы, властвующие теперь над миром своей волей, инициативой и духом предприимчивости, сумели сохранить его. Великий мыслитель Тэн ясно доказал в своем замечательном труде[1], что прежнее воспитание у нас было почти такое же, какое существует в настоящее время в Англии и Америке, и, проведя замечательную параллель между латинской и англосаксонской воспитательной системой, он явственно указал последствия обоих методов.

Быть может, в крайнем случае и можно было бы примириться со всеми неудобствами нашего классического воспитания, хотя бы оно и создавало недовольных да выбитых из колеи, если бы поверхностное приобретение такого множества знаний, заучивание наизусть такого множества руководств в самом деле могло бы повысить умственный уровень. Увы, это не так! Рассудок, опыт, инициатива и характер — вот условия успеха в жизни; книги же этого не дают. Книги — это словари, очень полезные для наведения справок, но совершенно бесполезно хранить в своей голове целые длинные отрывки из них!

Насколько профессиональное образование может более классического содействовать развитию ума, Тэн объясняет следующим образом:

«Идеи образуются только в своей естественной и нормальной среде. Развитию зародыша этих идей способствуют бесчисленные впечатления, которые юноша получает ежедневно в мастерской, на руднике, в суде, в классе, на верфи, в госпитале, при виде инструментов, материалов и операций, в присутствии клиентов, рабочих, труда, работы, хорошо или дурно сделанной, убыточной или прибыльной. Все эти мелкие частные восприятия глаз, уха, рук и даже обоняния, непроизвольно удержанные в памяти и тайно переработанные, организуются в уме

---

[1] Taine. Le Régime Moderne. — Paris, 1894.

человека, чтобы рано или поздно внушить ему ту или иную новую комбинацию, упрощение, экономию, улучшение или изобретение. Молодой француз лишен всех этих драгоценных восприятий, соприкосновения с элементами, легко усваиваемыми и необходимыми, и притом лишен в самом плодотворном возрасте. В течение семи или восьми лет он заперт в школе, вдали от непосредственного и личного опыта, который мог бы дать ему точное и глубокое понятие о вещах, людях и различных способах обращаться с ними.

...По крайней мере девять из десяти потеряли свое время и труд в течение нескольких лет своей жизни и притом в такие годы, которые могут считаться наиболее действенными, важными и даже решающими. Вычтите, прежде всего, половину или две трети из тех, которые являются на экзамены, т. е. отвергнутых; затем из числа принятых, получивших ученые степени, свидетельства, дипломы, отнимите также половину или две трети — я говорю о переутомленных. От них потребовали слишком многого, заставив их в такой-то день, сидя на стуле или перед какой-нибудь картиной, изображать из себя в течение двух часов в присутствии группы ученых живой запас всех человеческих познаний. Действительно, они были таким вместилищем в течение двух часов в этот день, но через месяц они уже не в состоянии были бы выдержать снова этот экзамен. Приобретенные ими познания, слишком многочисленные и слишком тяжеловесные, непрерывно исчезают из их ума, а новых они не приобретают. Умственная сила их поколебалась, плодоносные соки ее иссякли; перед нами человек уже «готовый» и часто совершенно конченный. Устроившись, женившись и покорившись необходимости вращаться в одном и том же кругу, он замыкается в узких пределах своей службы, которую выполняет корректным образом, но далее этого не идет...»

Знаменитый психолог указывает нам затем разницу, существующую между нашей системой и системой англосаксов. У этих последних нет такого множества специальных школ, как у нас; у них обучают не книги, а сами предметы. Инженер обучается там прямо в мастерской, а не в школе, и это дает возможность каждому приобрести познания, отвечающие его умственным способностям, остаться простым рабочим или сделаться мастером, если он не в состоянии идти дальше, или же стать инженером, если это дозволяют его способности. Такой метод, без сомнения, гораздо более демократичен и гораздо более полезен обществу, чем такой, который ставит всю карьеру 18-ти или 20-летнего

человека в зависимость от испытания, продолжающегося всего лишь несколько часов.

«В госпитале, на рудниках, на фабрике, у архитектора, у адвоката ученик, поступающий в очень молодых годах, проходит весь курс учения и практики, почти так же, как у нас проходит его клерк в конторе или живописец в мастерской. Перед тем, до поступления в учение, он мог пройти уже какой-нибудь краткий общий курс, который служит основой, на которую наслаиваются новые знания. Кроме того, у него под рукой часто имеются какие-нибудь технические курсы, которые он может посещать в свободные часы, чтобы приводить в порядок вынесенные им из своего ежедневного опыта наблюдения. При таком режиме практические способности ученика увеличиваются и развиваются сами собой, как раз в такой степени, какая отвечает его природным дарованиям, и в направлении, нужном для его будущей деятельности, для того специального дела, к которому он хочет приспособить себя. Таким образом, в Англии и Соединенных Штатах юноше очень скоро удается извлечь всю пользу из своих дарований. В 25 лет, если только в нем нет недостатка в содержательности и в уме, он уже может быть не только полезным исполнителем, но даже предпринимателем, не только машиной, но и двигателем. Во Франции, где взяла верх противоположная система, принимающая с каждым поколением все более и более китайский характер, общая сумма теряемых сил очень велика».

И великий философ приходит к следующему заключению относительно все возрастающего несоответствия между нашим латинским воспитанием и жизнью:

«Во всех трех стадиях учения — в детском, отроческом и юношеском возрасте — теоретическая и школьная подготовка с помощью книг стала длиннее и обременительнее ввиду экзамена и получения степеней, и дипломов и свидетельств. Это удлинение и отягощение школьных занятий вызывается применением противоестественного режима, выражающегося в откладывании практического учения, искусственных упражнений и механического набивания головы ненужными сведениями, переутомлением. При этом не принимаются во внимание последующие годы и обязанности, которые выпадают на долю взрослого человека, — одним словом, ни реальный мир, куда должен вступить юноша, ни окружающее его общество, к которому он должен заранее приспособиться, ни житейские столкновения, к которым юноша должен быть заранее хорошо подготовлен, укреплен и вооружен (иначе он не в состоянии будет ни устоять, ни защищаться), не

принимаются в расчет этой системой воспитания. Наши школы не дают своим ученикам такой подготовки, более важной, чем всякая другая, не снабжают его необходимой твердостью здравого смысла, воли и нервов. Наоборот, вместо того чтобы подготовить ученика для предстоящих ему условий жизни, школа лишает его необходимых для этого качеств. Отсюда вытекает то, что его вступление в жизнь, его первые шаги на поприще практической деятельности часто сопровождаются рядом неприятных поражений, вызывающих у него чувство огорчения и оскорбления, долго не исчезающее и порой искалечивающее его навсегда. Это тяжелое и опасное испытание; нравственное и умственное равновесие может пострадать от этого и рискует никогда вполне не восстановиться. Разочарование наступает слишком внезапно и бывает слишком полным; заблуждение было слишком велико и слишком велики будут неприятности».

Это были приблизительно последние страницы, написанные Тэном. Они превосходно резюмируют результаты долгого опыта великого философа. Я думаю, что они совершенно непонятны, к сожалению, для профессоров нашего университета, не бывавших за границей. Воспитание — единственное средство, которым мы обладаем, чтобы несколько действовать на душу народа, и грустно думать, что во Франции почти нет никого, кто бы мог понять, что наше современное воспитание составляет опасный элемент быстрого упадка, и вместо того чтобы развивать нашу молодежь, оно извращает и унижает ее.

Полезно было бы сопоставить эти страницы Тэна с наблюдениями, произведенными над воспитательной системой в Америке Полем Бурже, и собранными в его прекрасной книге «Outre-Mer». Признав также, что наша воспитательная система создает только ограниченных буржуа без инициативы и без воли или анархистов, — «два типа, одинаково опасных, — цивилизованного человека, бесплодно вращающегося среди бессильной пошлости, либо увлеченного безумием разрушения», — автор приводит сравнения, весьма заслуживающие внимания. Он сравнивает наши французские лицеи, эти фабрики дегенерации, и американские школы, превосходно подготавливающие человека для жизни. Тут можно ясно видеть, какая пропасть существует между действительно демократическими народами и такими, у которых демократические идеи существуют только в речах, а не в мыслях.

Мы нисколько не удалились от психологии толпы в предшествовавших строках. Чтобы понять идеи и верования, гнездящиеся

в толпе в настоящую минуту и готовые завтра же проявиться в полном развитии, надо знать, как готовилась почва для этого. Образование, которое дается молодому поколению в какой-нибудь стране, позволяет нам предвидеть, какая участь ожидает эту страну. Воспитание, получаемое современным поколением, оправдывает самые мрачные предсказания в этом отношении. Образование и воспитание до некоторой степени могут улучшить или испортить душу толпы. Необходимо было указать, как действует на нее современная система и как масса равнодушных и нейтральных индивидов превратилась постепенно в громадную армию недовольных, готовых повиноваться всяким внушениям утопистов и риторов. В школах-то именно и подготавливается будущее падение латинских народов.

## ГЛАВА II

## НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ МНЕНИЙ ТОЛПЫ

*§1. Образы, слова и формулы. — Магическая сила слов и формул. — Могущественное влияние слов связано с образами, которые ими вызываются, и не зависит от их реального значения. — Образы меняются соответственно времени и расе. — Обветшание слов. — Изменение смысла слов сообразно расе. — Различное значение слова «демократия» в Европе и Америке.*

*§2. Иллюзии. — Их значение. — Они лежат в основе всех цивилизаций. — Социальная необходимость иллюзий. — Толпа всегда предпочитает их истине.*

*§3. Опыт. — Только опыт может упрочить в душе толпы необходимые истины и разрушить иллюзии, сделавшиеся опасными. — Во что обходится необходимый для убеждения толпы опыт.*

*§4. Рассудок. — Ничтожность его влияния на толпу. На толпу можно влиять, действуя на ее бессознательные чувства. — Роль логика в истории. — Тайные причины невероятных событий.*

В предшествующей главе мы изучили отдаленные и подготовительные факторы, развивающие в душе толпы особенную восприимчивость, благодаря которой в толпе возникают известные чувства и идеи. Теперь нам нужно рассмотреть факторы, дейст-

вующие на толпу непосредственным образом. В следующей главе мы увидим, как надо обращаться с этими факторами, чтобы они оказали свое действие.

В первой части нашего труда мы изучили чувства, идеи и рассуждения толпы и можем отсюда вывести общее заключение о способах воздействия на душу толпы. Мы уже знаем, что поражает воображение толпы, какой силой и заразительностью обладают внушения, особенно те, которые представляются в форме образов; но так как происхождение внушений бывает весьма разнообразно, то и факторы, способные действовать на душу толпы, могут быть очень различны; поэтому-то и необходимо изучить их отдельно, и такое изучение не будет бесполезной работой. Толпа несколько напоминает сфинкса из античной сказки: надо или научиться разрешать загадки, предлагаемые нам ее психологией, или же безропотно покориться тому, что толпа поглотит нас.

### *§1. Образы, слова и формулы*

Изучая воображение толпы, мы видели, что на него очень легко действовать, в особенности образами. Такие образы не всегда имеются в нашем распоряжении, но их можно вызывать посредством умелого применения слов и формул. Искусно обработанные формулы получают действительно ту магическую силу, которая им приписывалась некогда адептами магии. Они могут возбудить в душе толпы самые грозные бури, но умеют также и успокаивать их. Можно было бы воздвигнуть пирамиду, гораздо более высокую, чем пирамида Хеопса, из костей лишь тех людей, которые пали жертвами могущества слов и формул.

Могущество слов находится в тесной связи с вызываемыми ими образами и совершенно не зависит от их реального смысла. Очень часто слова, имеющие самый неопределенный смысл, оказывают самое большое влияние на толпу. Таковы, например, термины: демократия, социализм, равенство, свобода и т. д., до такой степени неопределенные, что даже в толстых томах не удается с точностью разъяснить их смысл. Между тем, в них, несомненно, заключается магическая сила, как будто на самом деле в них скрыто разрешение всех проблем. Они образуют синтез всех бессознательных разнообразных стремлений и надежд на их реализацию.

Ни рассудок, ни убеждение не в состоянии бороться против известных слов и известных формул. Они произносятся перед

толпой с благоговением, и тотчас же выражение лиц становится почтительным, и головы склоняются. Многие смотрят на них как на силы природы или сверхъестественные силы. Они вызывают в душе грандиозные и смутные образы, и окружающая их неопределенность только увеличивает их таинственное могущество. Они являются таинственными божествами, скрытыми позади скинии, к которым верующие приближаются с благоговейной дрожью.

Образы, вызванные словами независимо от их смысла, меняются соответственно времени и народам, хотя сами формулы остаются неизменными. С некоторыми словами временно связаны всем известные образы, вызываемые ими. Слово играет в таком случае роль звонка, вызывающего их появление.

Не все слова и формулы обладают способностью вызывать образы. Бывает так, что слова, вызывавшие раньше образы, изнашиваются и уже более ничего не пробуждают в уме. Они становятся тогда пустыми звуками, единственная польза которых заключается в том, что они избавляют тех, кто их употребляет, от обязанности думать. Имея маленький запас таких формул и общих мест, заученных нами в молодости, мы обладаем всем, что нужно, чтобы прожить жизнь, не утомляя себя размышлениями.

Слова, входящие в состав какого-нибудь известного определенного языка, с течением веков изменяются очень медленно, но беспрестанно меняются образы, которые они вызывают, и смысл, который им придается. Вот почему раньше я высказал уже мнение, что точный перевод выражений какого-нибудь языка, особенно если дело идет об исчезнувшем народе, — вещь совершенно невозможная. В самом деле, что мы делаем, например, подставляя французский термин вместо латинского, греческого или санскритского, или стараясь понять книгу, написанную на нашем родном языке два, три столетия тому назад? Мы простонапросто заменяем образами и идеями, образовавшимися в нашем уме под влиянием современной жизни, те понятия и образы, совершенно непохожие на наши, которые зародились под влиянием древней жизни в душе рас, находившихся в совершенно других условиях существования. Когда люди революции копировали древних греков и римлян, разве они не придавали словам древних именно тот смысл, которого у них никогда не было? Какое сходство может, например, существовать между учреждениями древних греков и теми, которые в наше время носят аналогичные названия? Чем была в те времена республи-

ка, как не учреждением, аристократическим по существу, собранием маленьких деспотов, господствующих над толпой рабов, находящихся в самом абсолютном подчинении? Эти коммунальные аристократии, опирающиеся на рабство, не могли бы существовать и одной минуты без него.

А слово «свобода», разве оно могло означать то же самое, что означает теперь, в такую эпоху, когда даже не предполагалась возможность свободно мыслить и не было более великого и более редкого преступления, как рассуждения о богах, законах и обычаях государства? Слово «отечество», например, в душе какого-нибудь афинянина или спартанца было только культом Афин или Спарты, а вовсе не целой Греции, состоявшей из соперничающих между собой городов, ведших постоянную войну друг с другом. Какой смысл имело это же самое слово «отечество» у древних галлов, разделенных на соперничающие племена, отличавшиеся своей расой, языком и религией, и легко побежденных Цезарем, так как он постоянно имел среди них союзников? Только Рим дал галлам отечество, доставив им политическое и религиозное единство. Даже не заглядывая так далеко, мы видим, что всего лишь два столетия назад слово «отечество» понималось совсем не так, как теперь, французскими аристократами вроде великого Конде, которые вступили в союз с иностранцами против своего монарха. И разве то же самое слово не имело другого смысла для эмигрантов, думавших, что они повинуются законам чести, сражаясь против Франции? Со своей точки зрения они, без сомнения, повиновались этим законам, ибо феодальный закон прикрепляет вассала к его властелину, а не к земле, и, следовательно, где находится этот властелин, там и есть истинное отечество.

Очень многочисленны слова, смысл которых изменился подобным образом, и добраться до первоначального их смысла вовсе не легко. Справедливо говорят, что надо много прочесть, прежде чем в состоянии будешь сколько-нибудь уяснить себе, что означали для наших предков такие слова, как король и королевская фамилия. Что же можно сказать относительно более сложных терминов?

Итак, значение слов бывает непостоянным, временным и меняется сообразно векам и народам. Если мы хотим действовать этими словами на толпу, то, прежде всего, должны знать, что они означают в данную минуту, а никак не то, что они некогда означали, или могут означать для индивидов, обладающих другой духовной организацией.

Таким образом, когда после разных политических переговоров и перемен религиозных верований в толпе возникает глубокая антипатия к образам, вызываемым известными словами, то первой обязанностью настоящего государственного человека должно быть изменение слов. При этом он, разумеется, не должен касаться сущности вещей, так как эти последние слишком тесно связаны с наследственной организацией народа, чтобы их можно было изменить. Рассудительный Токвиль давно уже обращал внимание на то, что труды консульства и империи состояли, главным образом, в том, чтобы нарядить в новые слова большинство учреждений прошлого, т. е. заменить слова, вызывавшие неприятные образы в воображении толпы, другими, новизна которых мешала появлению этих образов. Так изменены были, например, названия налогов, хотя налоги и сборы остались по существу те же.

Самой главной обязанностью государственных людей должно быть, следовательно, переименование и поименование популярными или же нейтральными названиями тех вещей, которых толпа уже не выносит более под их прежними именами. Могущество слов так велико, что стоит только придумать изысканные названия для каких-нибудь самых отвратительных вещей, чтобы толпа тотчас же приняла их. Тэн справедливо замечает, что именно призывая свободу и братство, — слова очень популярные в те времена, — якобинцы могли «водворить деспотизм, достойный Дагомеи, суд, достойный инквизиции, и организовать человеческие гекатомбы, напоминающие гекатомбы древней Мексики». Искусство правителей, а также адвокатов, именно и заключается в том, чтобы уметь обращаться со словами. Главная трудность этого искусства состоит в том, что в одном и том же обществе, но в разных социальных слоях, одни и те же слова весьма часто имеют совершенно различный смысл. Внешне в этих общественных слоях употребляют такие же точно слова, но эти слова никогда не имеют того же самого значения.

В предшествующих примерах мы указывали на время как на главный фактор изменения смысла слов. Если мы включим сюда и расу, то увидим, что в одну и ту же эпоху у народов одинаково цивилизованных, но различной расы, одни и те же слова выражают часто очень различные идеи. Трудно понять все эти различия, не совершив многочисленных путешествий, поэтому-то я и не буду на них настаивать. Я ограничусь лишь указанием на то, что слова, наиболее употребляемые толпой, обладают различным смыслом у разных народов. К таковым принадлежат, например,

«демократия» и «социализм», столь часто употребляемые в настоящее время. Эти слова в действительности вызывают совершенно противоположные образы в душе романских и англосаксонских народов. У латинян слово «демократия» означает главным образом исчезновение воли и инициативы индивида перед волей и инициативой общин, представляемых государством. На государство все более и более налагается обязанность руководить всем, централизовать, монополизировать и фабриковать все, к государству обращаются постоянно все партии без исключения — радикалы, социалисты или монархисты. У англосаксов в Америке то же самое слово «демократия» означает, наоборот, самое широкое развитие воли и индивида и насколько возможно большее устранение государства, которому ничем, даже делом народного просвещения, не дают управлять, за исключением полиции, армии и дипломатических сношений. Итак, то же самое слово, которое у одного народа обозначает устранение воли и индивидуальной инициативы и преобладание государства, у другого получает совсем иной смысл и означает чрезмерное развитие именно индивидуальной воли и инициативы и полное устранение государства.

В первой книге этого труда («Психология народов») я особенно указывал на различие, которое существует между демократическим идеалом романских народов и англосаксов. Совершенно независимо от меня Поль Бурже на основании своих путешествий пришел в своей последней книге «Outre-Mer» к выводам, почти одинаковым с моими.

## *§2. Иллюзии*

Начиная с самой зари цивилизации, толпа постоянно подпадала под влияние иллюзий. Наибольшее число храмов, статуй и алтарей было воздвигнуто именно творцам иллюзий. Некогда властвовали религиозные иллюзии, теперь на сцену выступают философские и социальные, но эти грозные владычицы всегда находились во главе цивилизаций, последовательно развивавшихся на нашей планете. Во имя иллюзий сооружались храмы Халдеи и Египта, средневековые религиозные здания, и во имя этих же иллюзий совершился переворот в Европе сто лет тому назад. Все наши художественные, политические или социальные понятия непременно носят на себе могущественный отпечаток иллюзий. Человек иногда повергает в прах эти иллюзии ценой ужасных переворотов, но он всегда бывает вынужден снова извлечь их из-под развалин.

Без этих иллюзий ему не удалось бы выйти из состояния примитивного варварства, и без них он скоро снова впал бы в то же состояние. Все это пустые тени, дщери наших мечтаний, но они вынудили народы создать все то, что составляет теперь славу искусства и величие нашей цивилизации.

«Если бы уничтожить в музеях и библиотеках и разбить о камни паперти все произведения и художественные памятники, вдохновленные религией, что же осталось бы от великой мечты человечества? Доставлять людям надежды и иллюзии, без которых они не могли бы существовать, — вот назначение богов, героев и поэтов. Наука старалась выполнить эту задачу в течение пятидесяти лет. Но в сердцах, жаждущих идеала, ее погубило то, что она не осмеливается обещать больше и не умеет достаточно лгать»[1].

Философы последнего столетия с большим рвением старались уничтожить религиозные, политические и социальные иллюзии, которыми жили наши предки. Но уничтожая эти иллюзии, они, в то же время, опустошили источники надежды и смирения. И позади разбитых химер они наткнулись на слепые и скрытые силы природы, неумолимые, безжалостные к слабости и чуждые сострадания.

Несмотря на весь свой прогресс, философия до сих пор не дала еще толпе никаких идеалов, которые могли бы прельстить ее; но так как толпе нужны иллюзии во что бы то ни стало, то она инстинктивно, как бабочка, летящая на свет, направляется к тем, кто ей их доставляет. Главным фактором эволюции народов никогда не была истина, но всегда заблуждение. И если социализм так могуществен в настоящее время, то лишь потому что он представляет собой единственную уцелевшую иллюзию. Несмотря на все научные демонстрации, он продолжает все-таки расти, и социальная иллюзия царит в настоящее время над всеми обломками прошлого, и ей принадлежит будущее. Толпа никогда не стремилась к правде; она отворачивается от очевидности, не нравящейся ей, и предпочитает поклоняться заблуждению, если только заблуждение это прельщает ее. Кто умеет вводить толпу в заблуждение, тот легко становится ее повелителем; кто же стремится образумить ее, тот всегда бывает ее жертвой.

---

[1] Даниэль Лесюэр.

### *§3. Опыт*

Опыт является, наверное, единственным действительным средством для прочного укрепления какой-нибудь истины в душе толпы и разрушения иллюзий, сделавшихся чересчур опасными. Нужно, однако, чтобы опыт совершен был в широких размерах, и чтобы он повторился несколько раз. Опыт одного поколения обыкновенно не приносит пользы следующему, вот почему излишне пользоваться историческими фактами как примерами. Единственное значение таких демонстраций заключается лишь в том, что они показывают, до какой степени необходимо из века в век повторять опыт, чтобы он мог оказать какое-либо влияние и пошатнуть хотя бы одно-единственное заблуждение, если только оно прочно укоренилось в душе толпы.

Наш век, так же, как и предшествующий, будет, вероятно, приводиться историками будущего в пример, как эра любопытных опытов. И действительно, ни в какие другие века их не производилось так много!

Самым гигантским из всех этих опытов была, без сомнения, Французская революция. Для обнаружения истины, заключающейся в том, что нельзя переделать во всех отношениях какое-нибудь общество лишь на основании указаний чистого разума, понадобилось погубить несколько миллионов человеческих жизней и волновать Европу в течение целых двадцати лет. Чтобы доказать на опыте, как дорого обходятся народам Цезари, которых они приветствуют радостными криками, понадобился целый ряд разорительных испытаний в течение целых пятидесяти лет, но, несмотря на всю их очевидность, они все еще, по-видимому, недостаточно убедительны. Между тем, первый из этих опытов стоил три миллиона человеческих жизней и был причиной нашествия; второй же вызвал разложение и необходимость содержать постоянные армии. Третий опыт чуть-чуть не был сделан недавно и, вероятно, рано или поздно будет-таки сделан. Чтобы убедить целый народ в том, что огромная германская армия вовсе не представляет собой, как учили нас лет тридцать тому назад, только безвредную национальную гвардию, понадобилась ужасная война, стоившая нам очень дорого.

Мнение толпы составилось в данном случае путем грубых ассоциаций предметов, совершенно несходных между собой, механизм образования которых я изложил выше. Наша национальная гвардия тех времен состояла из миролюбивых лавочников без всякого следа дисциплины, и

к ней нельзя было относиться серьезна; поэтому все, что носило аналогичное название, вызывало те же самые образы и, вследствие этого, считалось таким же безвредным учреждением; заблуждение толпы разделялось в то время, как это вообще часто бывает с какими-нибудь общими мнениями, также и ее вожаками. В своей речи, произнесенной 31 декабря 1887 г. в палате депутатов и воспроизведенной Е. Олливье в его книге, Тьер, часто следовавший за мнением толпы, но никогда его не опережавший, утверждал, что Пруссия помимо действующей армии, приблизительно равняющейся французской армии, не имеет ничего другого, кроме национальной гвардии, такой же, как и французская национальная гвардия, и, следовательно, не представляющей серьезного значения. Эти утверждения вышеназванного государственного человека оказались столь же верными, как и его предвидения незначительной будущности железных дорог.

Чтобы признать, наконец, что протекционизм разоряет народы, которые вводят его у себя, понадобится также, по крайней мере, двадцатилетний бедственный опыт. Примеры эти можно увеличить до бесконечности.

## *§4. Рассудок*

Перечисляя факторы, способные производить впечатление на душу толпы, мы могли бы совершенно не упоминать о рассудке, если бы это не было нужно нам для того, чтобы указать на отрицательное значение его влияния.

Мы указали уже, что на толпу нельзя влиять рассуждениями, так как ей доступны только грубые ассоциации идей. Поэтому-то факторы, умеющие производить впечатление на толпу, всегда обращаются к ее чувствам, а не к ее рассудку. Законы логики не оказывают на нее никакого действия. Чтобы убедить толпу, надо сначала хорошенько ознакомиться с воодушевляющими ее чувствами, притвориться, что разделяешь их, затем попытаться их изменить, вызывая посредством первоначальных ассоциаций какие-нибудь прельщающие толпу образы. Надо также уметь вернуться назад в случае нужды, и главное — уметь угадывать ежеминутно те чувства, которые порождаешь в толпе.

Мои первые наблюдения над искусством производить впечатление на толпу и над тем, как мало действует логика в данном случае, относятся ко времени осады Парижа, к тому дню, когда я увидел, как вели в Лувр, где заседало в то время правительство, маршала В., которого неистовая толпа обвиняла в том, что он снимал план укреплений с целью продать его пруссакам. Один из членов правительства, знаменитый

оратор Г. П., вышел, чтобы уговорить толпу, требовавшую немедленной казни своего пленника. Я ожидал, что оратор докажет толпе нелепость ее обвинений, сказав, что маршал, которого она обвиняет, сам был одним из строителей этих укреплений, и что планы этих укреплений продаются у всех книгопродавцев. К моему величайшему изумлению (я был тогда очень молод), я услышал совсем другую речь. «Расправа будет произведена, — закричал оратор приближаясь к пленнику, — и расправа самая безжалостная. Предоставьте правительству национальной обороны закончить ваше расследование. Мы же покамест запрем пленника». Толпа немедленно успокоилась, удовлетворенная этим кажущимся исполнением своих требований, и спустя четверть часа маршал мог спокойно вернуться домой. Но он неминуемо был бы разорван на части, если бы оратор начал приводить толпе, находящейся в состоянии ярости, логические доводы, которые мне по молодости лет казались столь убедительными.

Необходимость постоянно менять свою речь сообразно с производимым ею в ту минуту впечатлением, заранее осуждает на неуспех всякие подготовленные и заученные речи. В такой речи оратор следит только за развитием своей собственной мысли, а не за развитием мыслей своих слушателей, и, уже по этому одному, влияние его совершенно ничтожно.

Логические умы, привыкшие всегда иметь дело с целой цепью рассуждений, вытекающих одно из другого, непременно прибегают к такому же способу убеждения, когда обращаются к толпе, и всегда бывают изумлены тем, как мало действуют на нее аргументации. Попробуйте подействовать рассуждениями на примитивные умы, на дикарей или детей, например, и вы тогда вполне убедитесь, как мало значения имеет подобный метод аргументации.

Незачем, однако, спускаться до примитивных существ, чтобы убедиться в полной несостоятельности их рассуждений, когда им приходится бороться с чувствами. Припомним только, как упорно держались в течение долгих веков религиозные суеверия, противоречащие даже самой простой логике. В течение более чем двух тысяч лет самые блестящие гении склонялись перед их властью, и лишь в современные эпохи явилась возможность оспаривать их достоверность. В средние века и в эпоху Возрождения было немало просвещенных людей, но не было ни одного, которого путем рассуждений можно было бы убедить в ребяческом характере всех этих суеверий и возбудить в нем хотя бы слабые сомнения насчет злодеяний дьявола и необходимости костра для колдуний.

Следует ли сожалеть о том, что толпа никогда не управляется рассудком? Мы не решились бы утверждать это. Вряд ли голос рассудка мог бы увлечь человечество на путь цивилизации и сообщить ему ту горячность и смелость, которую вызвали в нем химеры. Без сомнения, эти химеры, дщери бессознательного, были необходимы. Каждая раса заключает в своей духовной организации те законы, которые управляют ее судьбой, и, быть может, она повинуется именно этим законам, движимая роковым инстинктом во всех своих побуждениях, даже явно самых безрассудных. Иногда нам кажется, что народы подчиняются тайным силам, подобным тем, которые заставляют желудь развиваться постепенно в дуб и вынуждают комету двигаться по своей орбите.

То немногое, что мы можем узнать об этих силах, мы должны отыскивать в общем ходе эволюции народа, а не в отдельных фактах, из которых слагается эта эволюция. Если же принимать во внимание только такие изолированные факты, то может показаться, что историей управляют самые невероятные случайности. Разве это не невероятный факт, например, что несколько арабских шаек, вышедших из пустынь, в состоянии были победить самую большую часть старого греко-римского мира и основать империю, еще более великую, нежели империя Александра? Разве не невероятно также, что в старой иерархической Европе какой-то безвестный артиллерийский поручик мог царствовать над множеством народов и королей.

Предоставим, следовательно, разум философам, но не будем требовать от него слишком большого вмешательства в дело управления людьми. Не при помощи рассудка, а всего чаще помимо него, народились такие чувства, как честь, самоотвержение, религиозная вера, любовь к славе и к отечеству — чувства, которые были до сих пор главными пружинами всякой цивилизации.

## ГЛАВА III

## ВОЖАКИ ТОЛПЫ И ИХ СПОСОБЫ УБЕЖДЕНИЯ

*§1. Вожаки толпы. — Инстинктивная потребность всех индивидов в толпе повиноваться вожаку. — Психология вожаков. — Только вожаки могут создать веру и дать организацию толпе. — Насильственный деспотизм вожаков. — Их классификация. — Роль, которую играет воля.*

*§2. Способы действия вожаков. — Утверждение, повторение и зараза. — Относительная роль всех этих факторов. — Как распространяется зараза из низших слоев общества в высшие. — Популярное мнение быстро становится общим мнением.*
*§3. Обаяние. — Определение и классификация обаяния. — Обаяние приобретенное и личное. — Различные примеры. — Как исчезает обаяние.*

Духовная организация толпы нам уже известна, и мы знаем также, какие двигатели могут действовать на ее душу. Теперь нам остается рассмотреть способы применения этих двигателей и указать, кто может ими пользоваться.

### *§1. Вожаки толпы*

Лишь только известное число живых существ соберется вместе, все равно, будет ли то стадо животных или толпа людей, они инстинктивно подчиняются власти своего вождя. В толпе людей вождь часто бывает только вожаком, но, тем не менее, роль его значительна. Его воля представляет то ядро, вокруг которого кристаллизуются и объединяются мнения. Он составляет собой первый элемент организации разнородной толпы и готовит в ней организацию сект. Пока же это не наступит, он управляет ею, так как толпа представляет собой раболепное стадо, которое не может обойтись без властелина.

Вожак обыкновенно сначала сам был в числе тех, кого ведут; он так же был загипнотизирован идеей, апостолом которой сделался впоследствии. Эта идея до такой степени завладела им, что все вокруг исчезло для него, и всякое противное мнение ему казалось уже заблуждением и предрассудком. Потому-то Робеспьер, загипнотизированный идеями Руссо, и пользовался методами инквизиции для их распространения.

Обыкновенно вожаки не принадлежат к числу мыслителей — это люди действия. Они не обладают проницательностью, так как проницательность ведет обыкновенно к сомнениям и бездействию. Чаще всего вожаками бывают психически неуравновешенные люди, полупомешанные, находящиеся на границе безумия. Как бы ни была нелепа идея, которую они защищают, и цель, к которой они стремятся, их убеждения нельзя поколебать никакими доводами рассудка. Презрение и преследование не производят на них впечатления или же только еще сильнее

возбуждают их. Личный интерес, семья — все ими приносится в жертву. Инстинкт самосохранения у них исчезает до такой степени, что единственная награда, к которой они стремятся, — это мученичество. Напряженность их собственной веры придает их словам громадную силу внушения. Толпа всегда готова слушать человека, одаренного сильной волей и умеющего действовать на нее внушительным образом. Люди в толпе теряют свою волю и инстинктивно обращаются к тому, кто ее сохранил.

В вожаках у народов никогда не бывало недостатка, но эти вожаки всегда должны были обладать очень твердыми убеждениями, так как только такие убеждения создают апостолов. Часто вожаками бывают хитрые ораторы, преследующие лишь свои личные интересы и действующие путем поблажки низким инстинктам толпы. Влияние, которым они пользуются, может быть и очень велико, но всегда бывает очень эфемерно. Великие фанатики, увлекавшие душу толпы, Петр Пустынник, Лютер, Савонарола, деятели революции, только тогда подчинили ее своему обаянию, когда сами подпали под обаяние известной идеи. Тогда им удалось создать в душе толпы ту грозную силу, которая называется верой и содействует превращению человека в абсолютного раба своей мечты.

Роль всех великих вожаков, главным образом, заключается в том, чтобы создать веру — все равно, религиозную ли, политическую, социальную, или веру в какое-нибудь дело, человека или идею — вот почему их влияние и бывало всегда очень велико. Из всех сил, которыми располагает человечество, сила веры всегда была самой могущественной, и не напрасно в Евангелии говорится, что вера может сдвинуть горы. Дать человеку веру — это удесятерить его силы. Великие исторические события произведены были безвестными верующими, вся сила которых заключалась в их вере. Не ученые и не философы создали великие религии, управлявшие миром и обширные царства, распространявшиеся от одного полушария до другого!

Во всех этих случаях, конечно, действовали великие вожаки, а их не так много в истории. Они образуют вершину пирамиды, постепенно спускающейся от этих могущественных властителей над умами толпы до того оратора, который в дымной гостинице медленно подчиняет своему влиянию слушателей, повторяя им готовые формулы, смысла которых он сам не понимает, но считает их способными непременно повести за собой реализацию всех мечтаний и надежд.

Во всех социальных сферах, от самых высших до низших, если только человек не находится в изолированном положении, он легко подпадает под влияние какого-нибудь вожака. Большинство людей, особенно в народных массах, за пределами своей специальности не имеет почти ни о чем ясных и более или менее определенных понятий. Такие люди не в состоянии управлять собой, и вожак служит им руководителем.

Власть вожаков очень деспотична, но именно этот деспотизм и заставляет ей подчиняться. Нетрудно убедиться, как легко они вынуждают рабочие классы, даже самые буйные, повиноваться себе, хотя для поддержания своей власти у них нет никаких средств. Они назначают число рабочих часов, величину заработной платы, организуют стачки и заставляют их начинаться и прекращаться в определенный час.

В настоящее время вожаки толпы все более и более оттесняют общественную власть, теряющую свое значение вследствие распрей. Тирания новых властелинов покоряет толпу и заставляет ее повиноваться им больше, чем она повиновалось какому-нибудь правительству. Если же, вследствие какой-нибудь случайности, вожак исчезает и не замещается немедленно другим, то толпа снова становится простым сборищем без всякой связи и устойчивости. Во время последней стачки кучеров омнибусов в Париже достаточно было арестовать двух вожаков, руководивших ею, чтобы она тотчас же прекратилась. В душе толпы преобладает не стремление к свободе, а потребность подчинения; толпа так жаждет повиноваться, что инстинктивно покоряется тому, кто объявляет себя ее властелином.

Класс вожаков удобно подразделяется на две определенные категории. К одной принадлежат люди энергичные, с сильной, но появляющейся у них лишь на короткое время волей; к другой — вожаки, встречающиеся гораздо реже, обладающие сильной, но в тоже время и стойкой волей. Первые — смелы, буйны, храбры; они особенно пригодны для внезапных дерзких предприятий, для того, чтобы увлечь массы несмотря на опасность и превратить в героев вчерашних рекрутов. Таковы были, например, Ней и Мюрат во времена первой Империи. В наше время таким был Гарибальди, не обладавший никакими особенными талантами, но очень энергичный, сумевший овладеть целым неаполитанским королевством, располагая лишь горстью людей, тогда как королевство имело в своем распоряжении дисциплинированную армию для своей защиты. Но энергия этих вожаков, хотя и очень могущественная, держится

недолго и исчезает вместе с возбудителем, вызвавшим ее появление. Очень часто герои, проявившие такую энергию, вернувшись к обыденной жизни, обнаруживали самую изумительную слабость и полную неспособность руководить своими поступками даже при самых обыкновенных условиях, хотя они с виду так хорошо умели руководить другими людьми. Такие вожаки могут выполнять свою функцию лишь при том условии, если ими руководят и возбуждают их постоянно, и если всегда над ними находится человек или идея, указывающие им их поведение.

Вторая категория вожаков, обладающих стойкой волей, не столь блестяща, но имеет гораздо большее значение. К этой категории и принадлежат истинные основатели религии и творцы великих дел: св. Павел, Магомет, Христофор Колумб, Лессепс. Умны ли они, или ограничены — все равно, мир будет всегда им принадлежать! Их упорная воля представляет собой такое бесконечно редкое и бесконечно могущественное качество, которое всё заставляет себе покоряться. Часто не отдают себе достаточно отчета в том, чего можно достигнуть посредством упорной и сильной воли, а между тем, ничто не может противостоять такой воле — ни природа, ни боги, ни люди.

Ближайшим примером того, что достигается сильной волей, служит знаменитый человек, разделивший два мира и выполнивший задачу, которую напрасно пытались выполнить в течение трех тысяч лет многие из величайших государей. Позднее он потерпел неудачу в подобном же предприятии[1], но тогда уже наступила старость, перед которой все стушевывается, даже воля. История тех трудностей, которые надо было преодолеть при прорытии Суэцкого канала, лучше всего указывает во всех своих подробностях, как много может сделать одна только сильная воля. Очевидец, доктор Казалес, в нескольких захватывающих строчках резюмирует это великое дело, об осуществлении которого рассказывал сам его бессмертный автор: «Он рассказывал изо дня в день все эпизоды эпопеи канала, — говорит Казалес. Он рассказывал, как ему надо было победить невозможное и сделать его возможным, восторжествовать над всеми препятствиями, коалициями, неудачами, несчастиями и неуспехами всякого рода. Однако ничто не могло ввергнуть его в уныние, заставить упасть духом. Он вспоминал, как восстала и безустанно

[1] Фердинанд Лессепс (1805–1894), французский инженер-предприниматель. Его предприятие по прорытию Панамского канала (1879 г.) скандально обанкротилось.

нападала на него Англия, какую нерешительность выказывали Египет и Франция; как французский консул больше других мешал началу работ, и как ему нужно было противодействовать, влияя на рабочих, подвергая их жажде и отказывая им в пресной воде; он говорил, что морское министерство, инженеры, все люди серьезные, опытные, ученые, но естественным образом настроенные враждебно против его идеи и притом убежденные в его гибели, предсказывали эту гибель в такой-то день и час, точно дело шло о солнечном затмении».

Книга, в которой была бы рассказана жизнь всех великих вожаков толпы, конечно, не могла бы заключать в себе много имен, но все эти имена стояли во главе важнейших событий нашей цивилизации и истории.

## *§2. Способы действия вожаков: утверждение, повторение, зараза*

Когда бывает нужно на мгновение увлечь толпу, заставить ее совершить какой-нибудь акт, например, ограбить дворец, погибнуть, защищая укрепление или баррикаду, надо действовать посредством быстрых внушений, и самым лучшим внушением является все-таки личный пример. Однако толпа, чтобы повиноваться внушению, должна быть подготовлена к этому раньше известными обстоятельствами, и главное — надо, чтобы тот, кто хочет увлечь ее за собой, обладал особенным качеством, известным под именем обаяния, о котором мы будем говорить далее.

Когда же дело идет о том, чтобы заставить душу толпы проникнуться какими-нибудь идеями или верованиями, например, современными социальными теориями, то применяются другие способы, преимущественно следующие: утверждение, повторение, зараза. Действие этих способов медленное, но результаты, достигаемые ими, очень стойки.

Простое утверждение, не подкрепляемое никакими рассуждениями и никакими доказательствами, служит одним из самых верных средств для того, чтобы заставить какую-нибудь идею проникнуть в душу толпы. Чем более кратко утверждение, чем более оно лишено какой бы то ни было доказательности, тем более оно оказывает влияние на толпу. Священные книги и кодексы всех веков всегда действовали посредством простого утверждения; государственные люди, призванные защищать какое-нибудь политическое дело, промышленники, старающиеся распространять свои продукты с помощью объявлений, хорошо знают, какую силу имеет утверждение.

Утверждение тогда лишь оказывает действие, когда оно повторяется часто и, если возможно, в одних и тех же выражениях. Кажется, Наполеон сказал, что существует только одна заслуживающая внимания фигура риторики — это повторение. Посредством повторения идея водворяется в умах до такой степени прочно, что, в конце концов, она уже принимается как доказанная истина.

Влияние утверждения на толпу становится понятным, когда мы видим, какое могущественное действие оно оказывает на самые просвещенные умы. Это действие объясняется тем, что часто повторяемая идея, в конце концов, врезается в самые глубокие области бессознательного, где именно и вырабатываются двигатели наших поступков. Спустя некоторое время мы забываем, кто был автором утверждения, повторявшегося столько раз, и, в конце концов, начинаем верить ему, отсюда-то и происходит изумительное влияние всяких публикаций. После того, как мы сто, тысячу раз прочли, что лучший шоколад — это шоколад X, нам начинает казаться, что мы слышали это с разных сторон, и мы, в конце концов, совершенно убеждаемся в этом. Прочтя тысячи раз, что мука V спасла таких-то и таких-то знаменитых людей от самой упорной болезни, мы начинаем испытывать желание прибегнуть к этому средству, лишь только заболеваем аналогичной болезнью. Читая постоянно в одной и той же газете, что А — совершенный негодяй, а В — честнейший человек, мы, в конце концов, становимся сами, убежденными в этом, конечно, если только не читаем при этом еще какую-нибудь другую газету, высказывающую совершенно противоположное мнение. Только утверждение и повторение в состоянии состязаться друг с другом, так как обладают в этом случае одинаковой силой.

После того, как какое-нибудь утверждение повторялось уже достаточное число раз, и повторение было единогласным (как это можно наблюдать, скажем, на примере некоторых финансовых предприятий, пользующихся известностью и достаточно богатых, чтобы купить себе поддержку общественного мнения), образуется то, что называется течением, и на сцену выступает могущественный фактор — зараза. В толпе идеи, чувства, эмоции, верования — все получает такую же могущественную силу заразы, какой обладают некоторые микробы. Это явление вполне естественное, и его можно наблюдать даже у животных, когда они находятся в стаде. Паника, например, или какое-нибудь беспорядочное движение нескольких баранов быстро распростра-

няется на целое стадо. В толпе все эмоции также точно быстро становятся заразительными, чем и объясняется мгновенное распространение паники. Умственные расстройства, например, безумие, также обладают заразительностью. Известно, как часто наблюдаются случаи умопомешательства среди психиатров, а в последнее время замечено даже, что некоторые формы, например агорафобия, могут даже передаваться от человека животным.

Появление заразы не требует одновременного присутствия нескольких индивидов в одном и том же месте; оно может проявлять свое действие и на расстоянии, под влиянием известных событий, ориентирующих направление мыслей в известном смысле и придающих ему специальную окраску, соответствующую толпе. Это заметно особенно в тех случаях, когда умы уже подготовлены заранее отдаленными факторами, о которых я говорил выше. Поэтому-то революционное движение 1848 года, начавшись в Париже, сразу распространилось на большую часть Европы и пошатнуло несколько монархий. Подражание, которому приписывается такая крупная роль в социальных явлениях, в сущности составляет лишь одно из проявлений заразы. В другом месте я уже достаточно говорил о влиянии подражания и, поэтому, здесь ограничусь лишь тем, что воспроизведу то, что было сказано мною об этом предмете пятнадцать лет тому назад и развито впоследствии другими авторами в новейших сочинениях:

«Человек, так же как и животное, склонен к подражанию; оно составляет для него потребность при условии, конечно, если не обставлено затруднениями. Именно эта потребность и обусловливает могущественное влияние так называемой моды. Кто же посмеет не подчиниться ее власти, все равно, касается ли это мнений, идей, литературных произведений или же просто-напросто одежды? Управляют толпой не при помощи аргументов, а лишь при помощи образцов. Во всякую эпоху существует небольшое число индивидов, внушающих толпе свои действия, и бессознательная масса подражает им. Но эти индивиды не должны все-таки слишком удаляться от преобладающих в толпе идей, иначе подражать будет трудно, и тогда все их влияние сведется к нулю. По этой-то причине люди, стоящие много выше своей эпохи, не имеют вообще на нее никакого влияния. Они слишком отдалены от нее. Поэтому-то и европейцы со всеми преимуществами своей цивилизации имеют столь незначительное влияние на народы Востока; они слишком отличаются от этих народов...

Двойное влияние — прошлого и взаимного подражания — в конце концов вызывает у людей одной и той же страны и одной

и той же эпохи такое сходство, что даже те, кто менее всего должен был бы подаваться такому влиянию, — философы, ученые и литераторы — обнаруживают все же такое семейное сходство в своих мыслях и стиле, что по этим признакам можно тотчас же узнать эпоху, к которой они принадлежат. Достаточно короткого разговора с каким-нибудь человеком, чтобы получить полное понятие о том, что он читает, какие его обычные занятия и в какой среде он живет»[1].

Зараза настолько могущественна, что она может внушать индивидам не только известные мнения, но и известные чувства. Благодаря именно такой заразе, в известную эпоху подвергались презрению известные произведения, например, «Тангейзер»[2], спустя несколько лет возбудивший восторги тех же самых людей, которые его осмеяли.

Мнения и верования распространяются в толпе именно путем заразы, а не путем рассуждений, и верования толпы всех эпох возникали посредством такого же точно механизма: утверждения, повторения и заразы. Ренан совершенно справедливо сравнивает первых основателей христианства «с рабочими социалистами, распространяющими свои идеи по кабакам». Вольтер также говоря о христианской религии, сказал, «что в течение более чем ста лет ее последователями была только самая презренная чернь».

На примерах, аналогичных тем, на которые я уже указывал здесь, можно ясно проследить, как зараза, действующая вначале только в народных слоях, постепенно переходит в высшие слои общества; мы можем убедиться в этом на наших современных социалистских доктринах, которыми в настоящее время начинают увлекаться уже те, кто осужден сделаться первыми жертвами их торжества. Действие заразы настолько сильно и могущественно, что перед ним отступает всякий личный интерес.

Вот почему всякое мнение, сделавшись популярным, в конце концов получает такую силу, что проникает и в самые высшие социальные слои и становится там господствующим, хотя бы нелепость его была вполне очевидна. В этом явлении заключается очень любопытная реакция низших социальных слоев на высшие, тем более любопытная, что все верования толпы всегда проистекают из какой-нибудь высшей идеи, не пользовавшейся никаким влиянием в той среде, в которой она народилась.

---

[1] Le Bon Gustave. L'homme et les Sociétés, 1881. — T. II, p. 116.

[2] Имеется в виду опера Р. Вагнера (*прим. ред.*).

Обыкновенно, вожаки, подпавшие под влияние этой идеи, завладевают ею, извращают ее, создают секту, которая, в свою очередь, извращает и затем распространяет ее в недрах масс, продолжающих извращать ее все более и более. Сделавшись, наконец, народной истиной, эта идея некоторым образом возвращается к своему первоначальному источнику и тогда уже действует на высшие слои нации. В конце концов, мы видим, что все-таки ум управляет миром. Философы, создавшие какие-нибудь идеи, давно уже умерли и превратились в прах, но благодаря описанному мною механизму, мысль их все-таки торжествует.

### *§3. Обаяние*

Идеи, распространяемые путем утверждения, повторения и заразы, обязаны своим могуществом главным образом таинственной силе, которую они приобретают — обаянию.

Идеи или люди, подчинявшие себе мир, господствовали над ним преимущественно благодаря этой непреодолимой силе, именуемой обаянием. Мы все понимаем значение этого слова, но оно употребляется часто в таких различных смыслах, что объяснить его нелегко. Обаяние может слагаться из противоположных чувств, например, восхищения и страха. В основе обаяния действительно часто заложены именно эти чувства, но иногда оно существует и без них. Наибольшим обаянием, например, пользуются умершие, следовательно, — существа, которых мы не боимся: Александр, Цезарь, Магомет, Будда. С другой стороны, есть такие предметы и фикции, которые нисколько не возбуждают в нас восхищения, например, чудовищные божества подземных храмов Индии, но которые, тем не менее, имеют огромное обаяние.

В действительности обаяние — это род господства какой-нибудь идеи или какого-нибудь дела над умом индивида. Это господство парализует все критические способности индивида и наполняет его душу удивлением и почтением. Вызванное чувство необъяснимо, как и все чувства, но, вероятно, оно принадлежит к тому же порядку, к какому принадлежит очарование, овладевающее замагнитизированным субъектом. Обаяние составляет самую могущественную причину всякого господства; боги, короли и женщины не могли бы никогда властвовать без него.

Различные виды обаяния можно, однако, подразделить на две главные категории: обаяние приобретенное и обаяние личное. Приобретенное обаяние — то, которое доставляется именем,

богатством, репутацией; оно может совершенно не зависеть от личного обаяния. Личное же обаяние носит более индивидуальный характер и может существовать одновременно с репутацией, славой и богатством, но может обходиться и без них.

Приобретенное или искусственное обаяние гораздо больше распространено. Уже одного того факта, что какой-нибудь индивид занимает известное социальное положение, обладает известным богатством и титулами, бывает зачастую достаточно, чтобы придать ему обаяние, как бы ни было ничтожно его личное значение. Военный в своем мундире, судья в своей мантии всегда пользуются обаянием. Паскаль совершенно справедливо указывал на необходимость облачить судей в мантии и парики. Без этого они бы лишились на три четверти своего авторитета. Самый свирепый социалист всегда бывает несколько смущен при виде принца или маркиза; стоит присвоить себе такой титул, и самый прозорливый коммерсант легко даст себя обморочить.

Это влияние титулов, орденов и мундиров на толпу встречается во всех странах, даже там, где больше всего развито чувство личной свободы. Я приведу по этому поводу отрывок из новой книги одного путешественника, рассказывающего следующее о том обаянии, которым пользуются некоторые личности в Англии:

«Много раз мне приходилось наблюдать особенное состояние опьянения, которое овладевает даже самыми благоразумными англичанами при виде и общении с каким-нибудь пэром Англии. Они заранее уже любят его, лишь бы богатство его соответствовало его положению, и в его присутствии они всё переносят от него с восторгом. Они краснеют от удовольствия, когда он приближается к ним или заговаривает с ними; сдерживаемая радость сообщает непривычный блеск их глазам. У них «лорд находится в крови», если позволено будет так выразиться, как мы выражаемся, например, про испанца, что у него танцы в крови, про немца — что у него музыка в крови, и про француза — что у него в крови революция. Их страсть к лошадям и Шекспиру менее сильна, и они менее извлекают из нее наслаждений. Книга пэров имеет огромный сбыт и ее можно найти в самых отдаленных местах и у всех так же, как Библию».

Я касаюсь здесь лишь обаяния, которое имеют люди; но рядом с этим можно поставить и обаяние мнений, литературных и художественных произведений и т. д. В последнем случае, чаще всего, обаяние является результатом усиленного повторения. История и в особенности история литературы и искусства, представляет собой не что иное, как повторение все одних и тех же суждений, которые никто не смеет оспаривать и, в конце кон-

цов, все повторяют их так, как выучили в школе. Есть имена и вещи, которых никто не смеет коснуться. Для современного читателя, например, чтение Гомера доставляет, конечно, огромную и непреодолимую скуку, но кто же посмеет сознаться в этом? Парфенон в его настоящем виде является несчастной развалиной, лишенной всякого интереса, но эта развалина обладает обаянием именно потому что она представляется нам не в том виде, в каком она есть, а в сопровождении всей свиты исторических воспоминаний. Главное свойство обаяния именно и заключается в том, что оно не допускает видеть предметы в их настоящем виде и парализует всякие суждения. Толпа всегда, а индивиды — весьма часто, нуждаются в готовых мнениях относительно всех предметов. Успех этих мнений совершенно не зависит от той частицы истины или заблуждения, которая в них заключается, а исключительно лишь от степени их обаяния.

Теперь я буду говорить о личном обаянии. Этот род обаяния совершенно отличается от искусственного или приобретенного обаяния и не зависит ни от титула, ни от власти; оно составляет достояние лишь немногих лиц и сообщает им какое-то магнетическое очарование, действующее на окружающих, несмотря даже на существование между ними равенства в социальном отношении и на то, что они не обладают никакими обыкновенными средствами, для утверждения своего господства. Они внушают свои идеи, чувства тем, кто их окружает, и те им повинуются, как повинуются, например, хищные звери своему укротителю, хотя они легко могли бы его разорвать.

Великие вожаки толпы: Будда, Магомет, Жанна д'Арк, Наполеон обладали в высшей степени именно такой формой обаяния и благодаря ей подчиняли себе толпу. Боги, герои и догматы внушаются, но не оспариваются; они исчезают, как только их подвергают обсуждению.

Великие люди, об обаянии которых я только что говорил, без этого обаяния не могли бы сделаться знаменитыми. Конечно, Наполеон, находясь в зените своей славы, пользовался огромным обаянием, благодаря своему могуществу, но все же это обаяние существовало у него и тогда еще, когда он не имел никакой власти и был совершенно неизвестен. Благодаря протекции, он был назначен командовать армией в Италии и попал в кружок очень строгих, старых воинов-генералов, готовых оказать довольнотаки сухой прием молодому собрату, посаженному им на шею.

Но с первой же минуты, с первого свидания, без всяких фраз, угроз или жестов, будущий великий человек покорил их себе.

Тэн заимствует из мемуаров современников следующий интересный рассказ об этом свидании:

«Дивизионные генералы, в том числе Ожеро, старый вояка, грубый, но героичный, очень гордившийся своим высоким ростом и своей храбростью, прибыли в главную квартиру весьма предубежденными против выскочки, присланного из Парижа. Ожеро заранее возмущался, уже составив себе мнение о нем по описанию и готовясь неповиноваться этому «фавориту Барраса», «генералу Вандемьера», «уличному генералу», на которого все смотрели как на медведя, потому что он всегда держался в стороне и был задумчив, притом этот малорослый генерал имел репутацию математика и мечтателя. Их ввели. Бонапарт заставил себя ждать. Наконец он вышел, опоясанный шпагой, и, надев шляпу, объяснил генералам свои намерения, отдал приказания и отпустил их. Ожеро безмолвствовал, и только когда они уже вышли на улицу, он спохватился и разразился своими обычными проклятиями, соглашаясь вместе с Массеной, что этот маленький генерал внушил ему страх, и он решительно не может понять, почему с первого взгляда он почувствовал себя уничтоженным перед его превосходством».

Обаяние Наполеона еще более увеличилось под влиянием его славы, когда он сделался великим человеком. Тогда уже его обаяние сделалось почти равносильно обаянию какого-нибудь божества. Генерал Вандамм, революционный вояка, еще более грубый и энергичный, чем Ожеро, говорил о нем маршалу д'Орнано в 1815 году, когда они вместе поднимались по лестнице в Тюильрийском дворце: «Мой милый, этот человек производит на меня такое обаяние, в котором я не могу отдать себе отчета, и притом до такой степени, что я, не боящийся ни Бога, ни черта, приближаясь к нему, дрожу, как ребенок; и он бы мог заставить меня пройти через игольное ушко, чтобы затем бросить меня в огонь».

Наполеон оказывал такое же точно обаяние на всех тех, кто приближался к нему.

Сознавая вполне свое обаяние. Наполеон понимал, что он только увеличивает его, обращаясь даже хуже, чем с конюхами, с теми важными лицами, которые его окружали и в числе которых находились знаменитые члены Конвента, внушавшие некогда страх Европе. Рассказы, относящиеся к тому времени, заключают в себе много знаменательных фактов в этом отношении. Однажды в государственном совете Наполеон очень грубо поступил с Беньо, с которым обошелся, как с неучем и лакеем. Достигнув желаемого действия, Наполеон подошел к

нему и сказал: «Ну, что, большой дурак, нашли вы, наконец, свою голову?» Беньо, высокий, как тамбур мажор, нагнулся очень низко, и маленький человечек, подняв руку, взял его за ухо, «что было знаком упоительной милости, — пишет Беньо, — обычным жестом смилостивившегося господина». Подобные примеры дают ясное понятие о степени низости и пошлости, вызываемой обаянием в душе некоторых людей, объясняют, почему великий деспот питал такое громадное презрение к людям, его окружавшим, на которых он действительно смотрел, лишь как на пушечное мясо.

Даву, говоря о своей преданности и преданности Маре Бонапарту, прибавлял: «Если бы император сказал нам обоим: «Интересы моей политики требуют, чтобы я разрушил Париж, и притом так, чтобы никто не мог из него выйти и бежать», — то Маре, без сомнения, сохранил бы эту тайну, я в том уверен, но, тем не менее, не мог бы удержаться и вывел бы из Парижа свою семью и тем подверг бы тайну опасности. Ну, а я из боязни, чтобы никто не догадался об этой тайне, оставил бы в Париже свою жену и детей».

Надо иметь в виду именно эту удивительную способность Наполеона производить обаяние, чтобы объяснить себе его удивительное возвращение с острова Эльбы и эту победу над Францией одинокого человека, против которого выступили все организованные силы великой страны, казалось, уставшей уже от его тирании. Но стоило ему только взглянуть на генералов, присланных для того, чтобы завладеть им, и поклявшихся им завладеть, и все они немедленно подчинились его обаянию.

«Наполеон, — пишет английский генерал Уолслей, — высаживается во Франции почти один, как беглец с маленького острова Эльбы, и в несколько недель ему удается без всякого кровопролития ниспровергнуть всю организацию власти во Франции, во главе которой находился ее законный король. Существуют ли случаи, где личное превосходство человека проявлялось бы более поразительным образом? В продолжении всей этой последней его кампании можно ясно видеть, какую власть он имел над союзниками, заставляя их следовать его инициативе, и как мало было нужно, чтобы он их раздавил окончательно».

Его обаяние пережило его и продолжало увеличиваться. Благодаря именно этому обаянию попал в императоры его безвестный племянник. Наблюдая затем, как возрождается его легенда, мы можем убедиться, насколько еще могущественна его великая тень. Обращайтесь дурно с людьми сколько вам угодно, убивайте их миллионами, вызывайте нашествия за нашествиями, и все

вам будет прощено, если вы обладаете достаточной степенью обаяния и талантом для поддержания этого обаяния.

Я привел тут совершенно исключительный пример обаяния, но необходимо было указать именно на такой случай, чтобы происхождение великих религий, великих доктрин и великих империй сделалось нам понятным. Генезис всего этого неясен, если не принять во внимание могущественную силу обаяния.

Но обаяние основывается не исключительно на личном превосходстве, на военной славе или религиозном страхе. Оно может иметь гораздо более скромное происхождение и все-таки быть весьма значительным. Наш век указывает нам много таких примеров. Одним из самых разительных является история знаменитого человека (Лессепса), изменившего вид земного шара и коммерческие сношения народов, отделив два континента. Он успел в своем предприятии не только вследствие громадной воли, но и вследствие обаяния, которое он имел на всех окружающих. Чтобы победить почти всеобщее недоверие, ему надо было только показаться. Он говорил несколько минут, и, благодаря его очарованию, противники быстро превращались в его сторонников. Англичане в особенности восставали против его проекта, но стоило ему лишь показаться в Англии, и все уже были на его стороне. Когда позднее он проезжал через Саутхемптон, колокола звонили в его честь, а теперь Англия собирается воздвигнуть ему статую. «Победив все — вещи, людей, болота, скалы и пески», он уже не верил более в препятствия и вздумал было возобновить Суэц в Панаме. Он начал с теми же средствами, но пришла старость; кроме того, вера, двигающая горы, двигает ими лишь тогда, когда они не слишком высоки. Но горы, однако, устояли и возникшая из этого катастрофа уничтожила блестящий ореол славы, окружавший этого героя. Его жизнь лучше всего показывает, как возникает обаяние и как оно может исчезнуть. Сравнившись в величии с самыми знаменитыми героями истории, он был низвергнут простыми судьями своей страны в ряды самых презренных преступников. Когда он умер, толпа отнеслась к этому совершенно равнодушно, и только иностранные государи сочли нужным почтить память одного из величайших людей в истории.

Одна иностранная газета, а именно «Neue Freie Presse», высказала по поводу судьбы Лессепса психологически верные замечания, которые я и воспроизвожу здесь:

«После осуждения Фердинанда Лессепса нам нечего изумляться печальному концу Христофора Колумба. Если Фердинанда Лессепса счи-

тать мошенником, то всякую благородную иллюзию надо признавать преступлением. Древний мир увенчал бы память Лессепса ореолом славы и возвел бы его на Олимп, потому что он изменил поверхность земли и выполнил дело, совершенствующее ее. Своим приговором Фердинанду Лессепсу председатель суда создал себе бессмертие, так как народы всегда будут спрашивать имя человека, не побоявшегося унизить свой век, нарядив в халат каторжника старика, жизнь которого была славой его современников... Пусть нам не говорят более о неумолимости правосудия там, где царит бюрократическая ненависть ко всяким великим, смелым делам. Нации нуждаются в таких смелых людях, верующих в себя и преодолевающих все препятствия без внимания к своей собственной особе. Гений не может быть осторожен; руководствуясь осторожностью, он никогда не мог бы расширить круг человеческой деятельности.

...Фердинанд Лессепс пережил и опьянение успеха, и горечь разочарований — это Суэц и Панама. Душа возмущается против этой морали успеха. Когда ему удалось соединить два моря, государи и нации воздали ему почести, но после того, как он потерпел поражение, не совладав со скалами Кордильеров, он превратился в обыкновенного мошенника... Тут проявляется борьба классов общества, неудовольствие бюрократов и чиновников, мстящих посредством уголовного кодекса тем, кто хотел бы возвыситься над другими... Современные законодатели приходят в замешательство перед такими великими идеями человеческого гения; публика же в них понимает еще меньше, и какому-нибудь генеральному адвокату, конечно, нетрудно доказать, что Стэнли — убийца, а Лессепс — обманщик».

Все эти различные примеры, приведенные нами, касаются лишь крайних форм обаяния. Чтобы установить во всех подробностях его психологию, нам бы нужно было поставить эти формы в конце ряда, спускающегося от основателей религий и государств до какого-нибудь субъекта, старающегося ослепить своего соседа блеском нового костюма или орденами.

Между обоими концами такого ряда можно вместить все формы обаяния в различных элементах цивилизации: науках, искусствах, литературе и т. д., тогда будет видно, что обаяние составляет основной элемент всякого убеждения. Сознательно или нет, но существо, идея или вещь, пользующиеся обаянием, тотчас же, путем заразы, вызывают подражание и внушают целому поколению известный способ чувствований и выражения своих мыслей. Подражание чаще всего бывает бессознательным, и именно это и обусловливает его совершенство. Современные художники, воспроизводящие в своих произведениях бледные цвета

и застывшие позы некоторых примитивных живописцев, и не подозревают, конечно, откуда у них явилось такое вдохновение. Они сами верят в свою искренность, а между тем, если бы один знаменитый художник не воскресил бы эту форму искусства, то мы бы продолжали в ней видеть лишь наивные стороны и более низкую степень искусства. Те же художники, которые по примеру другого знаменитого мастера переполняют свои картины фиолетовыми тенями, вовсе не замечают в природе преобладания фиолетовой краски более, чем это замечалось лет пятьдесят тому назад, но на них до такой степени подействовали личные и специальные впечатления одного художника, что они подчинились этому внушению, тем более, что, несмотря на такую странность, художник сумел приобрести большое обаяние. Во всех элементах цивилизации можно легко найти много таких примеров.

Из всего предыдущего мы видим, что в генезисе обаяния участвуют многие факторы, и одним из самых главных был всегда успех. Всякий человек, имеющий успех, всякая идея, завладевающая умами, уже на этом самом основании, становятся недоступными никаким оспариваниям. Доказательством того, что успех составляет одну из главных основ обаяния, является одновременное исчезновение обаяния с исчезновением успеха. Герой, которого толпа превозносила только накануне, может быть на другой день осмеян ею, если его постигла неудача. Реакция будет тем сильнее, чем больше было обаяние. Толпа смотрит тогда на павшего героя как на равного себе и мстит за то, что поклонялась прежде его превосходству, которого не признает теперь. Когда Робеспьер посылал на казнь своих коллег и множество современников, он пользовался огромным обаянием. Но стоило лишь перемещению нескольких голосов лишить его власти, и он немедленно потерял свое обаяние, и толпа провожала его на гильотину градом таких же проклятий, какими она осыпала его прежние жертвы. Верующие всегда с особенной яростью разбивают богов, которым поклонялись некогда.

Под влиянием неудачи обаяние исчезает внезапно. Оно может прийти в упадок и вследствие оспаривания, но это совершается медленнее. Однако именно такой способ разрушения обаяния гораздо более действен. Обаяние, которое подвергается оспариванию, уже перестает быть обаянием. Боги и люди, сумевшие долго сохранить свое обаяние, не допускали оспариваний. Чтобы вызывать восхищение толпы, надо всегда держать ее на известном расстоянии.

# ГЛАВА IV

# ГРАНИЦЫ ИЗМЕНЧИВОСТИ МНЕНИЙ И ВЕРОВАНИЙ ТОЛПЫ

*§ 1. Постоянные верования. — Неизменность некоторых общих верований. Они служат путеводителями цивилизаций. — Сложность их искоренения. — В каком отношении нетерпимость составляет добродетель. — Нелепость какого-нибудь верования в философском отношении не может вредить его распространению.*

*§ 2. Непостоянные мнения толпы. — Чрезвычайная изменчивость мнений, не проистекающих из общих верований. — Кажущиеся изменения идей и верований, действительные границы этих изменений. — Исчезновение общих верований и чрезвычайное распространение печати обусловливают необыкновенную подвижность мнений в наше время. — В толпе обнаруживается склонность к индифферентизму. — Бессилие правительств руководить мнениями толпы. — Нынешняя раздробленность мнений препятствует их тирании.*

## *§1. Постоянные верования*

Между анатомическими и психологическими признаками живых существ наблюдается тесный параллелизм. В анатомических признаках мы наталкиваемся на некоторые элементы, остающиеся неизменными или изменяющиеся так медленно, что нужны целые геологические эпохи, чтобы вызвать эти изменения. Но рядом с постоянными, неизменяющимися признаками существуют другие, очень подвижные, подвергающиеся изменению под влиянием среды или при помощи искусства; скотоводы и садоводы, например, могут по произволу изменять эти признаки, притом иногда до такой степени, что они совершенно скрывают основные черты от взоров не очень внимательного наблюдателя. В нравственных чертах наблюдается такое же явление. Рядом с неизменными психологическими элементами какой-нибудь расы встречаются элементы подвижные и изменяющиеся. Вот почему, изучая верования и мнения какого-нибудь народа, мы наталкиваемся в глубине на очень стойкое основание, на которое наслаиваются

мнения, столь же подвижные, как и песок, покрывающий какую-нибудь скалу.

Мнения и верования толпы образуют, следовательно, два разряда, резко отличающиеся друг от друга. К первому мы отнесем все великие постоянные верования, удерживающиеся в течение многих столетий, и на которых покоится вся цивилизация; таковы, например, идеи христианства, феодализма, Реформации, а в наше время — принцип национализма, демократические и социальные идеи; ко второму относятся временные и переменчивые мнения, проистекающие, большей частью, из общих понятий, которые нарождаются и исчезают с каждой эпохой — это, например, теории, руководящие искусствами и литературой в известные времена, те, которые вызвали появление романтизма, натурализма, мистицизма и т. д. Эти теории, большей частью, столь же поверхностны, как и мода, и подвергаются таким же изменениям, как она, напоминая маленькие волны, которые беспрестанно то появляются, то исчезают на поверхности какого-нибудь глубокого озера.

Число великих общих верований очень невелико. Нарождение этих верований и их исчезновение составляют для каждой исторической расы кульминационные пункты ее истории и образуют истинный остов всякой цивилизации. Нетрудно внушить толпе какое-нибудь преходящее мнение, но очень трудно утвердить в ее душе прочное верование, и также трудно уничтожить это последнее, когда оно уже установилось. Изменение таких установившихся верований достигается чаще всего лишь при помощи очень бурных революций, да и те в состоянии произвести это только тогда, когда верование почти совсем уже потеряло свою власть над душами. Революция же окончательно сметает то, что и так уже совсем расшатано, но держится лишь благодаря привычке; поэтому-то начинающаяся революция всегда знаменует конец какого-нибудь верования. Нетрудно распознать тот день, когда какое-нибудь великое верование отмечается печатью смерти. Это бывает тогда, когда оно подвергается обсуждению, так как всякое общее верование представляет собой только фикцию, которая может существовать лишь при том условии, чтобы ее не подвергали исследованию.

Но если даже какое-нибудь верование и поколебалось, все-таки учреждения, основанные на нем, могут долго сохранять свою силу и лишь постепенно теряют ее. Когда же оно падет окончательно, то все, что оно поддерживало, рушится вслед за ним. Народ может изменить свои верования не иначе, как при

условии полного изменения всех элементов своей цивилизации, и эти изменения будут происходить до тех пор, пока не установится какое-нибудь новое общее верование; пока же этого не произойдет, народ поневоле будет находиться в состоянии анархии. Общие верования необходимы для поддержки цивилизаций, так как они дают известное направление идеям и только они одни могут внушить веру и создать долг.

Народы всегда сознавали пользу приобретения общих верований, инстинктивно понимая, что исчезновение этих верований знаменует для них час упадка. Фанатический культ Рима был для римлян именно таким верованием, которое сделало их властелинами мира, и когда верование это исчезло, Рим пришел в упадок. Варвары же, уничтожившие римскую цивилизацию, только тогда достигли некоторой сплоченности и могли выйти из анархии, в которой находились до тех пор, когда усвоили себе некоторые общие верования.

Итак, народы не без основания защищали свои верования с такой ярой нетерпимостью. Подобная нетерпимость, заслуживающая осуждения с философской точки зрения, в жизни народов составляет одну из необходимейших добродетелей. Для основания или же поддержания общих верований воздвигалось в средние века такое множество костров и так много погибло изобретателей или новаторов. Для защиты этих верований мир столько раз подвергался потрясениям, столько миллионов людей легли костьми на полях битв и, вероятно, столько же их погибнет в будущем!

Очень трудно установить общее верование, но когда оно установлено наконец-то, сила его долгое время бывает непреодолима, и как бы ни были ложны его философские основы, все-таки даже самые просвещенные умы подчиняются ему. Разве европейские народы не считали в течение чуть ли не пятнадцати веков неопровержимой истиной такие религиозные легенды, которые при ближайшем исследовании оказываются столь же варварскими[1], как и легенды Молоха. Ужасающая нелепость такой легенды не была замечена в течение многих веков, и даже такие могущественные гении как Галилей, Ньютон и Лейбниц ни на одну минуту не допускали возможности ее оспаривания. Ничто не

[1] Варварскими с философской точки зрения, конечно; в практическом же отношении они создали целую новую цивилизацию и дали возможность человеку в течение целых пятнадцати веков лелеять мечту и надежду, которые теперь отняты у него.

может лучше этого факта доказать гипнотизирующее влияние общих верований, но, в то же время, и ни что так ясно не указывает на унизительные границы, поставленные человеческому уму!

Лишь только какой-нибудь новый догмат утвердился в душе толпы, он немедленно становится вдохновителем всех ее учреждений, ее искусства и ее поведения. Власть его над душами абсолютна. Люди долго только и мечтают об его реализации, законодатели хлопочут об его применении в жизни, философы же, артисты и литераторы занимаются его разъяснением, воспроизводя его в различных формах. Из основного верования могут, конечно, возникнуть временные побочные идеи, но они всегда будут носить на себе отпечаток того верования из которого произошли; египетская цивилизация, средневековая европейская цивилизация, мусульманская цивилизация арабов — все они происходят из того небольшого числа религиозных верований. которые наложили свой отпечаток на самые малейшие элементы этих цивилизаций, вследствие чего можно с первого же взгляда распознать эти основные верования. Итак, благодаря общим верованиям, люди каждой эпохи бывают окружены сетью традиций, мнений и привычек, от ига которых они не в состоянии избавиться и которые обусловливают их взаимное сходство. Эти верования управляют людьми так же, как и вытекающие из них обычаи, руководящие всеми малейшими актами нашего существования настолько, что даже самый независимый ум не может совершенно освободиться от их власти. Истинной тиранией может быть только такая, которая бессознательно действует на души, так как с нею нельзя бороться. Тиберий, Чингисхан, Наполеон, без сомнения, были опасными тиранами, но Моисей, Будда, Магомет и Лютер из глубины своих могил еще сильнее властвовали над душами. Заговор может свергнуть тирана, но что он может сделать против какого-нибудь прочно установившегося верования? В яростной борьбе с католицизмом, несмотря даже на кажущееся сочувствие народных масс и на все способы истребления, столь же немилосердные, как и во времена инквизиций, побежденной оказалась все-таки великая революция. Единственные настоящие тираны, которых знало человечество, всегда были тени умерших или же иллюзии, созданные самим же человечеством. Нелепость многих общих верований с философской точки зрения никогда не препятствовала их торжеству. Даже более: торжество это только и возможно при условии, если в верованиях заключается какой-нибудь таинственный вздор;

так что очевидная нелепость некоторых современных верований никак не может препятствовать им овладеть душою толпы.

### *§2. Непостоянные мнения толпы*

Над прочно установившимися верованиями, о которых только что шла речь, лежит поверхностный слой мнений, идей и мыслей, постоянно нарождающихся и исчезающих. Некоторые из них держатся всего лишь один день, но даже более или менее важные из них не продолжаются дольше жизни одного поколения. Мы говорили уже, что изменения, которым подвергаются мнения, иногда имеют более поверхностный, нежели существенный характер, и всегда носят на себе отпечаток характера расы. Рассматривая, например, политические учреждения страны, в которой мы живем, мы указывали, что самые противоположные с виду партии: монархисты, радикалы, империалисты, социалисты и т. п. в сущности имеют совершенно одинаковый идеал, что зависит исключительно от умственного строения нашей расы, так как в другой расе под этим же названием подразумевается совершенно противоположный идеал. Никакие названия, присваиваемые мнениям, ни ложное применение их в жизни не могут изменить сущности вещей. Буржуа революции, пропитанные латинской литературой и вперившие свои взоры в римскую республику, заимствовали у нее ее законы, ее пуки прутьев, скрывавшие секиры, и тоги, стараясь перенять ее учреждения и следуя во всем ее примеру. Но они не сделались римлянами от этого, хотя и находились под влиянием могущественного исторического внушения. Роль философа, следовательно, заключается в том, чтобы разыскать то, что уцелело от старых верований под изменившейся внешностью, и различить, что в этом движущемся потоке мнений надо отнести на счет общих верований и души расы.

Не обладая таким философским критерием, можно было бы думать, что толпа меняет свои религиозные и политические убеждения очень часто и когда ей вздумается. В самом деле, вся история, политическая, религиозная, художественная и литературная указывает на это. Возьмем, например, очень краткий период нашей истории, от 1790 до 1820 г. — тридцатилетний промежуток времени, захватывающий лишь одно поколение. Мы видим, что толпа сначала была монархической, затем чрезвычайно революционной, потом она стала империалистской и, наконец, опять вернулась к монархизму. В религии, в

это же время, толпа переходит от католицизма к атеизму, затем к деизму и, наконец, возвращается к самым преувеличенным формам католицизма. Но так поступает не одна только толпа, а и те, кто руководит ею; мы с удивлением видим, как эти же самые члены Конвента, заклятые враги королей, не признающие ни богов, ни монархов, становятся самыми смиренными слугами Наполеона и с благочестием несут восковые свечи в процессиях при Людовике XVIII.

А в последующие семьдесят лет сколько перемен произошло в мнениях толпы! «Коварный Альбион» становится в начале этого века союзником Франции при наследнике Наполеона, и Россия, подвергавшаяся дважды[1] нашему нашествию и так радовавшаяся нашей последней неудаче[2], внезапно стала признаваться нами лучшим нашим другом.

В литературе, искусствах и философии такие перемены совершаются еще быстрее. Романтизм, натурализм, мистицизм и т. п. нарождаются и погибают один за другим, и артист и писатель, которые вчера еще превозносились нами, сегодня уже возбуждают только одно глубокое презрение.

Если мы будем анализировать все эти перемены, кажущиеся нам столь глубокими, то увидим, что все, что противоречит общим верованиям и чувствам расы, имеет лишь эфемерное существование, и на время уклонившееся течение реки возвращается всегда снова к своему прежнему направлению. Мнения, не связанные ни с каким общим верованием или чувством расы и, следовательно, не имеющие прочности, находятся во власти всяких случайностей, другими словами, зависят от малейших изменений среды. Возникнув под влиянием внушения и заразы, мнения эти всегда имеют временный характер: они нарождаются и исчезают, иногда с такой же быстротой, как песчаные дюны, наносимые ветром на берегу моря.

В наши дни количество подвижных мнений толпы стало больше, нежели когда-либо, и это обусловливается следующими тремя причинами:

*Первая причина* — это постепенное ослабление прежних верований, которые все более и более теряют свою власть и не могут уже действовать на преходящие мнения толпы, давая им известное направление. Исчезновение общих верований предоставляет

---

[1] Отечественная война 1812 г. и Крымская война 1854–1855 гг. (*прим. ред.*).

[2] Франко-прусская война 1870–1871 гг. (прим. ред).

место массе частных мнений, не имеющих ни прошлого, ни будущего.

*Вторая* — это все возрастающее могущество толпы, которая встречает все менее и менее противовеса, и, вследствие этого, необыкновенная подвижность идей, наблюдающаяся в толпе, может проявляться совершенно свободно, не встречая нигде помехи.

*Третья* — печать, распространяющая самые противоречивые мнения и внушениями одного рода быстро сменяющая внушения другого рода. Таким образом, ни одно мнение не может утвердиться и осуждается на гибель прежде, чем оно успеет распространиться настолько, чтобы сделаться общим.

Все эти причины вызвали совершенно новое явление в истории мира и, притом, в высшей степени характерное для современной эпохи — это бессилие правительств руководить мнением толпы.

Некогда, еще не так давно, действие правительств, влияние нескольких писателей и весьма небольшого количества органов печати были истинными регуляторами мнений толпы. В настоящее время писатели потеряли всякое влияние, журналы же служат лишь отражением мнений толпы. Что касается государственных людей, то вместо того, чтобы направлять мнение толпы, они стараются за ним следовать. Они боятся этого мнения, и эта боязнь, иногда доходящая даже до степени ужаса, лишает их устойчивости в поступках.

Таким образом, мнение толпы стремится все более и более к тому, чтобы сделаться высшим регулятором политики. В настоящее время оно уже настолько пользуется властью, что может навязывать государству известные союзы, как это можно было наблюдать недавно в деле союза с Россией, вызванного исключительно народным движением. Характерным симптомом для наших дней является также согласие пап, королей и императоров давать интервью и, излагая свои мысли относительно данного предмета, отдавать их на суд толпы. Некогда говорили, что политика не должна быть делом чувства, но можно ли это сказать теперь, когда политика все более и более руководствуется импульсами непостоянной толпы, не признающей разума и подчиняющейся только чувству?

Что же касается печати, некогда руководившей мнениями толпы, то и она, подобно правительствам, должна была стушеваться перед могуществом толпы. Конечно, печать и теперь еще представляет значительную силу, но только потому, что она

служит отражением мнений толпы и их беспрестанных изменений. Сделавшись простым справочным агентством, печать отказалась от проведения в толпу каких бы то ни было идей или доктрин. Она следит за всеми изменениями общественного мнения, причем условия конкуренции заставляют ее следить за этим очень тщательно из опасения лишиться своих читателей. Старые органы печати, серьезные и влиятельные, например, «Constitutionnel», «Débats», «Siècle», к которым предшествующее поколение прислушивалось с таким же благоговением, как к ораторам, исчезли или превратились в справочные листки, помещающие смехотворную летопись, светские сплетни и финансовые рекламы.

Где же можно найти у нас теперь настолько богатую газету, чтобы редакторы ее могли позволить себе высказывать свои личные мнения? Да и какой вес могут иметь эти мнения в глазах читателей, желающих только, чтобы им доставляли сведения и забавляли их, и постоянно опасающихся, что за всякой рекомендацией газеты скрывается спекуляция? Критика не решается даже рекомендовать какую-нибудь книгу или театральную пьесу, потому что этим она может только повредить им, а никак не помочь. Журналы до такой степени сознают бесполезность критики или какого-нибудь личного мнения, что они мало-помалу уничтожили все отделы литературной критики и ограничиваются лишь тем, что печатают только одно название книги, прибавляя две-три строчки рекламы и более ничего. Через двадцать лет, вероятно, такая же участь постигнет и театральную критику.

Прислушивание к мнению толпы составляет в настоящее время главную заботу печати и правительств. Какое действие произвело то или иное событие, законодательный проект, речь — вот что им постоянно надо знать! Но это далеко не легко, так как ничто не может быть изменчивее мыслей толпы, и нередко можно наблюдать, как толпа подвергает проклятьям то, что она превозносила накануне.

Такое полное отсутствие руководства мнениями толпы так же, как и разрушение общих верований, имели своим конечным результатом полный распад всяких убеждений и все увеличивающееся равнодушие толпы ко всему тому, что не касается ее непосредственных интересов. Вопросы, относящиеся к таким доктринам, как социализм, находят убежденных защитников лишь в совершенно неграмотных слоях, каковы рабочие на фабриках и копях. Мелкие буржуа и рабочие, получившие некоторое образо-

вание, или заразились скептицизмом, или же сделались необыкновенно изменчивы в своем образе мыслей.

Совершившаяся в течение двадцати пяти лет эволюция в этом направлении действительно поразительна. В предшествующую и даже не очень отдаленную эпоху мнения все-таки указывали на некоторое ориентирование в известном направлении, они вытекали из какого-нибудь основного общего верования. Монархист роковым образом должен был иметь известные, очень определенные убеждения как в истории, так и в науке, а республиканец должен был иметь совершенно противоположные идеи. Монархист, например, был совершенно убежден в том, что он не происходит от обезьяны, тогда как республиканец был убежден в противном. Монархист должен был с ужасом отзываться о революции, а республиканец — с уважением. Одни имена произносились с благоговением, другие же нельзя было произносить иначе, как с проклятием. Даже в Сорбонне господствовало подобное же наивное отношение к истории[1].

В настоящее время, вследствие обсуждений и анализа, мнения теряют свое обаяние, их резкости быстро сглаживаются. Лишь весьма немногие из этих мнений сохранили еще настолько силы, чтобы увлекать нас, и современный человек все более и более охватывается равнодушием.

Не будем, однако, слишком сожалеть о таком общем исчезновении устойчивости мнений. Нельзя, конечно, отрицать, что в жизни народа это служит симптомом упадка. Без всякого сомнения, ясновидящие, апостолы, вожаки, одним словом, убежденные люди обладают совершенно иной силой, нежели отрицатели, критики и равнодушные. Но не следует забывать: при существующем могуществе толпы всякое мнение, обладающее достаточной степенью обаяния, чтобы овладеть ею, должно тотчас же получить такую тираническую власть, что эра свободных суждений прекратилась бы надолго. Толпа представляет собой властелина, иногда миролюбивого, как были миролюбивы Гелиогобал и Тиберий, но все же ужасного в моменты своих капризов. Если какая-нибудь цивилизация подпадет под власть толпы, она становится в зависимость от массы

[1] Некоторые страницы из книг наших официальных профессоров в этом отношении очень любопытны. Они показывают, до какой степени критический дух мало развивается нашим университетским образованием.

случайностей и не может уже долго продержаться. Если что-нибудь и в состоянии отсрочить час окончательного разрушения, то это именно такое всевозрастающее равнодушие толпы ко всякому общему верованию.

# ТРЕТИЙ ОТДЕЛ

# КЛАССИФИКАЦИЯ И ОПИСАНИЕ ТОЛПЫ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ

## ГЛАВА I

## КЛАССИФИКАЦИЯ ТОЛПЫ

*Общее разделение толпы. — Ее классификация.*
*§1. Разнородная толпа. — Как она образуется. — Влияние расы. — Душа толпы выражена тем слабее, чем сильнее душа расы. — Душа расы отражает состояние цивилизации, душа толпы — состояние варварства.*
*§2. Однородная толпа. — Разделение однородной толпы. — Секты, касты и классы.*

Мы изучили уже общие черты, свойственные одухотворенной толпе; теперь нам надо рассмотреть частные особенности, присоединяющиеся к этим общим чертам в собраниях различных категорий тогда, когда под влиянием соответствующих возбудителей эти собрания превращаются в толпу.

Исходной точкой при классификации толпы будет служить нам простое скопище. Низшая форма такого скопища наблюдается тогда, когда оно состоит из индивидов различных рас и не имеет другой общей связи, кроме более или менее почитаемой воли одного вождя. Типом такого скопища являются варвары весьма различного происхождения, наводнявшие римскую империю в течение многих веков. Над этим скопищем, состоящим из различных рас, будет находиться такая толпа, которая под влиянием известных факторов приобрела уже общие черты, и в конце концов образовала расу. При случае и в такой толпе могут проявиться специальные черты, характерные для толпы всякого рода, но все же над ними будут преобладать в большей или меньшей степени черты, свойственные расе.

Обе категории скопищ под влиянием факторов, о которых мы говорили выше, могут превращаться в организованную или

одухотворенную толпу. В этой организованной толпе мы устанавливаем следующие различия:

А. Толпа разнородная:

1. *Анонимная* (уличная толпа, например).
2. *Неанонимная* (присяжные, парламентские собрания и т. д.).

В. Толпа однородная:

1. *Секты* (политические, религиозные и т. д.).
2. *Касты* (военные, духовенство, рабочие и т. д.).
3. *Классы* (буржуазия, крестьянство и т. д.).

Постараемся в нескольких словах определить главные отличительные черты этих различных категорий толпы.

### *§1. Разнородная толпа*

О характерных чертах этой толпы мы уже говорили раньше. Такая толпа составляется из индивидов, самых разнообразных по своей профессии и умственному развитию. Мы знаем уже, что коллективная психология людей, образующих действующую толпу, отличается значительно от их индивидуальной психологии, и умственное развитие не препятствует этому. Нам известно, что в собраниях ум не играет никакой роли, и двигателями являются бессознательные чувства.

Основной фактор — раса — позволяет нам установить еще более глубокие различия между разнообразными формами такой толпы. Нам приходилось уже не раз возвращаться к вопросу о той роли, которую играет раса, и указывать, что она является самым могущественным фактором, определяющим поступки людей, и, кроме того, выражается в действиях и свойствах толпы. Толпа, состоящая из индивидов самых разнообразных, но одной и той же расы (например, англичан или китайцев), значительно отличается от толпы, в состав которой входят индивиды также всякого рода, но принадлежащие к разным расам (например, русские, французы, испанцы).

Глубокие различия, создаваемые наследственной умственной организацией в мыслях и чувствах людей, тотчас же выступают наружу, как только какие-нибудь обстоятельства, довольно, впрочем, редкие, соединяют вместе в толпе, и, притом, в приблизительно равной пропорции, индивидов различной национальности; эти различия обнаруживаются даже несмотря на ка-

жущуюся общность интересов, заставивших их собраться вместе. Попытки социалистов собрать в общем конгрессе представителей рабочего населения каждой страны обыкновенно приводили лишь к самым яростным разногласиям. Латинская толпа, как бы она ни была революционна или консервативна, непременно обратится к вмешательству государства для реализации своих требований. Эта толпа всегда обнаруживает склонность к централизации и цезаризму. Английская же или американская толпа не признает государства и всегда будет обращаться к частной инициативе. Французская толпа больше всего стоит за равенство, английская — за свободу. Такие различия, существующие между расами, ведут к тому, что социализм и демократия представляют почти столько же разнообразных форм, сколько есть наций.

Душа расы вполне подчиняет себе душу толпы и имеет могущественную силу, ограничивающую ее колебания. Надо признать основным законом, что *низшие свойства толпы выражаются тем слабее, чем сильнее в ней развита душа расы.* Господство толпы означает варварство или же возвращение к варварству. Только путем приобретения прочно организованной души раса может избавиться мало-помалу от неразумной власти над ней толпы и выйти из состояния варварства.

Оставив в стороне расу, мы можем разделить разнородную толпу на два отдела: толпу анонимную, уличную толпу, и толпу неанонимную, к которой надо отнести все совещательные собрания, например, присяжных. Чувство ответственности, не существующее в толпе первого рода, развито в толпе второго рода и придает ее поступкам очень часто совершенно иное направление.

## *§2. Толпа однородная*

Толпа однородная состоит из трех категорий: *сект, каст* и *классов.*

*Секта* представляет первую степень организации однородной толпы. В ее состав входят индивиды различной профессии и воспитания, различной среды, причем единственной связью между ними служат верования. Таковы, например, различные религиозные, а также политические секты.

*Каста* представляет уже самую высшую степень организации, доступную толпе. В состав секты, как мы видели, входят индивиды различных профессий, воспитания и среды, связанные

лишь общностью верований, тогда как в состав касты входят лишь индивиды одной и той же профессии, следовательно, происходящие приблизительно из одной и той же среды и получившие одно и то же воспитание. Таковы будут касты военная и духовная.

*Класс* образуется индивидами различного происхождения, собравшимися не вследствие общности верований, как это мы видим у членов какой-нибудь секты, не в силу общности профессиональных занятий, как это наблюдается в касте, но в силу известных интересов, привычек, образовавшихся под влиянием одинакового образа жизни и воспитания. Таковы, например, буржуазный класс, земледельческий и т. д.

В этой работе я не буду входить в подробное исследование толпы однородной (секты, касты и классы), так как откладываю это до следующего тома. Свое же исследование толпы разнородной я намерен закончить изображением нескольких определенных категорий этой толпы, избранных мною как типы.

## ГЛАВА II

## ПРЕСТУПНАЯ ТОЛПА

*Так называемая преступная толпа. — Толпа может быть преступна с точки зрения закона, но не будет таковой с психологической точки зрения. — Полная бессознательность поступков толпы. — Разные примеры. — Психология «сентябрьщиков». — Их рассуждения, чувствительность, свирепость и нравственность.*

Название «преступная толпа» ни в каком случае не подходит к такой толпе, которая после известного состояния возбуждения превратилась в простой бессознательный автомат, повинующейся внушениям. Но я все-таки сохраняю это ошибочное название, потому что оно узаконено новейшими психологическими исследованиями. Без сомнения, некоторые действия толпы преступны, если их рассматривать сами по себе, но тогда и поступок тигра, пожирающего индуса, также надо назвать преступным. Преступления толпы всегда вызваны каким-нибудь очень могущественным внушением, и индивиды, принявшие участие в совершении этого преступления, убеждены, что они исполнили свой долг, чего нельзя сказать об обыкновенном преступнике.

История преступлений толпы вполне подтверждает все вышесказанное. Как типичный пример можно привести убийство губернатора Бастилии де Лоней. После взятия этой крепости губернатора окружила очень возбужденная толпа, и со всех сторон его стали осыпать ударами. Одни предлагали его повесить, другие — отрубить ему голову или привязать его к хвосту лошади. Отбиваясь, он нечаянно ударил ногой одного из присутствующих. Тотчас же кто-то предложил, чтобы получивший удар перерезал горло губернатору, и это предложение было немедленно принято толпой.

Тот, кому пришлось выполнить роль палача, был повар без места, отправившийся вместе с другими зеваками в Бастилию посмотреть, что там делается. Повинуясь общему решению, он был убежден, что совершает патриотический подвиг и даже заслуживает медали за то, что убил чудовище. Врученной ему саблей он ударил губернатора по голой шее, но сабля оказалась плохо заточенной. Тогда он преспокойно вынул из своего кармана маленький ножик с черной ручкой, и так как в качестве повара он научился резать мясо, то при помощи этого ножа благополучно окончил операцию, которую должен был сделать.

В этом случае можно ясно проследить действие механизма, о котором сказано выше: повиновение внушению, тем более могущественному, что оно бывает коллективным, и уверенность убийцы в том, что он совершает достойный похвалы поступок, уверенность тем более сильная, что он видит единодушное одобрение со стороны своих сограждан. Конечно, такой поступок будет преступным с точки зрения закона, но с психологической точки зрения мы так не назовем его.

Общие черты преступной толпы такие же, как и всякой другой толпы: восприимчивость к внушению, легковерие, непостоянство, приоритет чувств, как хороших, так и дурных. Все эти черты мы можем найти у толпы, оставившей по себе одно из самых ужасных воспоминаний в нашей истории — это так называемые «сентябрьщики»[1]. У них, впрочем, можно встретить много общих черт с убийцами Варфоломеевской ночи. Подробности, которые я приведу здесь, позаимствованы у Тэна, почерпнувшего их из мемуаров современников.

Неизвестно в точности кто отдал приказание или внушил идею опустошить тюрьмы посредством избиения заключенных.

---

[1] Т. е. участники «сентябрьской резни», продолжавшейся 3 дня в сентябре 1792 г. (*прим. ред.*).

Был ли то Дантон, или кто другой — все равно. Для нас в данном случае интересен только сам факт могущественного внушения, полученного толпой, на которую возложено было совершение убийств.

Толпа убийц состояла приблизительно из четырехсот человек и представляла собой самый совершенный тип разнородной толпы. За исключением небольшого числа профессиональных нищих, почти вся она состояла из лавочников и ремесленников всех разрядов: башмачников, слесарей, парикмахеров, каменщиков, чиновников, комиссионеров и т. д. Под влиянием такого же внушения, которому повиновался повар в приведенном выше случае, все эти люди были совершенно уверены, что они совершают патриотический долг. Они выполняли двойную обязанность — судей и палачей — и вовсе не считали себя преступниками.

Проникнутые важностью своей миссии, они прежде всего образовали род трибунала, и в этом тотчас же выказалась вся односторонность суждений толпы и ее правосудия. Ввиду огромного числа обвиняемых, было решено, что дворяне, священники, офицеры, придворные, одним словом, люди, одно звание которых служит уже достаточным доказательством их виновности в глазах доброго патриота, будут убиты гуртом, без дальнейших рассуждений и специальных решений суда; что касается других, то их надлежало судить по внешнему виду и по их репутации. Таким образом, толпа удовлетворила требования своей примитивной совести и могла, уже на законном основании, приступить к убийствам, давая волю своим инстинктам свирепости, генезис которых был мною указан выше, и которые в толпе развиваются всегда в очень высокой степени. Но эти инстинкты нисколько не мешают попеременному проявлению совершенно противоположных чувств в толпе, например, чувствительности, которая доходит до такой же крайности, как и свирепость.

Люди эти обладали экспансивной чувствительностью, характеризующей парижского рабочего. Один из федератов, например, узнал, что заключенных в государственной тюрьме оставили без воды на 26 часов. Он пришел в такую ярость, что готов был бы растерзать нерадивого тюремщика, если бы за него не заступились сами же заключенные. Когда импровизированный трибунал оправдывал кого-нибудь из заключенных, стража и убийцы обнимали его с восторгом, раздавались самые неистовые аплодисменты, а затем снова приступали к массовым убийствам. Во время самого совершения убийств не прекращалось веселье; тан-

цевали вокруг трупов, устанавливали скамьи для «дам», желавших видеть, как убивают аристократов. При этом убийцы не переставали выказывать совершенно специфическое чувство справедливости. Один из убийц заявил трибуналу, что дамы, сидящие далеко, плохо видят, и что лишь некоторым из присутствующих выпадает на долю удовольствие бить аристократов. Трибунал признал справедливость этого замечания, и решено было осужденных медленно проводить между шпалерами убийц, которые будут бить их тупым концом сабли, чтобы продлить мучения. Они кромсали совершенно обнаженные жертвы в течение получаса и затем, когда все уже вдоволь насмотрелись, несчастных приканчивали, вскрывая им животы.

Но в другом отношении убийцы обнаруживали такую большую щепетильность и нравственность, которую трудно было ожидать у них. Они не брали, например, ни денег, ни драгоценностей, найденных у своих жертв, и все это в целости доставляли в комитеты.

Во всех таких действиях можно наблюдать первичные формы рассуждения, характерные для души толпы. Так, перерезав от 12000 до 15000 врагов нации, толпа немедленно подчинилась новому внушению. Кто-то высказал замечание, что и в других тюрьмах, там, где сидят старые нищие, бродяги и молодые арестанты, много находится лишних ртов, от которых недурно было бы избавиться; притом ведь между ними, несомненно, должны существовать и враги народа, вроде некоей г-жи Делярю, вдовы отравителя. «Наверное, она взбешена, что сидит в тюрьме. Если бы она могла, то подожгла бы Париж; она, уж верно, говорила это, она сказала это! Еще один удар метлы!». Такие доводы показались настолько убедительными толпе, что все заключенные были перебиты гуртом, и в том числе около пятидесяти детей в возрасте от 12 до 17 лет, «которые ведь также могли со временем превратиться во врагов нации, поэтому лучше было отделаться от них теперь же».

После недели такого труда, когда все было закончено, убийцы могли, наконец, подумать и об отдыхе. Вполне убежденные в том, что они заслужили благодарность отечества, они явились к властям с требованием награды; наиболее же ретивые даже заявили притязание на получение медали.

История Коммуны 1871 года тоже заключает в себе немало подобных фактов. И нам предстоит еще не раз наблюдать нечто подобное, так как влияние толпы все возрастает, а власти перед нею капитулируют.

# ГЛАВА III

## ПРИСЯЖНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ СУДЫ

*Присяжные уголовных судов. — Общий характер присяжных. — Статистика указывает, что их решения независимы от их состава. — Как производить впечатление на присяжных. — Слабое действие рассуждений. — Способы убеждения, к которым прибегают знаменитые адвокаты. — Характер преступлений, относительно которых присяжные проявляют снисходительность или строгость. — Польза учреждения присяжных и величайшая опасность, которую представила бы замена их судьями.*

Не имея возможности рассмотреть здесь все категории присяжных, я остановлюсь лишь на той, которую считаю наиболее важной, на присяжных уголовного суда. Эти присяжные представляют собой превосходный образчик толпы разнородной, неанонимной. Мы находим тут и восприимчивость к внушению, и преобладание бессознательных чувств вместе со слабым развитием способности рассуждать, и влияние вожаков, и т. д., и т. д. Изучая эту категорию присяжных, мы можем наблюдать интересные образцы ошибок, которые могут быть сделаны людьми, не посвященными в психологию масс.

Присяжные, прежде всего, дают нам прекрасный пример того, как мало имеет значение, с точки зрения принятых решений, умственный уровень отдельных индивидов, входящих в состав толпы. Мы уже раньше говорили, что ум не играет никакой роли в решениях совещательного собрания, касающихся общих, а не исключительно технических вопросов. Суждения, высказанные относительно общих вопросов собранием каменщиков и бакалейщиков, мало отличаются от суждений ученых и артистов, когда они соберутся вместе для совещания по этим вопросам. В разное время, а именно до 1848 года, администрация делала очень тщательный выбор лиц, призванных исполнять обязанности присяжных, останавливаясь преимущественно на людях просвещенных, профессорах, чиновниках, литераторах и т. д. Теперь же присяжные набираются преимущественно из мелкого купечества, лавочников, хозяев, рабочих и служащих. И к величайшему удивлению специалистов, статистика указала, что, ка-

ков бы ни был состав присяжных, решения их бывают тождественны. Сами судьи, как бы они ни относились враждебно к учреждению присяжных, не могли не признать справедливости этого факта. Вот как высказывается по этому поводу бывший председатель уголовного суда Бернар де Гляже в своих «Воспоминаниях».

«В настоящее время выбор присяжных находится в действительности в руках муниципальных советников, которые записывают одних и исключают других по желанию, руководствуясь политическими и избирательными соображениями, связанными с их положением... Большинство выбранных состоит из коммерсантов, не столь крупных, как те, которые выбирались в прежнее время, и из служащих в разных ведомствах... Но все мнения и все профессии сливаются в лице судей, причем некоторые из них обнаруживают горячность неофитов; дух присяжных, таким образом, не подвергся изменениям и *приговоры их остались те же*».

Из этой цитаты мы удерживаем лишь выводы, вполне справедливые, но не объяснения, так как они не верны. Удивляться тут нечему, ибо психология толпы, а следовательно, и присяжных, большей частью не известна ни судьям, ни адвокатам; доказательством тому может служить, например, следующий факт, изложенный автором вышеприведенной цитаты. Один из самых знаменитых адвокатов уголовного суда, Лашо, систематически пользовался своим правом отвергать присяжных и всегда исключал из списка присяжных всех образованных людей. Однако, опыт доказал, в конце концов, всю бесполезность такого рода исключений, и мы видим теперь, что министерство юстиции и адвокаты, по крайней мере в Париже, совершенно отказались от этой системы, и несмотря на это, как справедливо замечает де Гляже, *приговоры присяжных не изменились*, «они не стали ни лучше, ни хуже после этого».

Присяжные, как и толпа, легко подчиняются влиянию чувств и очень мало — влиянию рассуждения. «Они не могут устоять, — говорит один адвокат, — при виде женщины, кормящей грудью своего младенца, или при дефилировании сирот перед ними». «Чтобы снискать расположение судей, женщине достаточно быть симпатичной», говорит де Гляже.

Безжалостные к таким преступлениям, которые могут коснуться их личной безопасности, действительно наиболее опасным для общества, присяжные очень снисходительны к преступлениям, совершенным под влиянием страсти. Они очень редко бывают строги к девушкам, виновным в детоубийстве, или к покинутой

девушке, облившей серной кислотой своего соблазнителя. Во всех таких случаях присяжные инстинктивно понимают, что преступления эти не очень опасны для общества, и что в стране, где не существует законов, покровительствующих покинутым девушкам, преступление той, которая мстит за себя, скорее даже полезно, нежели вредно, так как оно служит предостережением для соблазнителей.

Заметим вскользь, что это различие, которое инстинктивно делается присяжными между преступлениями опасными для общества и не опасными для него, не лишено справедливости. Цель уголовных законов должна, конечно, состоять в том, чтобы защищать общество от опасных преступников, а никак не в том, чтобы мстить им. Но наши уголовные кодексы и, особенно, наши судьи до сих пор проникнуты духом мщения старинного первобытного права, и термин «vindicta»[1] почти ежедневно употребляется ими. Доказательством такой склонности наших судей служит отказ большинства применять превосходный закон Беранже, разрешающий осужденному отбывать свое наказание тогда только, когда он совершит рецидив. Между тем, каждый из судей прекрасно знает, так как это доказывается статистикой, что применение наказания в первый раз неминуемо влечет за собой рецидив преступления. Но судьям всегда кажется, что общество осталось неотомщенным, если они освобождают осужденного, и потому они предпочитают создавать опасных рецидивистов, нежели оставлять общество без надлежащего отмщения.

Присяжные, как и всякая толпа, легко ослепляются обаянием, и хотя, как совершенно верно замечает де Гляже, они очень демократичны по своему составу, но, тем не менее, они всегда аристократичны в своих пристрастиях.

«Имя, происхождение, большое состояние, репутация, защита знаменитым адвокатом, и вообще все то, что отличает и блестит, составляют для обвиняемых очень выгодное условие».

Всякий хороший адвокат должен больше всего заботится о том, чтобы действовать на чувства присяжных, как действуют на чувства толпы; он не должен много рассуждать, если же он захочет прибегнуть к этому способу, то должен пользоваться лишь самыми примитивными формами рассуждений. Один английский адвокат, славившийся своим успехом в уголовном суде, указал, как следует действовать. «Он внимательно следил за присяжными во время своей речи. Это самый благоприятный

---

[1] Vindicta (*фр.*) — юридический термин, означающий преследование преступлений (*прим. ред.*).

момент. Благодаря чутью и привычке, адвокат читал на лицах присяжных впечатление, произведенное каждой его фразой, словом, и выводил отсюда свои заключения. Прежде всего ему нужно было различить тех, кто уже заранее был на его стороне. Укрепив за собой их содействие в один миг, он уже переходил к тем, кто казался ему расположенным не в пользу обвиняемого, и старался угадать, что восстанавливает их против него. Это самая трудная часть работы, так как ведь могут существовать множество причин, порождающих желание осудить человека помимо всякого чувства справедливости».

В этих нескольких строках резюмируется весь механизм ораторского искусства, и нам становится ясно, почему речи, приготовленные заранее, всегда так плохо действуют. Надо менять выражения ежеминутно, постоянно обращая внимание на производимое впечатление.

Оратору нет нужды привлекать на свою сторону всех присяжных — он должен привлечь только вожаков, которые дают направление общему мнению. Как во всякой толпе, так и тут, существует лишь небольшое число индивидов, которые ведут за собой других. «Я убедился на опыте, — говорит адвокат, которого я цитирую, — что в момент произнесения приговора достаточно бывает одного или двух энергичных людей, чтобы увлечь за собой остальных присяжных». Этих-то двух-трех вожаков и надо постараться убедить адвокату при помощи искусных внушений. Прежде всего надо постараться им понравиться. Если вы сумели понравиться индивиду в толпе, то он уже готов проникнуться всяким вашим убеждением и находит превосходными все ваши доводы, каковы бы они ни были. Привожу следующий анекдот, заимствованный мной из одной интересной книги о Лашо:

«Известно, что во время своих защитительных речей, произносимых в суде, Лашо постоянно не теряет из виду двух или трех лиц из присяжных, казавшихся ему влиятельными, но несговорчивыми. Обыкновенно ему удавалось смягчить этих упрямцев, но однажды в провинции он наткнулся на такого, на которого не действовала никакая аргументация, несмотря на то, что Лашо расточал ее перед ним в течение целых трех четвертей часа. Это был первый из сидевших на второй скамье, седьмой по счету присяжный. Было отчего прийти в отчаяние! Вдруг, в самый разгар своих страстных убеждений, Лашо останавливается и, обращаясь к председателю суда, говорит: «Господин председатель, не можете ли вы приказать спустить занавес там, напротив: господин

седьмой присяжный совсем ослеплен солнцем». Седьмой присяжный, покраснев, улыбнулся и поблагодарил. С этой минуты он уже был привлечен на сторону защиты».

Многие писатели, и даже из очень выдающихся, в последнее время стали сильно нападать на учреждение присяжных, служащее, однако, для нас единственной защитой против заблуждений и ошибок (притом весьма частых) такой касты, которая не подлежит никакому контролю. Некоторые из этих писателей желали бы, чтобы присяжные выбирались лишь из образованных классов. Но мы доказали уже, что решения присяжных и при подобных условиях останутся те же, как теперь, при нынешнем составе присяжных. Другие же, основываясь на ошибках в приговорах присяжных, желали бы совершенно отменить этих последних и заменить их судьями. Однако те ошибки, в которых теперь так обвиняют присяжных, прежде всего делаются самими же судьями, так как ведь если какой-нибудь из обвиняемых предстает перед присяжными, то это значит, что его уже раньше признали виновным сами судьи: следственный судья, прокурор и др.

Магистратура, в самом деле, является единственным ведомством, действия которого не подлежат никакому контролю. Несмотря на все революции, демократическая Франция не обладает все-таки правом «Habeas Corpus»[1], которым так гордится Англия. Мы изгнали всех тиранов, но в каждом городе мы посадили судью, который по своему усмотрению распоряжается честью и свободой своих сограждан. Самый ничтожный следственный судья, едва успевший соскочить со школьной скамьи, получает возмутительное право отправлять по своему усмотрению в тюрьму самых почетных граждан, и притом на основании лишь простых личных подозрений, в которых он не обязан никому отдавать отчета. Он может продержать их в тюрьме полгода, год под предлогом следствия и затем отпустить их без всякого вознаграждения или извинений. Приказание привести в суд совершенно равносильно знаменитому «lettre de cachet»[2], с той лишь разницей, что этим последним средством, которое так справедливо ставили в упрек прежней монархии, могли пользоваться лишь очень важные лица, а теперь это средство находится в руках целого класса граждан, которых ни в коем случае нельзя причислить к разряду наиболее просвещенных и независимых.

---

[1] Habeas Corpus (*лат.*) — закон о свободе личности, принятый английским парламентом в 1679 г. (*прим. ред.*).

[2] Lettre de cachet (*фр.*) — королевский указ о заключении в тюрьму или о ссылке какого-либо лица (*прим. ред.*).

Разве не следует из этого, что если бы обвиняемого судили судьи, а не присяжные, то он лишился бы своего единственного шанса на оправдание? Во всяком случае, ошибки присяжных являются лишь последствием ошибок судей. Только эти последние и бывают виновны в чудовищных судебных ошибках вроде недавнего случая с доктором Л., который был привлечен к ответственности одним довольно-таки ограниченным следственным судьей на основании лишь показаний полуидиотки, обвинившей доктора в том, что он сделал ей выкидыш за 30 фр. Доктор, конечно, был бы отправлен на каторгу, если бы не взрыв негодования общественного мнения, вынудивший главу государства немедленно помиловать его. Честность подсудимого, засвидетельствованная всеми его согражданами, казалось, должна была доказать грубость ошибки, и сами судьи даже признавали это, но следуя духу касты, сделали все от них зависящее, чтобы помешать помилованию. Во всех подобных делах присяжные, ничего не понимающие в технических подробностях, естественно, прислушиваются к тому, что говорит обвинение, и, в конце концов, успокаиваются тем, что дело было расследовано судьями, уже искушенными во всяких тонкостях. Кто же в таких случаях является истинным виновником ошибок — судьи или присяжные? Будем же тщательно охранять институт присяжных, так как он составляет, наверное, единственную категорию толпы, которая не может быть заменена никакими отдельными личностями. Только этот институт в состоянии смягчить строгости законов, которые уже потому, что они одинаковы для всех, должны быть слепы в принципе и не могут принимать во внимание частных случаев. Недоступный состраданию и признающий только текст закона, судья со своей профессиональной строгостью приговорит к одинаковому наказанию грабителя, убийцу и бедную девушку, брошенную на произвол судьбы своим соблазнителем, которую довела до детоубийства нужда. Присяжные же инстинктивно чувствуют, что соблазненная девушка гораздо менее виновна, нежели ее соблазнитель, не подлежащий, однако, каре законов, и поэтому оказывают ей снисхождение.

Хорошо зная психологию каст, а также психологию других категорий толпы, я решительно не вижу ни одного случая, когда бы я мог не пожелать лучше иметь дело с присяжными, нежели с судьями, если бы мне пришлось быть неправильно обвиненным в каком-нибудь преступлении. С первыми я все-таки имел бы некоторые шансы на оправдание, тогда как со вторыми этого бы не было. Будем опасаться могущества толпы, но еще более мы

должны страшиться власти некоторых каст. Первую можно все-таки убедить, вторые же остаются непреклонными.

## ГЛАВА IV

## ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ТОЛПА

*Общие черты избирательной толпы. — Как убеждают ее. — Качества, которыми должен обладать кандидат. — Необходимость обаяния. — Почему рабочие и крестьяне так редко выбирают кандидатов из своей среды? — Могущественное влияние слов и формул на избирателя. — Общий вид избирательных прений. — Как образуются мнения избирателя. — Могущество комитетов. — Они представляют собой наиболее опасную форму тираний. — Комитеты революции. — Общую подачу голосов заменить нельзя, несмотря на ее незначительную ценность в психологическом отношении. — Почему голосование останется таким же даже в том случае, если избирательные права будут предоставлены лишь ограниченному классу граждан? — Что выражает собою подача голосов во всех странах?*

Избирательная толпа, т. е. те собрания, которые созываются для избрания лиц на известные должности, представляет собой толпу разнородную, но так как действия ее направлены лишь к одной вполне определенной цели — выбору между различными кандидатами, то в ней можно наблюдать проявление лишь некоторых характерных черт, уже описанных нами. Наиболее выдающимися чертами в этой толпе будут также слабая способность к рассуждению, отсутствие критического духа, раздражительность, легковерие и односторонность. В решениях этой толпы легко можно проследить влияние вожаков и роль перечисленных нами выше факторов: утверждения, повторения, обаяния и заразы.

Проследим теперь способы воздействия на избирательную толпу, так как на этом основании мы можем яснее представить себе ее психологию.

Первым условием, которым должен обладать кандидат на выборах, является обаяние. Личное обаяние может быть заменено только обаянием богатства. Даже талант и гений не составляют серьезных условий успеха. Самое главное — это обаяние, т. е. возможность предстать перед избирателями, не возбуждая ника-

ких оспариваний. Если избиратели, большинство которых состоит из рабочих и крестьян, так редко выбирают представителей из своей среды, то лишь потому, что люди, вышедшие из их рядов, не имеют для них никакого обаяния. Если же случайно они выбирают кого-нибудь из своей среды, то это вызывается обыкновенно побочными причинами, желанием помешать какому-нибудь выдающемуся человеку, крупному хозяину рабочих, например, у которого сами избиратели находятся в постоянном подчинении. Поступая так, избиратели получают на время иллюзию власти над тем, кому всегда подчинялись.

Но обаяние не всегда, однако, служит залогом успеха. Избиратель хочет также, чтобы льстили его тщеславию и угождали его вожделениям. Чтобы на него подействовать, надо осыпать его самой нелепой лестью и, не стесняясь, давать ему самые фантастические обещания. Если это рабочий, то надо льстить ему, браня его хозяина; что же касается соперника-кандидата, то надо стараться уничтожить его, распространяя о нем посредством утверждения, повторения и заразы мнение, что он последний из негодяев и что всем известно, как много он совершил преступлений. Незачем, конечно, искать в данном случае чего-нибудь даже похожего на доказательства. Если противник мало знаком с психологией толпы, он станет оправдываться с помощью аргументов, вместо того чтобы отвечать на утверждения противоположными утверждениями, и конечно, таким образом лишится всяких шансов на успех.

Написанная программа кандидата не должна быть чересчур категоричной, так как противники могут ею воспользоваться и предъявить ему ее впоследствии; но зато словесная программа должна быть самой чрезмерной. Он может обещать без всяких опасений самые важные реформы. Все эти преувеличенные обещания производят сильное впечатление в данную минуту, в будущем же ни к чему не обязывают. В самом деле, избиратель обыкновенно нисколько не старается узнать потом, насколько выбранный им кандидат выполнил обещания, которые, собственно, и вызвали его избрание.

Во всех этих случаях мы можем наблюдать действие тех самых факторов убеждения, о которых мы говорили раньше; мы снова встретимся с этими факторами при обсуждении действия слов и формул, обладающих, как известно, магической силой. Оратор, который умеет пользоваться ими, поведет толпу за собой, куда хочет. Существуют выражения, которые всегда производят одно и то же действие, как бы они ни были избиты. Такой

кандидат, который сумел бы отыскать новую формулу, хотя лишенную вполне определенного смысла, но отвечающую самым разнообразным стремлениям толпы, разумеется, может рассчитывать на безусловный успех. Кровавая испанская революция 1873 года была произведена посредством нескольких таких слов, имеющих сложное значение и которые каждый может объяснять по своему. Один из современных писателей рассказывает следующим образом происхождение этой революции:

«Радикалы пришли к убеждению, что унитарная республика — не что иное, как замаскированная монархия, и кортесы, чтобы доставить им удовольствие, провозгласили единогласно федеральную республику, причем никто из вотировавших не мог бы сказать, что в сущности они вотировали. Но объявленная формула всех восхищала и приводила в восторг. Все думали, что основали на земле царство добродетели и счастья. Один республиканец, которого враг его не захотел величать титулом федералиста, обиделся, точно ему нанесено было смертельное оскорбление. На улицах друг друга приветствовали словами: «Salud y republica federal!» и распевали гимны во славу отсутствия дисциплины и автономии солдата. Чем же на самом деле была эта «федеральная республика»? Одни понимали под этим словом эмансипацию провинций, учреждения, подобные тем, какие существуют в Соединенных Штатах, или децентрализацию администрации; другие же думали об уничтожении всякой власти, о предстоящей великой социальной ликвидации в будущем. Социалисты в Барселоне и Андалузии проповедовали абсолютное господство общин и предполагали создать в Испании десять тысяч независимых муниципальных городов, управляющихся своими собственными законами, и отменить при этом одновременно и армию, и жандармерию. Скоро возмущение распространилось по всем провинциям юга, из одного города в другой, из одной деревни в другую. Как только какая-нибудь община проделывала «pronunciamiento»[1], то первым делом она уничтожала телеграф и железную дорогу, чтобы прервать все свои сношения с соседями и с Мадридом. Не было ни одной самой маленькой деревушки, которая бы не действовала отдельно. Федерализм уступил место самому грубому «кантонализму», сопровождавшемуся пожарами и убийствами и ознаменовавшемуся кровавыми сатурналиями».

Что касается влияния, которое могли бы иметь рассуждения на ум избирателей, то достаточно прочесть протокол любого из-

[1] Pronunciamiento (*исп.*) — восстание, возмущение (*прим. ред.*).

бирательного собрания, чтобы составить себе на этот счет вполне определенное мнение. В таком собрании раздаются утверждения, ругательства, иногда доходит дело до тумаков, но никогда не приходится слышать никаких рассуждений; если на время и восстанавливается тишина, то это бывает лишь тогда, когда кто-нибудь из присутствующих со сварливым характером заявит, что он желает предложить кандидату один из тех трудных вопросов, которые всегда приводят в восторг аудиторию. Однако радость оппонентов длится обыкновенно недолго, так как скоро противники их заглушают своим ревом того, кто первый подает голос. Типом всех публичных собраний подобного рода можно считать те, протоколы которых я выбираю здесь из сотни других подобных же протоколов, печатающихся чуть ли не ежедневно в разных газетах:

«Организатор попросил присутствующих выбрать президента, и этого было достаточно, чтобы разразилась гроза. Анархисты бросились вперед, чтобы взять бюро приступом; социалисты же с жаром старались отразить их, толкались, ругали друг друга продажными шпионами и т. д., и, в конце концов, один из граждан удалился с подбитым глазом.

Наконец кое-как удалось составить бюро среди всеобщего шума, и на трибуне остается компаньон Х. Он начинает развивать настоящий обвинительный акт против социалистов, которые прерывают его криками: «Кретин! бандит! каналья!» и т. д., — эпитеты, на которые компаньон Х. отвечает изложением теории, изображающей социалистов «идиотами» или «шутами».

...Партия Аллемана организовала вчера вечером в зале торговли на улице Фобург дю Тамил большое подготовительное собрание к празднику рабочих первого мая. Лозунгом было: «тишина и спокойствие».

«Компаньон Г. обозвал социалистов кретинами и обманщиками; тотчас же ораторы и слушатели стали осыпать друг друга бранью, и дело дошло до рукопашной схватки, на сцену появились стулья, скамьи, столы и т. д.»

Не следует, однако, думать, что такой способ обсуждения был свойствен только какому-нибудь известному классу избирателей и находился бы в зависимости от их социального положения. Во всяком анонимном собрании, какое бы оно ни было, хотя бы оно исключительно состояло из ученых, прения всегда облекаются в одну и ту же форму. Я говорил уже, что люди в толпе стремятся к сглаживанию умственных различий, и доказательства этого мы встречаем на каждом шагу. Вот, например, извлечение из протокола одного собрания, состоявшего исключительно из студентов, заимствованного мною из газеты «Temps» от 13 февраля 1895 года:

«Шум все увеличивался по мере того, как время шло и я не думаю, что нашелся бы хоть один оратор, который мог бы сказать две фразы и при этом его не прерывали. Каждую минуту раздавались крики то из одного места, то из другого, а то изо всех мест сразу; аплодировали, свистели, между различными слушателями возникали яростные споры, размахивали угрожающим образом тростями, мерно стучали в пол, кричали: «Вон! На трибуну!»

М. С. начал расточать по адресу ассоциации самые нелестные эпитеты, называя ее подлой, чудовищной, продажной и мстительной и т. д., заявляя, что стремится к ее уничтожению...»

Спрашивается, как же при подобных условиях избиратель составляет себе свое мнение. Но такой вопрос может явиться у нас лишь тогда, когда мы пребываем в странном заблуждении насчет свободы такого собрания. Толпа ведь имеет только внушенные мнения и никогда не составляет их путем рассуждений. В занимающих нас случаях мнения и воты избирателей находятся в руках избирательных комитетов, где вожаками чаще всего бывают виноторговцы, имеющие влияние на рабочих, так как они оказывают им кредит. «Знаете ли вы, что такое избирательный комитет» — спрашивает один из самых мужественных защитников современной демократии, г. Сегерер, — это просто ключ ко всем нашим учреждениям, главная часть нашей политической машины. Франция в настоящее время управляется комитетами».

Комитеты, каково бы ни было их название: клубы, синдикаты и проч., составляют, быть может, самый главный элемент опасности надвигающегося могущества толпы. Они представляют собой самую безличную и, следовательно, самую угнетающую форму тирании. Вожаки, руководящие комитетами, имея право говорить и действовать от имени какого-нибудь собрания, избавляются от всякой ответственности и могут все себе позволить. Ни один из самых свирепых тиранов не мог бы никогда и помышлять о таких предписаниях, какие издавались, например, революционными комитетами. Они истребляли Конвент и урезали его, и Робеспьер оставался абсолютным властелином до тех пор, пока мог говорить от их имени. Но в тот день, когда он отделился от них, он погиб. Царство толпы — это царство комитетов, т. е. вожаков, и нельзя даже вообразить себе худшего деспотизма.

Действовать на комитеты нетрудно; надо только чтобы кандидат мог быть принят и обладал достаточными ресурсами. По признанию самих же жертвователей, довольно было трех миллионов, чтобы устроить множественные выборы генералу Буланже.

Такова психология избирательной толпы; она не отличается ничем от психологии толпы других категорий и нисколько не лучше и не хуже ее. Но из всего вышесказанного я все же не вывожу заключения против всеобщей подачи голосов. Если бы от меня зависела судьба этого учреждения, то я бы оставил его в том виде, в каком оно существует теперь, руководствуясь практическими соображениями, вытекающими непосредственно из изучения психологии толпы. Без сомнения, неудобства всеобщей подачи голосов достаточно бросаются в глаза, и отрицать это невозможно. Нельзя отрицать также, что цивилизация была делом лишь небольшого меньшинства, одаренного высшими умственными способностями и занимающего верхушку пирамиды, постепенно расширяющейся книзу по мере того, как понижается умственный уровень различных слоев наций. Конечно, величие цивилизаций не может зависеть от голосов низших элементов, берущих только численностью; без сомнения, подача голосов толпы часто бывает очень опасна, и мы уже не раз расплачивались за это нашествиями. Весьма вероятно, что мы еще дороже поплатимся в будущем ввиду приближающегося могущества толпы. Но все эти возражения, совершенно верные в теоретическом отношении, в практическом теряют всю свою силу в наших глазах, когда мы вспомним о непоколебимом могуществе идей, превращенных в догматы. Догмат верховной власти толпы не подлежит защите с философской точки зрения, совершенно так же, как и средневековые религиозные догматы, но тем не менее, он обладает абсолютной силой в настоящее время; этот догмат, следовательно, столь же неприкосновенен, как были некогда неприкосновенны наши религиозные идеи. Представьте себе современного свободного мыслителя, перенесенного магической силой в средние века. Вы, может быть, думаете, что, удостоверившись в верховном могуществе религиозных идей, господствовавших тогда, он стал бы пробовать с ними бороться? Или, попав в руки судьи, желающего сжечь его вследствие обвинения в заключении договора с дьяволом или же посещении шабаша, он стал бы оспаривать существование дьявола или шабаша? Но ведь оспаривать верования толпы — это то же, что спорить с ураганом. Догмат всеобщей подачи голосов обладает в настоящее время такой же силой, какой некогда обладали религиозные догматы. Ораторы и писатели отзываются о нем с таким уважением и таким подобострастием, какие не выпадали даже на долю Людовика XIV. Поэтому-то и надо относиться к этому догмату, как ко всем религиозным догматам, на которые действует только время.

Было бы, впрочем, бесполезно пробовать поколебать этот догмат, так как он опирается все-таки на некоторые доводы, говорящие в его пользу. «Во времена равенства, — говорит справедливо Токвиль, — люди не питают никакого доверия друг к другу вследствие своего сходства. Но именно это сходство вселяет им доверие, почти безграничное, к общественному мнению, так как они полагают, что ввиду всеобщего одинакового умственного развития истина должна быть там, где находится большинство».

Можно ли предположить, следовательно, что ограничение подачи голосов на каких бы то ни было основаниях должно повести к улучшению голосований толпы? Я не допускаю этого на основании ранее высказанных мною причин, касающихся низкого умственного уровня всех собраний, каков бы ни был их состав. В толпе люди всегда сравниваются, и если дело касается общих вопросов, то подача голосов сорока академиков окажется нисколько не лучше подачи голосов сорока водоносов. Не думаю, чтобы голосования, которые так часто ставились в вину всеобщей подаче голосов (например, восстановление империи), были бы иного характера, если бы вотирующие были выбраны исключительно из числа ученых и образованных. Если какой-нибудь индивид изучил греческий язык, математику, сделался архитектором, ветеринаром, медиком или адвокатом, то это еще не значит, что он приобрел особенные сведения в социальных вопросах. Ведь все наши экономисты — большей частью образованные люди, в большинстве случаев — профессора и академики, но разве существует хоть один общий вопрос, протекционизм, биметаллизм и т. д., относительно которого они пришли бы к соглашению? И это потому, что вся их наука представляет собой лишь очень смягченную форму всеобщего невежества. Перед социальными же проблемами, куда входит столько неизвестных величин, сравниваются все незнания.

Таким образом, если даже избирательный корпус будет состоять исключительно из людей, начиненных наукой, все же их вотум будет не лучше и не хуже, чем нынешние воты избирателей. Они будут точно также руководствоваться своими чувствами и духом своей партии. Наши затруднения нисколько бы не уменьшились, но нам пришлось бы кроме того испытать еще тяжелую тиранию каст.

Подача голосов толпы везде будет одинакова и, в конце концов, всегда будет служить выражением стремлений и бессознательных потребностей расы, все равно — будет ли эта подача голосов ограниченной или общей, и практикуется ли она в рес-

публиканской или монархической стране, во Франции, Бельгии, Греции, Португалии или Испании. Арифметическое среднее всех избраний во всякой стране служит изображением души расы, а эта душа остается почти одинаковой из поколения в поколение.

Все вышесказанное приводит нас еще раз к заключению, что раса имеет большое значение, и что учреждения и правительства играют лишь незначительную роль в жизни народов. Эти последние, главным образом, управляются душою расы, т. е. наследственными остатками, сумма которых собственно и составляет душу расы. Раса и цель насущных потребностей повседневной жизни — вот таинственные властелины, которые управляют судьбами нации.

## ГЛАВА V

## ПАРЛАМЕНТСКИЕ СОБРАНИЯ

*В парламентской толпе наблюдается большинство черт, общих разнородной, неанонимной толпе. — Односторонность мнений. — Восприимчивость к внушению и ее границы. — Роль вожаков. — Причины их обаяния. — Они являются настоящими господами собрания, голосование которых представляется, таким образом, голосованием небольшого меньшинства. — Могущество вожаков абсолютно. — Элементы их ораторского искусства. — Слово и образы. — Оратор, не имеющий обаяния, не в состоянии заставить принять свои доводы. — Преувеличение чувств, как хороших, так и дурных. — Автоматизм, выражающийся в известные моменты. — Заседания Конвента. — Случаи, когда собрание теряет характерные черты толпы. — Влияние специалистов в технических вопросах. — Преимущества и опасности парламентского режима во всех странах. — Он приспособлен к современным потребностям, но влечет за собою финансовые траты и прогрессивное ограничение свободы. — Заключение.*

Парламентские собрания представляют собой разнородную толпу, неанонимную. Несмотря на различный их состав в разные эпохи и у разных народов, они все-таки обнаруживают сходные черты, причем влияние расы сказывается лишь в смягчении или увеличении этих черт. Парламентские собрания в самых различных

странах, в Греции, Италии, Португалии, Испании, Франции, Америке имеют очень большие аналогии в своих прениях и голосованиях и причиняют правительствам одинаковые затруднения.

Парламентский режим, впрочем, является идеалом всех современных цивилизованных народов, хотя в основу его положена та психологически неверная идея, что много людей, собравшихся вместе, скорее способны прийти к независимому и мудрому решению, нежели небольшое их число.

В парламентских собраниях мы встречаем черты, общие всякой толпе: односторонность идей, раздражительность, восприимчивость к внушению, преувеличение чувств, преобладающее влияние вожаков. Но уже вследствие своего особого состава парламентская толпа имеет некоторые особенности, на которых мы здесь остановимся.

Односторонность мнений составляет важнейшую черту этой толпы. Во всех партиях, и особенно у латинских народов, мы встречаем неизменную склонность разрешать самые сложные социальные проблемы посредством самых простых абстрактных принципов и общих законов, применяемых ко всем случаям. Принципы естественным образом меняются сообразно каждой партии, но уже вследствие своего нахождения в толпе индивиды всегда обнаруживают стремление к преувеличению достоинства этих принципов и стараются довести их до крайних пределов. Вот почему парламенты всегда являются представителями самых крайних мнений.

Самый совершенный образец односторонности таких собраний представляют якобинцы великой революции. Проникнутые догматами и логикой, с головой, наполненной неопределенными общими местами, якобинцы стремились проводить в жизнь свои стойкие принципы, не заботясь о событиях, и можно смело сказать, что они прошли через всю революцию, не замечая ее. Вооружившись очень простыми догматами, которые служили для них путеводителями, они вообразили, что могут переделать общество во всех его частях и вернуть утонченную цивилизацию к ранней фазе социальной эволюции. Способы, употребленные ими для осуществления их мечты, также отличались абсолютной односторонностью. Они ограничивались только тем, что насильственным образом уничтожали все то, что мешало им. Впрочем, и все остальные — жирондисты, монтаньяры, термидорианцы и т. п. — действовали в том же духе.

Парламентская толпа очень легко поддастся внушению и, как во всякой толпе, внушение исходит от вожаков, обладающих

обаянием. Но в парламентских собраниях восприимчивость к внушению имеет резко определенные границы, и на них-то не мешает указать.

Относительно всех вопросов, представляющих местный или областной интерес, у членов парламентского собрания имеются настолько стойкие, неизменяющиеся мнения, что никакая аргументация не в состоянии была бы их поколебать. Даже талант Демосфена не мог бы заставить депутата изменить свой вотум относительно таких вопросов, как протекционизм и др., представляющих требования влиятельных избирателей. Предшествовавшее внушение, произведенное в этом духе на депутатов их избирателями, настолько сильно, что мешает всяким другим внушениям и способствует поддержанию абсолютной стойкости мнений.

Вероятно, к этим мнениям, предварительно установленным во время выборов, относится следующее размышление одного старинного английского парламентского деятеля: «В течение тех пятидесяти лет, что я заседаю в Вестминстсре, я слышал множество речей. Весьма немногие из них заставили меня изменить свои мнения, но ни одна не изменила моего вотума».

В вопросах общего характера, касающихся, например, низвержения министерства, учреждении налогов и т. п., не существует никакой стойкости мнений, и потому тут могут действовать внушения вожаков совершенно так же, как в обыкновенной толпе. В каждой партии существуют свои вожаки, пользующиеся иногда совершенно одинаковым влиянием, отчего депутат подвергается иной раз противоположным внушениям и естественным образом обнаруживает нерешительность. Этим объясняется такая ситуация, когда порой депутат в какие-нибудь четверть часа меняет свое мнение, вотирует противоположным образом и прибавляет какую-нибудь статью к только что вотированному им закону, совершенно уничтожающую его значение. Так, например, только что отняв право у заводчиков выбирать и увольнять своих рабочих, депутат, вотируя поправку к этому закону, почти совершенно лишает его силы.

На этом-то основании палата депутатов во время каждого законодательного периода обнаруживает рядом с вполне определенными также и очень неопределенные мнения. Но так как вопросы общего характера всегда бывают более многочисленны, то в палате неизбежно преобладает нерешительность, поддерживаемая притом страхом перед избирателем, скрытое внушение которого всегда стремится образовать противовес внушению

вожаков. В таких же прениях, очень, впрочем, многочисленных, относительно которых у членов собрания не существует ранее установившихся мнений, всегда одерживают победу вожаки, навязывающие свои мнения толпе. Потребность в таких вожаках очевидна уже потому, что под именем предводителей групп они встречаются в собраниях всех стран и являются настоящими властелинами этих собраний. Люди в толпе не могут обойтись без господина, и потому-то голосование какого-нибудь собрания обыкновенно служит выражением мнения лишь очень небольшого меньшинства.

Вожаки действуют, главным образом, не своими рассуждениями, а своим обаянием, и лучшим доказательством этого служит то, что если вследствие какой-нибудь случайности они лишаются обаяния, то вместе с этим исчезает и их влияние.

Обаяние вожаков имеет индивидуальный характер и не находится в зависимости ни от имени, ни от славы. Вот что рассказывает Жюль Симон о великих людях 1848 года, среди которых он заседал.

«За два месяца перед тем, как сделаться всемогущим, Людовик Наполеон был ничто...

Виктор Гюго взошел на трибуну. Он не имел успеха. Его слушали, как слушают Феликса Пиа, но ему меньше аплодировали. «Я не люблю его идей, — сказал мне Волабелл, говоря о Феликсе Пиа, — но это один из самых великих писателей и величайший оратор Франции». Эдгар Кинэ, этот редкий и могущественный ум, не считался ни во что. Он пользовался популярностью до открытия собрания, но в собрании ее совершенно не имел...

Политические собрания представляют собой именно такое место на земле, где блеск гения всего меньше ощущается. Там имеют значение красноречие, приспособленное ко времени и месту, и услуги, оказанные не отечеству, а партиям. Для оказания должного почтения Ламартину в 1848 г. и Тьеру в 1871 г. понадобился могущественный стимул настоятельной, неустранимой опасности, но как только она прошла, то сразу же исчезли чувства и страха, и благодарности».

Я воспроизвел эту цитату ради фактов, которые в ней заключаются, но не ради объяснений, представляющих лишь весьма посредственный интерес в психологическом отношении. Толпа потеряла бы тотчас же свой характер толпы, если бы она приняла во внимание услуги, оказанные вожаками отечеству или партиям. Толпа, повинующаяся вожаку, подчиняется лишь его обаянию, и сюда не примешивается никакое чувство интереса или

благодарности. Поэтому-то вожак, обладающий достаточным обаянием, имеет почти абсолютную власть. Известно, например, каким громадным влиянием пользовался в течение многих лет, благодаря своему обаянию, один знаменитый депутат, побитый на последних выборах вследствие известных финансовых событий. Прежде по одному только его знаку низвергались министерства, и один писатель следующим образом определил его деятельность:

«Г-ну X. мы обязаны главным образом тем, что заплатили за Тонкин втрое дороже, чем это бы следовало, что мы не заняли прочного положения на Мадагаскаре, что у нас обманом отняли господство на нижнем Нигере, и что мы потеряли преобладающее положение, которое занимали раньше в Египте. Теории г-на X. причинили нам более территориальных потерь, чем все опустошения Наполеона I».

Не надо, впрочем, слишком уж обвинять вышеназванного вожака. Конечно, он стоит нам очень дорого, но все же его влияние, главным образом, основывалось на том, что он следовал общественному мнению, которое в колониальных вопросах держалось иных воззрений, нежели теперь. Вожак очень редко идет впереди общественного мнения; обыкновенно он следует за ним и усваивает себе все его заблуждения.

Способы убеждения, которыми пользуются вожаки, помимо своего обаяния, те же, что и во всякой другой толпе. Чтобы искусно пользоваться ими, вожак должен, хотя бы даже бессознательным образом, понимать психологию толпы и знать, как надо говорить толпе. В особенности, ему должно быть известно обаяние известных слов, формул и образов. Он должен обладать совершенно специальным красноречием, преимущественно заключающимся в энергичных, хотя и совершенно бездоказательных, утверждениях и ярких образах, обрамленных весьма поверхностными рассуждениями. Такой род красноречия встречается во всех собраниях, даже в английском парламенте, несмотря на всю его уравновешенность.

«Нам постоянно приходится читать о прениях в палате общин, — пишет английский философ Мэн, состоящих почти исключительно из обмена общими местами, не имеющими особого значения, и весьма резкими выражениями. Однако этот род общих формул оказывает поразительное действие на воображение чистой демократии. Всегда легко заставить толпу принять доводы общего характера, если они преподносятся ей в действующих на ее воображение выражениях, хотя доводы эти

и не подвергались никакой предварительной проверке и даже вряд ли ей доступны».

Значение таких сильных выражений, на которое указывает вышеприведенная цитата, нисколько не преувеличено. Мы уже несколько раз указывали на особое могущество слов и формул. Надо выбирать такие слова, которые могут вызывать очень живые образы. Следующая фраза, заимствованная нами из речи одного из вожаков наших собраний, служит прекрасным образчиком подобного красноречия:

«В тот день, когда одно и то же судно унесет к лихорадочным берегам ссылки продажного политика и убийцу-анархиста, они могут вступить между собой в разговор и покажутся друг другу двумя дополнительными сторонами одного и того же социального порядка вещей».

Образ, вызванный этой речью, достаточно ясен, и, конечно, противники оратора должны были почувствовать, чем он им угрожает. Им должны были одновременно представиться и лихорадочные берега, и судно, увозящее их, так как ведь и они тоже могут быть причислены к той довольно плохо разграниченной категории политиков, на которых намекал оратор. Разумеется, при этом они должны были испытывать такое же смутное чувство страха, какое испытывали члены Конвента, слушая неясные речи Робеспьера, более или менее угрожавшие им ножом гильотины. Под влиянием этого-то чувства страха члены Конвента и уступали всегда Робеспьеру.

В интересах вожаков позволять себе самые невероятные преувеличения. Оратор, слова которого я только что цитировал, мог утверждать, не возбуждая особенных протестов, что банкиры и священники содержали на жаловании метателей бомб, и что администраторы крупных финансовых компаний заслуживают такого же наказания, как и анархисты. На толпу подобные утверждения всегда действуют, и даже тем сильнее, чем они яростнее и чем более угрожающий характер имеют. Ничто так не запугивает слушателей, как подобного рода красноречие, они не протестуют из опасения прослыть изменниками или сообщниками.

Такое особое красноречие можно наблюдать во всех собраниях, и в критические моменты оно всегда усиливалось. С этой точки зрения чтение речей великих ораторов революции представляет немалый интерес. Ораторы эти считали себя обязанными постоянно прерывать свою речь, чтобы поносить преступление и восхвалять добродетель, а также чтобы разражаться проклятиями

против тиранов и тут же приносить клятву — «жить свободным или умереть». Слушатели вставали, с жаром аплодировали ораторам и затем, успокоенные, снова садились на свои места.

Вожак может быть иногда умным и образованным человеком, но, вообще, эти качества скорее даже вредят ему, нежели приносят пользу. Ум делает человека более снисходительным, открывая перед ним сложность вещей и давая ему самому возможность выяснять и понимать, а также значительно ослабляет напряженность и силу убеждений, необходимых для того, чтобы быть проповедником и апостолом. Великие вожаки всех времен, и особенно вожаки революций, отличались чрезвычайной ограниченностью, причем даже наиболее ограниченные из них пользовались преимущественно наибольшим влиянием.

Речи самого знаменитого из них, Робеспьера, зачастую поражают своей несообразностью. Читая эти речи, мы не в состоянии объяснить себе громадной роли могущественного диктатора.

«Общие места, многословие дидактического красноречия и латинская культура, поставленная к услугам скорее души ребенка, нежели пошляка, граничащая как в обороне, так и в нападении с манерой школьников, кричащих: «Поди-ка сюда!» Никакой идеи, никакой остроумной мысли или выходки, но постоянная скука среди бури. И кончая это чтение, невольно хочется воскликнуть: «Уф!» — как это делал вежливый Камилл Демулен».

Страшно даже подумать иной раз о той силе, которую дает человеку с чрезвычайной узостью ума, но обладающему обаянием, какое-нибудь очень твердое убеждение. Но для того, чтобы игнорировать всякие препятствия и уметь хотеть, надо именно соединять в себе все эти условия. Толпа инстинктивно распознает в таких энергичных убежденных людях своих повелителей, в которых она постоянно нуждается.

В парламентском собрании успех какой-нибудь речи почти исключительно зависит от степени обаяния оратора, а не от приводимых им доводов. И это подтверждается тем, что если оратор теряет по какой-нибудь причине свое обаяние, он лишается в то же время и своего влияния, т. е. он уже не имеет более власти управлять по желанию голосованием.

Что же касается неизвестного оратора, выступающего с речью, хотя бы и очень доказательной, но не содержащей в себе ничего другого, кроме этих основательных доказательств, то самое большее, на что он может рассчитывать, — это чтобы его выслушали. Депутат и проницательный психолог Декюб так охарактеризовал образ депутата, не обладающего обаянием:

«Заявив место на трибуне, депутат вынимает свои документы, методически развертывает их и с уверенностью приступает к своей речи... Он ласкает себя мыслью, что ему удастся вселить в душу слушателей свои собственные убеждения. Он тщательно взвесил свои аргументы и, запасясь массой цифр и доказательств, заранее уверен в успехе, так как, по его мнению, всякое сопротивление должно исчезнуть перед очевидностью. Он начинает свою речь, убежденный в своей правоте, рассчитывая на внимание своих коллег, которые, конечно, ничего иного не желают, как преклониться перед истиной.

Он говорит, несколько раздосадованный начинающимся шумом, и тотчас же поражается тем движением, которое возникает в зале.

Что же это значит, если не воцаряется молчание? Отчего же такое всеобщее невнимание? О чем думают вот эти, разговаривающие друг с другом? Какая такая настоятельная причина заставила вот того депутата покинуть свое место?

Оратор начинает ощущать тревогу, морщит брови, останавливается. Ободряемый президентом, он начинает снова, возвышает голос. Его слушают еще меньше. Он еще более напрягает свой голос, волнуется; шум все усиливается. Он перестает слышать сам себя, еще раз останавливается, потом, испугавшись, что его молчание вызовет неприятный возглас «закрой прения», он снова начинает говорить. Шум становится невыносимым».

Когда парламентские собрания достигают известной степени возбуждения, они становятся похожими на обыкновенную разнородную толпу, и чувства их всегда бывают крайними. Они могут проявить величайший героизм и, в то же время, совершить самые худшие насилия. Индивид в таком собрании перестает быть самим собой настолько, что он станет вотировать мероприятия, наносящие прямой ущерб его личным интересам.

История революции указывает, до какой степени собрания могут становиться бессознательными и повиноваться внушениям, наиболее противоречащим их интересам. Великой жертвой для дворянства было отречение от своих привилегий, между тем, оно, не колеблясь, принесло эту жертву в знаменитую ночь учредительного собрания. Отречение от своей личной неприкосновенности создало для членов Конвента постоянную угрозу смерти; между тем, они решились на это и не побоялись взаимно истреблять друг друга, прекрасно зная, однако, что завтра они сами могут попасть на тот самый эшафот, на который сегодня отправили своих коллег. Но они дошли уже до степени полного авто-

матизма, механизм которого я уже раньше описал, и потому никакие соображенная не могли помешать им повиноваться внушениям, гипнотизирующим их. Очень типична в этом отношении следующая фраза из мемуаров одного из членов Конвента, Билльо Варенна: «*Всего чаще мы и сами не желали, двумя днями или одним днем раньше, принимать тех решений, которые теперь нам ставят в упрек,* — говорит он, — *но эти решения порождал кризис*». Ничего не может быть справедливее!

Такое проявление бессознательности можно наблюдать во время всех бурных заседаний Конвента.

«Они одобряют и предписывают, — говорит Тэн, — то, к чему сами питают отвращение, — не только глупости и безумия, но и преступления, убийства невинных, убийства своих же друзей. Единогласно и при громе самых бурных аплодисментов левая, соединившись с правой, посылает на эшафот Дантона, своего естественного главу, великого организатора и руководителя революции. Единогласно и также под шум аплодисментов правая, соединившись с левой, вотирует наихудшие декреты революционного правительства. Единогласно и при восторженных криках энтузиазма и заявлениях горячего сочувствия Коло д'Эрбуа, Кутону, Робеспьеру Конвент при помощи произвольных и множественных избраний удерживает на своем месте человекоубийственное правительство, которое ненавидят одни за свои убийства и другие — за то, что оно стремится к их истреблению. Равнина[1] и Гора, большинство и меньшинство, кончили тем, что согласились вместе содействовать своему собственному самоубийству. Двадцать второго прериаля Конвент в полном составе подставил свою шею и восьмого термидора, тотчас же после речи Робеспьера, он опять подставил ее»[2].

Картина эта, пожалуй, может показаться слишком уж мрачной, но? тем не менее, она верна. Парламентские собрания, достаточно возбужденные и загипнотизированные, обнаруживают точно такие же черты; они становятся похожими на непостоянное стадо, повинующееся всем импульсам. Следующее описание

---

[1] Имеется в виду большинство в Конвенте, получившее название «болото» (*прим. ред.*).

[2] 22 прериаля I года по республиканскому календарю (нач. июня 1793 г.) были арестованы и на следующий день казнены 29 депутатов-жирондистов; позже арестованы и казнены Дантон и «атеисты»; 8 термидора II года арестован Робеспьер со своими сторонниками; 9 термидора (27 июля 1794 г.) они были казнены (*прим. ред.*).

собрания 1848 года, сделанное Спюллером, парламентским деятелем, демократические убеждения которого несомненны, заимствовано мною из «Revue Littéraire» как очень типичное. Оно изображает все преувеличенные чувства, свойственные толпе, и ту чрезмерную изменчивость, которая дозволяет толпе в несколько мгновений пройти всю шкалу самых противоречивых чувствований,

«Раздоры, подозрения, зависть и попеременно — слепое доверие и безграничные надежды довели до падения республиканскую партию. Ее наивность и простосердечие равнялись только ее всеобщей подозрительности. Никакого чувства законности, никакого понятия о дисциплине; только страхи и иллюзии, не ведающие границ, — в этом отношении крестьянин и ребенок имеют много сходства между собою. Спокойствие их может соперничать только с их нетерпением, и свирепость их равняется их кротости. Это — свойство еще не вполне образованного темперамента и результат отсутствия воспитания. Ничто их не удивляет, но все приводит в замешательство. Дрожащие, боязливые и, в то же время, бесстрашные и героические, они бросаются в огонь и отступают перед тенью.

Им неизвестны следствия и отношения вещей. Столь же быстро приходя в уныние, как и в состояние возбуждения, склонные к панике, они всегда хватают или слишком высоко, или слишком низко и не придерживаются никогда должной меры и степени. Более подвижные, нежели вода, они отражают в себе все цвета и принимают все формы. Какую же основу для правительства могли бы они составить?».

К счастью, необходимы особенные условия, чтобы все эти черты сделались постоянным явлением в парламентских собраниях. Эти собрания становятся толпой лишь в известные моменты. В огромном большинстве случаев люди, составляющие их, сохраняют свою индивидуальность, и вот почему собрания могут издавать превосходные технические законы. Правда, эти законы раньше были выработаны каким-нибудь специалистом в тиши кабинета, поэтому в сущности, они представляют собой дело одного индивида, а не целого собрания. И такие законы, конечно, всегда бывают самыми лучшими и портятся только тогда, когда целый ряд неудачных поправок превращает их в коллективное дело. Деятельность толпы всегда и везде бывает ниже деятельности изолированного индивида. Только специалисты спасают собрания от принятия слишком беспорядочных и нецелесообразных решений, и в таких случаях специалист всегда является времен-

ным вожаком. Собрание на него не действует, но зато он сам действует на него.

Несмотря на все трудности, сопряженные с их деятельностью, парламентские собрания все-таки являют собой лучшее, что до сих пор могли найти народы для самоуправления и, главное — чтобы оградить себя, насколько возможно, от ига личной тирании. Разумеется, парламент является идеалом правительства, по крайней мере, для философов, мыслителей, писателей, артистов и ученых, словом, тех, кто образует вершину цивилизации. В сущности же парламентские собрания представляют серьезную опасность лишь в двух направлениях: в отношении насильственной растраты финансов и в отношении прогрессивного ограничения индивидуальной свободы.

Первая опасность является неизбежным последствием требований и непредусмотрительности избирательной толпы. Пусть какой-нибудь член собрания предложит какую-нибудь меру, удовлетворяющую якобы демократическим идеям, например, обеспечение пенсии рабочим, увеличение жалования железнодорожным сторожам, учителям и т. д.; другие члены, чувствуя страх перед избирателями, не посмеют отвергнуть предложенные меры, так как побоятся показать пренебрежение интересами вышеназванных лиц, хотя и будут сознавать, что эти меры должны тяжело отозваться на бюджете и потребуют новых налогов. Колебания, таким образом, невозможны. Последствия увеличения расходов отдалены и не касаются непосредственно членов собраний, зато последствия отрицательного вотума могут дать себя знать в тот день, когда понадобится предстать перед избирателем.

Кроме этой первой причины, вызывающей увеличение расходов, существует другая, не менее повелительная — обязанность соглашаться на все расходы, представляющие чисто местный интерес. Депутат не может противиться этому, так как эти расходы служат опять-таки выражением требований избирателей, и притом он лишь в том случае может рассчитывать на удовлетворение требований своего округа, если сам уступит подобным же требованиям своих коллег.

В номере «Economiste» от 6 апреля 1895 года напечатан любопытный обзор того, во что могут обходиться в течение одного года расходы, представляющие чисто избирательный интерес и касающиеся постройки железных дорог. Чтобы соединить Лангей (город с 3000 жителей), находящийся на горе, с Пюи вотирована постройка железной дороги, которая обойдется в 15 миллионов; для соединения Бомона (3500 жителей)

с Кастель-Саррацином вотировано 7 миллионов; для соединения деревни Усть (523 жителя) с Сенкс (1200 жителей) — 7 миллионов; для соединения Прад с деревней Олетт (747 жителей) — 6 миллионов, и т. д. Только на один 1895 год вотировано 90 миллионов на постройку железных дорог, лишенных всякого общего интереса. Другие расходы, вотированные также в избирательных интересах, не менее значительны. Закон о пенсиях для рабочих обойдется в год минимум в 165 миллионов, согласно вычислениям министра финансов; по словам же академика Леруа-Болье, — 800 миллионов. Ясно, что постоянное прогрессирование таких расходов должно неминуемо привести к банкротству. Многие из европейских стран — Португалия, Греция, Испания, Турция — уже дошли до этого; другие же, Италия, например, скоро очутятся в таком положении. Но слишком тревожится по этому поводу нечего, так как публика без особенно сильных протестов согласилась на понижение на 4/5 платежей по купонам в этих государствах. Такие остроумные банкротства дозволяют мгновенно остановить нарушенное равновесие бюджетов. Войны, социализм и экономическая борьба подготавливают нам еще и не такие катастрофы, и в эпоху всеобщего распада, в которую мы вступили, надо покориться необходимости жить изо дня в день и не заботиться о будущем, которое от нас ускользает.

Вторая из этих опасностей, представляемых парламентскими собраниями, вынужденное ограничение индивидуальной свободы, хотя и не так бросается в глаза, но тем не менее, вполне реальна. Она является результатом бесчисленных и всегда ограничительных законов, вотируемых парламентами, считающими себя обязанными так поступать и не замечающими последствий этого из-за своей односторонности.

Очевидно, эта опасность действительно неизбежна, если даже Англия, представляющая, конечно, самый совершенный тип парламентского режима (такого, в котором представитель более независим от своего избирателя, чем где бы то ни было), не могла избавиться от этой опасности. Герберт Спенсер в одном из своих прежних трудов указал, что увеличение кажущейся свободы должно сопровождаться уменьшением истинной свободы. Возвращаясь к этому в своей новой книге «Индивид и государство», Спенсер выражается следующим образом об английском парламенте: «С этого времени законодательство пошло по тому пути, который я указал. Диктаторские меры, быстро увеличиваясь, постоянно стремились к тому, чтобы ограничить личную свободу, и притом двумя способами: ежегодно издавалось множество постановлений, налагающих стеснения на граждан там, где их действия прежде были совершенно свободны, и вынуждающих

их совершать такие действия, которые они могли прежде совершать или не совершать по желанию. В то же время общественные повинности, все более и более тяжелые, особенно имеющие местный характер, ограничили еще более свободу граждан, сократив ту часть их прибыли, которую они могут тратить по своему усмотрению, и увеличив ту часть, которая от них отнимается, для нужд общественных деятелей».

Это прогрессивное ограничение свободы выражается во всех странах в следующей особой форме, на которую, однако, Герберт Спенсер не указывает. Введение целой серии бесчисленных мероприятий, имеющих обыкновенно ограничительный характер, необходимым образом ведет к увеличению числа чиновников, обязанных приводить их в исполнение, и усилению их власти и влияния; эти чиновники, следовательно, прогрессивно стремятся к тому, чтобы сделаться настоящими властелинами в цивилизованных странах. Власть их тем более велика, что постоянные перемены правления нисколько не влияют на их положение, так как административная каста — единственная, ускользающая от этих перемен и обладающая безответственностью, безличностью и беспрерывностью. Из всех же видов деспотизма самый тяжелый именно тот, который представляется в такой троякой форме.

Постоянное изобретение таких ограничительных законов и постановлений, окружающих самыми византийскими формальностями все малейшие акты жизни, роковым образом ведет к сужению все в большей и большей степени сферы, в которой граждане могут двигаться свободно. Жертвы иллюзии, заставляющей их думать, что умножая законы, они лучше обеспечат равенство и свободу, народы ежедневно налагают на себя самые тяжелые оковы.

Но это не проходит для них даром. Привыкнув переносить всякое иго, народы сами ищут его и доходят до потери всякой самостоятельности и энергии. Они становятся тогда пустой тенью, пассивными автоматами, без воли, без сопротивляемости и без силы. Тогда-то человек бывает вынужден искать на стороне те пружины, которых ему не хватает. Благодаря возрастающей индифферентности и бессилию граждан, роль правительств непременно должна еще больше увеличиться. Правительства должны поневоле обладать духом инициативы, предприимчивости и руководства, так как все это отсутствует у частных лиц; они должны все предпринимать, всем руководить, всему покровительствовать. Государство в конце концов становится всемогущим

провидением. Опыт учит, однако, что власть таких богов никогда не бывает ни слишком прочной, ни слишком сильной.

Такое прогрессивное ограничение всякой свободы у некоторых народов, — несмотря на внешние вольности, порождающие лишь иллюзию свободы — по-видимому, является последствием не только какого-нибудь режима, но и старости этих народов; оно представляет один из симптомов, предшествующих фазе упадка, которую не могла избежать до сих пор еще ни одна цивилизация.

Если судить по наставлениям прошлого и симптомам, являющимся со всех сторон, то большинство наших современных цивилизаций уже достигло этой фазы крайней старости, которая предшествует упадку. По-видимому, такие фазы имеют одинаково роковое значение для всех народов, так как в истории они повторяются часто.

Все эти фазы общей эволюции цивилизации нетрудно изложить вкратце, и мы закончим наш труд таким изложением. Быть может, этот беглый обзор бросит все-таки некоторый свет на причины нынешнего могущества толпы.

Если мы проследим в общих чертах генезис величия и упадка цивилизаций, предшествовавших нашей цивилизации, то что же нам представится прежде всего?

На заре этих цивилизаций мы видим горсть людей разнообразного происхождения, соединившихся вместе благодаря случайностям миграций, нашествий и побед. Общую связь между всеми этими людьми, отличавшимися друг от друга своим языком и религией, в жилах которых текла разная кровь, составляла полупризнаваемая власть одного вождя. В таких смешанных скопищах людей в высшей степени развиты психологические черты толпы: временное сцепление частиц, героизм, слабости, импульсивность и бурные чувства. Прочного в таком скопище нет ничего, это — варвары.

Затем время совершает свое дело. Тождественность среды, повторение скрещиваний, потребности общей жизни медленно действуют, и скопище разнородных единиц начинает сливаться и образовывает расу, т. е. агрегат, обладающий общими чертами и чувствами, которые все более и более фиксируются наследственностью. Толпа становится народом, и этот народ уже может выйти из состояния варварства. Однако он выйдет из него лишь тогда, когда после долгих усилий, постоянной борьбы и бесчисленных начинаний он приобретает идеал. Природа этого идеала имеет мало значения; он может представлять собой культ Рима,

Афин или поклонения Аллаху, все равно, но этого идеала будет достаточно, чтобы создать единство чувств и мыслей у всех индивидов расы, находящейся на пути своего образования.

Тогда-то и может народиться новая цивилизация со всеми своими учреждениями, верованиями и искусствами. Увлекаемая своей мечтой, раса последовательно приобретет все, что даст блеск, силу и величие. Она, без сомнения, будет толпой в известные часы, но тогда за изменчивыми и подвижными чертами, свойственными всякой толпе, всегда будет находиться прочный субстрат — душа расы, узко ограничивающая размахи колебаний народа и управляющая случаем.

Совершив свое созидательное дело, время неизбежно переходит к делу разрушения, которого не избегают ни боги, ни люди. Достигнув известной степени могущества и сложности, цивилизация перестает расти и осуждается на упадок. Скоро должен пробить для нее час старости. Наступление его неизбежно отмечается ослаблением идеала, поддерживающего душу расы. По мере того, как бледнеет идеал, начинают колебаться здания политических, социальных и религиозных учреждений, опирающиеся на этот идеал.

По мере прогрессивного исчезновения идеала раса все более и более теряет то, что составляло ее силу, единство и связность. Личность и ум индивида могут, однако, развиваться, но в то же время коллективный эгоизм расы заменяется чрезмерным развитием индивидуального эгоизма, сопровождающимся ослаблением силы характера и уменьшением способности к действию. То, что составляло прежде народ, известную единицу, общую массу, превращается в простую агломерацию индивидов без всякой связности, лишь временно и искусственно удерживаемых вместе традициями и учреждениями. Тогда-то и наступает момент, когда люди, разъединяемые своими личными интересами и стремлениями, и не умея собою управлять, требуют, чтобы руководили малейшими их действиями, и государство начинает оказывать свое поглощающее влияние.

С окончательной потерей идеала раса окончательно теряет свою душу; она превращается в горсть изолированных индивидов и становится тем, чем была в самом начале, — толпой. Тогда снова в ней появляются все характерные изменчивые черты, свойственные толпе, не имеющие ни стойкости, ни будущего. Цивилизация теряет свою прочность и оказывается во власти всех случайностей. Властвует чернь и выступают варвары. Цивилизация еще может казаться блестящей, потому что сохранился

еще внешний фасад ее здания, созданный долгим прошлым, но в действительности здание уже подточено, его ничто не поддерживает, и оно рушится с первой же грозой.

Переход от варварства к цивилизации в погоне за мечтой, затем — постепенное ослабление и умирание, как только мечта эта будет потеряна — вот в чем заключается цикл жизни каждого народа.

*Габриэль Тард*

# МНЕНИЕ И ТОЛПА

***G. Tarde***
***L'Opinion et la Foule***

*Печатается по изданию:*

*Г. Тард. «Общественное мнение и толпа»,*
*изд-во Т-ва типографии А. И. Мамонтова, М., 1902 г.,*

*с приведением текста к нормам современного русского языка.*

*Г. Тард*

## МНЕНИЕ И ТОЛПА

Предисловие ..... 257

Публика и толпа ..... 259

Общественное мнение и разговор ..... 300

Мнение ..... 300

Разговор ..... 312

Толпы и преступные секты ..... 365

# ПРЕДИСЛОВИЕ

Выражению *коллективная психология* или *социальная психология* часто придают фантастический смысл, от которого прежде всего необходимо освободиться. Он заключается в том, что мы представляем себе *коллективный ум, коллективное сознание,* как особое *мы,* которое будто бы существует вне или выше индивидуальных умов. Нет надобности в такой точке зрения, в таком мистическом понимании, для того чтобы совершенно отчетливо провести грань между обыкновенной психологией и психологией социальной, которую мы скорее назвали бы интерспиритуальной. В самом деле, первая касается отношений ума ко всей совокупности других внешних предметов, вторая изучает или должна изучать взаимные отношения умов, их влияния: односторонние или взаимные, — односторонние сначала, взаимные потом. Между первой и второй существует таким образом то различие, которое существует между родом и видом. Но вид в этом случае имеет характер столь важный и столь исключительный, что его необходимо выделить из рода и трактовать при помощи методов, специально ему свойственных.

Отдельные этюды, которые найдет здесь читатель, представляют собой фрагменты этой обширной области коллективной психологии. Их соединяет тесная связь. Пришлось перепечатать здесь, с целью определить его настоящее место, этюд о *толпах,* составляющий последнюю часть этой книги. В самом деле, *публика,* которая составляет специальный главный предмет настоящего исследования, есть не что иное, как рассеянная толпа, в которой влияние умов друг на друга стало действием на расстоянии, на расстояниях, все возрастающих. Наконец, *мнение,* являющееся результатом всех этих действий на расстоянии или при личном соприкосновении, составляет для толпы и публики нечто вроде того, что мысль составляет для тела. И если среди этих действий, в результате которых появляется мнение, мы станем искать самое общее и постоянное, то без труда убедимся, что таковым является *разговор,* элементарное, социальное отношение, совершенно забытое социологами.

Полная история разговора у всех народов во все времена была бы в высшей степени интересным документом социального знания; и если бы все трудности, которые представляет этот вопрос, удалось победить с помощью коллективной работы многочислен-

ных ученых, то нет сомнения, что из сопоставления фактов, полученных по этому вопросу у самых различных между собою народов, выделился бы большой запас общих идей, которые позволили бы сделать из *сравнительного разговора* настоящую науку, немного уступающую сравнительной религии, сравнительному искусству и даже сравнительной промышленности, иначе говоря политической экономии.

Но само собой разумеется, что я не мог претендовать на то, чтобы набросать план подобной науки на нескольких страницах. За отсутствием сведений, достаточных хотя бы для самого эскизного наброска, я мог указать только ее будущее место, и я был бы счастлив, если бы, высказав сожаление об ее отсутствии, я возбудил в каком-нибудь молодом исследователе стремление заполнить этот важный пробел.

*Май, 1901*

*Г. Тард*

# ПУБЛИКА И ТОЛПА

## I

Толпа не только привлекает и неотразимо зовет к себе того, кто видит ее; самое ее имя заключает в себе что-то заманчивое и обаятельное для современного читателя, и некоторые писатели склонны обозначать этим неопределенным словом всевозможные группировки людей. Следует устранить эту неясность и особенно не смешивать с толпой *публику,* слово, которое опять-таки можно понимать различно, но которое я постараюсь точно определить. Говорят: публика какого-нибудь театра; публика какого-либо собрания; здесь слово «публика» обозначает толпу. Но этот смысл упомянутого слова не единственный и не главный, и в то время как он постепенно утрачивает свое значение или же остается неизменным, новая эпоха с изобретением книгопечатания создала совершенно особый род публики, которая все растет, и бесконечное распространение которой является одной из характернейших черт нашего времени. Психология толпы уже выяснена; остается выяснить психологию публики, взятой в этом особом смысле слова, т. е., как чисто духовной совокупности, как группы индивидуумов, физически разделенных и соединенных чисто умственной связью. Откуда происходит публика, как она зарождается, как развивается, ее изменения, ее отношение к своим главарям, ее отношение к толпе, к корпорациям, к государствам, ее могущество в хорошем или в дурном и ее способ чувствовать или действовать — вот что будет служить предметом исследования в настоящем этюде.

В самых низших животных обществах ассоциация состоит по преимуществу в материальном соединении. По мере того, как мы поднимаемся вверх по дереву жизни, социальные отношения становятся более духовными. Но если отдельные индивидуумы удаляются друг от друга настолько, что не могут уже более встретиться, или же остаются в таком отдалении друг от друга дольше известного, весьма краткого промежутка времени, они перестают составлять ассоциацию. Таким образом толпа в этом смысле переставляет собою до некоторой степени явление из царства животных. Не является ли она рядом психических воздействий, в сущности проистекающих из физических столкновений? Но не

всякое общение одного ума с другим, одной души с другой обусловлено необходимой близостью тела.

Это условие совсем отсутствует, когда обозначаются в наших цивилизованных обществах так называемые *общественные течения*. Не на сходках, которые происходят на улицах или площадях, рождаются и разливаются эти социальные реки[1], эти огромные потоки, которые приступом захватывают теперь самые стойкие сердца, самые способные к сопротивлению умы и заставляют парламенты и правительства приносить им в жертву законы и декреты. И странно, те люди, которые увлекаются таким образом, которые взаимно возбуждают друг друга, или же, скорей, передают один другому внушение, идущее сверху, эти люди не соприкасаются между собой, не видятся и не слышат друг друга; они рассеяны по обширной территории, сидят у себя по домам, читая одну и ту же газету. Какая же связь существует между ними? Эта связь состоит в одновременности их убеждения или увлечения, в сознании, проникающем каждого, что эта идея или это желание разделяется в данный момент огромным количеством других людей. Достаточно человеку знать это, даже не видя этих других людей, и на него влияет вся их совокупная масса, а не только один журналист, общий вдохновитель, сам невидимый и неведомый и тем более неотразимый.

Читатель вообще не сознает, что подвергается настойчивому, почти неотразимому влиянию той газеты, которую он обыкновенно читает. Журналист же скорее сознает свою угодливость по отношению к публике, никогда не забывая ее природы и вкусов. У читателя далее еще меньше сознания: он абсолютно не догадывается о том влиянии, какое оказывает на него масса других читателей. Но оно, тем не менее, неоспоримо. Оно отражается на степени его интереса, который становится живее, если читатель знает или думает, что этот интерес разделяет более многочисленная или более избранная публика; оно отражается и на его суждении, которое стремится приспособиться к суждениям боль-

---

[1] Заметим, что эти *гидравлические* сравнения естественно напрашиваются всякий раз, когда заходит речь как о толпе, так и о публике. В этом заключается их сходство. Толпа, движущаяся вечером во время публичного празднества, медленностью своего течения и многочисленностью водоворотов напоминает реку, текущую без и определенного русла, так как меньше всего можно сравнить с организмом толпу, если не считать публики. — Это потоки воды, жизнь которых не определена в точности.

шинства или же избранных, смотря по обстоятельствам. Я развертываю газету, которую я считаю сегодняшней, и с жадностью читаю в ней разные новости; потом вдруг я замечаю, что она помечена числом от прошлого месяца или вчерашним, и она тотчас же перестает меня интересовать. Откуда происходит это внезапное охлаждение? Разве факты, сообщенные там, стали менее интересны по существу? Нет, но у нас является мысль, что мы одни читаем их, и этого достаточно. Это доказывает, что живость нашего интереса поддерживалась бессознательной иллюзией общности нашего чувства с чувствами массы других людей. Номер газеты, вышедший накануне или два дня тому назад, по сравнению с сегодняшним есть то же, что речь, прочитанная у себя дома по сравнению с речью прослушанной среди многочисленной толпы.

Когда мы бессознательно подвергаемся этому невидимому влиянию со стороны публики, часть которой мы сами составляем, мы склонны объяснять это просто обаянием *злободневности*. Если нас интересует самый последний номер газеты, это происходит будто бы от того, что он сообщает нам злободневные факты и будто бы при чтении нас увлекает сама их близость к нам, а отнюдь не то, что их одновременно с нами узнают и другие. Но проанализируем хорошенько это столь странное *впечатление злободневности,* возрастающая сила которого является одной из наиболее характерных черт цивилизованной жизни. Разве «злободневным» считается исключительно то, что только что случилось? Нет, злободневным является все, что в данный момент возбуждает всеобщий интерес, хотя бы это был давно прошедший факт. В последние годы было «злободневно» все, что касается Наполеона; злободневно все то, что в моде. И не «злободневно» все то, что вполне ново, но не останавливает на себе внимания публики, занятой чем-либо другим. Во все время, пока тянулось дело Дрейфуса, в Африке или в Азии происходили события, весьма способные возбудить наш интерес, но в них не находили ничего злободневного, словом, страсть к злободневности растет вместе с общественностью и она есть не что иное как одно из самых поразительных ее проявлений; а так как периодическая, в особенности же ежедневная, пресса по самому свойству своему говорить о самых злободневных предметах, то не следует удивляться при виде того, как между обычными читателями одной и той же газеты завязывается и укрепляется нечто вроде ассоциации, которую слишком мало замечают, но которая принадлежит к числу чрезвычайно важных.

Разумеется, чтобы для индивидуумов, составляющих одну и ту же публику это *внушение на расстоянии* сделалось возможным, нужно, чтобы они привыкали, под влиянием интенсивной общественной жизни, жизни городской, к внушению на близком расстоянии. Мы в детстве, в юношеском возрасте начинаем с того, что чувствуем *влияние взгляда других,* которое бессознательно выражается у нас в наших позах, в жестах, в изменении хода наших идей, в беспорядочности или чрезмерной возбужденности наших речей, в наших суждениях, в наших поступках. И только после того как мы целыми годами подвергались и подвергали других этому внушающему действию взгляда, мы становимся способны к внушению даже посредством *мысли о взгляде другого,* посредством идеи, что мы составляем предмет внимания для личностей удаленных от нас. Равным образом, лишь после того, как мы долгое время испытывали на себе и практиковали сами могущественное влияние догматического и авторитетного голоса, слышанного вблизи, нам достаточно прочесть какое-нибудь энергическое утверждение для того, чтобы подчиниться ему, и просто самое сознание солидарности большого числа подобных нам с этим суждением располагает нас судить в одинаковом с ним смысле. Следовательно, образование публики предполагает духовную и общественную эволюцию, значительно более подвинувшуюся вперед, нежели образование толпы. То чисто идеальное внушение, то заражение без соприкосновения, которые предполагает эта чисто абстрактная и тем не менее столь реальная группировка, эта одухотворенная толпа, поднятая, так сказать, на вторую степень сила, не могло зародиться ранее, как по прошествии целого ряда веков социальной жизни более грубой, более элементарной.

## II

Ни в латинском, ни в греческом языках нет слова, соответствующего тому, что мы разумеем под словом *публика.* Есть слова, обозначающие народ, собрание граждан вооруженных или невооруженных, избирательный корпус, все разновидности толпы. Но какому писателю древности могло прийти на ум говорить о своей публике? Все они не знали ничего, кроме *своей аудитории* в залах, нанимаемых для публичных чтений, где поэты, современники Плиния Младшего, собирали немногочисленную, сочувственную толпу. Что же касается тех немногочисленных читателей манускриптов, переписанных в нескольких десятках экземпляров,

то они не могли сознавать, что составляют общественный агрегат, который, составляют теперь читатели одной и той же газеты и даже иногда одного и того же модного романа. Была ли публика в средние века? Нет, но в эти времена были ярмарки, паломничества, беспорядочные скопища, охваченные благочестивыми или воинственными чувствами, гневом или паникой. Возникновение публики стало возможным не раньше начала широкого распространения книгопечатания в XVI в. Передача силы на расстоянии — ничто по сравнению с передачей мысли на расстоянии. Не есть ли мысль — социальная сила по преимуществу? Вспомните *idées-forces* Фулье. Когда Библия была в первый раз издана в миллионах экземпляров, то обнаружилось в высшей степени новое и богатое неисчислимыми последствиями явление, а именно благодаря ежедневному и одновременному чтению одной и той же книги, т. е. Библии, соединенная масса ее читателей почувствовала, что составляет новое социальное тело, отделенное от церкви. Но эта нарождающаяся публика сама еще была только отдельной церковью, с которой она смешивалась; слабость протестантизма и заключается в том, что он был одновременно публикой и церковью, двумя агрегатами, управляемыми различными принципами и по самому существу своему непримиримыми. Публика, как таковая, выделилась более ясно только при Людовике XIV. Но и в эту эпоху, если и были толпы, не менее стремительные, нежели теперь, и не менее значительные, при коронованиях монархов, на больших празднествах, при бунтах, возникавших вследствие периодических голодовок, то публика составлялась из незначительного количества избранных «*honnêtes gens*», которые читали свой ежемесячный журнал, в особенности же книги, небольшое количество книг, написанных для небольшого количества читателей. И кроме того, эти читатели были по большей части сгруппированы, если не при дворе, то вообще в Париже.

В XVIII в. эта публика быстро растет и раздробляется. Я не думаю, чтобы до Бейля существовала философская публика, которая отличалась бы от большой литературной публики или начала от нее отделяться; я не могу назвать публикой группу ученых, хотя они и были объединены, несмотря на свою разбросанность по различным провинциям и государствам, однородными изысканиями и чтением одних сочинений; эта группа была так малочисленна, что они все поддерживали между собой письменные сношения и черпали в этих личных сношениях главную пищу для своего научного общения. Публика в специальном

смысле начинает обрисовываться с того, трудно поддающегося точному определению, момента, когда люди, преданные одной и той же науке, стали слишком многочисленны для того, чтобы лично сноситься друг с другом, и могли почувствовать завязывающиеся между ними узы солидарности только при помощи достаточно частых и регулярных сношений, не имеющих личного характера. Во второй половине XVIII в. зарождается политическая публика, растет и вскоре, разлившись, поглощает, как река свои притоки, все другие виды публики — литературную, философскую, научную. Однако, до революции жизнь публики была мало интенсивна сама по себе и получает значение только благодаря жизни толпы, с которой она еще связана вследствие необыкновенного оживления салонов и кафе.

Революция может считаться датой настоящего водворения журнализма и, следовательно, публики; революция — момент лихорадочного роста публики. Это не значит, что революция не возбуждала толпы, но в этом отношении она ничем не отличалась от прежних междоусобных войн в XIV, в XVI веке, даже в эпоху Фронды. Толпы фрондеров, толпы приверженцев Лиги, толпы приверженцев Кабоша — были не менее страшны и, может быть, не менее многочисленны, чем толпы 14 июля и 10 августа; толпа не может возрасти свыше известного предела, положенного свойствами слуха и зрения, не раздробившись тотчас же и не утратив способности к совместному действию; впрочем, действия эти всегда одинаковы; это — сооружение баррикад, разграбление дворцов, убийства, разрушение, пожары. Нет ничего более однообразного, как эти, повторяющиеся в течение веков, проявления ее деятельности. Но 1789 г. характеризуется явлением, которого не знали предыдущие эпохи, а именно огромным распространением газет, пожираемых с жадностью. Если некоторые из них и были мертворожденными, то зато другие представляют собою картину беспримерного распространения. Каждый из этих великих и ненавистных публицистов[1] Марат, Демулэн, отец Дюшен, имел *свою* публику; и эти толпы грабите-

[1] «Слово *публицист*, — говорит Литтре, — появляется в Академическом Словаре только начиная с 1762 г.» и фигурирует там, по его словам, — как еще и теперь в большинстве словарей — только в значении автора, пишущего о государственном праве. Смысл этого слова при ходячем употреблении расширился только в течение нашего столетия, в то время как значение слова *публика* в силу той же причины все сужалось, по крайней мере, в том смысле, в каком я его употребляю.

лей, поджигателей, убийц, людоедов, опустошавших тогда Францию с севера до юга, с востока до запада, можно считать злокачественными наростами и сыпями тех групп публики, которым их злокозненные виночерпии, препровождаемые с триумфом в Пантеон после смерти,— подливали ежедневно губительный алкоголь пустых и яростных слов. Это не значит, что бунтующие толпы состояли даже в Париже, а тем более в провинциях и в деревнях, исключительно из читателей газет; но последние составляли в них если не тесто, то, по крайней мере, закваску. Точно так же клубы, собрания в кафе, сыгравшие такую важную роль во время революционного периода, родились от публики, между тем как до революции публика была скорее следствием, нежели причиной собраний в кафе и в салонах.

Но революционная публика была по преимуществу парижской публикой, вне Парижа она обозначалась не ярко. Артур Юнг во время своего знаменитого путешествия был поражен тем обстоятельством, что газеты так мало распространены даже в городах. Правда, это замечание относится к началу революции, немного позднее оно уже потеряло бы долю верности. Но до самого конца отсутствие быстрых сообщений ставило непреодолимое препятствие интенсивности и широкому распространению общественной жизни. Как могли газеты, приходящие только два-три раза в неделю и, притом, неделю спустя после своего появления в Париже, дать своим читателям на юге то впечатление злободневности и то сознание одновременной духовной общности, без которых чтение газеты не разнится по существу от чтения книги? На долю нашего века, благодаря усовершенствованным способам передвижения и моментальной передаче мысли на всякое расстояние, выпала задача — придать публике, всякого рода публике, беспредельное распространение, к которому она так способна, и которое создает между ней и толпой столь резкий контраст. Толпа — это социальная группа прошлого; после семьи она самая старинная из всех социальных групп. Она во всех своих видах — стоит ли или сидит, неподвижна или движется — не способна расширяться дальше известного предела; когда ее вожаки перестают держать ее *in manu*, когда она перестает слышать их голос, она распадается. Самая обширная из всех известных аудиторий — это аудитория Колизея; но и она вмещала в себя только сто тысяч человек. Аудитории Перикла или Цицерона, даже аудитории великих проповедников средних веков, вроде Петра Пустынника или св. Бернарда, были, без сомнения, значительно меньше. Также не замечается, чтобы могущество

красноречия, будь то политическое или религиозное, значительно подвинулось вперед в древности или в средние века. Но публика бесконечно растяжима, и так как по мере ее растяжения ее социальная жизнь становится более интенсивной, то нельзя отрицать, что она станет социальной группой будущего. Таким образом, благодаря соединению трех взаимно поддерживающих друг друга изобретений, книгопечатания, железных дорог и телеграфа, пробрела свое страшное могущество пресса, этот чудесный телефон, который так безмерно расширил древнюю аудиторию трибунов и проповедников. Итак, я не могу согласиться с смелым писателем, д-ром Лебоном, заявляющим, что наш век — это «эра толпы». Наш век — это эра публики или публик, что далеко не похоже на его утверждение.

## III

До известной степени публика сходна с тем, что называется *миром* — «литературный мир», «политический мир», и т. д.; разница лишь в том, что это последнее понятие предполагает личные сношения между лицами, принадлежащими к одному и тому же миру, как-то: обмены визитами, приемы, что может и не существовать между членами одной и той же публики. Но между толпой и публикой расстояние огромно, как мы уже видели, хотя публика частью и ведет свое начало от известного рода толпы, а именно от аудитории ораторов.

Между толпой и публикой существует много и других различий, которые я еще не выяснил. Можно принадлежать в одно и то же время, как это обыкновенно и бывает, к нескольким группам публики, как можно принадлежать к нескольким корпорациям или сектам но к толпе одновременно можно принадлежать только к одной. Отсюда гораздо большая нетерпимость толпы, а следовательно и тех наций, где царит дух толпы, потому что там человек захватывается целиком, неотразимо увлечен силой, не имеющей противовеса. И отсюда преимущество, связанное с постепенной заменой толпы публикой, превращение, сопровождающееся всегда прогрессом в терпимости или даже в скептицизме. Правда, сильно возбужденная публика может породить, как это иногда и случается, фанатические толпы, которые расхаживают по улицам с криками: *да здравствует* или *смерть* чему-либо. И в этом смысле публика могла бы быть определена как толпа в возможности. Но это падение публики до толпы, в высшей степени опасное, вообще случается довольно редко; и не

входя в обсуждение того, не будут ли, невзирая ни на что, эти порожденные публикой толпы менее грубы, чем толпы, образовавшаяся вне всякой публики, остается очевидным, что столкновение двух публик, всегда готовых слиться на своих неопределенных границах, представляет собой гораздо меньшую опасность для общественного спокойствия, нежели встреча двух враждебных толп.

Толпа, как группа более естественная, более подчиняется силам природы; она зависит от дождя или от хорошей погоды, от жары или от холода; она образовывается чаще летом, нежели зимой. Луч солнца собирает ее, проливной дождь рассеивает ее. Когда Бальи был парижским мэром, он благословлял дождливые дни и огорчался при виде проясняющегося неба. Но публика, как группа высшего разряда, не подвластна этим изменениям и капризам физической среды, времени года или даже климата. Не только зарождение и развитие публики, но даже крайнее возбуждение ее, эта болезнь, появившаяся в нашем веке и растущая все сильнее, не подвержены этим влияниям.

Наиболее острый кризис этого рода болезни, по нашему мнению, а именно дело Дрейфуса, свирепствовал во всей Европе в самый разгар зимы. Возбудило ли оно больше страстности на юге, нежели на севере, как случилось бы, если бы речь шла о толпе? Нет! Скорее оно наиболее волновало умы в Бельгии, в Пруссии, в России. Наконец, отпечаток расы гораздо менее отражается на публике, чем на толпе. И это не может быть иначе в силу следующего соображения.

Почему английский митинг так глубоко разнится от французского клуба, сентябрьская резня от африканских судилищ по закону Линча, итальянской праздник от коронации русского царя? Почему хороший наблюдатель по национальности толпы может почти с уверенностью предсказать, как она будет действовать — с гораздо большей уверенностью, чем предсказать, как поступит каждый из индивидуумов, составляющих ее — и почему, несмотря на огромные изменения, происшедшие в нравах и идеях Франции или Англии за последние три-четыре столетия, французские толпы нашего времени, буланжистские или антисемитические, похожи в стольких чертах на толпы приверженцев Лиги или Фронды, а нынешние толпы англичан — на толпы времен Кромвеля? Потому, что в образовании толпы индивидуумы участвуют только своими сходными национальными чертами, которые слагаются и образуют одно целое, но не своими индивидуальными отличиями, которые нейтрализуются; при составлении толпы

углы индивидуальности взаимно сглаживаются в пользу национального типа, который прорывается наружу. И это происходит вопреки индивидуальному влиянию вождя или вождей, которое всегда дает себя чувствовать, но всегда находит противовес во взаимодействии тех, кого они ведут.

Что же касается того влияния, какое оказывает на свою публику публицист, то оно если и является гораздо менее интенсивным в данный момент, зато по своей продолжительности оно более сильно, чем кратковременный и преходящий толчок, данный толпе ее предводителем. Мало того, влияние, которое оказывают члены одной и той же публики друг на друга, гораздо менее сильно, и никогда не противодействует, а, напротив, всегда содействует публицисту вследствие того, что читатели сознают одновременную тождественность своих идей, склонностей, убеждений или страстей, ежедневно раздуваемых одним и тем же мехом.

Можно — быть может, несправедливо, но с известным правдоподобием и видимым основанием, оспаривать ту мысль, что всякая толпа имеет вождя; и действительно, часто она сама ведет его. Но кто станет оспаривать, что всякая публика имеет своего вдохновителя, а иногда и создателя? Слова Сент Бёва, что «гений есть царь, создающий свой народ», особенно применимы к великому журналисту. Сколько публицистов создают себе публику![1] Правда, для того чтобы возбудить антисемитическое движение, было необходимо, чтобы агитаторские усилия Эдуарда Дрюмона соответствовали известному умственному состоянию среди населения; но пока не раздался один громкий голос, давший общее выражение этому состоянию умов, оно оставалось чисто индивидуальным, мало интенсивным, еще в меньшей степени заразительным и не сознавало само себя. Тот, кто выразил его, создал как бы коллективную силу, быть может искусственную, но тем не менее реальную. Я знаю французские области, где никто никогда не видал ни одного еврея, что не мешает антисемитизму процветать там, потому что там читаются антисе-

[1] Мне скажут, что если всякий великий публицист создает свою публику, то всякая сколько-нибудь значительная публика создает себе своего публициста. Это последнее предположение гораздо менее верно, чем первое: мы знаем очень обширные группы, которые в продолжение многих лет не могли выделить из своей среды писателя, способного помочь им ориентироваться. В таком положении находится в настоящее время католический мир.

митические газеты. Точно так же социалистическое или анархическое направление умов ничего не представляло собою, прежде чем его не выразили некоторые знаменитые публицисты, Карл Маркс, Кропоткин и др., и не пустили в обращение, дав ему свое имя. После этого легко понять, что на публике гораздо ярче отражается индивидуальный отпечаток ее создателя, нежели дух национальности, и что обратное справедливо относительно толпы. Точно так же не трудно понять, что публика одной и той же страны в каждом из своих главных разветвлений преобразовывается в очень короткий промежуток времени, если сменяются ее предводители, и что, например, современная социалистическая публика во Франции ни в чем не походит на социалистическую публику времен Прудона, в то время как французские толпы всякого рода сохраняют сходную физиономию в продолжение целых столетий.

Может быть возразят, что читатель какой-нибудь газеты располагает гораздо больше своей умственной свободой, нежели индивидуум, затерянный в толпе и увлекаемый ею. Он может в тишине обдумать то, что он читает, и, несмотря на его привычную пассивность, ему случается переменять газету до тех пор, пока он не найдет подходящую или такую, которую он считает для себя подходящей. С другой стороны, журналист старается ему понравиться и удержать его. Статистика увеличения и уменьшения подписки является великолепным термометром, с которым часто справляются, и который предупреждает редактора относительно того, каких действий и мыслей следует держаться. Такого характера указание обусловило в одном известном деле внезапный поворот одной большой газеты, и такое отречение не представляет собою исключения. Итак, публика реагирует временами на журналиста, но этот последний действует на свою публику постоянно. После некоторых колебаний читатель выбрал себе газету, газета собрала себе читателей, произошел взаимный подбор, отсюда — взаимное приспособление. Один наложил свою руку по своему вкусу на газету, которая угождает его предрассудкам и страстям, другая — на своего читателя, послушного и доверчивого, которым она легко может управлять при помощи некоторых уступок его вкусам — уступок, аналогичных ораторским предосторожностям древних ораторов. Говорят, что нужно бояться человека одной книги; но что значит он в сравнении с человеком одной газеты! А этот человек — в сущности каждый или почти каждый из нас. Вот где опасность нового времени. Итак, не препятствуя публицисту иметь на свою публику в конце

концов решительное влияние, этот двойной подбор, двойное приспособление, делающее из публики однородную группу, легко управляемую и хорошо известную писателю, позволяет последнему действовать с большей силой и уверенностью. Толпа вообще гораздо менее однородна, нежели публика: она всегда увеличивается благодаря массе любопытных, полусообщников, которые немедленно увлекаются и ассимилируются, но тем не менее затрудняют общее руководство разнородными элементами.

## IV

Можно оспаривать эту относительную однородность под тем предлогом, что «мы никогда не читаем одной и той же книги», точно так же как «никогда не купаемся в одной реке». Но помимо спорного характера этого древнего парадокса, верно ли, что мы никогда не читаем одной газеты. Могут подумать, что так как газета более разнообразна, нежели книга, то вышеприведенное изречение к ней применимо еще в большей степени, чем к книге. А между тем в действительности каждая газета имеет свой гвоздь, и этот гвоздь, выделяясь все с большей и большей рельефностью, привлекает внимание всей массы читателей, загипнотизированных этой светящейся точкой. Действительно, несмотря на пестроту статей, каждый листок имеет свою видимую окраску, присущую ему, свою специальность, будь то порнографическая, диффаматорская, политическая или какая-либо другая, которой все остальное приносится в жертву, и на которую публика такого листка набрасывается с жадностью. Ловя публику на эту приманку, журналист по своему усмотрению ведет ее куда ему угодно.

Еще одно соображение. Публика в конце концов есть известный род коммерческой *клиентуры*, но род весьма своеобразный, стремящийся затмить всякий другой вид клиентуры. Уже одно то, что люди известного круга покупают продукты в магазинах одного разряда, одеваются у одной и той же модистки или портного, посещают один и тот же ресторан, — устанавливает между ними известную социальную связь и предполагает между ними сродство, которое укрепляется и подчеркивается этой связью. Каждый из нас, покупая то, что соответствует его потребностям, имеет более или менее смутное сознание, что этим самым он выражает и изъясняет свое единство с тем социальным классом, который питается, одевается, удовлетворяет себя во всем почти аналогичным образом. Экономический факт, один замеченный

экономистами, усложняется таким образом симпатическим отношением, которое заслуживало бы также их внимания. Они смотрят на покупателей одного продукта или одной работы только как на соперников, которые оспаривают друг у друга предмет своего желания; но эти покупатели являются в то же время людьми однородными, схожими между собой людьми, которые стремятся укрепить свое единство и выделиться из того, что не похоже на них самих. Их желание питается желанием других, и даже в их соревновании есть скрытая симпатия, заключающая в себе потребность роста. Но насколько глубже и интимнее та связь, которая возникает между читателями благодаря обычному чтению одной и той же газеты! Здесь никому не придет в голову говорить о конкуренции, здесь есть только общность внушенных идей и сознание этой общности — но не сознание этого внушения, которое, несмотря на то, остается очевидным.

Точно так же, как у всякого поставщика есть два вида клиентов: покупатели постоянные и покупатели случайные, у газет и журналов есть два сорта публики: публика постоянная, прочная, и публика случайная, непостоянная. Пропорция этих двух родов публики весьма неодинакова для различных листков; у старинных листков, органов старых партий не числится, или числится очень мало, публики второй категории, и я согласен, что здесь влияние публициста особенно затруднено вследствие нетерпимости той сферы, куда он попал и откуда будет изгнан при обнаружении малейшего разногласия. Но за то это влияние, раз оно достигнуто, становится продолжительным и глубоким. Заметим впрочем, что публика постоянная и привязанная по традиции к одной газете близка к исчезновению, она все более и более заменяется более непостоянной публикой, на которую влияние талантливого журналиста если и не так прочно, за то гораздо легче достижимо. Мы можем с полным правом пожалеть о такой эволюции журнализма, потому что постоянная публика создает честных и убежденных публицистов, тогда как изменчивая публика создает публицистов легкомысленных, изменчивых и беспокойных; но по-видимому, эта эволюция теперь неизбежна, почти бесповоротна, и мы видим все увеличивающиеся перспективы социального могущества, которые она открывает перед людьми пера. Может быть, она будет все более и более подчинять посредственных публицистов капризам их публики, но она наверное подчиняет все более и более деспотизму великих публицистов их порабощенную публику. Эти последние в гораздо большей степени чем государственные люди, даже самые высшие, творят мнение

и руководят миром. И когда они утвердятся, — как прочен их трон! Сравните столь быстрое изнашивание политических деятелей, даже самых популярных, с тем продолжительным и неразрушимым царствованием журналистов высокой пробы, которое напоминает долговечность какого-нибудь Людовика XIV или вечный успех знаменитых комиков и трагиков. Для этих самодержавных властителей нет старости.

Вот почему так трудно создать определенный закон для прессы. Это все равно, что мы захотели бы регламентировать суверенитет великого короля или Наполеона. Проступки, даже преступления прессы почти ненаказуемы, как были ненаказуемы проступки, совершенные на трибуне в древности и проступки на кафедре в средние века.

Если бы были правы поклонники толпы, постоянно повторяющие, что историческая роль отдельных индивидуальностей обречена на то, чтобы уменьшаться все более и более по мере того, как совершается демократическая эволюция общества, то следовало бы особенно удивляться увеличивающемуся день ото дня значению публицистов. Нельзя, однако, отрицать, что они в критических случаях творят общественное мнение, и если двое или трое из этих великих вождей политических или литературных групп захотят соединиться во имя одной цели, то как бы дурна она ни была, можно с уверенностью предсказать ей торжество. Замечательно то, что последняя из образовавшихся социальных группировок, группировка наиболее широко развивающаяся в ходе нашей демократической цивилизации, т. е. социальная группировка по разным видам публики, дает выдающимся индивидуальным характерам наибольшую возможность проявить себя, а оригинальным индивидуальным мнениям наибольший простор для распространения.

## V

Итак, достаточно открыть глаза, чтобы заметить, что разделение общества на разного рода публику, разделение чисто психологического характера, соответствующее различного рода состоянию умов, стремится хотя не заменить, конечно, но заслонить собою все с большей и большей очевидностью религиозное, экономическое, эстетическое экономическое и политическое подразделение общества на корпорации, секты, ремесла, школы и партии. Это не только разновидности прежней толпы, аудиторий трибунов и проповедников, в которых господствует или которые увеличивает

соответствующая публика, парламентская или религиозная; нет такой секты, которая не желала бы иметь свою собственную газету для того, чтобы окружить себя публикой, рассеянной далеко вне ее, создать нечто вроде атмосферической оболочки, в которую публика была бы погружена, нечто в роде коллективного сознания, которое озаряло бы ее. И, конечно, это сознание нельзя назвать просто *эпифеноменом*, который сам по себе недействителен и бездеятелен. Точно так же нет профессии, большой или незначительной, которая не желала бы иметь свою газету или свой журнал, как в средние века каждая корпорация имела своего священника, своего обычного проповедника, как в древней Греции каждый класс имел своего доверенного оратора. Разве первая забота каждой вновь основывающейся школы литературной или художественной не заключается в том, чтобы завести свою собственную газету и разве она будет считать полным свое существование без этого условия? Существует ли такая партия пли часть партии, которая не поспешила бы шумно заявить себя в каком-нибудь периодическом, ежедневном издании, при помощи которого она надеется распространиться, при помощи которого она, без сомнения, укрепляется, пока она не преобразуется, не сольется или не раздробится? Партия без газеты не производит ли на нас впечатления безглавого чудовища, хотя для всех партий древности, средних веков, даже современной Европы до французской революции эта воображаемая чудовищность была естественна?

Это преобразование всех групп в разные виды публики объясняется все возрастающей потребностью общественности, которая делает необходимым правильное общение друг с другом членов ассоциации при помощи беспрерывного течения общих сведений и возбуждений. Это преобразование неизбежно. И нужно рассмотреть те его последствия, которые, по всей вероятности, отразятся или отразились на судьбе таким образом преобразованных групп в смысле их долговечности, их прочности, их силы, их борьбы или их слияния.

В смысле долговечности и прочности старинные группировки, конечно, ничего не выигрывают при той перемене, о которой идет речь. Пресса делает неустойчивым все, до чего она касается, что она оживляет, и самое священное, самое неизменное на вид установление, лишь только оно подчинится общей господствующей моде на публичность, обнаруживает тотчас же явные признаки внутренних перемен, тщетно скрываемых. Чтобы удостовериться в этой силе, в одно и то же время разрушительной и

возрождающей, которая присуща газете, достаточно только сравнить политические партии, существовавшие до журнализма, с современными политическими партиями. Не были ли они прежде менее страстны и более долговечны, менее живы н более упорны, менее податливы на попытки к обновлению или раздроблению? Вместоториев и вигов, этой вековой антитезы, такой резкой и устойчивой, что́ существует в Англии в наши дни? Не было ничего редкостней в старой Франции, чем появление новой партии; в наше время партии находятся в состоянии беспрестанных изменений и самопроизвольного зарождения и возрождения. Все меньше и меньше беспокоятся или заботятся об их ярлыке, потому что всем хорошо известно, что если они достигнут власти, это произойдет только вместе с радикальной их переменой. Недалеко то время, когда от прежних наследственных и традиционных партий останется одно только воспоминание.

Относительная сила прежних социальных агрегатов также сильно видоизменяется благодаря вмешательству прессы. Прежде всего заметим, что она чрезвычайно мало благоприятствует преобладанию профессиональных классовых подразделений. Профессиональная пресса, посвященная ремесленным интересам, судебным, промышленным, земледельческим, имеет наименьшее количество читателей, она наименее интересна, наименее возбуждает, кроме тех случаев, когда под видом работы дело идет о стачке и о политике. Но пресса явно предпочитает и выделяет социальное разделение на группы по теоретическим идеям, идеальным стремлениям и чувствам. Она выражает — к чести для себя — интересы не иначе, как облекая их в теории и возвышая страстями; даже придавая им страстный характер, она одухотворяет и идеализирует их; и это преображение, хотя иногда и опасное, в общем все-таки удачно. Пусть идеи и страсти вспениваются, сталкиваясь друг с другом, они все же более примиримы, чем интересы.

Религиозные или политические партии являются социальными группами, на которые газета производит наиболее сильное действие и которые она выдвигает на первый план. Мобилизованные в публику партии расстраиваются, вновь формируются, преобразовываются с такой быстротой, которая поразила бы наших предков. И нужно согласиться, что их мобилизация и их взаимная спутанность мало совместимы с регулярной деятельностью парламентаризма на английский лад; это — небольшое несчастье, но оно способно глубоко изменять парламентский режим. Партии в наше время то поглощаются и уничтожаются в несколько лет, то они размножаются в неслыханных размерах.

Они приобретают в этом последнем случае огромную, хотя скоропреходящую силу. Они принимают две черты, которых в них еще не знали: они становятся способными проникать одна в другую и делаться интернациональными. Они легко проникают одна в другую, потому что, как мы сказали выше, каждый из нас принадлежит или может принадлежать к публике нескольких видов одновременно. Они становятся интернациональными, потому что крылатое слово газеты без труда перелетает те границы, которые в былые времена никогда не мог перелететь голос знаменитейшего оратора, лидера партии[1]. Пресса дала парламентскому и клубному красноречию свои собственные крылья и носит его по всему свету. Если эта интернациональная широта партий, преобразованных в публику, делает их вражду более опасной, зато их взаимная проницаемость и неопределенность их границ облегчает их союзы, даже безнравственные, и позволяет надеяться на конечное мирное соглашение. Следовательно, преобразование партии в публику, повидимому, мешает скорее их длительности, нежели согласию, их отдыху, нежели миру, и социальное движение, произведенное этим преобразованием, подготавливает скорее пути к социальному единству. Это настолько справедливо, что, несмотря на обилие и разнородность видов публики, существующих одновременно и перемешанных между собою в обществе, они все вместе как бы составляют одну общую публику благодаря их частичному согласию относительно некоторых важных пунктов; это есть то, что называется мнением, политическое значение которого все возрастает. В известные критические моменты в жизни народов, когда обнаруживается национальная опасность, это слияние, о котором я говорю, прямо поразительно и почти полно; и тогда мы видим, как нация, социальная группа par exellence, преобразовывается, как и все другие, в одну огромную связку лихорадочно настроенных читателей, с жадностью поглощающих депеши. Во время войны как будто не существует ни классов, ни ремесел, ни синдикатов, ни партий, ни одной из социальных группировок Франции, кроме французской армии и «французской публики».

---

[1] Публика некоторых больших газет, как «Times», «Figaro» и некоторых больших журналов, рассеяна по всему свету. *Виды публики* — религиозный, научный, экономический, эстетический, *постоянно* по существу своему интернациональны; *толпы* — религиозные, научные и т. д. только изредка бывают интернациональными под видом конгрессов. Да и конгрессы могли стать интернациональными только потому, что на этом пути им предшествовала соответствующая публика.

Из всех социальных агрегатов в наиболее тесном отношении с публикой находится толпа. Хотя публика часто и представляет собой только увеличенную и рассеянную аудиторию, все же мы видели, что между нею и толпой существуют многочисленные и характерные различия, которые доходят даже до того, что устанавливают нечто вроде обратного отношения между прогрессом толпы и прогрессом публики. Правда, возбужденная публика порождает мятежные сборища на улицах; и как одна и та же публика может быть распространена на обширной территории, так же точно возможно, что порожденные ею шумные массы соберутся сразу в нескольких городах, будут кричать, грабить, убивать. Так и случалось[1]. Но чтобы все толпы слились, если не существует публики, — этого не случается. Предположим, что уничтожены все газеты и вместе с ними их публика, разве население не обнаружило бы гораздо более сильное, нежели теперь, стремление группироваться в более многочисленные и тесные аудитории вокруг профессорских, даже проповеднических кафедр, наполнять публичные места, кафе, клубы, салоны, читальни, не говоря уже о театрах, и вести себя повсюду гораздо более шумно?

Мы забываем обо всех этих прениях в кафе, в салонах, в клубах, от которых нас гарантирует полемика в прессе — противоядие относительно безобидное. Действительно, в публичных собраниях число слушателей, вообще, идет на убыль или, по крайней мере, не возрастает, и наши ораторы, даже самые популярные, далеки от притязаний на успех Абеляра, который увлекал за собою тридцать тысяч учеников до самой глубины печальной долины Параклета. Даже когда слушатели так же многочисленны, они не так внимательны, как это было до книгопечатания, когда последствия невнимания были неисправимы.

В амфитеатрах нашего университета, в настоящее время пустых на три четверти, не видно больше прежнего стечения слушателей и прежнего внимания. Большинство из тех, которые преж-

---

[1] Можно даже сказать, что каждая публика обрисовывается природой той толпы, которую она порождает. Религиозная публика обрисовывается паломничествами в Лурд, светская публика — поездками в Лоншан, балами, празднествами, публика литературная — театральными аудиториями, приемами во Французской академии, публика промышленная — своими стачками, публика политическая — своими избирательными союзами, своими палатами депутатов, публика революционная — своими бунтами и баррикадами...

де с страстным любопытством выслушали бы какую-нибудь речь, говорят теперь: «Я это прочту в своей газете»... И таким образом мало-помалу публика вырастает, а толпа уменьшается, что еще быстрей уменьшает ее значение.

Куда давались времена, когда святое красноречие апостола, вроде Коломбана или Патрика, побуждало целые народы, прикованные к их устам? Теперь великие обращения масс совершаются журналистами.

Итак, какова бы ни была природа тех групп, на которые дробится общество, имеют ли они характер религиозный, экономический, политический, даже национальный, публика в некотором роде представляет собою их окончательное состояние, их, так сказать, общий знаменатель; все возвращается к этой чисто психологической группе состояния умов, способной на беспрерывные изменения. И замечательно, что профессиональный агрегат, основанный на взаимной эксплуатации и взаимном приспособлении желаний и интересов наиболее захвачен этим цивилизующим преобразованием. Несмотря на все различие, которое мы отметили, толпа и публика, эти два крайние полюса социальной эволюции[1] имеют следующее сходство: связь различных индивидуумов, входящих в их состав, заключается не в том, чтобы они *гармонировали* друг с другом своими особенностями, своими специальными взаимно полезными качествами, но в том, чтобы взаимно отражаться друг на друге, слиться своими природными или приобретенными сходными чертами в простой и могущественный *унисон* (но насколько с большей силой в публике, нежели в толпе!) — вступить в общение идей и страстей, которое, однако, дает полный простор их индивидуальным различиям.

## VI

Показав зарождение и рост публики, отметив ее характерные черты, сходные или несходные с характерными чертами толпы, и выяснив ее генеалогическое отношение к различным социальным группам, постараемся сделать классификацию ее разновидностей по сравнению с разновидностями толпы.

Можно классифицировать публику, как и толпу, с весьма различных точек зрения; в отношении пола есть публика мужская и

---

[1] Семья и орда являются двумя точками отправления этой эволции. Но орда, эта грубая шайка грабителей, представляет собою только толпу в движении.

женская, точно так же, как существует мужская и женская толпа. Но женская публика, состоящая из читательниц модных романов и стихов, модных газет, феминистских журналов и т. п., отнюдь не похожа на толпу того же пола. Она имеет совершенно другое численное значение и по своему характеру более безобидна. Я не говорю о женских аудиториях в церкви, но когда они случайно собираются на улицах, они всегда ужасают необыкновенной силой своей экзальтации и кровожадности. Следует перечитать Янсена и Тэна но этому вопросу. Первый рассказывает нам о никоей Гофман, мужеподобной ведьме, которая в 1529 году предводительствовала шайками крестьян и крестьянок, восставших вследствие лютеранской проповеди. «Она вся дышала пожарами, грабежами и убийствами» и произносила заклинания, которые должны были сделать неуязвимыми ее бандитов и которые фанатизировали их. Второй изображает нам поведение женщин, даже молодых и красивых, 5-го и 6-го октября 1789 года. Они только и говорят о том, чтобы разорвать на части, четвертовать королеву, «съесть ее сердце», сделать кокарды из ее драгоценностей; у них являются только каннибальские идеи, которые они, по видимому, осуществляют. Значит ли это, что женщины, несмотря на их кажущуюся кротость, таят в себе дикие инстинкты, смертоносные наклонности, пробуждающиеся при их соединении в толпу? Нет, ясно, что при соединении женщин в толпу происходит подбор всего, что есть в женщинах наиболее наглого, наиболее смелого, я сказал бы, наиболее мужского. *Corruptio optimi pessima.* Конечно, для того чтобы читать газету даже жестокую и наглую, не нужно столько наглости и распущенности, и отсюда, без сомнения, лучший состав женской публики, носящей, вообще, более эстетический, нежели политический характер.

В смысле возраста, толпы молодежи — мономы или мятежные скопища студентов или парижских гаменов — имеют гораздо большее значение, нежели юношеская публика, даже литературная, которая никогда не имела серьезного влияния. Наоборот, старческая публика ведет все дела там, где старческие толпы не принимают никакого участия. При помощи этой незаметной *геронтократии* устанавливается спасительный противовес *эфебократии* избирательных толп, где преобладает молодой элемент, не успевший еще пресытиться избирательным правом... Впрочем, старческие толпы необыкновенно редки. Можно было бы назвать некоторые шумные соборы старых патриархов в первые времена Церкви или некоторые бурные заседания древнего и

современного сената как примеры несдержанности, до которой собравшиеся старцы могут увлечься, как примеры коллективного молодого задора, который им случается обнаружить, когда они соберутся вместе. По-видимому, стремление собираться в толпу идет, все возрастая, от детского возраста до полного расцвета молодости, а потом, все уменьшаясь, от этого возраста до старости. Не так дело обстоит с наклонностью соединяться в корпорации, которая только зарождается в первой молодости и все усиливается до зрелого возраста и даже до старости.

Толпы можно различать по времени, сезону, широте... Мы уже сказали, почему это различие неприложимо к публике. Влияние физических сил на образование и развитие публики сводится почти к нулю, тогда как оно всесильно над зарождением и поведением толпы. Солнце является одним из главных элементов, разжигающих толпу; летние толпы имеют гораздо более горячий характер, нежели зимние. Может быть, если бы Карл X подождал декабря или января для опубликования своих пресловутых ордонансов, результат был бы совсем другой. Но влияние расы, разумея под этим словом национальность, имеет не меньшее значение для публики, чем для толпы, и на складе характера французской публики сильно сказывается *furia francese*.

Несмотря на все это, самое важное различие, которое мы должны сделать между различными видами публики, как и между различными видами толпы — это то, которое вытекает из самого существа их *цели* или их *веры*. Люди, идущие по улице, каждый по своим делам, крестьяне, собравшиеся на ярмарочную площадь, гуляющие могут образовывать очень тесное скопище, но это будет только простая сутолока до того момента, пока общая вера или общая цель взволнует их или сдвинет их вместе. Как только новое зрелище привлечет их взгляды и их умы, как только непредвиденная опасность или внезапное негодование направит их сердце к одному и тому же желанно, они начинают послушно соединяться, и эта первая ступень социального агрегата и есть толпа. — Точно так же можно сказать: читатели, даже постоянные, какой-нибудь газеты, пока они читают только объявления и практические сведения, относящиеся к их частным делам, не составляют публики; и если бы я мог думать, как иногда предполагают, что газете объявлений суждено увеличиваться в ущерб газете-трибуне, то я поспешил бы уничтожить все, что выше написано мною относительно социальных преобразований, произведенных журнализмом. Но ничего подобного не существует,

даже в Америке[1]. Таким образом, только с того момента, когда читатели одной и той же газеты начинают увлекаться идеей или страстью, проникающей ее, они действительно составляют публику.

Итак, мы должны классифицировать толпы, точно так же как и публику, прежде всего, по характеру цели или веры, которая их одушевляет. Но прежде всего разделим их сообразно с тем, что берет в них перевес: вера и идея, или же цель, желание. Есть толпы верующие и толпы активно желающие, публика верующая и публика активно желающая; или скорей — так как у людей, собравшихся вместе или даже соединенных издали, всякая мысль или желание быстро достигает высшего напряжения — есть толпа или публика убежденная, фанатическая, и толпа или публика страстная, деспотическая. Остается только выбирать между этими двумя категориями. Мы должны, однако, согласиться, что публика менее склонна к утрированию, нежели толпа, она менее деспотична и менее догматична, но ее деспотизм или догматизм хотя и не выражен в такой острой форме, зато гораздо прочнее и постояннее деспотизма или догматизма толпы.

Верующая или активно желающая толпа опять-таки различается по природе той корпорации или секты, к которой она примыкает, и это различие применимо также к публике, которая, как мы знаем, всегда ведет свое начало от организованных социальных групп, представляя собою их неорганическое преобразование[2]. Но займемся на время одними только толпами. Толпу, эту аморфную группу, с виду зарождающуюся самопроизвольно,

---

[1] В своем прекрасном труде о *Принципах Социологии* американец Гиддингс между прочим говорит о той огромной роли, которую сыграли газеты в войне из-за отпадения Южных штатов, и по этому поводу он опровергает ходячее мнение, которое гласит, что «пресса может впредь топить всякое индивидуальное влияние ежедневным наводнением *безличных* мнений...» Пресса, говорит он, «производила свой максимум влияния на общественное мнение, когда она говорила голосом какой-нибудь выдающейся личности вроде Гарриссона или Грилея. Более того, публика не отдает себе хорошенько отчета в том, что *идейный человек,* неизвестный большой публике, хорошо известен в газетных бюро своим товарищам и отпечатлевает свою индивидуальность на их мыслях и произведениях».

[2] Новое доказательство того, что связь органическая и связь социальная совершенно различны между собой, и что прогресс последней отнюдь не требует прогресса первой.

в действительности всегда порождает какое-нибудь социальное тело, некоторые члены которого служат ей ферментом и дают ей свою окраску[1]. Таким образом, не будем смешивать состоящие из родственников средневековые сельские толпы, собиравшиеся около сюзеренов и служившие их страстям, с средневековыми же толпами изуверов, собранных проповедями монахов и громко исповедовавших свою веру на больших дорогах. Мы не спутаем толпы богомольцев, идущих процессиями в Лурд под предводительством духовенства, с революционными и неистовыми толпами, поднятыми каким-нибудь якобинцем, или с жалкими и голодными толпами стачечников, ведомых синдикатом. Сельские толпы приводятся в движение с большим трудом, но раз уже двинувшиеся, они гораздо более страшны; ни один бунт в Париже не может сравниться по своим опустошительным действиям с жакерией. Религиозные толпы безвреднее всех; они становятся способны на преступление только тогда, когда столкновение с толпой диссидентов и враждебных манифестантов оскорбляет их нетерпимость, не превосходящую, но равную только нетерпимости всякой другой толпы. Индивидуумы могут быть либеральны и терпимы каждый в отдельности, но соединенные вместе, они становятся властными и тираническими. Это зависит от того, что верования возбуждаются при взаимном столкновении, и нет такого сильного убеждения, которое переносило бы противоречие. Этим, например, объясняется резня ариан католиками и католиков арианами, которая в IV веке наводняла кровью улицы Александрии. — Толпы политические, по большей части городские, бывают наиболее страстны и наиболее яростны, но, по счастью, они изменчивы и переходят с необыкновенной легкостью от ненависти к обожанию, от взрыва ярости к взрыву веселости. — Экономические, промышленные толпы, так же как и сельские, гораздо однороднее других, они гораздо единодушнее и упорнее в своих требованиях, более массивны и сильны, но при высшем напряжении своей ярости, скорее склонны к материальным разрушениям, нежели к убийству.

Толпы эстетические — которые вместе с толпами религиозными одни могут быть отнесены к разряду верующих — не знаю почему, находились в пренебрежении. Я называю так те толпы,

---

[1] Это справедливо даже тогда, когда она, как я сказал выше, является как бы новообразованием на публике, так как сама публика есть преобразование организованной социальной группы, партии, секты, корпорации.

которые собирает какая-нибудь старая или новая литературная или художественная школа во имя или против какого-либо произведения, драматического например, или музыкального. Это, может быть, самые нетерпимые толпы именно вследствие произвольности и субъективности провозглашаемых ими суждений, основанных на вкусе. Они испытывают желание видеть распространение своего энтузиазма по отношению к тому или другому художнику, к Виктору Гюго, к Вагнеру, к Золя, или, наоборот, своего отвращения к Золя, к Вагнеру, к Виктору Гюго с тем большей настоятельностью, что это распространение эстетической веры является почти единственным ее оправданием. Точно так же, когда они сталкиваются с противниками, тоже образовавшими толпу, может случиться, что их гнев кончится кровопролитием. Разве не текла кровь в XVIII веке во время борьбы сторонников и противников итальянской музыки?

Но как ни разнятся толпы друг от друга по своему происхождению и по всем своим другим свойствам, некоторыми чертами они все похожи друг на друга; эти черты — чудовищная нетерпимость, забавная гордость, болезненная восприимчивость, доводящее до безумия чувство безнаказанности, рожденное иллюзией своего всемогущества и совершенная утрата чувства меры, зависящая от возбуждения доведенного до крайности взаимным разжиганием. Для толпы нет середины между отвращением и обожанием, между ужасом и энтузиазмом, между криками *да здравствует!* или *смерть! Да здравствует*, это значит, *да здравствует навеки*. В этом крике звучит пожелание божественного бессмертия, это начало апофеоза. И достаточно мелочи, чтобы обожествление превратилось в вечное проклятие.

И мне кажется, многие из этих различий и понятий могут быть приложимы и к разного рода публике с тем, однако, что отмеченные черты здесь выступают не так резко. Публика, так же как и толпа, бывает нетерпима, горда, пристрастна, самонадеянна и под именем *мнения* она разумеет, чтобы все ей покорялось, даже правда, — если она ей противоречит. Не заметно ли также, что по мере того, как групповой дух, дух публики, если не толпы, развивается в наших современных обществах вследствие ускорения умственного обмена, чувство меры исчезает в них все больше и больше. Там превозносят и унижают с одинаковой стремительностью и людей и произведения. Сами литературные критики, делая из себя послушное эхо таких склонностей своих читателей, почти не могут больше ни оттенить, ни соразмерить своих оценок: они тоже или превозносят, или *оплевывают*. Как

мы уже далеки от ясных суждений какого-нибудь Сент-Бева! В этом смысле публика, как и толпа, напоминает отчасти алкоголика. И в действительности сильно развитая коллективная жизнь является для мозга страшным алкоголем.

Но публика разнится от толпы тем, что каково бы ни было ее происхождение, пропорция идейной и верующей публики сильно преобладает над публикой страстной и действующей, между тем как верующая и идеалистическая толпы ничто в сравнении с толпами охваченными страстью и все сокрушающими. Не только публика религиозная или эстетическая, первая порождение церкви, вторая — художественных школ, соединена общим *eredo* или идеалом, но также и публика научная, публика философская в ее многочисленных видоизменениях, и даже публика экономическая, которая, выражая требования желудка, идеализирует их.... Таким образом, благодаря превращению всех социальных групп в разные виды публики, мир идет по пути интеллектуализации. Что же касается активных видов публики, то можно было бы подумать, что они, собственно говоря, совсем не существуют, если бы не было известно, что рожденные от политических партий, они отдают государственным людям свои приказания, внушенные какими-нибудь публицистами... Сверх того, так как действие публики более разумно и более осмысленно, то оно может быть и бывает часто более плодотворно, нежели действие толпы[1].

## VII

Это легко можно доказать. Что бы ни составляло главную причину ее образования, общность ли верований или желаний, толпа

---

[1] Отметим другое различие. Публика заявляет о своем существовании под видом полемики в прессе, и тогда мы присутствуем при борьбе двух групп публики, которая так часто сводится к поединку их публицистов. Но чрезвычайно редко случается, чтобы две толпы вступили в бой, как, по словам Ларрумэ, бывает иногда в Иерусалиме во время процессий. Толпа любит идти одна развертывать свою силу и всей ее тяжестью налечь на побежденного, без боя. Иногда, правда, случаются схватки между регулярным войском и толпой, которая разбегается, если она слабее его, и осиливает его и режет, если она сильнее. Точно так же в парламенте мы видим не две, а одну двухголовую толпу, разделившуюся между двумя партиями, которые сражаются словесно или же кулаками, как в Вене... и даже в Париже.

может существовать в четырех видах, которые показывают различную степень ее пассивности или активности. Бывает толпа *ожидающая, внимающая, манифестантская* или *действующая*. Публика представляет собой те же разновидности.

Толпы ожидающие — это те, которые, собравшись в театре перед поднятием занавеса или вокруг гильотины перед прибытием осужденного, ожидают, чтобы занавес поднялся или чтобы осужденный прибыл; или же те, которые, прибежав навстречу королю, царственному гостю или поезду, который должен привезти популярного человека, трибуна или победоносного генерала, ожидают царственного кортежа или прибытия поезда. Коллективное любопытство в этих толпах достигает неслыханных размеров без малейшего отношения к предмету этого любопытства, иногда совершенно незначительному. Это любопытство в толпе гораздо более сильно и преувеличено, нежели в ожидающей публике, где оно поднимается, однако, очень высоко, когда миллионы читателей, возбужденных сенсационным делом, находятся в ожидании вердикта или приговора, или просто какой-нибудь новости. Самый нелюбопытный, самый серьезный человек, если ему случится попасть в такую лихорадочно настроенную толпу, спрашивает себя, что удерживает его тут, несмотря на неотложные занятия, какую странную необходимость он чувствует сейчас, как и все вокруг него, видеть, как проедет экипаж императора или вороной конь генерала. Вообще нужно заметить, что ожидающие толпы гораздо более терпеливы, чем отдельные индивидуумы в подобном же состоянии. Во время франко-русских празднеств огромные толпы парижан неподвижно простаивали по три, по четыре часа, плотно стиснутые, без малейшего признака неудовольствия, вдоль пути, по которому должен был проследовать царский кортеж. Время от времени какой-нибудь экипаж был принимаем за начало кортежа, но как только ошибка обнаруживалась — все снова принимались ждать, и ни разу, по-видимому, эти заблуждения и ошибки не могли произвести своего обыкновенного действия — раздражения. Известно также, как много времени проводят под дождем и даже ночью толпы любопытных в ожидании большого военного смотра. Наоборот, часто бывает в театре, что та же самая публика, которая спокойно покорилась незаконному запозданию, вдруг раздражается и не желает больше терпеть отсрочки ни на одну минуту. Почему толпа бывает всегда более терпелива или более нетерпелива, нежели отдельный индивидуум? В обоих случаях это объясняется одной и той же психологической причиной — взаимным зараже-

нием чувствами собравшихся индивидуумов. Пока в собрании не раздалось какого-либо проявления нетерпения, топота, крика, стука тростями — а ничего подобного, естественно, не случается, когда это ни к чему не может послужить, например, перед казнью или смотром — каждый находится под впечатлением веселого или покорного вида своих соседей и бессознательно рефлектирует их веселость или покорность. Но если кто-нибудь — когда это может сократить запоздание, в театре например, — начнет проявлять нетерпение, ему мало-помалу все начинают подражать, и нетерпение каждого в отдельности удваивается нетерпением других. Индивидуумы в толпе вдруг достигают высшей степени взаимного морального притяжения и взаимного физического отталкивания (антитез, не существующий для публики). Они толкают друг друга локтями, но в то же самое время они, видимо, желают выражать только согласие с чувствами соседей и в разговорах, которые иногда возникают между ними, они стараются понравиться друг другу без различия положений и классов.

Толпы внимательные — это те, которые тесно толпятся около кафедры проповедника или профессора, около трибуны, эстрады или перед сценой, где разыгрывается патетическая драма. Их внимание, точно так же как и их невнимание, проявляется всегда гораздо сильнее и настойчивее, нежели проявлялось бы внимание или невнимание каждого входящего в их состав отдельного индивидуума, если бы он был один. По поводу толпы, о которой идет речь, один профессор сделал мне замечание, показавшееся мне справедливым. «Аудитория из молодых людей, — сказал он мне, — на юридическом или на каком-либо другом факультете всегда внимательна и почтительна, если она немногочисленна; но если вместо двадцати или тридцати их соберется целая сотня, две-три сотни, они часто перестают уважать и слушать своего профессора, и тогда очень часто поднимается шум. Разделите на четыре группы, по двадцати пяти человек в каждой, сотню непочтительных и буйных студентов, и вы получите четыре аудитории, полные внимания и почтения». — Это значит, что горделивое чувство их многочисленности опьяняет собравшихся людей и заставляет их презирать одиноко стоящего человека, который говорит им, если только ему не удается ослепить и «очаровать» их. Но нужно прибавить, что если очень многочисленная аудитория отдалась во власть оратора, она бывает тем почтительнее и внимательнее, чем она обширнее.

Еще замечание. В толпе, заинтересованной каким-нибудь зрелищем или речью, только небольшое количество зрителей или

слушателей видит и слышит очень хорошо, многие видят и слышат только наполовину или же совершенно ничего не видят и не слышат; и между тем, как бы плохо они ни поместились, как бы дорого ни стоило их место, они бывают удовлетворены и не жалеют ни своего времени, ни денег. Например, эти люди два часа ожидали прибытия царя, который, наконец, проехал. Но, стиснутые позади нескольких рядов людей, они ничего не видели; все их удовольствие состояло в том, что они могли слышать шум экипажей, более или менее выразительный, более или менее обманчивый. И однако, возвратившись домой, они описывали это зрелище весьма добросовестно, как будто они сами были его очевидцами, потому что, в действительности, они видели его глазами других. Они очень были бы удивлены, если бы им сказали, что провинциал, который за двести миль от Парижа глядел в своей иллюстрированной газете на моментальную фотографию с царского поезда, был в большей степени очевидцем, чем они. Почему же они убеждены в противном? Потому что, в сущности говоря правду, в таких случаях сама толпа, собственно, служит зрелищем для себя самой. Толпа привлекает и порождает толпу.

Между толпами более или менее пассивными, о которых мы только что говорили, и толпами активными толпы манифестантские занимают срединное положение. Что бы они ни проявляли — свое убеждение, свою страстную любовь или ненависть, радость или печаль,— они всегда проявляют это со свойственным им преувеличением. Можно отметить в них двоякий характер, в котором есть что-то женское: замечательно выразительный символизм в соединении с крайней бедностью воображения при изобретении этих символов, которые всегда бывают одни и те же и повторяются до пресыщения. Идти процессией с хоругвями и со знаменами, со статуями, с мощами, иногда с отрезанными головами на концах пик, кричать *виват* или просто испускать вопли, петь гимны или песни — вот приблизительно все, что они могли изобрести для выражения своих чувств. Но если у них мало идей, то зато они держатся за них крепко и без устали кричат одно и то же, возобновляют одну и ту же прогулку. — Публика, дойдя до известной степени возбуждения, тоже становится манифестантской. Она проявляет себя не только косвенным образом, порождая соответствующие толпы, но, прежде всего, непосредственно в захватывающем влиянии, подчиняющем себе самих тех, кто привел ее в движение и не может больше остановить, в тех потоках лиризма или брани, лести или

клеветы, утопического бреда или кровожадной ярости, которые льются по ее желанию из-под пера ее послушных публицистов, из господ превратившихся в крепостных. И ее манифестации гораздо более разнообразны и опасны, нежели манифестации толпы, и приходится пожалеть об изобретательном уме, который в известные моменты тратится на остроумные выдумки, на басни, похожие на правду, беспрестанно изобличаемые, беспрестанно возрождающиеся ради одного удовольствия поднести каждой публике желаемое блюдо, выразить то, что она считает за правду, или в чем она *хочет* видеть правду.

Перейдем к толпам действующим. Но что, однако, могут сделать толпы? Несомненно, они могут уничтожать, разрушать, но что могут они создать со своей внутренней несвязностью и беспорядочностью своих усилий? Корпорации, секты, организованные ассоциации разрушительны, но столь же и производительны. *«Frères pontifes»* в средние века строили мосты, монахи на Западе возделывали целые области, основывали города, иезуиты в Парагвае сделали наиболее любопытную попытку фаланстерийской жизни из всех когда-либо предпринимавшихся; корпорации масонов воздвигли большинство наших соборов. Но можно ли назвать хоть один дом, построенный толпой, землю, распаханную и возделанную толпой, какую-либо промышленность, созданную толпой? За несколько тощих деревьев свободы, которые они посадили, сколько выжженных лесов, разграбленных гостиниц, разрушенных дворцов! За одного популярного узника, которого они иногда освобождали, сколько казней по суду Линча, сколько тюрем, взятых приступом американскими или революционными массами с целью избиения узников ненавистных, возбуждающих зависть или страх!

Можно разделить действующие толпы на толпы любящие и толпы ненавидящие. Но на какое дело, действительно плодотворное, употребляют свои силы любящие толпы? Неизвестно еще, что более гибельно: ненависть ли толпы или любовь, проклятия ли или энтузиазм. Когда она рычит, охваченная безумием каннибалов, она, правда, ужасна; но когда она в порыве обожания бросается к ногам одного из своих человеческих идолов, когда она распрягает его экипаж, как на щите, поднимает его на своих плечах, то предметом ее обожания, порождающего диктатуры и тирании, является чаще всего полусумасшедший вроде Мазаньелло, дикий зверь вроде Марата или шарлатан в роде генерала Буланже. Даже тогда, когда она устраивает безумные овации нарождающемуся герою, каков был Бонапарт, возвращавшийся

из Италии, она только готовит ему гибель, непомерно возбуждая в нем гордость, которая гонит его гений к безумию. Но она особенно проявляет свой энтузиазм по отношению к таким людям как Марат. Апофеоз этого чудовища, культ воздвигнутый его «священному сердцу», выставленному в Пантеоне, являются блистательным образцом силы взаимного ослепления, общей галлюцинации, на которую способны люди, собравшиеся вместе. В этом непреодолимом увлечении играла известную роль и трусость, но в общем очень маленькую и как бы потонувшую в общей искренности.

Но потороплюсь сказать, что есть разновидность любящей толпы, очень распространенная, которая играет одну из наиболее необходимых и спасительных социальных ролей и служит противовесом всему злу, причиненному сборищами других видов. Я имею в виду праздничную толпу, радостную, любящую себя самое, опьяненную единственно удовольствием собираться для того, чтобы собираться. Здесь я спешу отказаться от всего, что есть материалистического и узкого в словах, сказанных выше о непроизводительном характере толпы. Конечно, производительность заключается не только в постройке домов, фабрикации мебели, одежды или съестных припасов; и социальный мир, социальное единение, поддерживаемое народными празднествами, пирушками, периодическими увеселениями целой деревни или целого города, когда всякое разногласие сглаживается одним общим желанием, желанием видеть друг друга, соприкасаться, симпатизировать друг другу, этот мир, это единение суть продукты не менее драгоценные, чем все плоды земные, чем все предметы промышленности. Даже празднества федерации в 1790 г., этого кратковременного затишья между двумя циклонами, произвели на время успокоительное влияние. Прибавим еще, что патриотический энтузиазм — другая разновидность любви к коллективному, национальному *я* — также часто поселял благородное настроение в толпе, и если он не заставляет ее выигрывать сражение, он иногда делает несокрушимым вдохновение войск, возбужденных им.

Забудем ли мы, наконец, после праздничных толп траурные толпы — те, которые под гнетом общего горя идут за погребальным шествием друга, великого поэта, национального героя? Они в такой же степени являются энергическими возбудителями социальной жизни; и этими горестями, так же как этими радостями, испытываемыми вместе, народ научается образовывать одно целое из всех желаний.

Вообще, толпы в их совокупности далеко не заслуживают того дурного мнения, которое высказывалось относительно их, и которое при случае мог высказать и я сам. Если мы взвесим, с одной стороны, ежедневное и универсальное действие любящей толпы, особенно же праздничных толп, а с другой — перемежающееся и местное действие ненавидящих толп, то мы должны будем признать с полным беспристрастием, что первые гораздо более содействовали сотканию и скреплению социальных уз, нежели вторые — разрыву местами этой ткани. Вообразим себе страну, где никогда не было ни бунтов — всякого рода яростно-злобных восстаний, но где в то же время не известны ни публичные празднества, ни веселые уличные манифестации, ни взрывы народного энтузиазма: эта плоская и бесцветная страна была бы без сомнения гораздо менее пропитана глубоким чувством своей национальности, нежели страна, наиболее волновавшаяся политическими смутами, даже убийствами, но которая в промежутках между этими бедствиями, подобно средневековой Флоренции, сохранила традиционную привычку к большому религиозному или светскому общению, к общему веселью, играм, процессиям, сценам во время карнавала. Таким образом, толпы, сборища, столкновения, обоюдные увлечения людей гораздо более полезны, нежели вредны для развития общественности. Но и здесь, как везде, *видимое* мешает думать о *невидимом*. Отсюда, без сомнения, проистекает обычная суровость социолога по отношению к толпам. Добрые последствия любовных и радостных толп скрываются в сердечных тайниках и живут там много времени спустя после празднества, в виде большего расположения к симпатии и примирению, которое выражается тысячью незаметных способов в жестах, в словах, во всех ежедневных житейских отношениях. Наоборот антисоциальное действие ненавистнических толп бросается всем в глаза, и зрелище произведенных ими преступных разрушений надолго переживает их, заставляя проклинать их память.

Можно ли говорить о *действующей публике*, не злоупотребляя метафорами? Не является ли публика, эта рассеянная толпа, пассивной по самому своему существу?

В самом деле, поднявшись до известного тона экзальтации, относительно которого ее публицисты бывают предупреждены благодаря своей ежедневной привычке *выслушивать* ее, она действует через их посредство точно так же, как манифистирует через них, оказывает давление на государственных людей, которые становятся исполнителями ее воли. Это — то, что называется

могуществом общественного мнения. Правда, что она особенно свидетельствует о могуществе ее вожаков, которые привели ее в движение; но раз тронутая с места, она увлекает их на пути, которых они не предвидели. Таким образом это действие публики есть прежде всего обратное действие на ее публициста; иногда это обратное действие имеет страшную силу; публицист подвергается таким образом давлению публики, вызванному его же возбуждающими действиями.

Впрочем, это действие чисто духовное, каковой в действительности является и сама публика. Так же как и толпу, ее в ее действии вдохновляет любовь или ненависть; но в отличие от действия толпы, ее действие, если оно внушено любовью, часто имеет вид прямой продуктивности, потому что оно более обдуманно и рассчитанно даже в его неистовствах. То добро, которое оно приносит, не ограничивается повседневным проявлением общественной симпатии между индивидуумами, которая возбуждается чувствами духовного соприкосновения, повторяющегося ежедневно. Оно породило некоторые хорошие законы взаимной помощи и милосердия. Если радости и печали публики и не имеют ничего периодического и установленного традицией, то они обладают не меньшим даром утихомиривать вражду и успокаивать сердца, нежели праздники толпы, и нужно благодарить фривольную — я не имею в виду порнографической — прессу за то что, она поддерживает в публике хорошее настроение, способствующее миру. Что же касается публики ненавидящей, то она нам тоже известна, и зло, которое она причиняет или заставляет причинять, далеко превосходит опустошения, производимые разъяренными толпами. Публика — это толпа гораздо менее слепая и гораздо более долговечная, и ярость ее, более осмысленная, накопляется и поддерживается в продолжение целых месяцев и лет.

Поэтому удивительно, что о преступлениях толпы говорили так много, а о преступлениях публики — ничего; без сомнения существует публика преступная, кровожадная, как существует и преступная толпа; и если преступность первых не так очевидна, как преступность вторых, зато насколько она действительнее, утонченнее, глубже, непростительнее! Но обыкновенно опасались только преступлений и злодеяний, совершенных по отношению к публике, той лжи, злоупотребления доверием, настоящих мошенничеств в огромных размерах, жертвой которых часто делается публика по милости своих вожаков. То же следует сказать о преступлениях и злодействах, совершенных по отношению к

толпе, не менее гнусных и, может быть, не менее частых. Лгут избирательным собраниям, выманивают их голоса коварными обещаниями, торжественными предложениями, которые заранее решено не сдержать, придумывают разные позорные клеветы. И толпу обмануть легче, нежели публику, потому что тот оратор, который обманывает ее, чаще всего не имеет противника, тогда как различные газеты в каждый момент служат противоядием одна для другой. Как бы то ни было, но из того что публика может сделаться жертвой настоящего преступления, следует ли еще, что она сама не может быть преступной?

Заговорив о злоупотреблениях доверием, объектом которых является публика, заметим мимоходом, насколько недостаточным является в настоящее время чисто индивидуалистическое понятие *юридического обязательства* в том виде, как юристы понимали его до сих пор; оно требует переделки для того, чтоб отвечать тем социальным переменам, которые произошли в наших нравах и обычаях, благодаря появлению и росту публики. Для того чтобы существовало юридическое обязательство как следствие обещания, необходимо, по общепринятым до сих пор представлениям, чтоб оно было принято тем лицом или теми лицами, к которым оно обращено, что предполагает *личное* отношение к ним. Но это было возможно до книгопечатания, когда людское обещание не шло дальше пределов звука человеческого голоса, и так как в виду узких границ социальной группы, с которой приходилось вступать в деловые сношения, клиент всегда был лично известен поставщику, даримый — дарителю, должник — кредитору, то взаимно обязывающее соглашение могло считаться очевидной и почти исключительной формой обязательства. Но с развитием прессы приходится вступать во всякого рода отношения с лицами все менее и менее определенными, и все более с целой совокупностью людей, к которым обращаются с обещаниями при помощи газеты, в коммерческом деле посредством реклам, в политическом посредством программ. Но беда в том, что эти обещания, даже самые торжественные, представляют собой только *одностороннюю волю*, не скрепленную взаимностью одновременной воли, простые обещания, которые не приняты, не могут быть приняты и ввиду этого лишены всякой юридической санкции[1]. Ничто не может в большей степени благоприятствовать тому, что можно назвать социальным

[1] См. по этому вопросу наше сочинение *Transformations du droit* стр. 116 и 307, а также диссертацию Рене Вормса *Valonté unilatérale.*

разбоем. Можно еще согласиться с тем, что когда дело идет об обещании, данном толпе, его трудно санкционировать юридически в виду скоропреходящего по существу характера толпы, которая собирается только на миг и никогда не возобновляется в том же виде. Мне называли такого кандидата в депутаты, который перед четырьмя тысячами человек поклялся при перебаллотировке снять свою кандидатуру в пользу своего соперника-республиканца, если последний получит больше голосов, чем он. Действительно, обещавший получил меньше голосов, но он не снял кандидатуры и был выбран. Вот что может придать смелости политическим шарлатанам. И я допускаю, что нельзя обязать законом выполнять подобные обещания по той причине, что раз толпа рассеялась, то нет никого, даже лиц, участвовавших в ней, кто бы мог претендовать на звание ее представителя или действовать от ее имени. Но публика — это нечто постоянное, и я не вижу причины, почему после того, как какое-нибудь заведомо ложное сведение было опубликовано в качестве достоверного, и доверчивые читатели были вовлечены в невыгодную спекуляцию, разорились благодаря этой коварной, своекорыстной, продажной лжи — почему они не в праве предать суду надувшего их плута-публициста с целью заставить его отдать отнятое? Может быть, тогда публичный характер лжи, вместо того чтобы быть, как в настоящее время, смягчающим или оправдывающим вину обстоятельством, считался бы тем более отягчающим вину, чем многочисленнее была обманутая публика[1]. Непостижимо, как писатель, который постыдился бы лгать в частной жизни, лжет бесстыдно, с легким сердцем сотне тысяч, пятистам тысячам человек, которые его читают, и как многие, зная это, продолжают считать его честным человеком.

Но оставим этот вопрос о праве и возвратимся к преступлениям и злодействам публики. Что есть публики безумные, — это не подлежит сомнению; такова была, наверно, афинская публика, когда она несколько лет тому назад принуждала свое правительство объявить Турции войну.

Не менее достоверно и то, что существует публика преступная: разве не было министерств, которые под давлением публики, господствующей прессы должны были — не желая пасть с честью — внести законы, отдающие на преследование и грабеж

---

[1] Есть виды публики, как и собрания, которые тем способнее поддаться обману, чем они многочисленнее, что прекрасно известно фокусникам.

ту или другую категорию граждан? Конечно, преступления публики имеют на вид меньшую окраску жестокости, нежели преступления толпы. Они разнятся от преступлений толпы четырьмя свойствами: во-первых, они носят менее отталкивающий характер; во-вторых, они проистекают не столько из мстительных, сколько из своекорыстных целей, они менее жестоки, но более коварны; в-третьих, их давление более широкое и продолжительное и, наконец, в-четвертых, им еще более обеспечена безнаказанность.

Если хотите найти типичный пример преступлений толпы, то *Революция* Тэна даст их нам слишком много. В сентябре 1789 года в Труа создается легенда против мэра Гюэца: он *скупщик*, он хочет *кормить народ сеном*.

Гюэц был человек известный своей благотворительностью, он оказал большие услуги городу. Но что в том? 9 сентября три повозки с мукой оказываются плохими, народ собирается и кричит: «Долой мэра. Смерть мэру!» Гюэц, вышедший из суда, был сбит с ног, умерщвлен ударами ног и кулаков; голова его была пробита ударом деревянного башмака. Одна женщина бросается на распростертого на земле старца, топчет лицо его ногами и несколько раз втыкает ему в глаза ножницы. Его волокут, привязав ему веревку на шею, до моста, бросают в соседний брод, потом опять вытаскивают и снова тащат по улицам в реку «*с клочками сена во рту*». Затем следует разграбление и разрушение домов, и у одного нотариуса «было унесено и выпито более шестисот бутылок»[1].

Эти коллективные убийства, очевидно, не были внушены алчностью, подобно зверствам наших или революционных публик, которые в ту же эпоху посредством своих газет, посредством своих терроризированных представителей заставляли писать проскрипционные листы или вотировать законы о конфискации, чтобы забрать имущество своих жертв. Нет, они внушены чувством мести подобно убийствам целых семей у диких племен или потребностью покарать за преступления действительные или воображаемые подобно американским судам по закону Линча. Во все времена и во всех странах убивающая или грабящая толпа считает себя судьей, и тот короткий суд, который она учиняет, странно напоминает по мстительному характеру наказаний, по

[1] Революция, т. 1, стр. 88. В ту же самую эпоху толпа поступила еще хуже в Кане: майор Бельсэнс был разорван на куски, как Лаперуз на островах Фиджи, и одна женщина съела его сердце.

их неслыханной жестокости, даже по их символизму — как это показывает клочок сена во рту Гюэца — правосудие первобытных времен. В сущности говоря, можно ли назвать преступной толпу, доведенную до безумия уверенностью, что ее предают, что ее хотят заморить голодом, истребить? Если и есть здесь преступник, то это только подстрекатель или группа подстрекателей, виновник или виновники издевательств над убитыми. Большое извинение для толпы в ее худших крайностях — это ее чудовищное легковерие, напоминающее веру загипнотизированного. Публика отличается гораздо меньшим легковерием, и ее ответственность поэтому тем более велика. Люди, собравшиеся вместе, гораздо легковернее, чем каждый из них, взятый в отдельности, так как один тот факт, что их внимание сосредоточено на одном предмете наподобие коллективного *моноидеизма*, приближает их к состоянию сна или гипноза, когда поле сознания, удивительно суженное, целиком захватывается первой идеей, которая представится ему. Тогда всякое утверждение, высказанное уверенным и сильным голосом, так сказать, несет с собой свое доказательство. Во время войны 1870 г., после наших первых поражений, разнесся слух во многих деревнях, что некоторые из крупных собственников н некоторые священники посылали огромные суммы пруссакам — по сто, по двести тысяч франков. Это говорилось о людях очень почтенных и вместе с тем очень задолжавших, которые с трудом могли бы достать себе десятую часть этих денег. У некоторых из них были сыновья под знаменами.

Однако эти злобные басни не нашли бы доверия у крестьян, если бы они жили рассеянными на полях; но собравшись на ярмарках или на рынках, они вдруг поверили этим гнусным нелепостям, и готфейское злодеяние было кровавым свидетельством этого легковерия.

Толпы не только легковерны, они безумны. Многие из свойств, отмеченные нами у них, общи с душевнобольными в наших лечебницах: преувеличенная гордость, нетерпимость, неумеренность во всем.

Они доходят всегда, как сумасшедшие, до двух крайних полюсов или возбуждения, или упадка духа, они то героически неистовы, то уничтожены паникой. У них бывают настоящие коллективные галлюцинации: людям, собравшимся вместе, кажется, что они видят и слышат такие вещи, которых они не видят и не слышат, каждый в отдельности. И когда толпы уверены, что их преследуют воображаемые враги, их вера основана на

логике безумца. Подобный ярый пример мы находим у Тэна. В конце июля 1789 года, когда толчок национальных волнений вызвал везде, на улицах, на площадях буйные собрания, вдруг стал распространяться слух, мало-помалу охвативший всю область Ангумуа, Перигора, Оверня, будто идут десять тысяч, двадцать тысяч разбойников; их уже видели, вон на горизонте они поднимают уже пыль, они идут с намерением все разграбить, всех зарезать. «Услыхав это, целые округа спасаются ночью в леса, покидая свои дома, унося свое имущество». Но вот истина обнаруживается. Беглецы возвращаются в свои селения. Тогда они начинают рассуждать совершенно так, как рассуждают одержимые манией преследования, которые, ощущая в себе чувство страха, болезненного по происхождению, воображают врагов для его оправдания. «Так как мы поднялись, — говорят они, — это значит, что нам грозила гибель, и *если нам не грозит опасность со стороны разбойников, она грозит с другой стороны*». С другой стороны — это значит со стороны воображаемых заговорщиков. И в результате слишком реальные преследования.

Значит ли это, что коллективные преступления существуют только по названию? И приходится ли только рассматривать индивидуальные преступления вожаков? Это значило бы зайти слишком далеко и довести до крайности относительную справедливость предыдущих рассуждений. Когда толпа в римском цирке для своего удовольствия приказывала знаком умертвить побежденного гладиатора, не была ли она кровожадна и преступна, несмотря на то, что сила наследственного обычая смягчает отчасти ее вину? Впрочем, есть толпы, родившиеся преступными, а не сделавшиеся таковыми случайно, толпы, настолько же преступные, насколько и их вожаки, которых они избрали потому, что они были похожи на них: это толпы, состоящие из злодеев, которых соединило вместе тайное сродство, и испорченность которых от этого соединения дошла до экзальтации, до такой степени экзальтации, что они, в сущности говоря, являются не столько преступниками, сколько преступными безумцами, прилагая к коллективной преступности выражение, заимствованное из индивидуальной преступности. *Преступный сумасшедший*, этот опасный и отталкивающий безумец, который совершает насилия и убивает вследствие болезненного импульса, но болезненность которого является не столько уклонением, сколько чрезмерным усилением склонностей его нормального характера, его натуры, лживой, эгоистической и злой, — этот безумец реализуется в больших размерах в коллективной форме, когда в

смутные времена каторжники, вырвавшиеся из острога, предаются кровавым оргиям.

Как далека от всего этого преступления публика! Публика бывает преступной более из партийной выгоды, нежели из мести, из трусости, нежели из жестокости; она террористична из боязни, а не под влиянием вспышки гнева. Особенно она способна на преступную снисходительность по отношению к своим вождям, на manutengolismo, как говорят итальянцы. Но к чему заниматься ее преступлениями; ведь она — общественное мнение, а мнение, повторяем еще раз, самодержавно, и, как таковое, не подлежит ответственности! Эти преступления можно преследовать только тогда, когда они являются в виде попытки, но не совершены еще; и, опять-таки, их можно преследовать в лице тех публицистов, которыми они были внушены, или в лице предводителей толпы, порожденной публикой и совершающей эти попытки. Что же касается самой публики, то она остается в тени, неуловимой, ожидая удобного момента начать все снова. Чаще всего, когда какая-нибудь толпа совершает преступление — начиная с парламентов этих полукорпоративных толп, показавших свое единомыслие со столькими деспотами, — позади нее скрывается публика, которая возбуждает ее. Разве избирательная публика, выбравшая в депутаты сектантов и фанатиков, не причастна к их беззакониям, к их посягательствам на свободу, имущество и жизнь граждан? Разве не избирает она их часто вторично и этим самым не дает опору их беззакониям? Но не только избирательная публика является соучастницей преступлений. Публика, даже не избирательная, на вид чисто пассивная, на деле действует посредством тех, кто старается подслужиться к ней, снискать ее расположение. Почти всегда именно в сообщничестве с преступной публикой — с того времени как публика стала нарождаться — совершались величайшие исторические преступления: Варфоломеевская ночь — весьма вероятно, преследования протестантов при Людовике XIV — несомненно, и немало других! Сентябрьская резня сопровождалась восторженным одобрением известной публики, и без этой публики, без ее поощрения, этой резни не случилось бы. Стоящие на низшей ступени преступлений выборные мошенничества, в том виде, как они в изобилии и смело практикуются в некоторых городах, не являются ли групповыми преступлениями, совершаемыми при более или менее сознательном соучастии целой публики? Вот общее, или приблизительно общее правило: за преступной толпой скрывается еще более преступная публика, а во главе этой

последней — еще более преступные публицисты. Сила публицистов зависит прежде всего от того, что они по инстинкту знают психологию публики. Они знают, что ей по вкусу и что не по вкусу; они знают, например, что можно безнаказанно позволить себе по отношению к ней смелость порнографических изображений, которую не вынесла бы толпа; театральные толпы отличаются коллективной стыдливостью, противоположной индивидуальному цинизму тех людей, из которых они состоят[1], и эта стыдливость отсутствует у специальной публики известных журналов. Можно даже сказать, что эта публика представляет собою коллективное бесстыдство, составленное из элементов относительно стыдливых. Но в качестве ли публики или толпы, все собрания похожи, к сожалению, друг на друга в одном отношении: в их прискорбной склонности подвергаться взрывам страсти и ненависти. Для толпы потребность ненавидеть соответствует потребности действовать. Возбуждение в ней энтузиазма не поведет далеко; но дать ей повод и предмет ненависти — значит дать толчок ее деятельности, которая, как нам известно, по существу, имеет разрушительный характер, поскольку она выражается в определенных действиях. Отсюда успех проскрипционных списков во время восстаний. Головы или голов требует разъяренная толпа. Деятельность публики, по счастью, не так односторонняя, и она обращается в сторону идеала реформ или утопий с такой же легкостью, как и в сторону идей остракизма, преследований и расхищения. Но, обращаясь к природной злобности публики, ее вдохновители легко ведут ее самое к своим злым целям. Открыть или изобрести новый значительный предмет ненависти для публики — это одно из наиболее верных средств стать в ряды царей журнализма. Ни в какой стране, ни в какие времена защита не имела такого успеха, как поношение.

Но мне не хотелось бы кончить на этой пессимистической мысли. Я склонен, невзирая ни на что, верить, что те глубокие социальные преобразования, которыми мы обязаны прессе, совершились в целях конечного объединения и умиротворения.

---

[1] Толпа представляет собою иногда также пример коллективной честности, составленной из собранных вместе нечестных элементов. В 1720 году, после горячки финансовых спекуляций, английский парламент, «члены которого почти все участвовали лично в этом разгульном ажиотаже, заклеймил его и возбудил преследование против главных его деятелей за развращающее действие на общественных чиновников» (Claudio Jannet, *Le Capital*).

Заменяя собою более древние группировки или наслаиваясь на них, новые группировки, как мы видели, носящие название публики, охватывающие все больший район и приобретающие все большую плотность, не только заменяют царством моды царство обычая, новизной — традицию; резкие и несокрушимые подразделения между многочисленными разновидностями человеческой ассоциации с их бесконечными конфликтами они заменяют неполным и изменчивым делением с неясными границами, беспрестанно возобновляющимися и взаимно проникающими друг в друга. Таково, кажется мне, должно быть заключение этого длинного исследования.

Но я прибавляю, что было бы глубокой ошибкой приписывать коллективностям, даже в их наиболее духовной форме, честь человеческого прогресса. Всякая плодотворная инициатива в конце концов исходит от индивидуальной мысли, независимой и сильной; и для того, чтобы мыслить, нужно изолировать себя не только от толпы, как говорит Ламартин, но и от публики. Это-то именно и забывают великие сторонники народа, взятого в целом, и они не замечают некоторого рода противоречия, которое заключается в их аналогии. Они проявляют удивление к великим деяниям, так называемым анонимным и коллективным деяниям, только для того, чтобы выразить свое презрение к индивидуальным гениям кроме своего собственного. Также заметим, что эти знаменитые поклонники одних масс, презиравшие всех людей, в отдельности были чудовищами гордости. После Шатобриана и Руссо никто, может быть, более Вагнера, если не считать Виктора Гюго, не проповедовал так сильно теорию, по которой «народ есть двигатель искусства», а «изолированный индивидуум сам не мог бы ничего изобрести, он может только присвоить себе общее изобретение». Это одно из тех коллективных восхищений, которые не льстят ничьему самолюбию, как безличные сатиры, которые никого не обижают, потому что они неясно обращены ко всем вместе.

Опасность новых демократий кроется в постоянно возрастающей для мыслящих людей трудности не поддаться власти соблазнительной агитации. Трудно погружаться в водолазном колоколе в сильно взволнованное море. Направляющими индивидуальностями, которых выдвигает наше современное общество, являются, все более и более, писатели, находящиеся с ним в беспрестанном соприкосновении; и то могущественное действие, которое они производят, — конечно более желательное по сравнению с ослеплением толпы, не имеющей вождя, — является

опровержением теории созидающих масс. Но этого недостаточно, и так как недостаточно распространять повсюду среднюю культуру, а нужно прежде всего поднимать вверх высшую культуру, то мы можем с Сомнером Мэном уже подумать об участи, ожидающей в будущем последних *интеллектуалов*, долговременные заслуги которых не бросаются в глаза. Население горных местностей не срывает гор и не превращает их в земли, годные для обработки, в виноградники или в поля, засеянные люцерной, отнюдь не вследствие сознания заслуг, оказываемых этими естественными водохранилищами; это зависит просто от стойкости горных вершин, от твердости их вещества, взорвать динамитом которое стоить слишком дорого. А интеллектуальные и художественные вершины человечества спасут от разрушения и демократической нивелировки, боюсь, не признательность за добро, оказанное ими миру, не справедливое уважение к ценности их открытий. Что же спасет их?.. Хотелось бы думать, что это будет сила их сопротивления. Горе им, если они дойдут до измельчания.

# ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ И РАЗГОВОР

## МНЕНИЕ

### I

Мнение для публики в наше время есть то же, что душа для тела, и изучение одной естественно ведет нас к другому. Мне возразят, что во все времена существовало общественное мнение, тогда как публика в смысле, установленном нами, довольно недавнего происхождения. Это верно, но мы сейчас увидим, к чему сводится значение этого возражения. Что такое общественное мнение? Как оно рождается? Каковы его личные источники? Каким образом в своем росте выражается оно и в своем выражении растет, как то показывают современные способы его выражения, всеобщая подача голосов и журнализм? Какова его плодотворность и его общественное значение? Как оно преобразуется? И к какому общему устью, если существует таковое, стремятся его многочисленные потоки? На все эти вопросы мы попытаемся по возможности ответить.

Прежде всего следует заметить, что в слове *мнение* обыкновенно смешиваются два понятия, которые, правда, спутанны, но которые должен различать тщательный анализ: мнение в собственном смысле слова — совокупность суждений, и общая воля — совокупность желаний. Здесь мы займемся мнением, взятым преимущественно, но не исключительно в первом из этих двух значений.

Как бы ни было велико значение общественного мнения, не нужно преувеличивать его роли, несмотря на то что в наше время оно является наводняющим потоком. Постараемся установить предел сферы его господства. Его не нужно смешивать с двумя другими фракциями общественного духа, которые одновременно питают и ограничивают его, которые находятся в беспрерывной борьбе с ним из-за этих пределов. Одна из них — это традиция,

накопленный и сгущенный экстракт из того, что составляло мнение умерших, наследие необходимых и спасительных предубеждений, часто тягостных для живущих. Другая — это та, которую я позволю себе назвать собирательным и сокращенным именем — разумом. Я разумею под этим относительно рациональные, хотя часто безрассудные личные суждения избранных, которые изолируются, и мыслят, и выходят из общего потока, чтобы служить для него плотиной или направлять его. Священники в прежние времена, философы, ученые, правоведы, соборы, университеты, судебные учреждения — являются поочередно или одновременно воплощением этого устойчивого и направляющего разума, который редко отличается и от страстных и стадных увлечений масс, и от двигателей или вековых принципов, заложенных в глубине их сердца. Хотелось бы прибавить к этому перечню парламенты, палаты или сенаты. Не избраны ли их члены именно для того, чтобы решать дела в полной независимости и служить для обуздания общественного бега? Но действительный ход вещей далеко не соответствует идеалу.

Прежде чем приобрести общее мнение и сознать его таковым, индивидуумы, составляющие нацию, сознают, что обладают общей традицией и сознательно подчиняются решениям разума, который считается высшим. Таким образом, из этих трех разветвлений общественного духа мнение начинает развиваться последним, но быстрее всего увеличивается, начиная с известного момента; и оно увеличивается в ущерб двум другим. Против его периодических приступов не устоит ни одно национальное установление; нет такого индивидуального разума, который бы не задрожал и не смутился перед его угрозами или требованиями. Которому же из этих двух соперников мнение делает больше зла? Это зависит от его главарей. Когда они принадлежат к разумным избранникам, им удается иногда сделать из мнения как бы таран, для того чтобы пробить брешь в традиционной стене и расширить ее, разрушая, что не лишено опасности. Но когда главенство в толпе предоставлено кому попало, им легче, опираясь на традицию, восстановить мнение против разума, который, однако, в конце концов торжествует.

Все шло бы к лучшему, если бы мнение ограничивалось вульгаризацией разума, для того чтобы посвятить его в традицию. Сегодняшний разум, таким образом, становился бы завтрашним мнением и послезавтрашней традицией. Но мнение, вместо того чтобы служить связующим звеном между своими двумя соседями,

любит принимать участие в их распрях и, то упиваясь новыми модными доктринами, разрушает привычные идеи и установления, прежде чем получит возможность заменить их, то под властью обычая изгоняет или угнетает разумных новаторов, или насильно принуждает их одеть традиционную ливрею, принуждает к лицемерному переодеванию.

Эти три силы разнятся друг от друга сколько по своей природе, столько же и по своим причинам и следствиям. Они действуют все вместе, но слишком неравномерно и слишком изменчиво для того, чтобы составить ценность вещей; и ценность бывает совершенно иная, смотря по тому, будет ли она прежде всего делом привычки, или делом моды, или делом рассуждения. Дальше мы покажем, что разговор во все времена и главный источник разговора в наше время, пресса, являются важными факторами мнения, не считая, разумеется, традиции и разума, которые никогда не перестают принимать в нем участие и оставлять на нем свой отпечаток. Факторы[1] традиции, кроме самого мнения, — суть семейное воспитание, профессиональное обучение и школьное преподавание, по крайней мере в том, что в них есть элементарного. Разум в тех обществах, где он культивируется, юридических, философских, научных и даже экклезиастических, имеет своими характеристическими источниками наблюдение, опыт, расследование или, во всяком случае, рассуждение, вывод, основанный на текстах.

Борьба или союз этих трех сил, их столкновение, их взаимное овладение друг другом, их взаимное действие, их многочисленные и разнообразные отношения — все это представляет собой один из самых жгучих вопросов истории. В социальной жизни нет ничего столь органического, плодотворного, как эта продолжительная работа противодействия и приспособления, часто носящих кровавый характер. Традиция, остающаяся всегда национальной, более сжата в неподвижных границах, но бесконечно глубже и устойчивей, нежели мнение; она легка и скоропреходяща, как ветер, и, как ветер, способна к расширению, всегда стремится стать интернациональной, так же как и разум. Можно сказать вообще, что утесы традиции беспрестан-

---

[1] Это слово — *фактор*, — впрочем, неточно; оно обозначает *канал* или же *источник*. Здесь оно значит *канал*, так как разговор и образование только передают идеи, из которых составляется мнение или традиция. *Источниками* всегда являются индивидуальные инициативы, малые или великие изобретения.

но подтачиваются приливами мнения этого моря без отливов. Мнение тем сильнее, чем менее сильна традиция, но это не значит, что в этом случае разум еще менее силен. В средние века разум, представленный университетами, соборами и судами, обладал гораздо большей, нежели в настоящее время, силой сопротивления общему мнению и был способнее отвергать его; правда, у него было гораздо меньше сил бороться с традицией и реформировать ее. Беда в том, что современное мнение стало всемогущим не только против традиции, элемента, который сам по себе весьма важен, но также и против разума, разума судебного, научного, законодательного, или разума государственного для известного случая. Если оно не наводняет лаборатории ученых — единственное до сих пор неприкосновенное убежище, то оно заливает судилища, потопляет парламенты, и нет ничего тревожнее этого потопа, близкого конца которого ничто не заставляет предвидеть.

Очертив его границы, постараемся точнее определить его.

Мнение, скажем мы, есть кратковременная и более или менее логическая группа суждений, которые, отвечая задачам, поставленным современностью, воспроизведены в многочисленных экземплярах, в лицах одной и той же страны, одного и того же времени, одного и того же общества.

Все эти условия существенно необходимы. Существенно необходимо также и то, чтобы каждое из этих лиц имело более или менее определенное сознание относительно тождественности суждений, которых оно придерживается, с суждениями, которых придерживаются другие; если бы каждое из них считало себя изолированным в своей оценке, то ни одно из них не чувствовало бы себя и не было бы сжато в более тесной ассоциации с подобными себе, бессознательно подобными. Для того же, чтобы это сознание сходства идей могло существовать среди членов какого-нибудь общества, не нужно ли, чтобы причиной этого сходства было провозглашение словесное или письменное, или при помощи прессы, какой-нибудь идеи, сначала индивидуальной, а потом превратившейся постепенно в общее достояние? Превращением индивидуального мнения в мнение общественное, в «мнение», общество обязано было в древности и в средние века публичному слову, в наше время — прессе, но во все времена и прежде всего — частным разговорам, о которых мы вскоре будем говорить.

Говорят — мнение, но бывает всегда два мнения одновременно по поводу каждой возникающей задачи. Только одному из них довольно быстро удается затмить другое своим более стреми-

тельным и более ярким сиянием или же тем, что оно, несмотря на свое меньшее распространение, бывает более шумным[1].

Во всякую эпоху, даже наиболее варварскую, существовало мнение, но оно глубоко разнится от того, что мы называем этим именем. В клане, в трибе, в древнем городе, даже и в городе средних веков все люди знали лично друг друга, и когда, благодаря частным разговорам или речам ораторов, какая-нибудь идея утверждалась в умах, она не представлялась чем-то вроде свалившегося с неба камня безличного происхождения и вследствие этого еще более обаятельной; каждый представлял её себе связанной с тем тембром голоса, с тем лицом, с той знакомой личностью, откуда она к нему пришла, и это придавало ей живую физиономию. В силу той же причины она служила связью только между теми людьми, которые, ежедневно видясь и разговаривая друг с другом, не заблуждались одни насчет других.

Пока протяженность государств не переходила через стены города или, по крайней мере, через границы маленького кантона, мнение, образовавшееся таким образом, оригинальное и сильное, сильное иногда даже против самой традиции, в особенности же против индивидуального разума, играло в управлении людей преобладающую роль, роль хора в греческой трагедии, ту роль, которую современное мнение совершенно другого происхождения стремится в свою очередь завоевать в наших больших государствах или в наших огромных все растущих федерациях. Но в тот необыкновенно длинный промежуток, который разделяет эти две исторические фазы, значение мнения страшно падает, что объясняется его дроблением на местные мнения, не связанные между собой обычной соединительной чертой и игнорирующие друг друга.

В феодальном государстве, каковы Англия или Франция в средние века, каждый город, каждое местечко имело свои внут-

---

[1] Мнение может быть очень распространенным, но оно не *проявляет себя*, если оно умеренно; но как бы ни было мало распространено крайнее мнение, оно резко *проявляет себя*. Таким образом, «манифестации», способ выражения, в одно и то же время весьма удобопонятный и очень ясный, играют огромную роль в слиянии и проникании друг в друга мнений различных групп и в их распространении. Посредством манифестаций именно наиболее крайние мнения всех раньше и всех яснее начинают сознавать свое одновременное существование, и, благодаря этому, их распространение находится в особенно благоприятных условиях.

ренние разногласия, свою отдельную политику и потоки идей или же, скорее, вихри идей, которые кружились на одном месте в этих закрытых местах, столько же разнились друг от друга, сколько были чужды и безразличны друг для друга, по крайней мере в обыкновенное время. Не только в этих отдельных местностях местная политика поглощала все внимание, но даже когда в слабой степени интересовались национальной политикой, ею занимались только между собой, составляли себе только смутное представление о том, каким образом разрешались одни и те же вопросы в соседних городах. Не было «мнения», но были тысячи отдельных мнений, не имеющих никакой постоянной связи между собой.

Эту связь могли образовать только: сперва книга, а затем — с гораздо большей силой — газета. Периодическая пресса позволила этим первоначальным группам единомышленных индивидуумов образовать второстепенный, и вместе с тем высшего порядка агрегат, единицы которого входят в тесное общение между собою, никогда не видев и не знав друг друга. Отсюда вытекают важные различия, и между прочими следующее: в первоначальных группах голоса больше *ponderantur*, чем *numerantur*, тогда как в второстепенной и более обширной группе, которую люди образуют, не видя друг друга, заочно, голоса могут только считаться, но не взвешиваться. Пресса, таким образом, бессознательно способствовала созданию *силы количества* и сокращению силы характера, если не разума.

Этим же самым ударом она уничтожила те условия, которые делали возможной абсолютную власть правителей. Действительно, этой последней в большой мере благоприятствовало дробление мнения по местам. Больше того, она находила в этом свое право на существование и свое оправдание. Что такое представляет из себя страна, различные области которой, города, местечки не объединены коллективным сознанием единства их взглядов? Действительно ли это нация? Не будет ли это только географическое или, в лучшем случае, политическое выражение? Да, это нация, но только в том смысле, что политическое подчинение различных частей государства одному и тому же главе есть уже начало национализации. Например, во Франции времен Филиппа Красивого, за исключением нескольких редких случаев, когда общая опасность выдвигала на первый план раньше всех забот во всех городах, во всех уделах один предмет общей тревоги, совсем не было *общественного духа*, существовал только в разных местах *местный дух*, движимый отдельно от других

своей определенной идеей или своей определенной страстью. Но король посредством своих чиновников имел понятие обо всех этих столь различных душевных состояниях и, соединяя их в себе, объединял их в этом общем знакомстве с ними, служившем основанием для его намерений.

Но это объединение было весьма хрупко, весьма несовершенно; оно давало только одному королю смутное понятие о том, что было общего во всех местных заботах. Его *я* было единственным полем их взаимного проникновения. Когда были собраны генеральные штаты, этим был сделан новый шаг к национализации мнений отдельных областей и кантонов. Эти мнения встречались в мозгу каждого из депутатов, признавали свое сходство или несходство друг с другом, и вся страна, с глазами, обращенными на своих представителей, в слабой степени интересуясь их работами, бес конечно меньше, чем в наши дни, представляла тогда, в виде исключения, зрелище нации, сознающей себя. Но это сознание, временное и исключительное, было весьма смутно, весьма медлительно и темно. Заседания штатов не были публичными. Во всяком случае, за неимением прессы речи не опубликовывались, а за неимением почты даже письма не могли заменить этого отсутствия газет. Словом, из новостей, более или менее обезображенных, переносимых из уст в уста по прошествии недель и даже месяцев пешими или конными путешественниками, бродячими монахами, купцами, было известно, что штаты собрались и что они заняты таким-то и таким-то предметом — вот и все.

Заметим, что члены этих собраний в продолжении коротких и редких моментов своего общения сами образовали местную группу, очаг интенсивного местного мнения, порожденного заражением одного человека от другого, личными отношениями, взаимными влияниями. И именно благодаря этой высшей местной группе, временной, избираемой, низшие местные группы, постоянные, наследственные, состоящие из родственников или друзей по традиции в городах и уделах, чувствовали себя соединенными временной связью.

## II

Развитие почтовых сношений, увеличившее сначала публичную, а затем частную корреспонденцию; развитие путей сообщения, давшее возможность более частого соприкосновения для людей; развитие постоянных войск, позволяющее солдатам из различ-

ных провинций знакомиться и братски объединяться на одних и тех же полях сражений; наконец, развитие придворной жизни, призывавшее в монархический центр нации отборную знать со всех пунктов государства, — все это в значительной степени содействовало развитие общественного духа. Но довести это великое дело до высшей степени развития досталось на долю печатного станка. Пресса, раз дошедшая до фазиса газеты, делает национальным, европейским, космическим все местное, все, что в прежние времена, каково бы ни было его внутреннее значение, оставалось бы неизвестным за пределами весьма ограниченного района.

«Видное преступление» совершено где-нибудь; тотчас же пресса завладевает им, и в продолжение некоторого времени публика Франции, Европы, всего мира только и занята Габриель Бонпаром, Бранцини, или Панамой. Дело Лафаржа относительно «женоубийства», совершенного в глубине одного замка в Лимузене, было одним из первых судебных процессов, получивших благодаря периодической печати, тогда уже возмужалой или, по крайней мере, взрослой, национальное распространение. Полтора века тому назад кто стал бы говорить о подобном деле вне границ Лимузена? Если нам укажут на дело Каласа и другие дела в этом роде, то в них большую роль сыграли широкая известность Вольтера и тот внесудебный интерес, который возбуждал страсти того времени по поводу этих знаменитых процессов: это интерес отнюдь не местный; наоборот, как нельзя более общий, потому что речь шла, справедливо или нет, о судебных ошибках, в которых обвинялись наши учреждения, вся наша магистратура. Можно сказать тоже и о национальном возбуждении, вызванном в другое время делом тамплиеров.

Можно утверждать, что до французской революции не было такого видного преступления против общественного права, которое возбудило бы страстное отношение к себе всей Франции, если оно не носило политического характера и не эксплуатировалось сектантами.

Судебная хроника, — такая, какой мы ее знаем, элемент, к сожалению, столь важный в наши дни для коллективного сознания, для мнения, — судебная хроника приковывает без всякого беспокойства, исключительно вследствие совершенно бескорыстной нескромности или театрального любопытства, в продолжение целых недель все взгляды бесчисленных рассеянных зрителей этого огромного и невидимого Колизея к одной той же судебной драме. Это кровавое зрелище, наиболее неизбежное и

наиболее возбуждающее страсти современных народов, было незнакомо нашим предкам. Наши деды первые начали знакомиться с ним.

Постараемся быть более точными. В большом обществе, разделенном на национальности и подразделенном на провинции, на области, на города, существовало всегда, даже до прессы, интернациональное мнение, пробуждавшееся время от времени; под ним — мнения национальные, также перемежающиеся, но уже более частые; под ними — мнения областные и местные, почти постоянные. Это — слои общественного духа, наложенные один на другой. Только пропорция этих различных пластов в смысле важности, в смысле толщины значительно изменялась, и легко заметить, в каком смысле. Чем более мы углубляемся в прошлое, тем более преобладающее значение имеет местное мнение. Национализировать мало-помалу и даже постепенно интернационализировать общественный дух — такова была работа журнализма.

Журнализм — это всасывающий и нагнетательный насос сведений, которые, будучи получаемы каждое утро со всех пунктов земного шара, в тот же день распространяются по всем пунктам земного шара, поскольку они интересны или кажутся интересными для журналиста, принимая в расчет ту цель, которую он преследует, и ту партию, голосом которой он является. Его сведения, действительно, мало-помалу становятся неотразимым внушением. Газеты начали с того, что выражали мнение, сперва чисто местное, мнение привилегированных групп, двора, парламента, столицы, воспроизводя их толки, их разговоры, их ссоры; они кончили тем, что почти по своему произволу стали направлять и изменять мнение, навязывая речам и разговорам большинство своих ежедневных сюжетов.

## III

Никто не знает, никто не может никогда себе вообразить, насколько газета видоизменила, обогатила и вместе с тем сравняла, *объединила в пространстве* и *придала разнообразие во времени* разговорам индивидуумов, даже тех, которые не читают газет, но которые, болтая с читателями газет, принуждены придерживаться колеи их заимствованных мыслей. Достаточно одного пера для того, чтобы привести в движение миллионы языков.

Парламенты *до прессы* так глубоко разнились от парламентов *после появления прессы,* что кажется, будто у тех и других есть

только общее название. Они разнятся по своему происхождению, по характеру своих полномочий, по своим функциям, по району и силе своего действия. До прессы депутаты кортесов, сеймов, генеральных штатов не могли выражать мнения, которое еще не существовало; они выражали только местные мнения, имеющие, как мы знаем, совершенно другой характер, или национальные традиции. В этих собраниях совершалось не что иное, как простое, без всякой связи сопоставление разнородных мнений, которые касались частных, ничего общего не имеющих между собой вопросов; здесь впервые научались сознавать, возможно или невозможно согласование этих мнений. К этим местным мнениям примешивалось, таким образом, представление друг о друге опять таки чисто местное, заключенное в тесные рамки или проявляющее некоторую интенсивность только в том городе, где происходили эти собрания. Когда этим городом была столица, как Лондон или Париж, его муниципальный совет мог считать себя в праве соперничать в значении с палатой национальных депутатов; этим объясняются даже чудовищные притязания парижской коммуны во время французской революции, когда она нападала или пыталась подчинить себе учредительное собранье, национальное собрание, конвент. Причина заключалась в том, что пресса того времени, лишенная огромных крыльев, прикрепленных к ней позднее железными дорогами и телеграфом, могла привести парламент в быстрое и интенсивное общение только с парижским мнением. В настоящее время всякий европейский парламент благодаря возмужалости прессы имеет возможность постоянно и моментально соприкасаться и находиться в живом взаимном отношении действия и обратного действия с мнением не только одного какого-нибудь большого города, но и всей страны; по отношению к этой последней он служит одновременно одним из главных элементов проявления и возбуждения, является зеркалом выпуклым и зеркалом зажигательным. Вместо того чтобы помещать рядом местные и несходные между собою проявления духа, он заставляет проникать друг в друга многочисленные выражения, изменчивые грани одного и того же национального духа.

Прежние парламенты представляли собою группы разнородных полномочий, относящихся к различным интересам, правам, принципам; новейшие парламенты представляют собою группы однородных полномочий даже и тогда, когда они противоречат одно другому, потому что они имеют отношение к заботам тождественным и сознающим свое тождество. Кроме того, прежние

депутаты не походили друг на друга по своеобразным особенностям способов их избрания, целиком основанных на принципе избирательного неравенства и несходства различных индивидуумов, на чисто личном характере права голоса. Власть количества еще не родилась или не была признана законной; по этой именно причине в совещаниях собраний, избранных таким путем, простое численное большинство никто не считал законной силой.

В государствах наиболее «отсталых» единогласие было обязательным, и волю всех депутатов кроме одного останавливала оппозиция этого единственного несогласного лица. Таким образом, ни при наборе представителей, ни при исполнении ими своих функций закон большинства не был и не мог быть понятен до расцвета прессы и до национализации мнения. После же ее расцвета всякий другой закон кажется немыслимым; всеобщее право голоса, вопреки всем опасностям и нелепостям, которые оно носит в себе, принимается всюду шаг за шагом, в надежде, что оно само в себе заключает способность к реформе; и, несмотря на убедительные возражения, принято, что все должны склоняться перед очень важным решением, вотированным большинством в один только голос.

Всеобщая подача голосов и всемогущество большинства в парламентах сделались возможными только благодаря продолжительному и неуклонному действию прессы, условию *sine qua non* великой нивелирующей демократии, я не говорю о маленькой ограниченной демократии в стенах греческого города или швейцарского кантона.

Теми различиями, которые я только что отметил, объясняется также и суверенитет парламентов, возникший *со времени появления прессы* — суверенитет, на который парламенты *до существования прессы* не думали даже и претендовать. Они могли стать равными королю, затем выше его только тогда, когда они настолько же хорошо, как король, а затем лучше его воплотили национальное сознание, подчеркнули уже народившееся общее мнение и общую волю, выражая их, приобщая их, так сказать, к своим решениям, и стали жить с ними настолько в тесном единении, что монарх не мог настаивать на том, чтобы называться их единственным или наиболее совершенным представителем. Пока эти условия не были выполнены — а они были выполнены в эпоху великих государств только со времени появления журнализма — собрания, носившие в наивысшей степени народный характер даже во время революции, не дошли до того, чтобы убедить народы или убедить самих себя в том, что они распола-

гают верховной властью, и при виде безоружного, ими же побежденного короля они почтительно вступали с ним в мирное соглашение, считали за счастье получить от него, от какого-нибудь, например, Иоанна Безземельного, хартию вольностей, признавая таким образом не в силу предубеждения, а в силу разума, в силу разумности глубокой и скрытой социальной логики необходимость его прерогативы. Монархии до прессы могли и должны были быть более или менее абсолютными, неприкосновенными и священными, потому что они представляли собою все национальное единство; с появлением прессы они уже не могут быть таковыми, потому что национальное единство достигается вне их и лучше, чем посредством их. Между тем они могут существовать, но настолько же отличаясь от прежних монархий, насколько современные парламенты отличаются от парламентов прошлого. Высшей заслугой прежнего монарха было то, что он *устанавливал* единство и сознание нации; теперешний монарх имеет право на существование только в том смысле, что он *выражает* это единство, установленное вне его при помощи постоянного национального мнения, сознающего само себя, и применяется или приспособляется к нему, без того чтобы покоряться ему.

Чтобы покончить с социальной ролью прессы, заметим, что великому прогрессу периодической прессы мы преимущественно обязаны более ясным и более обширным размежеванием, новым и сильнее выраженным чувством национальностей, что характеризует в смысле политическом нашу современную эпоху. Не печать ли взрастила наравне с нашим интернационализмом наш национализм, который представляется его отрицанием и мог бы быть только его дополнением? Если возрастающий национализм вместо уменьшающегося лоялизма сделался новой формой нашего патриотизма, не следует ли приписать это явление той же самой страшной и плодотворной силе? Нельзя не подивиться при виде того, что, по мере того как государства смешиваются друг с другом, подражают друг другу, ассимилируются и морально объединяются друг с другом, разграничение национальностей углубляется, и их противоречия кажутся непримиримы. На первый взгляд нельзя понять этого контраста националистического XIX века с космополитизмом предыдущего века. Но этот результат, на вид парадоксальный, является наиболее логическим. В то время как ускорялся и умножался обмен товарами, идеями, всякого рода примерами между соседними или удаленными друг от друга народами, обмен идеями, в частности, прогрессировал еще быстрее, благодаря газетам, среди индивидуумов каждого народа,

говорящих на одном и том же языке. Насколько уменьшилось от этого *абсолютное* различие между нациями, настолько увеличилось от этого их относительное и сознательное различие. Заметим, что географические границы национальностей в наше время стремятся все более и более слиться с границами главных языков. Есть государства, где борьба языков и борьба национальностей слились воедино. Причина этого та, что национальное чувство оживилось, благодаря журнализму, и сила света газет прекращается на границах того наречия, на котором они написаны.

Влияние книги, которое предшествовало влиянию газеты, и которое в XVIII, как и в XVII веках было преобладающим, не могло произвести тех же последствий: если книга так же давала почувствовать всем, кто читал её на одном и том же языке их филологическое тождество, то здесь дело шло не о *злободневных* вопросах, одновременно возбуждающих общие страсти. Национальное существование в большой степени засвидетельствовано литературой, но только газеты зажигают национальную *жизнь*, поднимают совокупные движения умов и желаний своим ежедневным грандиозным течением. Вместо того, чтобы подобно газете исчерпывать свой интерес в конкретной злободневности своих сообщений, книга пытается заинтересовать прежде всего *общим* и отвлеченным характером тех идей, которые она предлагает. Значит, она, как сделала наша литература XVIII века, более способна вызвать общечеловеческое, чем национальное или даже интернациональное течение. Интернациональный и общечеловеческий — две вещи разные: европейская федерация, в том виде, в каком наши интернационалисты могут составить о ней себе определенное представление, не имеет ничего общего с «человечеством», обожествленным энциклопедистами, идеи которых по этому вопросу догматизировал Огюст Конт. Следовательно, мы имеем основание думать, что космополитический и отвлеченный характер тенденций общественного духа в момент, когда разразилась революция 1789 г., связан с перевесом книги над газетой в качестве воспитателя общественного мнения.

# РАЗГОВОР

## I

Мы окинули сейчас первым взглядом, беглым и торопливым, интересующий нас предмет, чтобы дать понятие о его сложности. Определив мнение, мы особенно подробно остановились на том, чтобы показать его отношение к прессе. Но пресса является только одной из причин мнения, и одной из наиболее новых. Если мы изучили ее прежде всего, то это потому, что она виднее всех. Но теперь следует изучить, и гораздо пространней, так как это поле еще не исследовано, тот фактор мнения, который мы уже признали за наиболее постоянный и наиболее универсальный, этот маленькой невидимый источник мнения, изменчивые струи которого текут во все времена и во всяком месте: — это разговор. Прежде всего разговор избранных. В одном письме Дидро к Неккеру в 1775 г. я нахожу следующее весьма верное определение: «Мнение, этот двигатель, сила которого как для добра, так и для зла нам хорошо известна, ведет свое происхождение только от небольшого количества людей, которые говорят, после того как они думали, и которые беспрестанно образовывают в различных пунктах общества просветительные центры, откуда продуманные заблуждения и истины постепенно расходятся до самых последних пределов города, где они утверждаются в качестве догматов веры». Если бы люди не разговаривали между собой, газеты могли бы появляться сколько угодно (хотя, ставя такую гипотезу, было бы непонятно их появление), и они не оказывали бы продолжительного и глубокого влияния на умы, они представляли бы собой как бы вибрирующую струну без гармонической деки; наоборот, за неимением газет и даже речей, разговор, если б он был в состоянии прогрессировать без этой пищи, что тоже трудно допустить, мог бы со временем заменить до известной степени социальную роль трибуны и прессы в качестве образователя мнения.

Под разговором я разумею всякий диалог, не имеющий прямой и непосредственной пользы, когда говорят больше для того, чтобы говорить, для удовольствия, для развлечения, для

вежливости. Такое определение исключает из интересующего нас предмета и судебные допросы, и дипломатические или коммерческие переговоры, и соборы, и даже научные конгрессы, хотя они и изобилуют излишней болтовней. Оно не исключает светского флирта, ни вообще любовной болтовни, несмотря на часто сквозящую сквозь нее цель, которая, однако, не мешает ей быть интересной самой по себе. Оно подразумевает, впрочем, все парадные разговоры даже между варварами и между дикарями. Если бы я занимался только вежливым и культурным разговором, как особенным родом искусства, я не должен был бы восходить, по крайней мере, с античной, классической эпохи выше XV в. в Италии, XVI или XVII в. во Франции и в Англии и XVIII в. в Германии. Но гораздо раньше, чем распустился этот эстетический цветок цивилизации, его первые бутоны начали показываться на дереве языков; и хотя они менее плодотворные в смысле видимых результатов, нежели разговоры избранных, отрывистые беседы первобытных народов все-таки имеют важное социальное значение.

Если не считать дуэли, человек наблюдает другого человека с высшей доступной ему силой внимания только при условии разговора с ним. Вот наиболее постоянное, наиболее важное и наименее замеченное следствие разговора. Это — апогей *самозарождающегося внимания*, которое[1] люди взаимно выказывают по отношению друг к другу и посредством которого они проникают друг в друга бесконечно глубже, чем при каких-либо других социальных отношениях, заставляя их стоять лицом к лицу. Разговор заставляет их входить в сближение друг с другом путем настолько же неотразимым, насколько и бессознательным. Следовательно, он является самым могущественным деятелем подражания, распространения чувств, идей, способов действия. Увлекательная речь, заслужившая всеобщее одобрение, часто бывает менее зажигательна, потому что она открыто претендует быть таковой. Собеседники действуют один[2] на другого на очень близ-

---

[1] Всем известны ясные и глубокие этюды М. Рибо о «самозарождающемся внимании», важное значение которого он показал.

[2] Деспоты знают это очень хорошо. Они заботливо и недоверчиво наблюдают за беседами своих подданных и, насколько возможно, препятствуют им болтать между собой. Хозяйки деспотических домов не любят, чтоб их прислуга болтала с чужой прислугой, так как они знают, что, благодаря этому, они «поднимают голову». Со времен Катона Старшего римские женщины стали собираться вместе, чтобы поболтать, и

ком расстоянии не только словами, но и тембром голоса, взглядом, физиономией, жестами, влияющими как магнетические пассы. Про хорошего собеседника вполне справедливо говорят, что он *чародей* в магическом смысле этого слова. Характерной чертой разговоров по телефону, где недостает большинства из этих элементов интересности, является их скучность, когда они не носят чисто утилитарного характера.

Набросаем как можно более кратко психологию или, скорее, если можно так выразиться, социологию разговора. Каковы его видоизменения? Каковы были его последовательные фазы, его история, его эволюция? Каковы его причины и его следствия? Каковы его отношения к социальному миру, к любви, к преобразованиям языка, к нравам, к литературе? Каждый из этих вопросов, касающихся предмета столь обширного, потребовал бы целой книги. Но мы не можем претендовать на то, чтобы совершенно исчерпать его.

Разговоры сильно разнятся сообразно с натурой собеседников, со степенью их культурности, с их социальным положением, с их происхождением, деревенским или городским, с их профессиональными привычками, с их религией. Они разнятся по трактуемым предметам, по тону, по церемониалу, по быстроте речи, по длительности. Была измерена средняя быстрота ходьбы пешеходов в различных столицах мира, и опубликованные статистические данные показали, что эта быстрота далеко не одинакова в них, но неизменна в каждом городе. Я убежден, что если бы сочли нужным, то могли бы так же точно измерить быстроту речи, свойственную каждому городу, и ее нашли бы далеко не одинаковой для различных городов, точно так же, как и для различных полов. Кажется, что по мере того, как люди более цивилизуются, они ходят и говорят быстрее. В своем «*Путешествии в Японию*» Бельсор отмечает «*медленность японских разговоров*, кивание головой, неподвижность тел, сидящих вокруг их маленькой жаровни». Все путешественники также замечали медленность речи у арабов и у других первобытных народов. Будут ли народы в будущем говорить медленно или быстро? По всей вероятности, будут говорить быстро, но, по-моему

---

суровый цензор взглянул дурным оком на эти маленькие женские кружки, на эти опыты феминистских салонов. В советах своему управителю он, между прочим, говорит относительно жены: «Пусть она боится тебя, пусть она не слишком любит роскошь и пусть как можно реже видит своих соседок или других женщин».

мнению, стоило бы разработать с цифровой точностью эту сторону интересующего нас предмета, изучение которого стояло бы в связи с чем-то вроде социальной психофизики. В настоящий момент для этого существует недостаточное количество данных.

Разговор бывает совершенно другого тона, даже совершенно иной быстроты между низшим и высшим, и между равными — между родственниками и между чужими, между лицами одного пола, и между мужчинами и женщинами. Разговоры в маленьких городах между согражданами, связанными между собой наследственной приязнью, бывают и должны быть совершенно непохожи на разговоры в больших городах между образованными людьми, которые знают друг друга очень мало. Как одни, так и другие говорят о том, что составляет для них наиболее известный и наиболее общий предмет в смысле идей. Только то, что для последних в этом отношении является общим, бывает у них также общим с массой других лиц, потому что они лично мало знакомы друг с другом: отсюда их наклонность говорить о предметах общих, спорить относительно идей, имеющих общий интерес. Но у первых нет таких идей, которые были бы для них более общими и более известными, чем частная жизнь и характер других знакомых им лиц: отсюда их склонность к сплетням и к злословию. Если в культурных столичных кругах злословят меньше, то это отнюдь не потому, что там меньше злости и желания злословить; но оно не находит для себя достаточно пригодного материала, если только, как это часто случается, оно не изливается на видных политических деятелей или на театральных знаменитостей. Эти *общественные пересуды*, впрочем, превосходят частные пересуды, которые они собой заменяют, только в том отношении, что они, к сожалению, интересуют большее количество людей.

Оставляя в стороне многие второстепенные различия, будем различать прежде всего разговор — борьбу и разговор, — обмен мыслей, спор и взаимный допрос. Как мы увидим, второй, несомненно, идет по пути развития в ущерб первому. Точно так же бывает и в ходе жизни индивидуума, который, обнаруживая стремление к спору и к борьбе в своей юности и молодости, избегает противоречия и ищет согласия мыслей по мере приближения к старости.

Будем различать также разговор обязательный — церемониальный, установленный и ритуальный, и разговор произвольный. Этот последний, вообще, происходит только между равными, а равенство людей благоприятствует его развитию, содействуя сокращению области первого. Нет ничего более смешного — если не

объяснять это исторически, — как обязательство, налагаемое декретами на чиновников, приличиями на частных лиц, делать или наносить друг другу периодические визиты, в продолжение которых, сидя вместе, они принуждены полчаса или целый час мучительно изощрять свой ум на то, чтобы разговаривать, и ничего не сказать друг другу или говорить то, чего они не думают, и не говорить того, что они думают. Такое принуждение, принятое во всем мире, может стать понятным только тогда, когда мы поднимемся до его происхождения. Первые визиты, делавшиеся высокопоставленным лицам, начальникам их подчиненными, сюзеренам их вассалами, имели своим главным предметом подношение подарков, сначала произвольное и неправильное, затем обычное и периодическое, что на многочисленных примерах показал Герберт Спенсер, и в то же время было естественно, что эти визиты давали случай для беседы, более или менее краткой, состоявшей из преувеличенных восхвалений, с одной стороны, и из покровительственной благодарности — с другой[1]. Здесь разговор является только аксессуаром подарка, и в этом же смысле он еще понимается многими крестьянами более захолустных областей в их отношениях с лицами высшего класса. Мало-помалу эти два элемента древних визитов разобщились друг с другом, подарок превратился в подать, а беседа развивалась отдельно, но сохраняя даже между равными кое-что из своего прежнего церемониального характера. Отсюда эти торжественные формулы и формальности, которыми начинается и кончается всякий разговор. При всем своем разнообразии, они все сводятся к проявлению живейшей заботы о драгоценном существовании того, с кем говорят, или сильнейшего желания вновь увидаться с ним. Эти формулы и эти формальности, хотя и сокращаются, но продолжают быть постоянной рамкой разговора и кладут на него печать настоящего социального учреждения.

---

[1] Обычай визитов и обычай подарков связаны между собой; вероятно, визит был только необходимым следствием подарка. Словом, визит есть пережиток; подарок был вначале его правом на существование, и визит пережил его. Впрочем, от него кое-что еще осталось, и в деревнях многих стран, когда идут с визитом к людям, у которых есть дети, существует обычай приносить конфеты и лакомства. Приветствия в прежние времена должны были просто только сопровождать подарок, так же как и визиты. И точно также, после исчезновения обычая подарков, приветствия сохранились, но мало-помалу стали *взаимными* и превратились в *разговор*.

Другим началом обязательных разговоров должна была послужить глубокая скука, которую испытывали в одиночестве первобытные люди и вообще все не читающие во время своего досуга. Человек низшего класса тогда считал своим долгом, даже без подарка в руках, пойти для компании к высшему и поговорить с ним, чтобы развлечь его. Как этим, так и вышеупомянутым происхождением разговора без труда объясняется то обстоятельство, что обязательная беседа перешла в ритуальную форму.

Что же касается произвольных разговоров, то их источник заключается в человеческой общительности, которая во всякое время выливается в свободных речах, когда встречаются люди равного положения и товарищи.

## II

Затронув вопрос об эволюции разговора, не следует ли исследовать еще глубже его первоначальные зародыши? Без всякого сомнения следует, хотя я не стану восходить до животных обществ, до чириканья воробьев на деревьях, до тревожного карканья воронов в воздухе. Но можно без боязни утверждать, что, начиная с самых древних попыток членораздельной и сопровождающейся телодвижениями речи, говорить для того, чтобы говорить, т. е. вообще болтать, уже должно было доставлять удовольствие говорящим. Создание слова совершенно непонятно, если не допустить, что язык был первой эстетической роскошью человека, первым великим применением его изобретательного гения, что его любили и обожали как предмет искусства, в качестве забавы еще больше, чем в качестве орудия. Не родилось ли слово от пения, пения, сопровождаемого пляской, точно таким же образом, как письмо гораздо позднее произошло от рисунка? Мне представляется, что прежде, чем говорить при встречах друг с другом на досуге, первобытные люди начали петь вместе или петь, обращаясь друг к другу. Можно усмотреть уцелевший обломок от этих музыкальных разговоров в попеременном пении пастухов в эклогах, а также в сохранившемся еще среди эскимосов обычае петь в лицо кому-нибудь, когда желательно осмеять его. Их сатирическое пение, точно так же попеременное, этот безобидный и продолжительный поединок, играет ту же роль, как у нас оживленные споры.

Мне кажется вероятным еще одно предположение. Я опять возвращаюсь к только что сделанному мною сравнению. Задолго

до того, как письмо приобрело способность служить для всеобщего употребления, для переписки между друзьями и родственниками, для письменных разговоров, оно было пригодно только для надгробных надписей, надписей религиозного или монархического происхождения, для торжественных записей или для священных повелений. С этих высот, после вековых усложнений и вульгаризации, искусство письма спустилось до той ступени, когда существование легкой почты сделалось необходимым. То же было и со словом. Задолго до того, как слово стало у потребляться для разговора, оно могло быть только средством выражать приказания или уведомления начальников, или же поучений поэтов-моралистов. Словом, оно было сначала по необходимости монологом. Диалог образовался только впоследствии, согласно с законом, по которому одностороннее всегда предшествует взаимному.

Приложение этого закона к интересующему нас предмету допускает несколько объяснений, одинаково законных. Прежде всего, вероятным является то, что на заре слова, в первой семье или орде, где раздался первый лепет, именно наиболее одаренный индивидуум обладал монополией языка; другие только слушали; они уже могли при известном усилии понимать его, но не могли еще подражать ему. Этот особенный дар должен был содействовать возвышению одного человека над другими. Отсюда можно вывести заключение, что монолог главы семьи, говорящего своим рабам или своим детям, начальника, командующего своими солдатами, предшествовал диалогу рабов, детей, солдат между собой или со своими начальниками. При другом объяснении, противоположном первому, низший позднее стал обращаться к высшему, чтобы восхвалять его, прежде чем этот последний удостаивал его ответом. Не принимая того объяснения, которое дает Спенсер относительно происхождения приветствий, которые, по его мнению, своим появлением были обязаны исключительно военному деспотизму, следует признать, что приветствие было отношением односторонним; принимая постепенно характер взаимности, по мере уменьшения неравенства, оно превратилось в разговор, который я назвал обязательным. *Молитва*, обращенная к богам, точно так же, как приветствие, обращенное к начальникам, есть ритуальный монолог, так как монолог естественно присущ человеку, и в форме псалма или оды, в лиризме всех времен он обозначает первую фазу религиозной или светской поэзии. Следует заметить, что молитва по мере развития имеет тенденцию превратиться в диалог; мы видим это на примере

католической мессы; и известно, что песнопения Бахусу были первым зародышем греческой трагедии. Эволюция этой последней представляет нам много ступеней перехода от монолога к диалогу при посредстве замены хора, роль которого все уменьшается. Греческая трагедия как была в самом начале, так и осталась до конца религиозной церемонией, которая, как и все религиозные церемонии, достигшие последней степени своего развития в высших религиях, вмещает в себе вместе ритуальные монологи и диалоги[1], молитвы и разговоры. Но потребность разговаривать все более и более берет верх над потребностью молиться.

Во все времена собеседники говорят о том, что преподали им их священники или их профессора, их родители или их учителя, их ораторы или их журналисты. Итак, монологи, произносимые высшими, служат пищей для диалогов между равными. Прибавим, что весьма редко у обоих собеседников роли бывают совершенно равны. Чаще всего один говорит гораздо больше другого. Диалоги Платона служат этому примером. Переход от монолога к диалогу подтверждается в эволюции парламентского красноречия. Торжественные, напыщенные, непрерывные речи были обычными в прежних парламентах; в современных парламентах он — явление исключительное. Чем дальше мы подвигаемся вперед, тем больше заседания палат депутатов напоминают если не салоны, то споры в тесных кружках или в кафе. Между речью во французской палате, часто прерываемой остановками — с одной стороны и известными бурными разговорами — с другой, расстояние сводится к минимуму.

Говорят для того, чтобы поучать, чтобы просить или приказывать, или, наконец, для того, чтобы спрашивать. Вопрос, сопровождаемый ответом, — вот уже зародыш диалога. Но если вопрос задает все один и тот же, а другой отвечает, то такой односторонний допрос не есть разговор, т. е. допрос обоюдный, ряда переплетенных между собой вопросов и ответов, обменных поучений, взаимных возражений. Искусство разговаривать могло родиться только после продолжительного изощрения умов столетиями предварительных упражнений, которые должны были начаться с самых отдаленных времен.

Но не в самые отдаленные доисторические времена люди должны были разговаривать всего меньше, или меньше всего

---

[1] В юридических церемониях первоначального Рима (при исполнении закона) есть также ритуальные разговоры. Не предшествовали ли и им также монологи?

пытаться разговаривать. Так как разговор предполагает прежде всего досуг, известное разнообразие в жизни и в поводах для собрания, то полная случайностей и часто праздная жизнь первобытных охотников или рыболовов[1], которые часто собирались, чтобы охотиться, ловить рыбу или поедать вместе плоды своих коллективных усилий, могла только благоприятствовать ораторским боям лучших говорунов. Поэтому эскимосы, одновременно и охотники и рыболовы, говорят очень много. Этот народ-дитя знает уже визиты. «Мужчины собираются отдельно, чтобы болтать между собой, женщины собираются с своей стороны и, оплакав умерших родственников, находят предмет для разговора в сплетнях. Разговоры во время еды могут продолжаться целыми часами и вращаются около главного занятия эскимосов, т. е. около охоты. В своих рассказах они описывают с мельчайшими подробностями все движения охотника и животного. Рассказывая эпизод из охоты на тюленя, они изображают левой рукой прыжки животного, а правой рукой все движения каяка (лодки) и оружия[2]».

Пастушеская жизнь дает столько же досуга, как и охота, но она более урегулирована и более монотонна, она рассеивает людей на более продолжительное время. Пастухи, даже кочующие, как арабы и татары, отличаются молчаливым характером. И если буколики Вергилия и Феокрита как будто и показывают обратное, не надо забывать, что оба эти поэта изображали нравы пастухов, цивилизованных соседством больших городов. Но, с другой стороны, пастушеская жизнь связана с патриархальным режимом, при котором процветает добродетель гостеприимства, а

---

[1] В палеолитическую эпоху, называемую эпохой Магдалины, когда процветало наивное искусство, когда все показывает существование мирного и счастливого населения (см. по этому предмету книгу Де Мортилье *Formation de la nationalité française*), без сомнения, должно было говориться очень много в прекрасных казармах, где жили в те времена. — В *Lettres édifiantes* часто упоминается о любви диких американских охотников, а в особенности их жен, к разговору. Один миссионер хвалит новообращенную молодую дикарку за то, что она избегала тратить свое время на «многочисленные визиты», которые делают друг другу женщины той страны (Канада). В другом месте говорится, что все единогласно хвалят эту девушку, несмотря на склонность дикарей «злословить». Иллинойцы, говорит нам другое письмо, «не лишены ума, они умеют вести довольно остроумно шутливые беседы».

[2] Тенишев, «Деятельность человека», 1898 г.

эта последняя может точно так же, как и социальная иерархия, родившаяся во время этой же социальной фазы, дать происхождение обязательному разговору.

Одной из причин, которые наиболее должны были задерживать появление разговора раньше утверждения сильной иерархии, была та, что некультурные люди, при сношениях между равными, склонны говорить все зарáз и беспрестанно прерывать друг друга[1]. У детей нет недостатка, с большим трудом поддающегося исправлению. Давать говорить собеседнику есть признак вежливости, на которую решаются сперва из уважения к высшему, и которую оказывают по отношению ко всем, когда она вошла уже в привычку. Эта привычка, однако, могла сделаться общей в какой-нибудь стране только благодаря довольно продолжительной внешней дисциплине. Вот почему, я думаю, следует полагать, что успехи искусства разговаривать, в таком виде как мы его знаем, ведут свое начало от обязательных, а не от произвольных разговоров.

При такой точке зрения следует думать, что жизнь земледельческая, которая одна допускала образование городов и государств с твердым правлением, должна была вести к прогрессу разговора, хотя при большем разъяснении людей, однообразии их работ и уменьшении их досуга, она часто делала их молчаливыми. Промышленная жизнь, собирая их в мастерской и в городах, возбуждала их склонность к разговору.

Много говорилось о известном законе *рекапитуляции*, по которому те фазы, которые проходит ум ребенка при своем посте-

---

[1] Во время путешествия в Триполитанию (1840) Пезана поражал оглушительный шум на аудиенциях одного бея: «Мамелюки и негры, — говорит он, — вмешивались в спор, и кончали тем, что начинали говорить все разом, производя такой содом, который оглушил меня, когда я в первый раз присутствовал на этих дебатах. Я спросил, почему бей встречал столько возражений против своих решений, *и каковы были побудительные причины столь шумных споров;* не будучи в состоянии ответить мне категорически, *они сказали мне, что это их обычная манера рассуждать между собой*». — Есть и исключения. Если верить *Lettres édifiantes*, иллинойцы были исключительно одарены искусством разговаривать. «Они очень хорошо умеют шутить, они не знают, что значит спорить и раздражаться во время разговора. Никогда они не прервут вас во время вашей речи. Мужчины, — говорили нам, — ведут вполне праздную жизнь; они болтают, куря свои трубки, вот и все. Женщины работают, но отнюдь не лишают себя также удовольствия поболтать».

пенном формировании, в известной неопределенной мере являются кратким повторением эволюции первобытных обществ. Если этот взгляд не лишен справедливости, то изучение разговора у детей могло бы помочь нам разгадать, что представлял собою разговор в первые времена существования человечества. Задолго до диалога дети начинают *с вопросов*. Этот допрос, которому они подвергают своих родителей и посторонних взрослых людей, является для них первой односторонней формой болтовни. Позднее они становятся рассказчиками и слушателями *рассказов* или попеременно рассказчиками и слушателями. Наконец, еще позднее они делают замечания, они выражают общие наблюдения, которые представляют собою уже зародыш *речи*; и когда речь в свою очередь становится взаимной, получается спор, затем разговор. Действительно, ребенок верит гораздо раньше, чем начинает противоречить. У него бывает фаза противоречия точно так же, как раньше была фаза спрашивания.

Но спрашивать, рассказывать, разговаривать, спорить — все это упражнение ума ребенка. Ему предшествует упражнение воли. Ребенком *повелевают*, и он сам *повелевает* гораздо раньше, чем его начнут учить и он сам станет учить. Приказание идет прежде указания. Ребенок борется, прежде чем станет рассуждать и даже спорить; он чувствует противоречие желаний другого, прежде чем начнет чувствовать противоречие суждений другого. Он может почувствовать противоречие этих желаний, затем этих убеждений только тогда, когда сам подвергнется их прививке. Его послушание и доверие являются предварительным и необходимым условием его духа непослушания и противоречия. Таким образом, ребенок бывает спорщиком и болтуном потому, что сначала и прежде всего он был подражатель.

Если мы по этим наблюдениям станем догадываться о том, каково должно было быть прошлое разговора у человеческих рас, то согласимся прежде всего, что, несмотря на весьма глубокую доисторическую древность, разговор не может восходить к самому началу человечества. Ему должен был предшествовать не только длинный период молчаливого подражания, но и следующая затем фаза, когда люди любили рассказывать или слушать рассказы, но не болтать. Это — фаза эпопей. Греки сколько угодно могли быть самой болтливой расой, но не менее достоверно и то, что во времена Гомера болтали мало, если только целью не было *задавать друг другу вопросы*. Все разговоры носили утилитарный характер. Герои Гомера *много повествуют*, но *очень мало болтают*. Или же их беседы представляют собою

только попеременные рассказы. «При первых лучах Авроры, — говорит Менелай в «Одиссее» (песня IV), — мы обменяемся с Телемаком длинными речами и будем вести взаимную беседу». Обменяться длинными речами — это называлось в ту эпоху вести беседу.

Единственные разговоры, по-видимому праздные, — это разговоры влюбленных, даже и те имели утилитарный характер. Гектор, колеблясь идти к Ахиллу с предложениями условий мира, говорит под конец: «Я не пойду к этому человеку, он не почувствует ко мне никакого сожаления.... Не время теперь разговаривать с ним о дубе и о скале, как разговаривают между собой юноши и девы. Лучше сразиться». Таким образом юноши и девы уже *флиртовали* тогда, и их флирт состоял в разговоре «о дубе и о скале», т. е., вероятно, о предметах народного суеверия. — Только в эпоху Платона, уже достигнув известной степени цивилизации, греки любят диалог, как времяпрепровождение под сенью тополей, окаймляющих Илисс. — В противоположность древним эпопеям, а также chansons de geste, где разговоры только попадаются в редких местах, современные романы, начиная с романов мадемуазель де Скюдери, отличаются все возрастающим обилием диалогов.

## III

Для того чтобы хорошо понять исторические видоизменения разговора, существенно важно проанализировать как можно ближе его поводы. Поводы его бывают лингвистические: язык богатый, гармоничный, выражающий много оттенков предрасполагает к болтовне. Он имеет поводы религиозные: его течение изменяется сообразно с тем, будет ли национальная религия ограничивать в большей или меньшей степени свободу слова, запрещать под страхом более или менее суровых наказаний флирт, злословие, «распущенность ума»; будет или не будет противиться прогрессу наук и народному образованию, будет или не будет налагать правило молчания на известные группы, на христианских монахов или на пифагорейские братства и введет ли в моду тот или этот предмет теологических споров: воплощение, искупление, непорочное зачатие[1]. Поводы его бывают политические: в

[1] Проезжая по югу Испании, Дюмон Дюрвиль замечает следующее: «бои быков и споры о непорочном зачатии, споры, родившиеся в монастырях провинции, занимают все умы, без исключения». Теперь он на-

демократическом обществе разговор питается теми сюжетами, которые доставляет ему трибуна или избирательная жизнь, в абсолютной монархии — литературной критикой и психологическими наблюдениями, за недостатком других тем. Поводы его бывают экономические[1], из которых главный я уже отметил: досуг, удовлетворение наиболее настоятельных потребностей. Словом, нет ни одной стороны социальной деятельности, которая не была бы в тесном отношении с ним, и видоизменения которой не видоизменяли бы его. Я позволю себе просто напомнить то влияние, какое могут оказывать на него некоторые особенности в обычаях, имеющие гораздо меньший интерес. Тон и ход разговора находятся в зависимости от положения тела во время речи. Разговоры, которые ведутся *сидя*, бывают наиболее обдуманными, наиболее существенными; такие разговоры наиболее часты в наше время, но они отнюдь не были в моде при дворе Людовика XIV, когда привилегия табурета принадлежала только принцессам, и все должны были болтать стоя. Древние народы в своих *триклиниях* больше всего любили беседовать *лежа*[2], и эти беседы,

---

шел бы, что все погружены в политику, — единственный сюжет для разговоров как в Испании, так и во всех испанских республиках Южной Америки.

[1] Одним из самых значительных препятствий к учреждению кооперативных потребительных обществ, представляющих такие очевидные преимущества для потребителя, является, по словам одного превосходного наблюдателя, «привычка к сплетням, практикующимся в лавках. Там встречаются, там обмениваются новостями квартала, и вся эта мелочная болтовня, столь драгоценная для женщин, привязывает их к поставщикам. Именно благодаря этой склонности женщин, некоторые общества (в виде исключения) решаются продавать *публике* (и не только одним членам общества), потому что тогда магазин не имеет обособленного вида, и женщины как бы приходят в обыкновенную лавку». Отсюда мы видим, насколько силен и неотразим поток разговоров, раз уже получивший начало. Мы можем видеть другое доказательство во всеми признаваемой трудности сохранить секрет, если знают, что он может интересовать собеседника, даже тогда, когда молчать бывает прямая выгода. Эта трудность, иногда столь большая, может служить мерилом симпатической склонности, потребности устного общения с подобными себе.

[2] Не будем смешивать эти беседы с теми, о которых говорит нам Дюмон Дюрвиль по поводу Гавайских островов: «В числе странных обычаев этой страны, — говорит он, — нужно упомянуть о манере вести беседу, растянувшись *на животе* на циновках».

должно быть, были не менее прелестны, если мы будем судить о них по характерной медлительности, по очаровательной тягучести и плавности записанных диалогов, которые остались нам от древних народов. Но разговоры перипатетиков *во время прогулок* имеют характер более быстрый и оживленный. Вполне достоверно, что речь, произносимая стоя, глубоко разнится по своему характеру и большей торжественности от речи, произносимой в сидячем положении, более фамильярной и более краткой. Что же касается речей в лежачем положении и речей во время прогулок, то я не знаю примера таковых. Еще одно замечание. Довольно часто, и тем чаще, чем ближе к первобытной жизни, мужчины и женщины, особенно женщины, болтают между собой, только занимаясь чем-нибудь другим, либо делая какую-нибудь легкую работу, как делают крестьяне, которые перебирают овощи в то время, как женщины прядут, шьют или вяжут, либо закусывая и выпивая в кафе и т. п. — Садиться друг против друга нарочно, и исключительно для того, чтобы болтать, — есть утонченная привилегия цивилизации. Ясно, что то занятие, которому предаются во время разговора, не может не оказывать влияния на манеру болтовни. — Еще другой род влияния: утренний разговор всегда несколько отличается от разговора после обеда, или вечером. В Риме, когда во времена империи визиты происходили утром, ничего сходного с болтовней наших *five o'clock*'ов не могло быть. Мы не будем останавливаться на этих мелочах[1].

Прежде всего нужно принять во внимание время, которое можно посвятить болтовне, количество и натуру тех лиц, с которыми можно болтать, количество и природу тех сюжетов, о которых можно болтать. Время, которое можно употребить на болтовню, увеличивается вместе с досугом, доставляемым богатством, благодаря усовершенствованиям производства. Число лиц, с которыми можно болтать, возрастает по мере того, как уменьшается первоначальная многочисленность языков, и расширяется область их распространения[2]. Количество сюжетов для разговора

---

[1] Демулэн в своей книге о *современных французах*, как бы созданной и выпущенной в свет нарочно для того, чтобы служить пробным камнем для его общих идей, объясняет влиянием оливкового дерева и каштана любовь южан к разговорам и их склонность к преувеличениям.

[2] Оно возрастает, само собой разумеется, вместе с количеством и с густотой населения. Болтают гораздо меньше — caeteris paribus — в деревнях, нежели в городах; значит, передвижение деревень ближе к

увеличивается вместе с прогрессированием наук, вместе с умножением и ускорением сведений всякого рода. Наконец, при помощи изменения нравов в демократическом смысле, не только увеличивается число людей, с которыми можно вести беседу, но изменяется также и их качество. Представители различных социальных слоев свободно вступают в разговор; и, благодаря переселению деревень в города, благодаря как бы превращению в города даже самих деревень, благодаря поднятию среднего уровня общего образования, природа разговоров становится совсем другой, новые сюжеты водворяются на место прежних. Словом, говорить на одном и том же языке, иметь знакомства и общие идеи, быть свободным от работы — вот необходимые условия болтовни. Итак, все, что объединяет и обогащает языки, все, что объединяет воспитание и образование, усложняя их задачу, все, что увеличивает досуг, укорачивая работу более продуктивную, совершаемую с помощью естественных сил, — все это способствует развитию разговора.

Отсюда мы можем видеть то огромное воздействие, какое оказали на него великие изобретения нашего века. Благодаря им пресса могла наводнить целый свет и пропитать его до самых последних народных слоев. И величайшей силой, управляющей современными разговорами, является книга и газета. Когда книги и газеты еще не наводняли мир, в разных городах, в разных странах не было ничего более различного, как сюжет, тон и ход беседы, и ничего более однообразного в каждом из них во всякое время. Теперь же совершенно наоборот. Пресса объединяет и оживляет разговоры, делает их однообразными в пространстве и разнообразными во времени. Каждое утро газеты доставляют своей публике материал для разговора на весь день. Можно всегда с уверенностью приблизительно сказать, о чем разговаривают люди в каком-нибудь кружке, в курительной комнате, в коридоре суда. Но сюжет разговора меняется каждый день или каждую неделю, за исключением случаев, к счастью весьма редких, национального или интернационального помешательства на одном предмете. Это все возрастающее сходство одновременных разговоров на все более

---

городам благоприятствует разговору и преобразовывает его. Но в маленьких городах, где жители по большей части ведут праздный образ жизни, и все знают друг друга, не болтают ли там больше, чем в больших городах? Нет, потому что там не достает предметов для разговора. Разговор, заслуживающий этого названия, представляет там собою только отголосок разговора больших городов.

и более обширном географическом пространстве является одной из наиболее важных характерных черт нашей эпохи, так как она в значительной степени объясняет нам все возрастающее могущество общественного мнения против традиции и даже против разума, и это все увеличивающееся несходство последовательных разговоров объясняет точно так же непостоянство мнения, этот противовес его могущества[1].

Отметим одно обстоятельство, весьма простое, но имеющее известное значение. Эволюция разговора происходила вовсе не самопроизвольно, только в силу того, что люди болтали друг с другом. Нет, нужно было, чтобы новые случаи и новые источники разговора проявлялись благодаря последовательному ряду, частью случайному, частью логическому, разных открытий, географических, физических, исторических, изобретений земледельческих или промышленных, идей политических или религиозных, произведений литературы или искусства. Эти-то новшества, появляясь в каких-нибудь местах одно после другого, и делавшиеся достоянием избранных групп, прежде чем распространиться дальше, совершенствовали и преобразовывали там искусство разговора, заставляя отвергать известные архаические формы беседы, старинные обороты речи, шутовство, смешное жеманство. Если же под *эволюцией* разговора мы разумели бы беспрерывное и самопроизвольное развитие, то это было бы заблуждением. И это замечание приложимо ко всем родам эволюции, которые, если присмотреться к ним, представляются в виде попеременных введений, в виде последовательных и наложенных друг на друга прививок новых начал. В каком-нибудь маленьком городке, куда, предположим, закрыт доступ газете, и где нет удобного сообщения с внешним миром, как в прежние времена, жители могут болтать сколько угодно, но разговор не поднимется сам по себе выше фазы простых сплетен. Без помощи прессы деревенские обыватели, как бы они ни были болтливы, будут почти всегда говорить только об охоте или о генеалогии, и наиболее болтливые магистраты будут говорить только о праве или о

[1] Но сходные или непостоянные разговоры свидетельствуют собою об огромном прогрессе в смысле социальном, так как слияние классов и профессий, моральное единство отечества могут считаться настоящими только с того момента, когда люди, принадлежащие к самым различным классам и профессиям, будут в состоянии поддерживать друг с другом разговор. Мы обязаны этим благодеянием — взамен скольких зол — ежедневной прессе.

«движениях по службе», наподобие офицеров германской кавалерии, которые, по словам Шопенгауэра, только и говорят, что о женщинах и лошадях.

Волнообразное, так сказать, распространение подражания, этого мало-помалу уравнивающего и цивилизующего начала, одним из самых могущественных агентов которого является разговор, объясняет нам без труда необходимость того двойного стремления, которое мы замечаем при первом взгляде на эволюцию разговора, а именно, с одной стороны, численное увеличение пригодных друг для друга собеседников и сходных между собой реальных разговоров, а с другой стороны, именно в силу этого увеличения, переход от сюжетов узких, интересующих только небольшую группу, к сюжетам все более и более отвлеченным и общим[1]. Но если эта двойная наклонность и одинакова везде, то она не мешает течению *эволюции* разговора быть настолько же отличным друг от друга в различных нациях, при различных ступенях цивилизации, насколько русло Нила или Рейна разнится от русла Ганга или Амазонки. Точки отправления многосложны, как мы уже видели; пути и конечный пункт, если только есть конечный пункт, не менее разнообразны. Мы не везде видим придворных шутов, нелепые выходки которых служили таким развлечением в средние века, не везде находим отели Рамбулье, появление которых произвело несносных

---

[1] До XVIII в. такой *салон*, как Гольбаха, не был возможен. Салон мадам де Рамбулье был салоном *литературным и напыщенным*, без малейшей свободы ума, — где если и было что-нибудь более или менее свободное, так это любовный и изящный разговор (еще бы!) — тогда как в салоне Гольбаха слышался, говорит Морелле, «разговор самый свободный, самый поучительный и самый оживленный, какой когда-либо можно было услышать; когда я говорю — свободный, я разумею свободу суждений о философии, религии, правительстве, так как вольные шутки из другой области были из него изгнаны». Совершенно противоположное происходило в XVI веке и в средние века: *gauloiserie* — это была свобода разговоров на темы о половых отношениях, которая заняла место всякой другой свободы. Салон Гольбаха, как салон Гельвециуса, как салоны всего конца XVIII в., собирал собеседников всех классов и всех национальностей — эклектизм совершенно немыслимый раньше. Как по огромному разнообразию происхождения собеседников, так и по необычайному разнообразию и свободе сюжетов для разговора, эти салоны сильно разнились от прежних собраний для разговора.

Трибулэ[1]. С достоверностью можно сказать, что во Франции исчезновение этих кривляк и шутов было лучшим признаком успехов разговора. Последним шутом был Ланжели при Людовике XIII. Но в Риме, в Афинах, на крайнем Востоке не было ничего подобного.

Благодаря чему — флирту ли, или дипломатическим сношениям, или же спорам церковным или школьным — искусство разговора достигло того, что стало сознавать себя? Это зависит от страны. Итальянский разговор особенно развился благодаря дипломатии, французский — благодаря галантности, царившей при французских дворах, афинский разговор развился благодаря софистической аргументации, римский разговор — благодаря дебатам на форуме, а во времена Сципионов — благодаря урокам греческих риторов. Можно ли удивляться, видя столь различные виды цветения, что цвета и ароматы цветка представляют собою такое большое разнообразие? Лансон видит в эпохе Сципионов такую эпоху, когда римляне научились разговаривать с изяществом и учтивостью. В диалогах Цицерона и Варрона он видит не только подражание диалогам Платона, но и «идеализированный, хотя живой и верный образ разговоров римского общества», разговоров, впрочем, лишенных приятности, в которых чувствуется школа, а не двор. Женщины войдут в круг собеседников позднее, во времена Северов и Антонинов, между тем как у нас они царили там во все времена, под совместным влиянием христианства и рыцарской галантности. Но не будучи необходимым, как мы видели, для всех родов прогресса разговора, присутствие женщин в общественной жизни имеет один дар, а именно, оно ведет разговоры к той степени изящества и гибкости, которая во Франции придает ему неотразимую прелесть.

Можно отметить другую общую наклонность преобразований разговора. Пробегая по капризным излучинам своих разнообразных потоков, он стремится стать все в меньшей и меньшей степени борьбой, и все в большей и большей степени обменом идей. Удовольствие спорить соответствует детскому инстинкту, инстинкту котят, некоторых животных в детском возрасте, которые, подобно нашим детям, забавляются подобием битв в малень-

---

[1] Один из них, Брюскэ, забавляется тем, что выдает себя за врача в лагере Анны Монморанси и действительно отправляет, *ad patres (к праотцам — прим. ред.)* всех больных, вверенных его попечению. Вместо того, чтобы повесить его, Генрих II дал ему *должность начальника почты* в Париже.

ких размерах. Но пропорция спора в диалогах взрослых людей идет, постепенно уменьшаясь. Прежде всего существует целая категория споров, некогда бесчисленных, горячих, оживленных, которые быстро исчезают, например, манера торговаться заменена манерой выставлять prix fixe (*твердую цену — прим. ред.*). Затем, по мере того как сведения относительно разных вещей становятся более точными, более верными, более многочисленными, по мере того как мы имеем числовые данные относительно расстояний, населения городов и государств и т. д., все порождаемые коллективным самолюбием яростные споры, относительно того, стоит ли выше такая-то корпорация, такая-то церковь, такая-то фамилия в смысле кредита, могущества, было ли движение в таком-то порту значительней, чем в другом по количеству и силе судов и т. п., все эти споры становятся беспредметными. Споры еще более ожесточенные, которые вызывались конфликтом индивидуальных самолюбий в силу взаимного непонимания, прекращаются или же ослабляются благодаря более частым столкновениям и более полному знанию друг друга. Каждое новое сведение заставляет иссякнуть прежний источник спора. Сколько подобных источников иссякло с начала нашего века! Обычай путешествовать, распространяясь в обществе, много содействовал ясности той идеи, какую составляют одна от другой различные провинции и нации, и сделал невозможным возврат споров, порождаемых невежественным патриотизмом. Наконец все возрастающая религиозная индифферентность облегчает с каждым днем соблюдение вежливости, воспрещающей вступать в религиозные споры, бывшие некогда самыми ужасными и самыми страстными из всех существовавших. Политическая индифферентность, делаясь также общим достоянием, начинает производить аналогичное следствие в этой другой бурной области.

Правда, что прогресс ясных и достоверных сведений, разрешив прежние волнующие проблемы, поставил на место их новые и вызвал новые споры, но эти споры носят более безличный и менее обостренный характер, исключающий всякое чрезмерное увлечение: споры философские, литературные, эстетические, моральные, которые возбуждают противников, не задевая их за живое. Одни только парламентские споры, по-видимому, — может быть, действительно только по-видимому — ускользают от этого закона прогрессивного смягчения: можно было бы сказать, что в наших современных государствах фермент раздора стремится спрятаться там, как в своем последнем убежище.

Итак, можно утверждать, что будущность принадлежит мягкому и спокойному разговору, полному учтивости и любезности. Что же касается того, какой род разговора будет в конце концов преобладать, — любовный ли, философский, или эстетический — то нет ничего, что позволяло бы решить этот вопрос. Эволюция разговора без сомнения будет иметь нисколько исходов точно так же, как она имела несколько начал и несколько различных путей, несмотря на некоторое единство общего наклонения[1].

## IV

Бросив общий взгляд на эволюцию разговора, займемся подробнее разговором, культивируемым как особый род искусства и прелестное удовольствие[2]. В какой момент расцветает он в этом виде? Признаком более или менее достоверным такого расцвета может служить процветание драматического искусства, и особенно комедии, которая со своей исключительно диалогической

---

[1] Мне почти не нужно отмечать, — настолько мне кажется это очевидным — что эволюция разговора сообразуется с законами подражания, а именно с законом подражания, по которому высшему подражает низший, считающийся и сам себя считающий за такового. Мы увидим также, что наш пример подтверждает идею, на которой я настаивал нисколько раз, что столицы в демократических государствах играют для них роль аристократии. В прежние времена новые формы и новые сюжеты разговора исходили от двора, от избранной аристократии, которой подражали дворцы больших городов и замки, а затем буржуазные дома. В наше время таким местом, откуда распространяется повсюду тон и содержание злободневных разговоров, является Париж, которому подражают большие города, средние, маленькие, до последней деревни, где читаются листки или парижские, или представляющие собою телеграфное эхо парижских сведений. Доказательством этого происхождения служит именно распространение парижского акцента до самого юга. Как за границей, так и у нас, акцент столицы распространился в провинциях, и никогда не было замечено обратного там, по крайней мере, где столица в действительности заслуживает этого названия. Если бы столицей Франции был Бордо, вся Франция говорила бы с гасконским акцентом.

[2] «Нам нужны, — пишет мадемуазель де Монпансье к мадемуазель де Мотвиль, — всякого рода люди, чтобы говорить о всякого рода вещах во время разговора, который на ваш и на мой вкус *есть величайшее удовольствие жизни, и почти единственное, по моему мнению*».

формой не могла бы пробраться в первый ряд литературы и утвердиться в эпических рассказах, где развивается только действие, если бы в действительной жизни не было примеров разговоров таких же блестящих и прекрасных, как битвы. Этим объясняется тот факт, что эпопея всюду предшествовала драме. Заметим, что разговоры всегда отражают действительную жизнь: эскимос, краснокожий говорят только об охоте, солдаты болтают о сражениях, игроки об игре, матросы о путешествиях. Привычный образ жизни воспроизводится ночью в сновидениях, а днем — в разговорах, которые являются сложными, взаимно внушенными сновидениями двоих или троих. Он воспроизводится также в письменной литературе, которая есть закрепление слова. Но драматическое искусство есть нечто большее, оно есть *воспроизведение*, а не только сохранение слова. Оно является в некотором роде отражением отраженья действительной жизни.

Еще более очевидным признаком царства культивированного слова является обыкновение в домах высших классов отделять одну комнату специально для болтовни (causoir). Уже существование такой публичной комнаты не менее многозначительно: у греков в их гимназиях принято было устраивать наряду с другими помещениями огороженное пространство, покрытое или непокрытое, называемое экседра, где собирались философы, и которое служило им *клубом*. Это было лучше, чем устраивать салон на вольном воздухе, как в наших деревнях, «под древесным шатром». Римские патриции времен империи, без сомнения по примеру греков, имели в своих богатых жилищах рядом с *триклиниями* и библиотеками галереи, называемые также экседра, где они принимали философов, поэтов и почетных посетителей.

Происхождение наших современных салонов весьма различно. Не ведут ли они свое происхождение от комнаты для разговора (parloir), существовавшей в монастырях, хотя она и отвечала потребности другого рода, а именно сделать где-нибудь исключение, и необходимое исключение для монастырского правила молчания?[1] Это кажется весьма вероятным. Как бы то ни

[1] Заметим, что обет молчания, добровольный отказ от всякого бесполезного разговора всегда считался самым суровым способом умерщвления плоти, наиболее жестоким и чаще всего нарушаемым правилом, какое только могло изобрести воображение основателей монастырских орденов. Это доказывает, до какой степени потребность болтать является всеобщей и непреоборимой.

было, появившийся в итальянских дворцах в XV в. *салон* распространился в замках французского Ренессанса и в парижских отелях[1]. Но его распространение двигалось весьма медленно в буржуазных домах вплоть до нашего века, когда нет такого маленького помещения, которое не претендовало бы иметь свой салон. Читая сделанное Делагантом описание того дома, который построил себе его прапрадед в Креси в 1710 г., я замечаю, что там не было отдельной комнаты для приема посетителей. Залу, столовую, даже спальню, — все это совмещала в себе одна комната. А дело идет о представителе средней буржуазии, стоявшем на пути к обогащению. В этом доме обедали часто на кухне. Но в этом доме, слывшем тогда за весьма комфортабельный, был «кабинет отдохновения», предназначенный для одиночества, а не для приемов.

Во Франции отель Рамбулье, открывший свой салон почти на заре великого века, около 1600 г., был не первой колыбелью, но первой школой искусства болтать. И именно благодаря 800 précieuses, которые были воспитаны на этих уроках, и имена которых сохранились для потомства, распространилась, употребляя выражение одного современника, «всеобщая горячка разговора»; а из Франции, бывшей в те времена всемирным образцом, эта страсть вскоре распространилась и за границу. Она несомненно имела глубокое влияние на образование и преобразование французского языка. Précieuses, говорит нам аббат де Пюр[2], «дают торжественный обет *чистоты стиля*, вечной войны с педантами и провинциалами». По словам Сомэза, «они говорят иногда *новые слова*, не замечая этого, но вводят их с наивысшей осторожностью и деликатностью, какую только можно вообразить».

По словам аббата де Пюр, вопросы языка и грамматики поднимаются в их разговорах ежеминутно, по каждому случаю. Одна из них не хочет, чтобы говорили: «я люблю дыню», так как это значит унижать слово «любовь». Каждая из них имеет свой день, когда назначается свидание противникам на этих турнирах болтовни. Отсюда появляется *Calendrier des ruelles*. Этот обычай приписывался мадемуазель де Скюдери, и наши бесчисленные современницы, имеющие также свой день, являются, сами не зная того, ее подражательницами.

---

[1] Каждая *précieuse* имела свой салон под именем *приюта, кабинета, алькова.*

[2] *Les mystères des ruelles*, роман (1656 г.).

Для précieuses и для всех дам высшего общества, подражавших им, разговор был таким всепоглощающим искусством, что они остерегались на своих собраниях употреблять в дело свои десять пальцев, несмотря на совершенно противоположный обычай у женщин их эпохи.

«Я напрасно искал, — говорит Редерер[1], — в произведениях того времени указания на то занятие, которое дамы высшего общества примешивали к разговору. Мне хотелось бы видеть в их руках иголку, челнок, вязальный крючок, клубок; мне хотелось бы видеть этих женщин вышивающими, занимающимися изящными рукоделиями». Это тем более удивительно, что позднее мы видим еще мадам де Ментенон, остающуюся верной прежним обычаям, разматывающую мотки ниток и считающую свои клубки во время болтовни с Людовиком XIV.

В обществе действительно цивилизованном, недостаточно, чтобы мебель и самые незаметные предметы первой необходимости были произведениями искусства, нужно еще, чтобы малейшие слова, малейшие жесты придавали без малейшей аффектации их характеру полезности характер изящества и чистой красоты. Нужно, чтобы были «стильные» жесты, как и «стильная» мебель[2]. В этом смысле выделяется наш аристократический свет XVII и XVIII веков. Но не будем думать, что эта склонность его была исключительной. Под другими формами эта потребность чувствовалась во всяком утонченном обществе. Она чувствуется еще в наше время в эстетических оазисах нашей демократии. Не выходит ли, как говорит Тэн, что вкус к утонченному разговору и к салонной жизни был не только более интенсивен в высших классах во времена старого режима, но и являлся характеристической и единственной особенностью французского общества во время этой фазы его развития?

Здесь этот столь проницательный ум впадает в ошибку, и в ошибку немаловажную. Например, он приписывает салонной жизни склонность к общим идеям в старинной Франции. Но Токвиль, найдя в свое время любовь к общим идеям гораздо более развитой в Соединенных Штатах, нежели в Англии, несмотря на сходство рас и нравов, объясняет это, мне кажется вернее, влиянием режима равенства. Удовольствие разговаривать об об-

---

[1] *Memoires pour servir à l'histoire de la société polie en France.* (1835).

[2] Тюрго, говорит Морелле, в своей юности пользовался нерасположением своей матери, «которая находила его противным, потому что он не умел кланяться с настоящей грацией».

щих идеях или о моральных обобщениях было любимо также и в других местах, но оно не породило салонной жизни. Действительно, салон есть только признак, как мы уже говорили, один из признаков, а не единственная рамка утонченного разговора, который и без него зародился в Греции во времена Перикла, в Риме во времена Августа, в средние века в итальянских городах. Эта потребность разговаривать развивала то жизнь гимназий, то жизнь форума, то жизнь монастырей, особенно женских монастырей, где разговор в эпоху Людовика Святого должен был быть очень оживленным и интересным; епископ Эд Риго, посетив их, был скандализирован. У нас, в течение этого столетия, стремится особенно развиться жизнь кафе и кружков, несмотря на умножение «салонов», порождаемых подражанием и тщеславием.

Светскость старого режима была порождена сложными элементами; упомянем, кроме удовольствия разговаривать, удовольствие копировать двор или копии двора, т. е. иерархическую группировку мужчин и женщин под председательством одного лица, к которому все относятся с почтением, и которое представляет собою монарха в уменьшенном виде: хозяин или хозяйка дома. Способ поведения в такой среде не состоит исключительно в искусстве поддерживать разговор, он предполагает прежде всего ловкое, уверенное, деликатное распределение нюансов уважения по различию достоинств и рангов; и удовольствие от удовлетворенных таким образом самолюбий в подобном, в высшей степени иерархическом, обществе ценится по крайней мере наравне с удовольствием от обмена и соглашения идей. Наконец, род гегемонии, царение в разговоре, предоставленное дамам во французском салоне, не могло бы быть понятно без старинного рыцарского установления, обломки которого собрали монархические дворы.

Те упреки, которые Тэн в своей книге о *старом порядке* обращает к светской жизни, не могут относиться ко всей жизни разговора. Не стоит считать, что эта жизнь была обязательно «искусственной и сухой». И даже по отношению к наиболее аристократической салонной жизни это справедливо только до известной степени. Прежде всего, салонная жизнь может сколько угодно выказывать уважение к общественной иерархии, как прежде всего, она стремится к общественной гармонии путем взаимной деликатности в обращении с самолюбиями; в силу необходимости должно произойти то, что даже соблюдая расстояния рангов, она будет уменьшать их. О ней, как о дружбе, можно сказать: *pares aut facit aut invenit;* она рождается только между равны-

ми, или она уравнивает; она рождается только между подобными, или она ассимилирует. Но она уравнивает и ассимилирует только постепенно. Не подлежит сомнению, что равенство прав и рангов является единственным устойчивым и окончательным равновесием самолюбий, находящихся в продолжительном соприкосновении. Впрочем, она, как всем известно, есть простая условная маска, прозрачная вуаль, прикрывающая глубокое неравенство талантов и индивидуальных достоинств, и служит для придания им большей цены. Эта фикция равенства есть окончательный расцвет общественности. При королевском дворе, вопреки всем преградам этикета, привычка жить и разговаривать с королем устанавливает между ним и его подданными почти уравнивающую фамильярность. «Ваше Величество, — говорил Людовику XVI маршал Ришелье, свидетель двух предшествовавших царствований, — при Людовике XIV не смели сказать ни слова, при Людовике XV говорили потихоньку, при Вашем Величестве говорят громко». Но уже гораздо раньше того, как уменьшилось расстояние между придворными и царственным хозяином дома, расстояние, разделявшее приглашенных, сглаживалось мало-помалу, и бесконечные ступени благородства начали сливаться в посещениях Двора.

«Искусственная»? Правда ли, что салонная жизнь — прибавим жизнь кружков, кафе и т. д., — искусственна? Общительная натура человека не толкает ли его всегда и везде к этим общим играм, к этим собраниям, ради удовольствия, под самыми разнообразными формами? И не так ли же естественны для него эти формы, как *стадное чувство* естественно для барана?

Что касается той «сухости сердца», которую обязательно порождает салонная жизнь, то причину этого я вижу в том чрезмерном неравенстве, которое создается между родителями и детьми, и даже между друзьями, благодаря аристократическому почтению, пока оно еще существует вполне. Но лишь только, благодаря самому действию салонной жизни, как мы сейчас сказали, это неравенство начинает уменьшаться, появление естественных чувств нежности и страсти охотно допускается; и выставление их напоказ может даже превратиться в светскую аффектацию, как это и было в продолжение всей второй половины XVIII века, благодаря «возвращению к природе», ко всему, что лишено искусственности, к далеким временам. Один тот факт, что салонная жизнь во время одной из своих фаз, при своей окончательной фазе и, так сказать, при своем падении благоприятствовала распространению чувствительности и нежным излияниям,

этот факт показывает нам ясно, что сухость сердца не является существенным характерным свойством светскости. Правда, что салонная жизнь во все продолжение старого порядка вредила семейной жизни. Но то же самое можно сказать о всяком поглощающем занятии, будь то занятие профессиональное, эстетическое, политическое или религиозное. То, что мешает семейной жизни теперь, это уже не салонная жизнь, но это жизнь кружка и кафе, для рабочего — жизнь мастерской, для адвоката — жизнь суда, для политического деятеля — жизнь избирательная и парламентская. Позднее, и еще с большей силой, если бы мечта коллективистов была осуществима, это была бы жизнь фаланстерии.

Мы не можем опять-таки считать одним из существенных характерных признаков светскости то, на что Тэн указывает, как на наиболее присущую ей и наиболее заметную черту, а именно отвращение к сильным новшествам, боязнь всего оригинального. Действительно, следствием всякой интенсивной общественной жизни является такой стремительный поток нравов, мнений, обычаев, что трудно противиться ему, и большинство средних оригинальностей бывают потоплены им. Одни только сильные и исключительные оригинальности уцелевают в нем, и тогда они становятся очагом новой заразы, который распространяет их личную печать, заменяя его, или накладывая ее на прежнее клеймо. Такова была проповедь одичания Руссо, которая, прозвучав диссонансом среди необузданной светской жизни того времени, переделала ее по своему вкусу. Можно ли также сказать, что люди, подобные Дидро[1], Вольтеру, и многие другие не могли заставить принять свою личность, как только притупив ее?

---

[1] Морелле, среди других современников Дидро, восхищается его разговором. «В нем было много могущества и очарования; его спор был оживлен полной искренностью, был тонок без неясности, разнообразен в своих формах, блистал воображением, был обилен идеями и будил идеи у других: в продолжение целых часов можно было отдаваться ему, как течению реки». — Начиная со второй половины последнего столетия, именно частные светские разговоры были скрытыми источниками великого потока революции. Вот где самое страшное возражение предполагаемому мизонеизму салонов.

## V

Эволюция салонной жизни может послужить нам для того, чтобы рассмотреть с другой и более уловимой стороны эволюцию разговора. — Называют «обществом» — превосходное выражение, так как оно напоминает, что общественное отношение par excellence, единственное достойное этого названия, есть обмен идей — группу людей, имеющих обыкновение собираться где-нибудь для того, чтобы поболтать друг с другом. В самых низших народных слоях существуют «общества», но они настолько же малы, насколько многочисленны. В глубине деревень, наиболее удаленных, два или три крестьянина привыкнут встречаться на посиделках или в кабаке, и пусть на посиделках больше работают, а в кабаке больше пьют, нежели говорят, но там все-таки говорят. Это уже есть зародыш салона и кружка. По мере того как мы поднимаемся вверх по общественной лестнице, мы видим, что количество обществ уменьшается, но зато каждое из них увеличивается. Кафе рабочих разделяются уже на более многочисленные группы обычных собеседников и спорщиков. Мелкие торговцы имеют салон, очень тесный, где бывает в уменьшенном виде копия собраний высшего класса. Эти последние в большинстве средних городов едва разделяются на два или три «общества», и иногда даже,—были такие факты, — и они стремятся стать общими, они образуют даже «*одно* общество», нечто вроде светской корпорации. Даже в самых больших городах замечается такое стремление, и в Париже, в Вене, в Лондоне, везде назло прогрессу демократии, класс, считающийся еще за самый блестящий если не самый высший, изыскивает случаи для того, чтобы фрагменты его, уже очень объемистые, могли встречаться и объединяться.

Таким образом, хотя и за многими исключениями, общее правило будет то, что объем *общества* находится в обратном отношении с численным значением того класса, к которому оно принадлежит; оно будет тем объемистее, чем к менее многочисленному классу будут принадлежать его члены. От черни к аристократии социальная пирамида идет все суживаясь, в то время как общества расширяются. Это объясняется бóльшим досугом, бóльшим количеством знакомств, общих сюжетов разговора по мере того, как мы взбираемся по социальной лестнице; и в то же самое время это показывает постоянное стремление социального прогресса расширить насколько возможно общение умов, их взаимное посещение и проникновение, так как именно при разговоре умы посещают друг друга и взаимно проникают друг в друга.

Сюжеты разговора различны в различных социальных слоях. О чем говорят в маленьких крестьянских кружках, собравшихся на посиделки? Немного больше о дожде и о хорошей погоде, чем где-либо в другом месте, потому что эта тема, отнюдь здесь не праздная, связана с надеждами или опасениями за будущий урожай. Только во время выборных периодов говорят о политике. Тогда занимаются соседями, высчитывают их доходы, сплетничают. Эта профессиональная и личная сторона преобладает в разговорах рабочих и мелких коммерсантов; но политика, понимаемая сообразно взглядам ежедневной газеты, заменяет дождь и хорошую погоду как основной сюжет. Политическая метеорология водворилась на место небесной метеорологии, что является уже общественным прогрессом. Даже юристы и врачи, хотя и любящие иногда говорить о своей профессии, часто стараются забыть о ней и отваживаются высказать некоторые соображения философского или научного характера[1]. Наконец, дойдя до *обществ* наиболее

[1] Так дело было не всегда, и чем больше мы углубляемся в прошлое, тем более мы замечаем, что люди даже средних классов, запирают себя в круг своих личных занятий. В одном из писем к мадемуазель де Робинан (1644) мадемуазель Скюдери, ради шутки, описывает путешествие, которое она совершила в почтовом дилижансе, и те разговоры, которые завязались между компаньонами путешествия, а именно одним молодым «partisan'ом» (финансистом), плохим музыкантом, горожанкой из Руана, только что проигравшей процесс в Париже, бакалейщицей с улицы Сент-Антуан и торговкой свечами с улицы Мишель Лепонт, стремившейся увидеть «море и страну», молодым школьником, возвращавшимся из Буржа к своим занятиям, плутом буржуа, «остроумцем из нижней Нормандии, который говорил острот больше, чем говорил их аббат Франкето, когда он были в моде, и который, желая высмеять всю компанию, сам был смешнее всех других». И вот, когда все эти люди принимаются болтать, то они говорят каждый о своих личных или профессиональных занятиях. «Partisan» «постоянно возвращается к вопросу о су и ливрах». Музыкант беспрестанно хочет петь. Торговка свечами думает о своей лавке. «Молодой школьник говорит только о законодательстве, об обычаях и о Кюжасе» по каждому поводу. «Если разговор заходил о красивых женщинах, он говорил, что у Кюжаса была красивая дочь». Итак, мы видим ясно, что этот диалог представлял собою только чередующиеся монологи, и что здесь не было общих сюжетов, способных заинтересовать сразу всех собеседников, не было «общего разговора». В наше время, благодаря газетам, такие общие сюжеты всегда существуют между самыми различными по классу и по профессии собеседниками, иногда их бывает даже слишком много. Итак, мадемуазель де Скюдери называет это случайное общество путешественников *плохой компанией.* Действительно, в эту эпоху, для того чтобы наслаждаться прелестью *общего*

культивированных, мы увидим, что разговоры, вызванные профессией и текущей политикой, сводятся к *минимуму*, и разговор вращается вокруг общих идей, взаимно возбуждаемых чтением, путешествиями, первым прочным и продолжительным образованием, личными размышлениями.

Что касается этих последних групп, то мы видим, что ежедневная пресса перестает быть для них метрономом и обычным руководителем разговора, или по крайней мере ее возбуждающее действие менее непосредственно, если не менее глубоко. Она служит для них прямой пищей только тогда, когда какая-нибудь сенсационная новость или захватывающий вопрос наполняет газеты. Вне таких случаев разговор эмансипируется, принимает непредвиденное течение, выкапывает чуждые, экзотические сюжеты и, таким образом, образует из «общества» *сверхкультурных* людей, магический круг, который безостановочно расширяется в пространстве и во времени, объединяя между собой все избранные элементы цивилизованных наций и связывая их вместе с «порядочными людьми» прошлого в каждой из них[1].

---

*разговора*, прелестью интереса, общего для всех разговаривающих, нужно было жить в замкнутом и огражденном стенами обществе, состоящем из людей одного и того же класса и одинакового образования, как отель Рамбулье. Этим объясняется притягательная прелесть этих убежищ ума. Лафонтен в письмах к своей жене также говорит кое-что о разговорах своих компаньонов по путешествию в почтовом дилижансе. Они были весьма бессодержательны, за исключением одного оживленного спора, возникшего между католиками и протестантами из-за догматов.

[1] Действительно, весьма вероятно, что если бы *précieuses* XVIII в. могли возродиться и, естественно, начать разговаривать, то их разговор был бы для нас интересен. Наверное он представлял бы огромнейший интерес для наших феминистов. В их собраниях, по словам аббата де Пюр, «разбирают, какой из наук или какому роду поэзии принадлежит преимущество». Поднимается вопрос о том, нужно ли историю предпочитать романам, или романы истории. Спрашивают о том, какой свободой пользуются и имеют право пользоваться женщины в обществе и в супружеской жизни. Свобода, восхваляемая по этому случаю, больше похожа на владычество, чем на независимость. Мне кажется, произносит говорящая, что подозрения мужа дают жене право грешить. Одна précieuse хвалит Корнеля, другая предпочитает ему Бансерада как поэта более галантного, и придворного человека. Третья берет сторону Шапелэна. У Скюдери рассуждают о Кино... Иногда случается, что одна из précieuse оплакивает своего друга, *и вдруг начинает рассуждать о печали.* Она думает, что суть печали должна состоять в том, чтобы вновь переживать то наслаждение, которое доставлял покойный. Одна антагонистка восстает против этой системы, в которой она усматривает нечто варварское.

Эти «порядочные люди» всех времен, образцовый тип наивысшей общительности, узнаются по неистощимому богатству всегда новых тем для разговора, которые доставляет им прежде всего общее и одинаковое со всеми образование, блестяще увенчивающее специальное и техническое образование. Я не хочу разрушать по этому поводу в двух словах такую важную и такую мучительную задачу, какова реформа классического образования; но я позволю себе заметить, что если бы сознавали все огромное общественное значение разговора, то не замедлили бы почерпнуть из этого аргумент достаточно солидный, аргумент во всяком случае достойный рассмотрения, в пользу сохранения традиционной культуры в широких размерах.

Тогда стало бы ясно, что главная польза изучения языков и древней литературы заключается не только в том, чтобы поддерживать социальное родство последовательных поколений, но и в том, чтобы установить в каждую эпоху тесную интеллектуальную и умственную связь между всеми фракциями избранных известной нации, или даже между избранными всех наций и позволить всем этим избранным разговаривать друг с другом с интересом, с удовольствием, к какой бы профессии они ни принадлежали, и из какого бы класса, из какой страны они ни происходили.

Предположите, что изучение латинского языка и латинских авторов, точно так же, как изучение философии и истории философии, было вдруг уничтожено во французских школах: вскоре произошел бы разрыв частей в основе французского ума, новые поколения перестали бы принадлежать к тому же *обществу*, как и старшее поколение; и различные французские профессионалы, доктора, инженеры, адвокаты, военные, промышленники, получившие специальное образование, были бы *в общественном смысле* чуждыми друг другу. У них не было бы другого общего интереса, а следовательно и другого разговора, как санитарные вопросы, дождь и хорошая погода или газетная политика. И тогда вдруг «*душа* Франции» была бы разбита не на два, а на сто кусков.

Я знаю, что в глазах экономистов прежней эпохи польза для культурных людей от возможности эксплуатировать один и тот же источник разговора должна представляться самым бесплодным пустяком. Разговаривать для них — это значит терять свое время, и очевидно, что если вся социальная жизнь должна сводиться к утрированному производству, к производству ради производства, то слово имеет право быть терпимо только как сред-

ство обмена. Но такое общество, которое осуществило бы этот идеал, где люди говорили бы друг с другом только для того, чтобы сговориться о деле, покупке, одолжении, соединении, могло ли бы такое общество назваться действительно обществом? Не было бы тогда ни литературы, ни искусства, не было бы удовольствия поболтать между друзьями, даже за обедом. Молчаливые обеды, буфет между двумя скорыми поездами, жизнь деловая и немая: если мы оттолкнем эту перспективу, если мы подумаем о свойственной нам всем существенной потребности все лучше и лучше понимать друг друга для того, чтобы все больше и больше любить и извинять друг друга, и если мы согласимся, что удовлетворение этой глубокой потребности есть самый лучший и самый сладкий плод цивилизации, то мы должны будем признать главной обязанностью правительств не делать ничего, что могло бы пресечь распространение интерспиритуальных отношений, и делать все, что могло бы ему благоприятствовать.

## VI

После того, как мы говорили о разновидностях разговора, о его видоизменениях и причинах, скажем несколько слов о его последствиях, сюжете, которого мы едва коснулись. Будем классифицировать его последствия, чтобы не пропустить какого-либо важного из них, по различным большим категориям социальных отношений. С точки зрения лингвистической, он сохраняет и обогащает языки, если не расширяет их территориального владения, он порождает различного рода литературы и в особенности драму. С точки зрения религиозной, он является самым плодотворным средством проповеди, он распространяет поочередно догматы и скептицизм. Религии утверждаются и ослабляются не столько благодаря проповедям, сколько благодаря разговорам. С точки зрения политической, разговор до прессы является единственной уздой для правительств, недоступное убежище свободы; он создает репутацию и обаяние, он располагает славой, и при помощи ее властью. Он стремится уравнять собеседников, уподобляя их друг другу, и разрушает иерархию в силу того, что выражает ее. С точки зрения экономической, он объединяет суждения относительно пользы различных богатств, создает и точно определяет идею стоимости, устанавливает лестницу и систему стоимостей. Таким образом, эта ненужная болтовня, простая потеря времени в глазах утилитарных экономистов, есть в действительности экономический агент наиболее неизбежный, потому

что без него не было бы мнения, а без мнения не было бы ценности, основного понятия политической экономии и, по правде сказать, многих других специальных наук.

С точки зрения моральной, он борется беспрестанно, и чаще всего с успехом против эгоизма, против склонности преследовать в поступках чисто индивидуальные цели; он намечает и разрабатывает телеологию вполне социальную, противопоставляя ее этой индивидуальной телеологии; ради этой социальной телеологии он посредством похвал и порицаний, которые раздаются кстати и передаются заразительно, распространяет спасительные иллюзии или условную ложь. Благодаря взаимному проникновению умов и душ, он содействует зарождению и развитию психологии именно не индивидуальной, а прежде всего социальной и моральной. С точки зрения эстетической, он порождает вежливость при помощи любезности сперва односторонней, затем сделавшейся взаимной; он стремится согласовать между собой суждения вкуса, в конце концов достигает этого и вырабатывает таким образом поэтическое искусство, эстетический кодекс, имеющий верховное владычество в каждую эпоху и в каждой стране. Итак, он могущественно содействует делу цивилизации, первыми условиями которой являются вежливость и искусство.

Гиддингс в своих *Принципах социологии* делает замечание относительно разговора, и замечание важное. По его мнению, когда два человека встречаются, то разговор, который они ведут друг с другом, есть только дополнение к их взаимным взглядам, которыми они окидывают друг друга и пытаются узнать, принадлежат ли они к одному и тому же общественному виду, к одной и той же общественной группе.

«Мы лелеем, — говорит он, — иллюзию, которая заставляет нас верить, что мы болтаем, потому что интересуемся теми вещами, о которых говорим, точно так же, как мы лелеем самую сладостную из всех иллюзий, а именно веру в искусство для искусства. На самом же деле всякое выражение, вульгарное или художественное, и всякое общение, начиная с случайного разговора при первом вступлении в отношения и кончая самыми глубокими интимными разговорами настоящей любви, все это вытекает из источника элементарной страсти взаимно познакомиться друг с другом и установить сознание вида». Что первый разговор двух встретившихся незнакомых друг другу людей *всегда* имеет характер, указанный Гиддингсом, это уже оспоримо, хотя и верно во многих случаях. Но вероятно, что дальнейшие разговоры, происходящие между ними, после того как состоя-

лось их взаимное знакомство, носят совершенно другой характер. Они стремятся соединить их в одно общество или укрепить это соединение, если они уже принадлежат к одному и тому же обществу. Они стремятся, следовательно, породить и подчеркнуть, расширить и углубить *сознание вида*, а не просто только определить его. Дело идет не о том, чтобы обнажить свои границы, но чтобы беспрестанно расширять их.

Возвратимся к некоторым из этих общих последствий. Когда цивилизованный народ, благодаря вторичной утрате безопасности, поломке мостов, негодности дорог к употреблению, отсутствию писем, общественных связей, впадает в варварство, он становится относительно молчаливым. Там много говорили прозой и стихами, словесно и письменно; там теперь почти совсем не говорят. До какой степени любили разговаривать в момент перед падением империи, можно составить себе понятие по различным местам у Макробия, современника Феодосия Младшего. В его *Сатурналиях* (как известно, написанных в диалогах) один из собеседников говорит другому: «Обращайся кротко с твоим невольником, допускай его милостиво к разговору». Он порицает, по-видимому редкий в его эпоху, обычай тех, которые не позволяют своим невольникам разговаривать с ними, прислуживая им у стола. В другом месте одно из его действующих лиц говорит: «В течение всей моей жизни, Деций, для меня не было ничего лучше, как употреблять досуг, остающийся мне от защиты, на разговор в обществе образованных людей, вроде тебя например. Хорошо направленный ум не может найти отдохновения более благородного и полезного, как беседа, где вежливость украшает как вопрос, так и ответ». Правда, эта последняя фраза напоминает уже приближающееся варварское состояние, если только эта любовь к разговору, немного торжественному и многоречивому, который был осмеян Горацием, не объясняется ораторскими привычками этого адвоката.

Изолированный крестьянин молчит; варвар в своем крепком жилище, в своем ущелье в скале не говорит ни слова. Когда он случайно заговорит, то для того, чтобы сказать речь. Не этим ли столь простым фактом следует объяснить разложение латинского языка и появление неолатинских языков? Если бы галлороманские селения продолжали существовать и сообщаться между собой после падения императорского трона так же, как и прежде, то по, всей вероятности, никогда не перестали бы говорить по-латыни на всей территории империи. Но, за недостатком беспрестанного упражнения в слове на огромном пространстве и

в самых изменчивых условиях, упражнения, которого требовало сохранение такого богатого и сложного языка, неизбежно должно было случиться, что большинство слов погибло, осталось без объекта, и что деликатное чувство нюансов склонения и спряжения утратилось и изгладилось среди земледельцев, пастухов, варваров, обреченных на одиночество за неимением хорошо содержащихся дорог и хорошо урегулированных отношений. Что же тогда случилось? Когда эти существа, обыкновенно молчаливые, чувствовали потребность сообщать друг другу какую-либо идею, всегда грубую, то их заржавленный язык отказывался доставить им точное выражение, и смутное выражение удовлетворяло их вполне; сужение их словаря влекло за собой упрощение их грамматики; латинские слова, латинские обороты и окончания приходили им на память только в искаженном и испорченном виде, и, для того чтобы быть понятыми, они должны были усиливать свою изобретательность, и тем в большей степени, чем больше они утратили привычку говорить правильно и легко. И человек оказался тогда почти в том же состоянии, в каком он находился в доисторические времена, когда, не владея еще даром слова, он должен был мало-помалу изобретать слово также при помощи изобретательных попыток, сосредоточивая на удовлетворении насущной потребности словесного общения все свои умственные способности. И таким образом из целой массы нововведений, придуманных людьми с VII до X века для того чтобы легче понять друг друга, произошли романские языки. За отсутствием частых и разнообразных разговоров латинский язык разложился, и начал образовываться зародыш неолатинских языков, а позднее, благодаря возврату к общественной жизни, к обычным разговорам, неолатинские языки увеличились и расцвели. Не так ли же точно было со всяким разложением и зарождением языка?

Если прекращение разговоров разлагает культивированные языки или же ослабляет их, то возврат к общественным отношениям и необходимо сопровождающим их разговорам есть первая причина образования новых языков. Точно так же этот процесс образования будет медленнее или быстрее, сообразно с тем, будет ли он происходить в стране, где население весьма редко и раздробленно, или же в области относительно густо заселенной и централизованной. Именно такой контраст представляет нам Англия в средние века по сравнению с неолатинскими народами. И не может ли этот контраст служить для объяснения того, почему французским диалектам понадобилось столько веков для

того, чтобы образоваться, и диалекту Иль-де-Франса для того, чтобы утвердиться во всех французских провинциях, в то время как английский язык возник и распространился с быстротой, поражающей лингвистов? Это потому, что, как указал Бутми вместе с другими историками, централизация власти утвердилась в Великобритании гораздо раньше, чем у нас, и благодаря заключению жителей на острове могущественно содействовала их более быстрому объединению. Ассимилирующее подражание действовало там, переходя от группы к группе, с большей силой, нежели во Франции, и уже начиная с средних веков. Представьте себе все, что предполагает умножение разговоров между индивидуумами и между людьми различных рангов, классов, разных графств, постепенное исчезновение многочисленных наречий или только двух различных языков, каковы англосаксонский и романские, перед одним языком, который создается и развивается в то время, как распространяется, который даже своим образованием обязан своему распространению. И действительно, характерная черта английской жизни в средние века та, что это — общая жизнь всех классов в беспрерывном столкновении и обмене примеров. Прибавим мимоходом, что там, как и везде, подражание особенно распространялось от высших к низшим[1], начиная с столь блестящих дворов, где разговор был уже так благороден и утончен; и нужно искать объяснения этой столь быстрой и глубокой ассимиляции в установлении английской иерархии, в сближении ее последовательных ступеней, достаточно различных для того, чтобы существовал престиж высшей ступени, и недостаточно разделенных для того, чтобы отнять охоту к соревнованию.

Политическая роль разговора не менее значительна, нежели лингвистическая. Существует тесная связь между функционированием разговора и изменениями общественного мнения, от чего

---

[1] Можно видеть применение этого закона даже у дикарей. Описывая нравы диких акадийцев, Шарлевуа (*Histoire de la nouvelle France*) пишет: «Каждое местечко имело своего *sagamo* (начальника), не зависящего от других; но все они поддерживали между собой некоторого рода сношения, которые тесно связывали всю нацию. Они употребляли большую часть хорошего времени года на то, чтобы посещать друг друга и держать советы, на которых говорилось об общих делах». Таким образом, привычка разговаривать регулярно и периодически и специально посещать друг друга родилась у начальников племен и, распространяясь, содействовала взаимной ассимиляции соседних народов.

зависит переменчивость власти. Если где-нибудь общественное мнение изменяется мало, медленно, остается почти неподвижным, это значит, что разговоры там редки, скромны, вращаются в узком круге сплетен. Если же общественное мнение подвижно, если оно переходит от одной крайности к другой, это значит, что разговоры там часты, смелы, свободны. Где мнение слабо, там, значит, говорят без одушевления; где оно сильно, там, значит, сильно спорят; где оно яростно, там, значит, разгораются страсти во время спора; где оно бывает исключительным, требовательным, тираническим, это значит, что разговаривающие находятся во власти коллективного безумия, в роде пресловутого «дела»; где оно носит либеральный характер, там, значит, разговоры разнообразны, свободны, питаются общими идеями.

Эта связь между мнением и разговором так тесна, что позволяет нам восстановить разговор в известных случаях, когда у нас нет документов относительно последнего, но нам известно первое. У нас мало сведений относительно разговоров прошедших лет; но у нас есть некоторые сведения касательно того, в какой мере мнение имело решающее влияние здесь или там, в той или другой нации, в таком-то и таком-то классе на решение политической или судебной власти. Например, мы знаем, что правительства Афин в гораздо большей степени, нежели правительства Спарты, были созданы мнением; отсюда мы были бы в праве сделать заключение, если бы не имели сведений из других источников, что афиняне были гораздо говорливее лакедемонян. Во время Людовика XIV мнение двора имело большое влияние, гораздо большее, чем думают, на решение монарха, который бессознательно подчинялся ему; мнение *города* не шло в счет, а мнение провинций вовсе игнорировалось. Это означает, что при дворе разговаривали много об общественных делах, в городе говорили мало и еще меньше во всей остальной Франции. Но в момент революции эти пропорции были разрушены, потому что пример политического разговора, данный высшими сферами, мало-помалу спустился до самой глубины деревень.

Итак, эволюция власти объясняется эволюцией мнения, которое само объясняется эволюцией разговора, а этот в свою очередь объясняется целым рядом различных источников: воспитанием в семье, школой, обучением, проповедями, политическими речами, книгами, газетами. И периодическая пресса питается сведениями из целого света, которые касаются всего, что происходит исключительного, гениального, изобретательного, нового. Газеты бывают более или менее интересны, оказывают влияние в том

или ином смысле сообразно с характером и окраской новостей, которые появляются и подчеркиваются газетами. И среди этих новшеств, которыми питается пресса, нужно поставить на первом плане действия власти, ряд фактов политических.

Таким образом, в конце концов получается, что сами действия власти, размельченные прессой и пережеванные разговором, в широкой степени содействуют преобразованию власти. Но власть могла бы действовать как угодно; она не претерпевала бы эволюции, если бы ее действия не были разглашены прессой и не подверглись обсуждению при разговоре; она оставалась бы в том же состоянии, несмотря на изменения, усилия или ослабления, которые приходили бы от новшеств другого рода, а именно религиозных и экономических, если бы они получили широкое и всеобщее распространение. Там, где власть осталась очень устойчивой, мы можем вообще быть уверены, что разговор был очень скромен и замкнут[1]. Итак, для того, чтобы возвратить власти ее прежнюю устойчивость, устойчивость первобытных времен, когда люди не разговаривали вне узкого круга своей семьи, нужно было бы начать с установления *всеобщей немоты*. При такой гипотезе сама всеобщая подача голосов была бы бессильна что-нибудь изменить.

В смысле политическом нужно считаться не столько с разговорами и спорами в парламенте, сколько с разговорами и спорами частными. Именно там вырабатывается власть, в то время как в палатах депутатов и в кулуарах власть изнашивается и часто лишается значения.

Когда решения парламентов остаются без отголоска, в том случае если пресса не разглашает их, они не имеют почти никакого влияния на политическую ценность представителя власти. То, что происходит в этих закрытых местах, имеет отношение

---

[1] Во времена Бэкона в Англии зарождался разговор, и он посвящает этому предмету нисколько слов в своих *Опытах морали и политики*, но он дает не *общие утверждения*, которые были бы для нас очень интересны, а *общие советы*, которые для нас не так интересны. Если мы будем судить по этим советам, то английские разговоры в то время должны были быть необыкновенно скромны, гораздо скромные разговоров на континенте, возбужденных религиозными войнами. «Что касается шутки, — говорит он, — то есть вещи, которые никогда не были предметом ее: например, *религия*, *государственные дела*, *великие люди*, *лица, утвержденные в высоком звании* (высшие чиновники, вроде него)», и проч.

только к перемене власти, но отнюдь не к ее силе и к ее настоящему авторитету. Кафе, клубы, салоны, лавки, какие-либо места, где ведутся разговоры — вот настоящие фабрики власти. Не надо, однако, забывать, что эти фабрики не могли бы функционировать, если бы не существовало первого материала, который они обрабатывают, а именно — привычки к послушанию и доверию, созданной семейной жизнью, домашним воспитанием. Власть выходит оттуда, как богатство выходит из мануфактур и фабрик, как наука выходит из лабораторий, из музеев и библиотек, как вера выходит из изучения катехизиса и материнских наставлений, как военная сила выходит из пушечных заводов и казарменных упражнений.

Вообразите французских граждан, запертых в одиночные тюрьмы и предоставленных собственным размышлениям без малейшего взаимного влияния, и после этого идущих вотировать... Но они не могли бы вотировать! Действительно, они или, по крайней мере, большинство из них не могли бы отдать предпочтения Петру или Павлу, той программе или иной. Или же, если бы у каждого из них была своя собственная идея, то получилась бы настоящая выборная кутерьма.

Конечно, если бы какой-нибудь государственный человек, вроде Мирабо или Наполеона, мог бы быть *лично* известен всем французам, то не нужно было бы разговора, для того чтобы основать его авторитет, и французы могли бы быть немыми, и все-таки они в огромном большинстве были бы не меньше очарованы им. Но так как это невозможно, то необходимо, как только протяжение государства переходит границы маленького города, чтобы люди болтали между собой для того, чтобы создать над собой престиж, который должен управлять ими. В сущности, на три четверти повинуются какому-нибудь человеку потому, что видят, как другие повинуются ему. Первые, которые начали повиноваться этому человеку, имели или полагали, что имеют на это свои причины: они поверили в его покровительственную и руководящую силу вследствие его преклонного возраста, или же его знатного происхождения, или его телесной силы, или его красноречия, или его гения. Но эта вера, зародившаяся у них самопроизвольно, была передана ими посредством разговоров другим, которые после них в свою очередь также стали верить. Именно разговаривая о деяниях человека, делают его известным, знаменитым, славным; и раз он благодаря славе достиг власти, то именно благодаря разговорам относительно его планов кампании или его декретов, его могущество или увеличивается, или уменьшается.

Особенно в экономической жизни, разговор имеет большое значение, которого экономисты, по-видимому, не заметили. Разговор, обмен идей, — или, скорее, взаимный или односторонний дар идей — не является ли он вступлением к обмену услуг? Именно при помощи слова, сначала во время разговора, люди одного общества сообщают друг другу свои нужды, свои желания потребления или же производства. Чрезвычайно редко случается, чтобы желание купить новый предмет зарождалось при виде его, без того чтобы разговор заранее возбудил это желание. Такой случай происходит, например, тогда, когда мореплаватель пристает к незнакомому острову; его окружают дикари, которые, не говоря с ним, так как ни они не знают его языка, ни он их, ослепляются стекляшками, привезенными им, и приобретают их, отдавая пищу и меха. За исключением таких случаев, разговор имеет большое влияние на зарождение, а еще более на распространение потребностей, и без него никогда не могло бы быть точной и одинаковой цены, первого условия всякой немного развитой торговли, всякой немного успешной промышленности.

Отношение разговора к психологии социальной и моральной очевидно в XVII веке во Франции, но оно явно сказывается не только там. Гораций в одной из своих сатир хвалит ту жизнь, которую он ведет в своем деревенском доме. Там он часто принимает к столу своих друзей. «Каждый гость, свободный от законов этикета, осушает по своему выбору малые или большие чаши. Тут завязывается разговор, но не о соседях с целью позлословить, не об их имениях с целью позавидовать, не о таланте Лепоса в танцевальном искусстве; мы разговариваем о предметах, которые больше интересуют нас, и которые стыдно игнорировать: что делает человека счастливым, добродетель или богатства? Нужно ли в своих связях сообразоваться с тем, что полезно, или с тем, что честно? Какова природа добра? В чем состоит высшее благо? Между тем иногда, кстати, Сервий примешивает к этим серьезным разговорам и «старушечьи сказки». Из этого мы видим, что модные разговоры среди выдающихся людей времен Августа походили одной важной чертой на разговоры «порядочных людей» нашего века: они также вращались около моральных обобщений, когда они не касались литературных суждений. Только мораль, обсуждаемая современниками Горация, эпикурейцами с окраской стоицизма, это — мораль более индивидуальная, нежели общественная, так как последователи Зенона точно также, как и последователи Эпикура, ставили своей задачей укреплять, оздоровлять индивидуум, взятый в отдельности,

оторванный от своей группы. Наоборот, вопросы, поднимаемые светскими христианами и моралистами времен Людовика XIV, имеют прежде всего отношение к общественной морали.

Мадам де Лафайет пишет мадам де Севинье, что однажды после обеда весь разговор с мадам Скаррон, аббатом Тестю и другими собеседниками вращался вокруг «личностей, вкус которых стоит выше или ниже их ума». «Мы пускались, — говорит она, — в такие тонкости, что не могли больше ничего понять». В наши дни спросят, какой интерес может заключаться в трактовании таких темных сюжетов? Но не нужно забывать, что в эту эпоху в аристократических сферах общественность достигала своей высшей точки развития, и не было ничего более кстати, как осветить, точно определить, разобраться насколько возможно в *социальной психологии*, еще не получившей имени. XVII век, в разговорах между порядочными людьми, по-видимому, никогда очень не занимался индивидуальной психологией. Какой-нибудь роман Бурже заставил бы зевать мадам де Лафайет и Ларошфуко. То, что их интересовало и должно было наиболее интересовать, это изучение отношений *интерспиритуальных,* и они бессознательно создавали *интерпсихологию.* Прочтите Лабрюйера, прочтите начерченные Бюсси-Рабютэном портреты его современников или прочтите какого-либо другого писателя: они никогда не характеризуют человека с точки зрения его отношений к природе или к себе самому, но исключительно с точки зрения его социальных отношений к другим людям, согласия или несогласия его суждений относительно прекрасного с их суждениями (*вкус*), его способности нравиться им при рассказывании пикантного анекдота или при написании остроумного письма (*ум*) и т. д.

Естественно, что люди, начиная заниматься психологией, создавали общественную психологию, и точно так же понятно, что они делали это бессознательно, потому что они не могли иметь о ней точного представления, как только противопоставляя ее психологии индивидуальной.

Эта последняя развила в XVII веке только одну свою сторону — впрочем, важную и оригинальную, — а именно мистицизм. Следует при этом заметить, что сладостные или томительные состояния души, изображенные такими живыми штрихами в полных одухотворения письмах Фенелона и многих других мистиков того времени, ощущаются ими как глухой и внутренний разговор с божественным собеседником, с невыразимым утешителем, скрытым в душе. Говоря правду, мистическая жизнь при

старом режиме отчасти создана по образцу «света». Бог делает там *визиты* душе. Он говорит ей, она Ему отвечает. *Милость*, не есть ли это радость и сила, которую дает вам любимый голос, говорящий внутри вас и подкрепляющий вас? Периоды злости и томления, на которые жалуются «спиритуалы», — это интервалы, иногда очень долгие, между визитами и разговорами неизреченного гостя.

Другая ветвь, совершенно отдельная от социальной психологии и тесно связанная с индивидуальной, — это психология половая, которой специально посвятили себя драматурги и романисты, и которая играет в разговорах тем более захватывающую роль, чем они цивилизованный. Она имеет также некоторую связь с мистической психологией.

Разговор есть родоначальник вежливости. Это справедливо даже тогда, когда вежливость заключается в том, чтобы не разговаривать. Провинциалу, только что проехавшему в Париж, ничего не кажется более странным, более противоречащим его натуре, как вид омнибусов, наполненных людьми, которые тщательно воздерживаются от разговоров друг с другом. Молчание между незнакомыми, которые встречаются, естественно, кажется неприличием, как молчание между знакомыми есть признак раздора между ними. Каждый хорошо воспитанный крестьянин считает своим долгом «составить компанию» тем, с кем он совершает путь. В действительности же это происходит не потому, что потребность разговора в маленьких городах или в деревнях сильнее, нежели в больших. Наоборот, эта потребность, по-видимому, возрастает в прямой зависимости от большей густоты населения и высшей степени цивилизации. Но именно вследствие силы этой потребности, в больших городах пришлось устроить плотины против опасности быть потопленными под волнами нескромных слов.

Нужно достигнуть высокой степени сердечной близости для того, чтобы позволить себе долго молчать, когда двое друзей находятся вместе. Между друзьями, которые не очень близки, между людьми безразличными, встречающимися в салоне, слово служит единственной социальной связью, и как только эта единственная связь порвалась, тотчас же является большая опасность, опасность увидеть проявление лжи вежливости, полное отсутствие глубокой привязанности наперекор внешним проявлениям дружбы. Это ледяное молчание действует подавляющим образом, оно производит впечатление, будто разорвали целомудренные покровы, и люди делают все, чтобы избежать его. В угасающее пламя разговора бросают все, что только придет на ум; свои самые

дорогие тайны, не высказывать которые было прямым интересом, точно так же, как в момент кораблекрушения бросают в море свои самые драгоценные товары для того, чтобы задержать потопление. Молчание среди салонного разговора — это потопление корабля среди океана.

Из разговора родились комплименты, точно так же, как и злословие. Разговаривая друг с другом, люди заметили, что их хорошее мнение о них самих не разделяется другими, и обратно.

Тщеславную иллюзию другого, когда дело шло о равном, можно было высмеять, резко напасть на нее, порицая противника; да и то опыт научил избегать конфликтов, вызванных такими порывами откровенности. Но когда дело шло о высшем, о хозяине, то осторожность подсказывала поддерживать эту химеру. Отсюда получились комплименты, которые, мало-помалу ослабляясь, и вместе делаясь взаимными, и под этой обоюдной формой становясь общим достоянием, сделались основанием городской жизни. Вначале они всегда бывают корыстными и только постепенно делаются бескорыстными. Я спрашиваю себя, не объясняется ли то, что индусы сказали относительно всемогущества молитвы, опьяняющей властью похвалы над наивными душами. Молитва, прежде всего, есть гиперболическая похвала. — Характер комплиментов изменяется. В Китае, чтобы сказать приятное кому-нибудь, ему говорят, что он выглядит старым; у нас говорят, что он помолодел. В средние века сказать молодому монаху, *позировавшему* при священном умерщвлении плоти, что он был худ и истощен, это значило сказать ему самую деликатную похвалу. Можно ли уловить смысл как в эволюции комплиментов, так и в эволюции оскорблений? Сравнивая ругательства героев Гомера с ругательствами диффаматорских газет, мы сказали бы, что словарь бранных слов скорее обогатился, нежели видоизменился. Ко всем физическим недостаткам, болезням, уродствам, которые приписывались некогда врагам, прибавились просто пороки цивилизации, утонченная испорченность, интеллектуальные аномалии, которые также щедро навязываются им. Но эти публичные оскорбления прессы, как и эти похвалы, представляют собою нечто отдельное, весьма отличное от оскорблений и похвал, употребляющихся в частных случаях, и они должны были сохранить отчасти свой первобытный гиперболизм. Все, что обращается к публике, этому грубому персонажу, требует также кричащих и грубых красок: объявлений, расклеенных на стенах, выборных программ, газетных полемик. Не менее справедливо и то, что по сравнению с полемиками между учеными

XVI века, полемики наших самых ярых газет, хранилищ всяческой брани, кажутся весьма подслащенными. Что же касается частных оскорблений, то они приняли смягченный характер еще значительно скорее, они перешли от гомерической грубости к самой скромной иронии, и вместо того, чтобы особенно упирать на физическое недостатки, они все более и более упирают на интеллектуальные недостатки или на моральную грубость. Этот двойной прогресс, конечно, бесповоротен.

Эти же самые две характерные черты замечаются в эволюции похвалы, и одинаково имеют вид бесповоротности. Без сомнения, ни один монарх, ни один великий человек в наши дни не вынес бы чрезмерных похвал, подобных тем, какие обращались жрецами к фараонам по их приказанию, или какие Пиндар целыми потоками проливал на увенченные головы атлетов. Тон посвящений на книгах, написанных всего два века назад, возбуждает у нас улыбку. Если мы сравним частные разговоры и споры с разговорами и спорами прошлого, XVIII-го, XVII-го, XVI-го веков, от которых нам остались образцы, мы без труда можем констатировать, что доля как прямого комплимента, так и откровенной брани в них постепенно уменьшалась; эти тяжелые монеты разделились и подразделились на меньшие, очень тонкие монеты. С другой стороны, сущность этих прикрытых комплиментов изменилась не менее, чем сущность этих замаскированных любезностей. Люди начали с того, что прежде всего хвалили физическую силу божества (см. книгу Иова), потом его мудрость, наконец его доброту. Возврата назад не может случиться. Точно так же, вначале хвалили прежде всего могущество королей, затем их ловкость, их организационный гений, наконец их заботы о народе. К кому обращался весь лиризм поэтов восхвалителей в самые древние времена в Греции? Больше к атлетам, нежели к артистам. В наши дни бывает наоборот, и, несмотря на пристрастие к триумфаторам велодромов или foot-ball'a, нечего бояться, что положение вещей вернется к прежнему порядку. Между тем нужно отметить, что похвалы, обращенные к женщинам, претерпевали эволюцию обратную предыдущим. Сперва хвалили добродетель женщин, их дух порядка и экономии, их таланты как *ткачих*, затем как музыкантш; все это прежде, чем хвалить, по крайней мере публично, их физическую красоту; теперь же, когда их хвалят, то скорее за красоту, чем за добродетель, или, далее, за ум; но похвала их красоте имела свою особенную маленькую эволюцию, которая сводится к общей тенденции: раньше хвалили их формы больше, чем их грацию, теперь хвалят грацию больше форм.

Посмотрите на двух людей, мужчин или женщин, которые наносят друг другу визиты вежливости и разговаривают между собой. Они тщательно избегают таких сюжетов, относительно которых они рискуют иметь различные мнения; или если они не могут избежать необходимости коснуться их, они как можно тщательнее скрывают свое противоречие; чаще всего они доходят даже до того, что жертвуют частью своих идей, для того чтобы иметь вид согласия. Вежливый разговор, таким образом, может считаться за постоянное и универсальное упражнение в общественности, за единодушное и заразительное усилие согласовать умы и сердца, изгладить или прикрыть их дисгармонию. Собеседники одушевлены очевидным желанием во всем гармонировать друг с другом; и действительно, они бессознательно *внушают* друг другу, с большой силой, согласованные чувства и идеи. Взаимный характер этого внушения между тем никогда не бываете вполне выдержан; обыкновенно действие, оказываемое одним из собеседников на другого или на других, бывает преобладающим и сводит до незначительных размеров действие этих последних. Как бы то ни было, достоверно то, что обычаи вежливости, поддерживаемые разговорами во время визитов, возделывают довольно глубоко ту почву, где должно расцвести общественное единодушие, и служат для него неизбежным подготовлением.

Разговор был колыбелью литературной критики[1]. В XVII веке, как мы можем усмотреть из корреспонденции Бюсси-Рабютэна со своей любезной кузиной, длинного разговора в письмах, разговоры порядочного общества имели большей частью отношение к сравнительному достоинству книг и авторов. Там обменивались суждениями и спорили о последних трагедиях Расина, о сказке Лафонтена, о послании Буало, о янсенистском произведении; и если приглядеться поближе ко всем этим разговорам, то можно увидеть, что они всегда стремились после спора согласоваться на одной и той же точке зрения. Так было во всякое время независимо от того, каков был господствующий сюжет разговоров. Именно везде, где в известной среде люди много говорили о литературе, они бессознательно содействовали коллективной выработке поэтической науки, литературного кодекса, принятого

[1] Последствие замечательное, если подумать о том важном значении, какое приобрела в нашу современную эпоху литературная критика, высказывая суждение обо всем, даже в области философской критики, политики, социальных идей.

всеми, и способного доставлять готовые суждения, всегда согласные между собой, относительно всех родов умственного творчества. Также, когда мы видим где-нибудь автора, формулирующего такого рода эстетический закон, будь то Аристотель, или Гораций, или Буало, мы можем быть уверены, что ему предшествовал длинный период разговора, сильная общественная жизнь. Итак, мы можем быть уверены, что говорилось много о литературе до Аристотеля и в его время, со времен софистов как в Афинах, так и в остальной Греции; что в Риме много говорили о том же со времен Сципионов, и в Париже со времени précieuses и до них. Эпоха реставрации также кончила тем, что выработала свою романтическую поэтику, не менее деспотическую, для того чтобы быть анонимной. В наши дни таковой еще не утвердилось, но элементы для нее уже приготовляются, и нужно заметить, что — так как область разговора, даже литературного, а не только политического и общественного, сильно расширилась благодаря увеличению числа собеседников — выработка кодекса будет более продолжительна, нежели в прежние эпохи, на том основании, что чем больше чан, тем больше брожение. Посредством спора, как и посредством обмена идей, посредством конкуренции и войны, как и посредством работы, мы содействуем все и всегда созданию высшей гармонии мыслей, слов и действий, устойчивого равновесия суждений, сформулированных в догмы литературные, артистические, научные, философские, религиозные или созданию устойчивого равновесия действий под формой законов и нравственных принципов. Действительно, социальная логика действует во всех речах и во всех поступках людей и неизбежно приводит к своим конечным выводам.

## VII

Далеко позади и значительно ниже разговора стоит письменная корреспонденция как фактор мнения. Но этот второй сюжет, связанный самыми тесными узами с первым, не задержит нас долго. Обмен письмами — это болтовня на расстоянии, болтовня, продолжающаяся несмотря на отсутствие. Следовательно, те причины, которые благоприятствуют разговору: прибавление досуга, объединение языка, распространение общих знаний, равенство рангов и т. д., — содействуют также большей активности корреспонденции, но под условием, чтобы они встретились со специальными причинами, от которых зависит эта последняя. Эти причины: легкость путешествий, благодаря которым случаи

отсутствия делаются чаще, общераспространенность искусства писать и правильное функционирование почтового движения.

На первый взгляд могло бы показаться, что путешествия, умножая письма, должны уменьшать количество разговоров. Но известная истина, что в тех странах, где много путешествуют, больше всего говорят и пишут друг другу. Таким же образом развитие железных дорог, вместо того чтобы пресечь развитие каретной торговли, поддержало ее. Если кочевые привычки наших современников слишком часто врываются между старыми друзьями, между согражданами одного и того же города, — «эти тихие беседы в сумерки» *lenes sub noctem susurri*, которые, как говорит Гораций, «повторялись в обычный час», — то они позволяют все возрастающему числу чужестранцев видеться и разговаривать друг с другом, и эти свидания если и не отличаются таким прелестным характером, зато более поучительны. Любознательность выиграла больше, чем потеряла интимность, и как бы чувствительна ни была для меня эта потеря, я покоряюсь при мысли, что она может быть только временной. Нельзя ли возвести в принцип — весьма могущий осветить интересующий нас сюжет, — что письменные корреспонденции, разговоры и путешествия находятся между собой в тесной связи до такой степени, что если мы у известного народа в известный момент откроем развитие одного из этих трех, например, путешествий, мы будем вправе сделать заключение о развитии и двух других, и обратно? Те времена, когда письменная корреспонденция наиболее процветала (я разумею времена до появления журнализма, столь недавнего, который немного изменил в этом отношении положение вещей, как мы это увидим), были временами, когда больше всего путешествовали и болтали. Такова была эпоха Плиния Младшего. Таков был также наш XVI век. «XYI век, — говорит один историк, — это прежде всего век письменной корреспонденции. Количество политических писем, от королей, министров, капитанов и посланников, сохраненных среди манускриптов национальной библиотеки, неисчислимо. Там фигурируют также корреспонденции религиозные и интимные[1]».

---

[1] Тогда появляется вся иерархия формул вежливости и письменный церемониал. Высшему говорят *Monseigneur*, равному *Monsieur*. Начинают: «Поручаю себя вашей милости», обращаясь к знатной особе. Кончают: «Моля Бога послать вам долгую жизнь в полном здоровье». Ступени отмечены словами, предшествующими подписи: «Ваш слуга, Ваш покорный слуга, Ваш смиренный слуга». (Decrue de Stoutz). Прибавим, что письма в XVI веке, так же как и разговоры, верным отра-

В Испании, если сравнить эту страну с другими нациями Западной Европы, пишут мало. Огонь разговора всегда и везде вспыхивал в слоях наций, наиболее любящих путешествовать, и там ощущалась потребность писать друг другу, например, в Греции, среди риторов и софистов, странствующих продавцов мудрости, притом в недрах народа приморского и подвижного; в Риме, среди аристократии, так охотно кочующей и странствующей; в средние века, в сферах университета и церкви, где монахи, проповедники, епископы, легаты, аббаты и даже аббатисы (эти последние в особенности) так легко перемещались и путешествовали так далеко по сравнению с остальным населением. Первые почты начали с того, что были привилегией университетской и экклезиастической или, скорее, подымаясь еще выше, королевской.

Относительно этого важного учреждения я скажу только несколько слов, чтобы показать, что его развитие шло согласно с законом распространения примеров *сверху вниз*. Сначала короли и папы, затем князья и прелаты имели своих частных курьеров, раньше, чем простые властители; затем их вассалы, затем постепенно все слои нации до самого последнего также поддались искушению писать друг другу. Когда своим эдиктом 19 июня 1494 года Людовик XI организовал почту, курьеры носили только письма монарха, но «из специально королевского, — говорит du Camp, — это учреждение не замедлило стать административным с точной оговоркой, чтобы письма прочитывались, и не содержали в себе ничего, что могло бы нанести ущерб королевскому авторитету». Людовик XI прекрасно сознавал то могущественное действие, которое могла оказывать корреспонденция частных лиц на рождающееся мнение. В первый раз при Ришелье письма были подчинены правильному тарифу (1627), что ясно показывает их непрерывное численное возрастание[1]. «Можно легко отдать себе отчет в необычайном росте службы на фермах во

---

жением которых они являются, лишены осторожности и вкуса, нескромны, непристойны и неделикатны до последней степени. Следующий век распространит чувство нюансов.

[1] Между тем *частные письма* — так как выше, по поводу XVI в., речь шла о корреспонденции политического характера — были повидимому весьма малочисленны до половины XVII в., если судить по выдержке из мемуаров мадемуазель де Монпансье, цитированной Редером. Она говорит о принцессе де Партени (*мадам де* Сабле): «В ее время писание вошло в употребление». Обыкновенно писались только свадебные контракты; *что касается писем, то о них никто даже не упоминал.*

Франции в продолжение XVIII в., сравнивая цену последовательных наймов». Она возросла с двух с половиной миллионов в 1700 году до десяти миллионов в 1777 году, она увеличилась таким образом вчетверо. В наши дни почтовая статистика позволяет вычислить быстрое и беспрерывное возрастание количества писем в различных государствах[1] и измерить таким образом неравное, но повсюду регулярное увеличение общей потребности, которую они удовлетворяют. Таким образом, она может указать нам на неравномерные ступени и успехи общественности.

Но эта же самая статистика является хорошим образцом, подтверждающим, что всегда существуют скрытые *качественные* элементы под социальными количествами, для которых статистика вообще служит приблизительным мерилом[2]. Действительно, нет ничего более схожего по внешнему виду, как письмо в одну и ту же эпоху, в одной и той же стране, и кажется, что условие однородности единиц для вычислений статистика выполнено как нельзя лучше. Письма имеют приблизительно одинаковый формат, одинакового типа конверт, один и тот же способ запечатывания, одинакового рода надписи. В настоящее время они покрыты одинаковыми почтовыми марками. Уголовная и гражданская статистика, конечно, далека от того, чтобы считать единицы до такой степени сходные. Но распечатайте письма: сколько характеристических различий, глубоких и существенных, несмотря на постоянство торжественных формул начала и конца! Сложить вместе эти столь разнородные вещи, этого слишком мало. Мы знаем их количество, но мы не знаем даже их длину. Между тем любопытно было бы узнать, не становились ли они, по мере того как делались все многочисленнее, более короткими, что весьма вероятно, и более сухими? И если бы существовала статистика разговоров[3], ко-

---

[1] Во Франции, например, от 1830 до 1892 г. число писем увеличивалось из года в год *равномерно* (исключая 1848 и 1870), от 63 миллионов писем до 773 миллионов. От 1858 до 1892 количество телеграфных депеш возвысилось от 32 до 463 миллионов, круглым числом.

[2] Если бы это было уместно, я показал бы, что существует не меньше скрытой качественности в физических количествах, измеряемых научными прогрессами, аналогичными по существу со статистикой и не менее правдоподобными, чем она, хотя на вид более основательными.

[3] Она была бы возможна, если бы каждый из нас вел правильный дневник, подобный дневнику Гонкуров. До сих пор записывается только количество заседаний конгресса или ученых обществ, и статистика в этом отношении отмечает постоянное возрастание.

торая была бы также вполне законной, то точно так же интересно было бы знать их длительность, которая в наш деловой век, наверное, была бы обратно пропорциональна их количеству. В тех городах, где больше всего бывает дождя, где падает с неба наибольшее количество воды, — простите мне это сравнение — там в большинстве случаев дожди идут очень редко. Особенно интересно было бы знать внутренние видоизменения сущности писем точно так же, как и разговоров, но статистика здесь не может нам помочь.

В этом отношении нет сомнения, что появление журнализма дало письменным видоизменениям решительный толчок. Пресса, поддерживавшая и питавшая разговор столькими новыми возбуждающими и питательными средствами, наоборот, иссушила много источников корреспонденции. Очевидно, что если бы в марте 1658 г. во Франции были ежедневные газеты столь же осведомленные, столь же аккуратно посылаемые в провинции, как и в наши дни, то Оливье Патрю, такой занятой человек, не стал бы трудиться писать своему другу Дабленкуру длинное письмо, где он дает столько подробностей (какие можно найти теперь в первом попавшемся газетном листке) относительно посещения Христиной Шведской французской академии. Большая, но незаметная услуга, которую газеты оказывают нам, заключается в том, что они избавляют нас от обязанности писать нашим друзьям целую массу интересных новостей[1] относительно событий дня, которые наполняли письма прошлых веков.

Можно ли сказать, что пресса, освободив и избавив частные корреспонденции от этого балласта хроник, сделала услугу письменной литературе, наведя ее на настоящий путь, тесный, но глубокий, чисто психологический и сердечный? Я боюсь, что думать таким образом было бы чистой иллюзией. Все усиливающийся городской характер нашей цивилизации имеет своим последствием то, что число наших друзей и знакомых не перестает возрастать, в то время как степень их близости уменьшилась, и

---

[1] Журналисты очень рано сознали этот род пользы. Ренадо в начале обзора своей *Газеты* в 1631 году говорит об «облегчении, приносимом ими (газетами) тем, кто пишет своим друзьям, которым раньше они были принуждены, для удовлетворения их любознательности, терпеливо описывать новости, чаще всего выдуманные ради удовольствия и основанные на недостоверности простого слуха». Это облечение носило в эту эпоху еще вполне частный характер, как мы видим по письму Патрю, о котором мы только что упоминали.

то, что мы имеем сказать или написать, относится все меньше и меньше к отдельным личностям и все более и более к целым группам, и к группам все более многочисленным. Наш настоящий собеседник, наш настоящий корреспондент — это — и с каждым днем все более — публика[1]. Поэтому не удивительно, что печатные письма, имеющие характер сообщений[2], объявлений и рекламы, путем газет прогрессируют гораздо быстрее, чем наши частные письма. Может быть, мы имеем право считать вероятным, что среди этих последних фамильярные письма, письма-разговоры, которые, естественно, нужно ставить отдельно от писем деловых, все уменьшаются по количеству и еще более по длине, если судить по необыкновенной степени упрощения и сокращения, до которой дошли даже любовные письма «в личной корреспонденции» известных газет[3]. Утилитарный лаконизм телеграмм и телефонных разговоров, которые постепенно овладевают областью корреспонденции, *отлинял* на стиле самых интимных писем. И если, поглощаемая прессой с одной стороны, телеграфом и телефоном с другой, подтачиваемая сразу с этих двух концов, корреспонденция живет, и даже, судя по почтовой статистике, как будто и процветает, то это можно объяснить только умножением деловых писем.

Письмо фамильярное, личное, подробное было убито газетой, и это понятно, потому что она является его высшим эквивалентом или, скорее, продолжением и дополнением, универсальным

---

[1] Потребность обращаться к публике довольно недавнего происхождения. Даже короли прежнего режима не обращались никогда к публике: они обращались к сословиям, к парламенту, к духовенству, но никогда ко всей нации, взятой вместе; тем более частные лица.

[2] Письма с сообщениями о рождении, о браке, о смерти избавили частную корреспонденцию от одного из ее наиболее обильных прежних сюжетов. Например, мы видим в одном томе корреспонденции Вольтера целый ряд писем, в которых содержатся сообщения друзьям г-жи дю Шатле, в остроумных и подробных вариантах, о рождении ребенка, только что произведенного ею на свет.

[3] Но что бесспорно все сокращается и упрощается в письмах всякого рода, это их церемониал. Сравните современное «преданный вам» с формулами для окончания письма в XVI и в XVII в. Преобразование заключительных формул при разговоре в том же смысле не подлежит сомнению, но так как они не оставили по себе прочного следа, то изучать прогресс или регресс в этом деле удобнее по корреспонденции прошлого и настоящего.

отражением. Действительно, газета и книга не одинакового происхождения. Книга происходит от речи, от монолога, и прежде всего от поэмы, от пения. Книга поэзии предшествовала книге прозы; священная книга — книге светской. Но происхождение газеты — светское и фамильярное. Она происходит от частного письма, которое в свою очередь происходит от разговора. И газеты начали с того, что были частными письмами, обращенными к отдельным личностям, и переписанными в известном числе экземпляров. «Задолго до печатного, публичного журнализма[1], более или менее терпимого, или даже более или менее принимаемого в расчет правительствами, существовал писанный журнализм, часто тайный», который упорно держался или пережил самого себя до XVIII в. в письмах Гримма или в мемуарах Башомона.

Послания апостола Павла, письма миссионеров — все это настоящие журналы. Если бы апостол Павел имел в своем распоряжении какую-нибудь *Религиозную неделю*, то именно такие статьи он писал бы туда.

Словом, газета — это публичное письмо, публичный разговор, который, происходя от частного письма, от частного разговора, становится для них важным регулятором и наиболее обильной пищей, одинаковой для всех в целом мире, глубоко изменяющейся для всех с каждым днем. Газета начала с того, что была только продолжающимся отголоском разговоров и корреспонденции, а кончила тем, что стала для них почти единственным источником. Что до корреспонденции, то она еще живет ими, она живет ими, более чем когда-либо, особенно в той наиболее сжатой и наиболее современной форме, которую они принимают, в форме телеграфической депеши. Из частной телеграммы, адресованной к ее главарю, она делает сенсационную злободневную новость, которая моментально во всех больших городах материка породит толпы; а все эти рассеянные толпы, тесно соприкасающиеся друг с другом на расстоянии благодаря сознанию их одновременности, их взаимного действия, рожденного ее действием, она свяжет в одну огромную толпу, отвлеченную и всемогущую, которую она назовет общественным мнением. Таким образом, она окончила долгую вековую работу, начатую разговором, продолженную корреспонденцией, но остававшуюся всегда в состоянии рассеянного и несвязного наброска, работу слияния личных мнений в мнения местные, этих последних — в мнение

[1] Eugène Dubiet, *Le Journalisme*. Hachette, 1892.

национальное и мнение *всемирное*, грандиозное объединением общественного ума. — Я говорю общественного ума, я не говорю национальных умов, *традиционных*, которые остаются в основе различными под двойным вторжением *рационального*, более серьезного интернационализма, по отношению к которому национальный ум является часто отзвуком и народным резонатором. — Власть огромная, несмотря ни на что, которая не может иначе идти, как все увеличиваясь, так как потребность согласоваться с публикой, часть которой составляет, думать и действовать в смысле мнения, становится тем сильнее и непреоборимее, чем публика многочисленней, чем сильнее мнение, и чем чаще удовлетворялась эта самая потребность. Итак, не нужно удивляться, видя, как наши современники сгибаются под напором налетающего вихря общественного мнения, и необходимо не делать отсюда заключения, что характеры ослабили. Если гроза повергает на землю дубы и тополя, то это не значит, что они стали слабее, это значит, что ветер сделался сильнее.

# ТОЛПЫ И ПРЕСТУПНЫЕ СЕКТЫ[1]

В течение всего последнего столетия, когда во всем — в политике и политической экономии, в морали, в праве и даже в религии, длился этот кризис индивидуализма, вплоть до наших дней преступление считалось актом, по существу своему, самым индивидуалистическим в мире; и среди криминалистов понятие о коллективном преступлении было, так сказать, потеряно, как утратилась даже среди теологов идея о коллективном грехе, за исключением разве идеи о грехе наследственном. Когда покушения заговорщиков, преступления разбойничьих шаек заставили признать факт существования преступлений, совершаемых коллективно, тогда поспешили разложить эти туманные уголовные деяния на отдельные индивидуальные преступления, считая первые только суммой вторых. Но в настоящее время социологическая или социалистическая реакция против этой великой эгоцентрической иллюзии должна естественно направить внимание на социальную сторону актов, которые индивидуум несправедливо приписывает себе. Исследователи с большим интересом занялись преступностью сект — по этому вопросу ничто по глубине и силе не может сравниться с работами Тэна по психологии якобинцев — а в самое — последнее время преступностью толп. Эти два чрезвычайно различных вида именно *группового* преступления имеют общее родство, и совместное изучение их не будет бесполезным или несвоевременным.

---

[1] Я думаю, что здесь необходимо перепечатать в качестве полезного дополнения к предыдущим этюдам этот этюд, напечатанный раньше (в декабря 1893 г.) в *Revue des Deux-Mondes*, а затем в моих *Essais et Mélanges* (Storck et Masson, 1895). Еще задолго до появления этого этюда я занимался психологией толпы. Читателя интересующегося этим предметом, я позволяю себе отослать к моей *Philosophie pénale* (Storck et Masson, 1890), к главе Le crime, стр. 323 и сл., а также к моему докладу о *преступлениях толпы*, который был прочитан и обсуждался на брюссельском Конгрессе криминальной антропологии в августе 1892. Все это было потом перепечатано в моих *«Essais et Mélanges»*.

## I

Трудность вопроса заключается не в том, чтоб отыскать коллективные преступления, а в том чтоб открыть преступления, которые не являются таковыми, в которых среда не участвует ни в какой степени. Этот последний вопрос до того важен, что можно даже спросить себя: существуют ли вообще чисто индивидуальные преступления, подобно тому, как ставился вопрос о том, существуют ли произведения гения, которые не являются произведениями коллективными? Проанализируйте состояние преступника самого жестокого и самого одинокого в момент преступления или разберите душевное состояние изобретателя, самого нелюдимого в тот момент, когда он совершает свое открытие. Отбросьте при образовании этого лихорадочного состояния все то, что следует отнести на долю влияния воспитания, товарищей, образования, биографических фактов — что останется? Очень немного, и тем не менее нечто и нечто существенное, нечто такое, чему вовсе не нужно изолироваться, чтобы быть собою. Напротив того, это неведомое нечто, которое является вполне индивидуальным *я*, должно смешиваться с внешним миром для того чтобы сознать себя и укрепиться; оно питается тем, что изменяет его. Только благодаря разнообразным актам, вытекающим из соприкосновения с посторонними лицами, оно развивается, приспособляя их к себе, причем степень этого приспособления весьма различна в зависимости от того, насколько индивидуальному *я* дана способность скорее приспособлять посторонних лиц к себе, чем самому ассимилироваться с кем-нибудь из них. Впрочем, даже при подчинении оно остается всего чаще собою, и его подчинение имеет свой собственный характер. Почему Руссо отвернулся от действительности, когда для осуществления высшей возможной степени индивидуальной автономии он находил необходимым режим продолжительного уединения с раннего детства, уединения, впрочем, неполного, уединения двоих, учителя и ученика, которое гипнотизировало второго из них. Его *Эмиль* — это само олицетворение и, в то же время, путем абсурда, отвержение индивидуализма, присущего его эпохе. Если уединение — плодотворное и даже единственно плодотворное средство, то это потому, что оно чередуется с интенсивной жизнью различных отношений, опытов и чтений, давая возможность размыслить над ней.

Несмотря на все это, преступления можно назвать индивидуальными, как и все вообще действия, совершенные одной личностью

в силу неясных, отдаленных, смутных влияний других людей, неведомых и неопределенных; с другой стороны, можно сохранить слово «коллективный» для действий, совершенных непосредственным совместным трудом известного определенного количества соисполнителей. Конечно, в этом смысле существуют и индивидуальные творения гения или, вернее, в творениях гения все индивидуально. В самом деле, замечательно, что, в то время как в нравственном отношении группы способны к двум противоположным крайностям, — к крайней преступности и, порою, к высшему героизму — в смысле интеллектуальном мы не наблюдаем того же явления. Масса может опуститься до такой степени безумия или отупения, какие неведомы индивидууму, взятому в отдельности; и в то же время, масса лишена возможности подняться до высшего развития творческого ума и воображения. В нравственном отношении массы могут падать очень низко и подниматься очень высоко. В интеллектуальном отношении они способны доходить только до крайней степени падения. Если нам известны случаи коллективных злодеяний, на которые был бы неспособен индивидуум, случаи резни и грабежей, совершаемых вооруженными шайками, пожары во время революций, сентябрьские дни, Варфоломеевская ночь, случаи массовых подкупов и т. д., то, с другой стороны, мы знаем и о проявлениях коллективного героизма, в которых индивидуум возвышается над самим собою, о битвах легендарных рыцарей, о восстаниях, вызванных патриотическим чувством, о массовых мученичествах, о ночи 4-го августа и т. д. Но в противовес коллективному проявлению безумия и тупости, примеры которого мы приведем, можно ли указать коллективные акты гения?

Нет. Ответить утвердительно можно только, приняв без доказательств банальную неосновательную гипотезу, по которой языки и религии, творения, без сомнения, гениальные, были самородным и бессознательным созданием масс, и, что особенно замечательно, не организованных масс, а нестройных скопищ. Здесь не место обсуждать это слишком легкое решение капитального вопроса. Оставим в стороне то, что происходило в доисторические времена. Но можно ли в исторические времена указать изобретение, открытие, верную инициативу, которыми бы мы были обязаны этому безличному существу, — толпе? Нет. То, что в революциях было чисто разрушительного, толпа может приписать себе, по крайней мере отчасти, но что основали они, что в действительности открыли такого, что до или после них не было постигнуто и предусмотрено людьми высшими, как Лютер,

Руссо, Вольтер, Наполеон? Пусть мне укажут армию, даже наилучшего состава, которая сама собою создала бы план кампании, замечательной или хотя бы посредственной; пусть мне укажут военный совет, который при задумывании, я не говорю уже при обсуждении какого-нибудь маневра, мог бы сравниться с умом, самым посредственным, главнокомандующего. Встречал ли кто-нибудь художественный шедевр в живописи, скульптуре или архитектуре, наконец даже эпопею, которые были бы задуманы и исполнены коллективным вдохновением десяти, ста поэтов или художников? Так фантазировали насчет *Илиады* в известную эпоху дурной метафизики; теперь смеются над этим. Все гениальное индивидуально, даже в деле преступлений. Нет преступной толпы, нет такой ассоциации преступников, которые изобрели бы новый способ убийства или грабежа; гениальным убийцам и ворам обязаны мы тем, что искусство убивать и грабить ближнего поднялось, достигло нынешнего совершенства.

От чего зависит указанное несходство? Почему социальным группам несвойственно высокое умственное развитие, тогда как им доступно высокое и сильное развитие воли и даже добродетели? Причина этого несходства заключается в том, что поступок добродетельный, даже самый героический, сам по себе есть нечто весьма простое и отличается от обыкновенного нравственного поступка только степенью; в самом деле, сила единства, которое получается в собраниях людей, где чувства и мнения усиливаются, благодаря многочисленным точкам соприкосновения, есть сила по преимуществу количественная. Но произведение гения или таланта имеет всегда сложный характер и отличается по самой природе, не только по степени, от обыкновенного умственного акта. Здесь дело заключается не в том, чтобы воспринять и запомнить что попало, приноровляясь к известному типу, а в том, чтобы создать новые комбинации из восприятий и образов, уже известных. На первый взгляд, может показаться, что десять, сто, тысяча умов, соединившихся вместе, более способны, чем один, охватить все стороны какого-нибудь сложного вопроса; и эта иллюзия столь же непреоборима и обаятельна, сколько глубока. Во все времена народы, наивно проникнутые этим предрассудком, в тревожные минуты своей жизни ждали от религиозных и политических собраний исцеления от зол. В средние века это были соборы, в новое время — генеральные штаты, парламенты. Вот какой панацеи ищут больные массы. Из этой же ошибки вытекает вера в суд присяжных, постоянно обманывающая и постоянно вновь возрождающаяся. В действительнос-

ти это не просто *собрания* лиц; это скорее *корпорации*, вроде больших религиозных орденов, или гражданских или военных ополчений, которые иногда отвечали потребностям народов. Следует при этом заметить, что даже в форме корпораций, коллективные группы бессильны создать что-нибудь новое. Так бывает независимо от того, насколько дееспособен социальный механизм, в который вовлечены индивидуумы.

В самом деле, возможно ли, чтоб одновременно по сложности и эластичности своей структуры он равнялся мозговому организму, этой несравненной армии нервных клеточек, которую каждый из нас носит в своей голове? Пока хорошо сотворенный ум стоит выше парламента, даже наилучшим образом устроенного, в отношении быстроты и верности функционирования, быстрого впитывания и выработки многообразных элементов, тесной солидарности бесчисленных действующих сил, до тех пор будет чистым ребячеством, хотя правдоподобно *a priori* и извинительно, рассчитывать, что мятежи и совещательные органы могут скорее вывести страну из затруднительного положения, чем один человек. В самом деле, всякий раз, когда страна переживает один из тех периодов, в которые она чувствует настоятельную потребность не только в великой отзывчивости сердца, но и в великих способностях ума, всякий раз является необходимость в единоличном управлении, в форме ли республиканской, или монархической, или с парламентской окраской. Не раз раздавались протесты против этой необходимости, которая казалась *переживанием*, и причины которой тщетно доискивались. Может быть намек на ее скрытую причину заключается в выше приведенных соображениях.

Они могут также помочь точно определить, в чем состоит ответственность вождей в действиях, совершенных группами, которыми руководят эти вожди. Собрание, ассоциация, толпа или секта имеют лишь ту *идею*, которая им внушена; эта более или менее разумная идея, указание на то, какую преследовать цель, какие употреблять средства, может сколько угодно распространяться из ума одного человека по умам всех, и она все-таки останется одной и той же. Тот, кто внушал ее, отвечает за ее непосредственные следствия. Но возбуждение, которое соединяется с этой идеей и которое распространяется вместе с ней, не остается одинаковым при своем распространении; интенсивность этого возбуждения растет наподобие математической прогрессии, и то, что было умеренным желанием или нерешительным мнением у виновника этой пропаганды, у того, например, кто первый внушил

рискованное подозрение против известной категории граждан, то быстро превращается в страсть и убеждение, ненависть и фанатизм в массе, склонной к брожению, куда попало зерно. Сила возбуждения, двигающая толпой и доводящая ее до последней крайности в отношении как добра, так и зла, является в значительной доле ее собственным делом; она — результат взаимного разгорячения этих людей, которые собираются вместе, видя каждый в другом свое отражение. Возлагать на вождя толпы ответственность за все преступления, к которым влечет ее это крайнее возбуждение, было бы столь же несправедливо, как приписывать этому вождю всю заслугу великих дел патриотического самопожертвования, великих подвигов самоотвержения, порожденных тем же лихорадочным возбуждением. От вождей толпы или мятежа всегда можно требовать ответа за то коварство и искусство, которые проявила толпа при совершении своих убийств, грабежей и пожаров, но не всегда они ответственны за ярость и количество бед, причиненных преступной заразностью толпы. Генералу одному следует воздать почет за его план кампании, но не ему принадлежит почет за храбрость его солдат. Я не говорю, что этого различия достаточно для решения всех возникающих при этом вопросов об ответственности; я хочу сказать, что его нужно иметь в виду при разрешении их.

## II

Как с интеллектуальной, так и с других точек зрения, необходимо установить заметные отличительные признаки между разными формами социальных группировок. Не станем останавливаться на тех, которые заключаются просто в материальном сближении. Прохожие на многолюдной улице, путешественники, сошедшиеся, даже густо набившиеся на пакетботе, в вагоне, за табльдотом, молчащие или не связанные общим разговором, группируются физически, а не в общественном смысле слова. То же сказал бы я о крестьянах, скопившихся на ярмарке, пока они ограничиваются только заключением торговых сделок между собою, они преследуют каждый в отдельности свои различные, хотя исходные цели, не устраивают кооперацій для одного общего дела. Все, что можно сказать о них, это то, что они носят в себе способность к социальному группированию в той мере, в какой их предрасполагает к более или менее тесному, в случае надобности, соединению сходство языка, национальности, религии, класса, воспитания, всякое сходство социального происхо-

ждения, т. е. всякое сходство, обусловленное распространением через подражание какого-нибудь элемента, исходящего от первого изобретателя, анонимного или известного. Стоит, чтобы произошел на улице динамитный взрыв, стоит, чтобы возникла опасность крушения судна или поезда, чтобы вспыхнул пожар в отеле, распространилась на ярмарке какая-нибудь клевета против заподозренного барышника, — и тотчас же эти способные к ассоциированию индивидуумы соединяются для стремления к общей цели под давлением общего возбуждения.

Тогда сама собою рождается первая ступень ассоциации, которую мы называем толпой. Через ряд посредствующих ступеней от этого примитивного агрегата, летучего и аморфного мы поднимаемся к толпе организованной, имеющей иерархическое разделение, продолжительную и регулярную жизнь, словом, к той толпе, которую мы называем *корпорацией* в самом широком смысле этого слова. Самое широкое выражение той и другой — церковь и государство. Заметим даже, что церкви и государства, религии и нации в периоды своего сильного роста всегда имеют тенденцию осуществить корпоративный тип, монастырский или полковой, к счастью никогда не достигая его вполне. Их историческая жизнь проходит в том, что они раскачиваются между тем и другим типом, дают попеременно то идею огромной толпы, как варварские государства, то идею великой корпорации, как Франция эпохи Людовика Святого. Это же происходило с тем, что называлось корпорациями при старом режиме; в обычное время они были корпорациями в гораздо меньшей степени, чем рабочие федерации, эти действительные маленькие корпорации, властно управляемые, каждая в отдельности, своим главой. Но когда общая опасность собирает вместе всех рабочих одной промышленной отрасли для общей цели, такой, например, как выигрыш процесса, тогда, вроде того, как это бывает с гражданами одной нации во время войны, федеративная связь немедленно скрепляется, и вперед пробивается одно правящее лицо. В промежутке между моментом этой совместной единодушной работы, деятельность ассоциации среди соединенных рабочих ограничивается преследованием какого-нибудь экономическаго или эстетического идеала; точно также, как в промежутке между войнами вся национальная жизнь граждан сводится к заботе об известном патриотическом идеале. Современная нация, благодаря продолжительному влиянию эгалитарных идей, имеет тенденцию снова стать большой сложной толпой, которую направляют, в большей или меньшей степени, национальные или местные вожаки.

Но потребность в иерархическом строе среди разросшихся обществ стала до того сильна, что по мере их демократизации, как это ни странно, им порою все более и более приходится принимать военную организацию, укреплять, усовершенствовать и расширять ту по преимуществу иерархическую и аристократическую организацию, которая называется армией, не говоря уже об администрации, этой второй огромной армии; и этим путем, они, быть может, готовятся по миновании воинственного периода, под эгидой мира, промышленности, науки и искусства облачиться в корпоративную оболочку, чтобы стать огромной мастерской.

Между двумя указанными крайними полюсами можно поместить некоторые группы, имеющие временный характер; но их состав набирается по установленным правилам, или они подчинены известному краткому уставу. Сюда относятся: суд присяжных, некоторые обычные собрания, преследующие цели удовольствия, литературные салоны XVIII века, версальский двор, театральная аудитория, которая, несмотря на несерьезный характер своей цели и своего общего интереса, связана строгим этикетом, имеет определенный иерархический строй с различием мест; сюда относятся, наконец, литературные и ученые общества, академии, которые являются скорее собраниями взаимно обменивающихся талантов, чем группами вместе занимающихся работников. К разновидностям корпорации мы причисляем членов заговора и так часто встречающиеся преступные секты. Парламентские собрания занимают особое место; это скорее сложные и противоречивые толпы, толпы, так сказать двойственные — двуглавые, как говорят, чудовища — где с беспорядочным большинством борются одна или несколько составивших коалицию групп меньшинства, и где, вследствие этого, по счастью нейтрализуется до известной степени зло единодушия, эта великая опасность, присущая толпам.

Но в форме ли толпы или корпорации, всякая настоящая ассоциация в одном отношении всегда сохраняет одинаковый характер: ее всегда в большей или меньшей степени создает и ведет вождь, явный или сокрытый; он довольно часто скрыт от нас, когда дело идет о толпах; он всегда заметен и бросается в глаза, когда мы имеем дело с корпорациями. С момента, когда масса людей начинает трепетать общим трепетом, одушевляется и идет к своей цели, можно утверждать, что какой-нибудь вдохновитель или вожак, или группа таких вдохновителей, вожаков, среди которых один является активным ферментом, вдохнули в эту толпу свою душу, вдруг ставшую грандиозной, искаженной,

чудовищной; и сам вдохновитель нередко первый бывает поражен и охвачен ужасом. Подобно тому, как всякая мастерская имеет своего руководителя, всякий монастырь — своего настоятеля, всякий полк — своего командира, всякое собрание — своего председателя, или, вернее, всякая фракция собрания — своего *лидера*, точно так же всякий оживленный салон имеет своего корифея в разговоре, всякий мятеж — своего вождя, всякий двор — своего короля, или князя, или князька, всякая клака — начальника клаки. Если театральная аудитория имеет, до известной степени, право считаться чем-то вроде ассоциации, то это именно тогда, когда она аплодирует, потому что она подчиняется толчку, который дан первым хлопком, являясь отражением этого импульса, а также тогда, когда она слушает, потому что она подчиняется внушению автора, выраженному устами говорящего актера. Таким образом, везде, явное или скрытое, царит различие между *вожаком* и *ведомыми*, различие, столь важное в вопросе об ответственности. Это не значит, что воля всех исчезла перед волей одного; эта последняя, — она впрочем также внушена, она — эхо внешних и внутренних голосов, по отношению к которым она служит только сгущенным и первым выражением, — для того, чтоб импонировать другим, должна делать им уступки и льстить им для того, чтобы вести их. Так бывает с оратором, который не упустит случая принять меры ораторского искусства, с драматическим автором, который должен всегда уступать предубеждениям и меняющимся вкусам своих слушателей, с лидером, который должен ладить с своей партией, даже с тем же Людовиком XIV, который поневоле сообразуется с своими придворными.

Впрочем, мысль эту следует понимать различно, смотря по тому, идет ли дело о собраниях, образовавшихся самопроизвольно, или об организованных собраниях. В последнем случае, одна воля, чтобы занять господствующее положение, должна, при своем появлении, согласоваться, до известной степени, со склонностями и традициями тех, чья воля подчиняется. Но раз появившись, эта воля одного выполняется тем вернее, чем искуснее организация данной корпорации. Когда же дело касается толпы повелевающей, воле нет необходимости согласоваться с традициями, которые не существуют. Она даже может заставить себе повиноваться, хотя бы между нею и склонностями большинства было только слабое согласие; но, сообразуясь или нет, она всегда выполняется плохо и искажается в то время, как оказывает давление. Можно сказать, что признаками, по которым различаются все формы ассоциации, служат:

1) способ, которым одна мысль или одна воля среди тысячи других становится руководящей, условия соревнования мыслей и воль, из которых она выходить победительницей;
2) большая или меньшая возможность, которая открывается распространению руководящей мысли, руководящей воли.

Так называемая демократическая эмансипация стремится всем открыть доступ к интересующему нас соревнованию, которое сначала ограничивается известными категориями лиц, постепенно затем расширяющимися. Но всякое усовершенствование социальной организации, в демократической или аристократической форме, дает в результате возможность индивидуальному намерению, обдуманному и связно построенному, входить в умы всех членов ассоциации в более чистом виде, с меньшими искажениями, более глубоко, путями, более надежными и краткими. Глава бунта никогда не располагает вполне своими людьми, генерал почти всегда располагает своими; руководство первого идет медленными и окольными путями, благодаря тысячам уклонений, второй действует прямо и быстро.

## III

Несмотря на приведенные выше соображения, мысль о том, что роль вожаков, по крайней мере по отношению к толпе, является универсальной и весьма важной, оспаривалась и оспаривалась энергично[1]. В самом деле, есть толпы, не имеющие явного вождя. В стране свирепствует голод, со всех сторон подымаются истомленные голодом массы, требуя хлеба; по-видимому, вожака нет; единодушие рождается само собою. Вглядитесь однако попристальней. Все эти волнения вспыхнули не сразу; подобно пороховому приводу, они начались от первой искры. Первая вспышка началась где-нибудь в местности, более других постра-

[1] На брюссельском Конгрессе уголовной антропологии в августе 1892 года, один русский ученый делал нам подобные возражения, ссылаясь на аграрные волнения во время недорода. Затем один итальянский ученый доктор Бианки, на которого мы скоро сошлемся, приводил в возражение нам аналогичные факты. В ответ на это я могу указать, что положение, развиваемое здесь мною, уже раньше в 1882 году доказывал замечательный русский писатель Михайловский в журнале «*Отечественные Записки*».

давшей и склонной к взрыву, в местности, где больше работали агитаторы, явные или скрытые, давшие сигнал к мятежу. Далее взрыв последовал в соседних местностях, и новым агитаторам предстояло уже меньше дела, благодаря их предшественникам, и так от одного места к другому распространяется их деятельность, через подражание одной толпы другой толпе, распространяется с постоянно растущей силой, которая вместе с тем ослабляет значение местных вожаков, до тех пор, пока, наконец, деятельность руководителей не скроется совершенно от глаза, в особенности когда народный циклон перешел далеко за пределы, в которых он имел raison d'etre, за пределы области недорода. Странно, по крайней мере для того, кто не признает могущества за силой подражания, что самопроизвольность в мятежах тем полнее, чем менее она мотивирована. Именно это упускает из виду итальянский писатель, который в возражение нам ссылается на агитацию в верхней части Миланской области в 1889 году. Во время ряда этих мелких сельских бунтов он заметил, что некоторые из них зародились почти сами собою; что, однако, удивляет его, так как он признает, что причина, выставленная агитацией, была недостаточна для ее оправдания. Жалобы на собственников по поводу контрактов не заключали в себе ничего серьезного, и если год был плохим, то ввоз произведений новой промышленности отчасти вознаградил за недород. Как же при подобных условиях можно думать, что эти итальянские крестьяне восстали сами собою, без всяких побуждений извне или изнутри или, вернее, извне и изнутри одновременно? Он должен был дойти до первой из этой вспышек, чтоб убедиться, что народное недовольство, бывшее местным и частным, прежде чем распространиться и стать общим, не родилось единым, что здесь, как это бывает во время пожаров, были свои зажигатели, из фермы на ферму, из корчмы в корчму разносившие клевету, злобу и ненависть. Именно они дали глухому брожению, вызванному ими, эту точную формулировку: «Собственники не хотят смягчить арендных контрактов; чтобы принудить их к этому, необходимо внушить им страх». Все средства были указаны: скопление толпами, крики, пение угрожающих песен, битье стекол, грабежи и пожары. Для агитатора, раз действует сила заражения, требуется немного труда, чтобы толпу в две-три сотни крестьян или крестьянок, по окончании обедни или вечерни, склонить к подобного рода манифестациям. Ему нужно только швырнуть камнем, испустить крик или затянуть песню, — немедленно все последуют за ним; а нам скажут потом, что волнение

началось само собою. Между тем, инициатива этого человека была безусловно необходима.

При беглом взгляде все беспорядочные сборища вытекающие из одной первой вспышки и тесно примыкающие одно к другому, это обычное явление революционных кризисов, — можно считать одной общей толпой. Таким образом, существуют сложные толпы, как в физике — сложные волны, ряд волнистых групп. Если стать на эту точку зрения, мы увидим, что не бывает толпы без вожака; мы увидим, кроме того, что, если, идя от первой из этих *составных* толп к последней, значение *второстепенных* вожаков уменьшается, то значение *первоначальных* вожаков все возрастает, увеличиваясь с каждой новой сумятицей, которая порождается предшествующей, путем заражения на расстоянии. Эпидемии стачек служат тому доказательством. Первая стачка несомненно та, в которой недовольство имело наиболее серьезный характер, и которая, вследствие этого, более всех других должна бы возникать сама по себе; эта первая стачка всегда вырисовывает пред нами личность агитаторов; следующие за нею стачки, хотя порою лишены всякого смысла и толку — как это обозначилось среди рабочих, двигающих жернова в Перигоре, которые просто хотели стать модными — эти следующие стачки производят впечатление взрывов, происшедших без помощи фитиля; можно было бы сказать, что они производят выстрел сами, одни, подобно плохим ружьям. Впрочем, я признаю, что мало подходит имя *вожаков* сюда, в применении к простым смутьянам, которые без определенного желания, полубессознательно нажали курок ружья. Я беру пример из недавнего времени у доктора Бианки: «В одной деревне в исходе марта месяца народ, который, как нам известно, был уже чрезмерно возбужден, заметил полицейских агентов, явившихся для надзора за ним; вид этих агентов привел народ в крайнее раздражение; послышались свистки, затем крики, потом революционные песни, и вот эти бедные люди, дети и старцы, воспламеняют друг друга. Толпа ринулась, принимаясь, конечно, бить стекла и разрушать все, что может». Следует кстати отметить эту необыкновенную склонность толп к разбитым стеклам, к шуму, к ребяческому разрушению; это одна из многочисленных сходных черт между толпой и пьяницей, для которого величайшее удовольствие, опорожнив бутылку, разбить ее. В нашем примере, первый, издавший свист или крик, не давал себе, вероятно, отчета в том возбуждении, которое он вызовет. Но не следует забывать, что мы имеем здесь дело с волнением, которому предшествовали многие

другие, имевшие своих агитаторов, действовавших более сознательно, добровольно.

Случается также часто, что толпа, приведенная в движение кучкой воспламененных людей, образующих ядро, обгоняет их и всасывает в себя, и, ставши безголовой не имеет, как может показаться, вожака; но в действительности она не имеет его в том смысле, в каком тесто, поднявшись, не имеет больше дрожжей.

Наконец — существенное замечание — роль этих вожаков тем значительнее и заметнее, чем с большим единодушием, последовательностью и разумом действует толпа, чем более приближается она к нравственной личности, к организованной ассоциации.

Итак, мы видим, что, несмотря на важное значение, которое имеет характер ее членов, ассоциация, в конце концов, будет хотеть того, чего захочет ее глава. И первостепенное значение имеет характер этого последнего; несколько менее справедливо это может быть по отношению к толпе. Но, если здесь неудачный выбор вождя может не произвести таких гибельных последствий, как в корпоративной ассоциации, зато здесь меньше шансов, что этот выбор будет удачен. Толпы, а также собрания, даже парламентские, готовы ухватиться за хорошего говоруна, за первого встречного неизвестного им. Но корпорации купцов, *collegia* древнего Рима, церкви и первые христиане, словом все корпорации, выбирая *приора*, *епископа*, *синдика*, подвергали его сперва продолжительному испытанию, или если они брали своего главу вполне готовым, как например армия, то он выходил из рук разумной и хорошо осведомленной власти. Ассоциации менее подвержены «закупориванию», потому что они не пребывают всегда в *состоянии собрания*, а чаще пребывают в *состоянии рассеяния*, которое предоставляет их членов, освобожденных от тисков соприкосновения, влечению их собственного разума. — Далее, если глава известной корпорации признан превосходным, он может умереть, и его дело переживет его[1]; основатель религиозного ордена, причисленный после смерти к лику святых, живет и действует в сердцах своих учеников; к его учению присоединяется учение всех аббатов и реформаторов, которые следуют за ним, и престиж которых, так же как и его престиж, растет и очищается по мере того, как увеличивается время, отделяющее

[1] К сожалению, это бывает по временам и в тех случаях, когда глава не заслуживает такой чести после смерти: политические партии служат тому доказательством. Во Франции буланжисты пережили Буланже, в Чили бальмаседисты — Бальмаседу.

их; между тем, добрые вожаки толпы[1] — встречаются и такие — перестают действовать, как только они исчезли; их забывают прежде, чем успеют заменить. Толпа повинуется только живым и присутствующим вожакам, которые имеют престиж, так сказать, телесный, физический, она никогда не повинуется призракам идеального совершенства, воспоминаний, ставших бессмертными. Как я мимоходом заметил, корпорации в своем продолжительном существовании, которое иногда тянется целые столетия, выставляют *ряд* беспрерывно следующих друг за другом руководителей, которые как бы прививаются одни над другими и очищают друг друга; еще одно отличие от толпы, где в лучшем случае существует *группа* вожаков временных, действующих одновременно, которые отражаясь друг в друге, приобретают увеличенный характер. Таковы отличительные признаки, таковы причины, почему толпа стоит ниже.

Существуют и другие. Не только ниже всех стоят самые вожаки, которые решаются быть избранниками толпы или терпеть ее над собою; самого низкого качества, бывают и те внушения, которые исходят от них. Почему? Во-первых, потому, что чувства и идеи, наиболее заразительные, естественно обладают наибольшей силой, как среди колоколов наибольшей силой обладают не те, которые лучше или правильнее звучат, а самые большие, звук которых разносится как можно дальше; во-вторых, потому, что наибольшей силой обладают идеи самые узкие или самые ложные, идеи, которые поражают не ум, а чувство, точно так же самыми интенсивными чувствами бывают наиболее эгоистические; вот почему в толпе легче распространить пустой образ, чем абстрактную истину, легче склонить ее к сравнению, чем к разумному соображению, легче внушить ей веру в человека, чем заставить отказаться от предрассудка; и вот почему, — ввиду того, что в толпе удовольствие от поношения кого-нибудь

---

[1] В конференции по вопросу о *Промышленном примирении и роли вожаков* (Брюссель 1892) один весьма компетентный бельгийский инженер, Вейлер, указывает, какую полезную роль в спорах между патронами и рабочими могут играть *добрые вожаки*, именно, как он их называет, «вожаки профессии», а не вожаки по профессии. Он указывает также на то, что рабочие не обнаруживают в эти критические моменты особенной охоты иметь дело с политиканами. Почему? Потому что им хорошо известно, что, раз явившись, эти последние заставят их волей-неволей покориться. Это — оковы, которых они боятся, но которые они, тем не менее, носят.

всегда живее, чем удовольствие поклонения, и чувство самосохранения всегда сильнее чувства долга, — свистки скорее раздаются в толпе, чем крики «браво», и порывы паники чаще охватывают ее, чем порывы храбрости.

## IV

Не без основания высказывалась относительно толпы мысль[1], что она в умственном и нравственном отношении стоит в общем ниже среднего уровня своих членов. Социальный состав в данном случае, как всегда, не только не похож на свои элементы, по отношению к которым он скорее является *произведением* или *комбинацией*, чем суммой, но он, по обыкновению, имеет и меньше ценности, чем они. Но это справедливо только по отношению к толпе или к сборищам, которые приближаются к понятию толпы. Напротив, там, где царит больше *дух корпораций*, чем *дух толпы*, часто случается, что составное целое, в котором упрочивается гений великого организатора, выше своих отдельных элементов. Смотря по тому, является ли труппа актеров корпорацией или толпой, т. е. смотря по тому, насколько она обучена и организована, актеры эти играют вместе лучше или хуже, чем в отдельности, когда они читают монологи. В корпорации, прекрасно дисциплинированной, как например в жандармерии, превосходно разработанные правила для розыска преступников, для допроса свидетелей, составления протоколов — всегда хорошо составленных вплоть до стиля — передаются по традиции и поддерживают дух индивидуума, опиравшегося на высший разум. Если латинская поговорка утверждала, что *сенаторы хорошие люди, а сенат — дурное животное*, то я имел сотни случаев заметить, что жандармы, хотя они очень часто бывают умными людьми, все-таки ниже в этом отношении, чем жандармерия. Один генерал говорил мне, что вынес такое же убеждение во время смотра своих рекрутов. Когда он расспрашивал их в отдельности о военных маневрах, он нашел их ответы довольно слабыми; но, раз они собрались вместе, они поражали его стройным и бодрым исполнением маневров; они проявляли коллективную разумность, гораздо высшую, чем та, которую они обнаруживали каждый в отдельности. Точно также, полк часто храбрее, отважнее и нравственнее солдата. Корпорации — полки, религиозные ордена, секты, — заходят гораздо

[1] См. по этому вопросу интересную статью Sighele о *folla delinquente*.

дальше и в добре и зле, чем толпы; самые благодетельные толпы менее далеки от самых преступных, чем величайшие подвиги наших армий от яростнейших проявлений якобинства, или чем сестры конгрегации св. Винсента де Поля от членов каморры и анархистов. Тэн, изобразивший с такой силой одновременно и преступные толпы, и преступные секты, жакерию и насилия якобинцев во время революции, показал, насколько эти последние гибельнее первых. Но в то время, как толпы чаще делают зло, чем добро, корпорации делают чаще добро, чем зло. Далее, среди корпораций мы не находим тенденции, по которой заразительность впечатлений и чувств соответствует их интенсивности, эта тенденция парализуется здесь специальным подбором и воспитанием, искусом, который длится целые годы.

Если порою толпа во время действия кажется лучшей, даже более героической и великодушной, чем в среднем люди, входящие в ее состав, то это бывает или при чрезвычайных обстоятельствах (например, благородный энтузиазм национального собрания *в ночь на 4-е августа*), или (как в этом же, пожалуй, случае) такое великодушие бывает только наружным и оно, даже в глазах самих заинтересованных лиц, прикрывает могучую власть тайного ужаса. У толпы часто является героизм страха. В иных случаях благодетельное действие толпы есть только последний след бывшей корпорации. Разве мы не видим иногда случаев бессознательного самопожертвования среди толпы небольших городов, сбежавшейся для тушения большого пожара? Я говорю *иногда* по отношению к толпе, а не к пожарным командам, где черты удивительного героизма представляют обычное повседневное явление. Окружающая их толпа, быть может, по их примеру, охваченная чувством соревнования, изредка тоже готова жертвовать собою и пренебрегать опасностью для спасения чьей-нибудь жизни. Но если заметить, что эти собрания представляют собою явление традиционное, что они имеют свои правила и обычаи, что они разделяют работу, что по правой стороне передаются полные, а по левой — пустые ведра, что действия здесь комбинируются с искусством, которое скорее *основано на привычке*, чем непроизвольно — тогда мы убедимся, что проявления сострадания и братской помощи являются пережитком корпоративной жизни, присущей средневековым «общинам».

Нужно ли в настоящее время приводить доказательства в пользу того, что люди в *массе* в виде толпы, имеют меньшую ценность, чем каждый в *отдельности*? Нужно, потому что против этой мысли спорили. Но я буду краток. Без сомнения, ни

один из готфейских крестьян, сжегших на медленном огне Монэ, ни один из парижских мятежников, утопивших агента Виценцини, не был виноват, я не говорю, в том, что совершил, а в том, что желал этого отвратительного злодеяния. Большинство участников сентябрьских убийств были далеко не злодеями. Бросающаяся толпа, даже состоящая в большинстве из лиц интеллигентных, всегда заключает в себе что-то ребяческое и зверское одновременно: ребяческое — вследствие своей капризной изменчивости, вследствие неожиданных переходов от гнева к взрывам смеха, зверское — вследствие своей свирепости. Она труслива даже тогда, когда составлена из людей довольно смелых. Если противник, не уступающий ей, например, инженер, сбит с ног, его судьба решена. Затоптать ногами своего врага — в этом удовольствии толпа никогда себе не отказывает. Вот образчик ее капризов. У Тэна есть рассказ об одной революционной шайке, которая готовилась умертвить предполагаемого барышника, но вдруг растрогалась, проникается восхищением перед ним и «заставляет его пить и танцевать вместе с собою вокруг дерева Свободы, на котором за минуту перед тем она собиралась его повесить». Подобные вещи наблюдались в период коммуны. Во время последней недели заключенных отвели в Версаль, где их окружила толпа. Среди них, рассказывает Людовик Галеви, находилась «молодая женщина, довольно красивая, со связанными за спиною руками, в офицерском плаще с подкладкой из красного сукна и с распущенными волосами. «Полковница, полковница!» — кричит толпа. С поднятой высоко головой молодая женщина посмотрела на крикунов с вызывающей улыбкой. Тогда отовсюду послышались крики: «Смерть!... Смерть ей!..» Но один старик воскликнул: «Не надо крови, ведь она женщина, наконец!» Гнев толпы мгновенно обращается на старика. Его окружают с криками: «Он — коммунар! Он — поджигатель!» Старику грозила сильная опасность, но в это время послышался пронзительный голос, веселый и смешной голос уличного парижского мальчугана: «Не троньте его, это его дамочка!» Вокруг старика раздался дружный взрыв хохота; он спасен... Толпа, почти моментально, от яростной злобы перешла к неподдельному веселью».

В этой истории достойно внимания все от начала до конца. Можно быть уверенным, раз речь идет о французах, что при виде этой прекрасной амазонки, бравирующей перед убийцами, каждый из них в отдельности пришел бы только в восхищение от нее. Собравшись, они обнаружили только ярость по отношение к ней; они обнаружили чувствительность только к своему задетому коллективному

самолюбию; это было крайнее увеличение их частных самолюбий, достигших очень высокой силы вследствие ее смелого вызова. «Задетое самолюбие народа, говорит госпожа Сталь в своей *Considérations sur la Révolution française*, — не похоже на наши мимолетные переходы: это — потребность причинить смерть». Вполне верно. Но у изолированных лиц из народа раны самолюбия или его уколы не достигают до такой раздражающей и убийственной остроты; это бывает только с народными массами. И это бывает не только с ними, но и со всяким собранием людей, даже образованных и хорошо воспитанных. Собрание, даже самое парламентски-дисциплированное, задетое оратором, нередко представляет собою зрелище такой убийственной чувствительности.

Трудно себе представить, до какой степени толпа или вообще всякое собрание, неорганизованное, недисциплинированное, превосходит входящие в ее состав элементы непостоянством, забывчивостью, легковерием и жестокостью, но доказательства слишком многочисленны. Обращено ли внимание хотя, например, на следующее. В октябре 1892 года Париж был терроризирован благодаря динамитным взрывам. Казалось бы, что самой настоятельной необходимостью было защищать себя против этой постоянной угрозы, и, в самом деле, как велика была опасность! Но когда по этому случаю было свергнуто министерство, и был вотирован новый закон о печати, — смешное средство против этого бича, — вспыхивает панамское дело. С этого момента, я хочу сказать, с первого дня, когда еще никто не мог предвидеть важного характера предстоящих разоблачений, вчерашняя тревога была забыта, хотя опасность оставалась такой же, и общественное любопытство, злоба, достигнув чрезвычайных размеров и, прежде всего, общественное негодование, совершенно рассеяли страх. Таков *коллективный ум*: образы следуют друг за другом отрывочно, набегая один на другой, нарастая без связи, как в мозгу уснувшего или загипнотизированного человека, и каждый из этих образов захватывает все поле внимания. И тем не менее, большинство индивидуальных умов, составляющих этот коллективный ум, стекающихся для того, чтоб образовать эту великую массу, называемую общественным мнением, способны к последовательности и порядку при группировке своих идей.

Другой пример. «В мае 1892 года[1], — рассказывает Дельбеф, — какой-то несчастный немец, только что высадившийся в Лютти-

[1] Journal de Liège, 12 октября 1892. Статья Дельбефа по поводу моего доклада о преступлениях толпы на брюссельском конгрессе уголовной антропологии.

хе, последовал за толпой к месту, где произведен был динамитный взрыв. Вдруг кто-то из толпы, видя, что он бежит скорее других, принимает его за виновника взрыва, сообщает об этом своим соседям, и эта же самая толпа почитает своим долгом убить его. Между тем, из каких элементов состояла она? В общем — из избранного общества, явившегося на концерт. И можно было услышать голоса господ, требующих револьвер для того, чтоб убить наугад несчастного, ни национальности, ни имени, ни преступления которого они не знали! В деле Куртрэ, когда будущий депутат учился разыгрывать роль, аналогичную роли Бали и товарищей в стачках, посмотрите, как глупа толпа: она пытается убить экспертов». Возьмем примеры менее трагического характера, например, аудиторию кафе-концертов; туда собираются парижане и парижанки с утонченным вкусом. Взятые в отдельности, они обнаруживают вкус к утонченной музыке, к литературе пикантной, но приятной. Собравшись вместе, они наслаждаются исключительно бессмысленными песнями. Ивета Гильбер пыталась заставить их воспринять произведения, достойные ее специального таланта; она потерпела фиаско. Раз уже мы коснулись панамского вопроса, можно отметить, что и в этом деле и в массе других тот коллективный следственный орган, который называется следственной комиссией, производил свои действия с необычайной медленностью и неподвижностью; весьма вероятно, что каждый из его членов, облеченный теми же полномочиями, действуя отдельно, лучше исполнил бы дело. Во всяком случае, несомненно, что суд присяжных менее рассудителен, чем присяжные[1].

Возьмем еще один пример, который я заимствую из мемуаров Жиске, полицейского префекта при Луи-Филиппе. В апреле 1832 гола в Париже в разгар холерной эпидемии «молва, *распространившаяся по Парижу с быстротой молнии* приписывала *отраве* действие эпидемии и уверила массы, обыкновенно чрезвычайно восприимчивые в такие моменты, что какие-то лица

---

[1] Вогюэ сказал однажды относительно наших министров: «Я с удовольствием мог констатировать крупные индивидуальные достоинства этих министров, проявляющих в своих департаментах по большей части качества выдающихся администраторов; но точно мгновенный паралич поражает их, когда они за министерским столом или у подножия трибуны должны постановить какое-нибудь коллективное решение». И сколько есть министерств, парламентов и конгрессов, к которым с полным правом можно применить это замечание!

отравляли пищу, воду в источниках, вино и другие напитки. В одно мгновение огромные сборища заполонили набережные, Гревскую площадь и т. д. и, может быть, никогда в Париже не бывало такого скопления индивидуумов, которые были *до крайности возбуждены этой идеей об отравлении и искали виновников этих воображаемых преступлений*». Это была какая-то коллективная мания преследования. «Всякий, у кого находились в руках бутылка, флакон или небольшой пакет, возбуждал *подозрение; простой флакон мог превратиться в обвинительный документ в глазах этой обезумевшей толпы*». Жиске сам обошел «эти чудовищные массы людей, покрытых лохмотьями, и нет никакой возможности, говорит он, изобразить, какой отвратительный вид представляли они, нельзя передать впечатление ужаса, который вызывал раздававшийся кругом глухой ропот». Эти обезумевшие люди легко становились убийцами. «Один молодой человек, чиновник министерства внутренних дел, был убит на улице Сен-Дени по одному только подозрению в том, что он хотел бросить яд в кувшины одного виноторговца...» При этом были совершены четыре убийства... Подобные же сцены происходили в Вожираре и предместье Сент-Антуан. Здесь «двое неосторожных бежали, преследуемые тысячами разъяренных людей, *которые обвиняли их в том, что они дали детям отравленную тартинку*». Беглецы укрылись в кордегардии; но толпа мгновенно окружила последнюю; посыпались угрозы, и ничто не могло бы спасти несчастных от смерти, если бы полицейскому комиссару и одному отставному чиновнику не пришла в голову счастливая мысль — разделить между собою тартинку на глазах у всей толпы. «Благодаря *этой находчивости тотчас же ярость сменилась весельем*». Такого рода безумства свойственны всем временам; толпы всех народов и всех климатов, римская толпа, обвиняющая христиан в римских пожарах, в поражениях легионов и бросающая их в добычу зверям, средневековая толпа, проникнутая самыми нелепыми подозрениями против альбигойцев, евреев, всякого рода еретиков, подозрениями, распространенность которых заменяет доказательства, мюнцеровские толпы в Германии в эпоху Реформации, толпы Журдана во время террора во Франции, — все они представляют собою одинаковое зрелище. Все они «terroristes par peur», как выразилась г-жа Ролан о Робеспьере.

По поводу непоследовательности толпы мне вспоминается то, что происходит на востоке в некоторых странах, постигнутых проказой. Там, рассказывает доктор Цамбако-Паша, «в большин-

стве деревень, как только явится подозрение в появлении проказы или кого-нибудь обвинят несправедливо в заболевании ею, население, не обращаясь к властям и даже к врачу, немедленно учреждает суд и казнит по закону Линча того, кого считает прокаженным, повесив его на ближайшем дереве или избив камнями[1]», но это же население посещает часовни при больницах для прокаженных, «прикладывается к образам в тех местах, к которым прикасались уста прокаженных и причащается из одних с ними чаш».

Но как ни велика подвижность, непоследовательность толпы, ее свобода от традиции, в собственном смысле этого слова, тем не менее, толпа всегда склонна к рутине, и в этом отношении она также противоположна корпорациям, которые, в течение всего периода своего роста, являются одновременно и традиционалистическими и прогрессивными, именно потому, что они держатся традиции. Несколько лет тому назад я видел довольно редкий образец такой характерной рутины случайно собравшихся людей. Это происходило в залах монтдорской теплицы, в старом здании. Здесь триста — четыреста человек скопляются на небольшом пространстве, посреди водяных паров температурой в 40 градусов. Все скучают и для развлечения вместо того, чтобы болтать, как в дамской комнате, стараются двигаться, и вот все принимаются двигаться в виде процессий в фланелевых жилетах вокруг находящегося в центре бассейна. И, замечательная вещь, всегда все движутся в одном и том же направлении, в направлении, если мне не изменяет память, часовой стрелки, но никогда в противоположном. По крайней мере, так было в течение того месяца, когда я подвергался этому странному лечению. Несколько раз при начале сеанса я пытался устроить водоворот, повернуть в обратную сторону это вращательное движение; я терпел фиаско. Гулявшие или большинство из них помнили, как они повернули накануне, и бессознательно, повинуясь повсюду сопровождающему нас инстинкту подражания, который с инстинктом симпатии и общественности находится во взаимных отношениях причины и следствия, — каждый стремился верно следовать полученному импульсу. Этим, заметим кстати, можно измерить социальную силу потребности подражания. Если столь незначительное, мало способное подействовать на ум и сердце действие как действие первого из купавшихся, которому пришла

[1] *Voyage chez les lépreux*, par le d-r Zambaco-Pacha (Paris, Masson, 1891).

мысль довернуть в известном направлении, если столь незначительное действие достигло такой силы внушения, развило коллективное стремление столь глубокое, то какова должна быть заразительная сила страстей, возбужденных в массах вождем, который вселяет в них идеи убийства, грабежей и поджогов, или обещает им золотые горы! Доктор Обри, превосходно исследовавший в своем интересном сочинении *Contagion du meurtre* явления этого рода, сообщил мне о небольшом наблюдении, сделанном им во время этих исследований, — оно подкрепляет предыдущее соображение. «В анатомических театрах, пишет он, работают много, но работа эта имеет такой характер, что она не мешает болтать и петь. Однажды я и товарищи были поражены психологическим явлением, которое мы окрестили термином *reflexe musical*. Оно заключалось в следующем. Если в момент возможно более полного молчания кто-нибудь из нас пропоет несколько тактов какой-нибудь известной арии и затем сразу остановится, почти немедленно вслед за этим в другом конце залы, кто-нибудь из студентов станет, работая, продолжать начатую арию. Мы часто повторяли этот опыт и всегда с успехом. Не раз мы спрашивали того или другого товарища, продолжавшего арию, и из их ответов узнавали, что они, продолжая начатую арию, не замечали, что следуют известному толчку. Разве это, часто бессознательное, внушение не проливает некоторого света на идеи, которые неизвестно почему и каким путем появляются в толпе, которые, явившись неизвестно откуда, распространяются с головокружительной быстротой?»[1]

Но вернемся назад. Театральная публика представляет аналогичные случаи. Если она капризнее всякой другой публики, то она и в наибольшей степени обладает стадным чувством; столь же трудно предусмотреть ее капризы, как и переделать ее привычки. Прежде всего, ее способы выражать свое одобрение и порицание всегда одинаковы в одной и той же стране; у нас, во Франции, это — аплодисменты и свистки. Затем, ей необходимо

---

[1] Доктор Баженов, русский психиатр, сообщает факт, который превосходно подтверждает и дополняет наблюдение доктора Обри. Пятнадцать лет тому назад на одной из московских сцен Сара Бернар играла *Даму с камелиями*. В пятом действии, в самый драматическоюй момент, когда внимание всей публики было приковано к ее устам и можно было услышать, как летит муха, в этот момент Маргарита Готье, умирающая от чахотки, закашлялась. Тотчас вся аудитория была заражена, и в течение нескольких минут нельзя было расслышать слов великой артистки.

всегда показывать на сцене то, что она привыкла видеть, как бы искусственно это ни было; с другой стороны, опасно показывать то, чего она не привыкла видеть. Кроме того, следует заметить, что театральная публика — сидячая толпа, т. е., полутолпа. Настоящая толпа, т. е. такая, в которой электрический ток вследствие соприкосновения достигает высшей степени быстроты и энергии, состоит из людей стоящих и, прибавим, находящихся в движении. Но это различие не всегда существовало. Еще в 1780 году — свидетельство об этом есть в статье, помещенной в Mercure de France от 10 июня 1780 года — партер стоял в главных театрах, и едва только начинали говорить о том, чтобы публика партера садилась. Можно подумать, что, садясь, партер стал умнее; то же случилось с политической и судебной аудиторией у народов, которые начали с парламентов на площадях, составленных из воинов или старцев, стоящих под оружием, а кончили собратьями, заключенными в дворцах и сидящими в курульных креслах и на стульях. Также вероятно, что эта перемена положения дала каждому слушателю большую силу, чтобы противиться влиянию соседей, и несколько больше индивидуальной свободы. Садиться — значит начать изолироваться. Партер стал в меньшей степени *мизонеистом* с тех пор, как он уселся; только с этого момента французская сцена начинает эмансипироваться. Впрочем, среди сидящих зрителей также существуют самые действительные проводники взаимного внушения, особенно зрение. Если бы зрители не видели друг друга, если б они присутствовали на представлении так, как арестанты одиночных камер присутствуют на богослужении, т. е. в небольших решетчатых клетках, откуда невозможно видеть друг друга, тогда, несомненно, каждый из них, подвергаясь действию пьесы и актеров, свободному от всякой примеси влияния публики, отдавался бы гораздо полнее свободной склонности собственного вкуса, и в этих странных залах проявлялось бы гораздо меньшее единодушие и в аплодисментах и в свистках. В театре, на банкете, в любой народной манифестации редко случается, чтобы кто-нибудь, даже не одобряя *in petto* аплодисментов, тостов, виватов, решился не аплодировать, не поднять своего бокала, хранить упрямое молчание среди восторженных криков. В Лурде, в толпе верующих, идущей в виде процессии и молящейся, есть скептики, которые, вспомнив завтра виденное сегодня — эти сложенные крестом руки, эти крики веры, которые издает один голос, и мгновенно подхватывают уста всех, это целование земли, и эти падения на землю всей массы по приказанию монаха, — рассмеются над

всем этим. Но сегодня они не смеются, не протестуют; они сами целуют землю или делают вид, что целуют, и если не складывают руки крестом, то делают жест для этой цели... Есть ли это страх? Нет. Этим благочестивым толпам чужда ярость. Но неверующие не хотят их *шокировать*. И что же представляет собою эта боязнь скандала? Она показывает, что в глубине самый неверующий, самый независимый из людей приписывает чрезвычайно важное значение коллективному неодобрению публики, состоящей из индивидуумов, суждение которых, каждого в отдельности, не играет в его глазах никакой роли. Впрочем, этого недостаточно для того, чтобы объяснить обычное замечательное угождение неверующего восторженной толпе, в которую он замешался. По-моему, следует признать, что в момент, когда трепет мистического восторга пробегает по толпе, неверующий воспринимает частицу его, и сердце его проникается мимолетной верой. Признав и доказав этот факт по отношению к религиозной толпе, мы должны воспользоваться им также для объяснения того, что происходит в толпе преступной, где часто поток мимолетной свирепости проникает и искажает нормальное сердце.

Восхваление «гражданского мужества» в противовес военному, которое слывет менее редкостным, представляется чем-то банальным и преувеличенным. Но доля истины, заключающаяся в этой банальной идее, объясняется вышеприведенным соображением. В самом деле, гражданское мужество заключается в том, чтобы вступить в борьбу с народным увлечением, противостать потоку, выступить перед собранием, в совете с особым, изолированным мнением, противоположным мнению большинства; военное же мужество состоит, главным образом, в том, чтобы отличиться в сражении, подвергаясь в более сильной степени импульсу окружающих, идя больше других в том же направлении, в котором они дали толчок. Когда же в виде исключения, военное мужество требует противодействия увлечению, когда дело заключается в том, что полковник должен бороться с паникой, охватившей солдат или, наоборот, сдерживать необдуманный порыв, тогда мужество появляется реже и представляется, надо признаться, более удивительным, чем оппозиционная речь в палате депутатов.

Вообще, по своим обычным капризам, по своей необузданной восприимчивости, по своему легковерию, нервозности, по своим резким переходам от ярости к мягкости, от отчаянья к взрывам веселости, толпа походит на женщину даже тогда, когда она состоит, как это почти всегда бывает, из мужских элементов. К

счастью для женщин, их образ жизни, заставлявший их запираться в домах, осуждает их на сравнительное уединение. Во всех странах, во все времена, собрания мужчин бывают более частыми, обычными и многолюдными, чем собрания женщин. От этого, быть может, зависит отчасти большая разница, разделяющая оба пола в смысле преступности в пользу более слабого пола. Меньшая преступность деревень по сравнению с городами — явление, которое можно объяснить той же причиной. Селянин живет в состоянии постоянного разъединения с своими соседями. Если женщинам приходится вести жизнь, при которой они ежедневно собираются вместе — я не говорю о корпоративной жизни в форме монастырской или другой — их испорченность достигает одного уровня с испорченностью мужчин или даже опережает ее. Равным образом, когда крестьянин в годы сильного удешевления жизни усердно посещает трактиры, как рабочий — кафе, — он становится более безнравственным и более опасным, чем рабочий. Карл Маркс в своем «Капитале» (гл. XXV) рисует яркую картину рабочих-земледельцев, которые, будучи набраны «странствующим, кутящим пьяницей-хозяином, предприимчивым и изворотливым», гуляют по различным графствам Англии. «Вред этой системы, говорит он, заключается в чрезмерности труда, налагаемого на детей и молодых людей... и в деморализации этих странствующих трупп. Уплата производится в трактире среди обильных возлияний. Шатаясь, поддерживаемый справа и слева крепкими руками какой-нибудь здоровенной девки, достойный хозяин идет во главе колонны, а позади молодая труппа играет и поет игривые и непристойные песни. Встречающиеся деревни, рассадники и притоны этих шаек, обращаются в Содом и Гоморру».

## V

До сих пор мы занимались больше толпами; остановимся теперь дольше на корпорациях. Но сперва выясним отношение, которое первые имеют с этими последними, и ту причину, по которой мы соединили их в один и тот же этюд. Эта причина весьма проста: с одной стороны толпа стремится снова возродиться при первом же случае, стремится возрождаться через промежутки времени все менее и менее неправильные и, совершенствуясь каждый раз, организоваться корпоративно в нечто вроде секты или партии; клуб начинает с того, что бывает открытым и публичным; потом мало-помалу он закрывается и суживается; с другой стороны,

вожаками толпы чаще всего являются не изолированные индивидуумы, но приверженцы секты. Секты — это дрожжи толпы. Все, что совершается толпой серьезного, важного, как в хорошем так и в дурном, внушено ей какой-нибудь корпорацией. Когда толпа, прибежавшая тушить пожар, проявляет разумную деятельность, это значит, что ею управляет отряд корпорации пожарных. Когда толпа стачечников нападает как раз на то, на что нужно нападать, разрушает то, что нужно разрушить для достижения своей цели, например, орудия рабочих, оставшихся на фабрике, это значит, что позади нее, под ней, есть какой-нибудь синдикат, союз, ассоциация[1]. Толпы манифестантов, процессии, триумфальные похоронные шествия вызываются братствами или политическими кружками. Крестовые походы, эти огромные воинственные толпы, произошли из монашеских орденов по голосу какого-нибудь Петра Пустынника или св. Бернарда. Массовые восстания 1792 года были вызваны клубами, которые были сформированы и дисциплинированы остатками старинных военных корпусов. Сентябрьские ужасы, эти жакерии революции, эти поджигающие или кровожадные толпы — все это не что иное, как уродливые последствия якобинизма, везде во главе их виден делегат от соседней *секции*. Вот в чем опасность сект: предоставленные своим собственным силам, они почти никогда не

---

[1] Иногда это оспаривается, но несправедливо, потому что такой факт не всегда может быть доказан юридически. В своей книге, впрочем, основанной на точных документах и очень интересной, о *Профессиональных ассоциациях в Бельгии* (Брюссель, 1891) Вандервельде, великий трибун бельгийского социализма, порицает приговор ассизного суда в Геннегау, в июле 1886 г., который осудил нескольких членов союза рабочих на стеклянных заводах в Шарлеруа за подстрекательство к возмущениям, произведенным стачкой рабочих на стеклянных заводах в марте того же года. Против них были только — говорит он нам — «недостаточные презумпции». Но несколькими строками выше он говорит нам, что задолго до стачки «союз рабочих стеклянного производства готовился к борьбе: к борьбе ужасной, к борьбе на жизнь и смерть, как писал глава союза обществам Англии и Соединенных Штатов». А *тем временем* вспыхивают мартовские возмущения 1886; 25-го числа тысячи рабочих являются к своим орудиям; на следующий день эта огромная масса распространяется по стране, останавливает машины, грабит стеклянные заводы... разрушает завод Боду, словом, выполняет целиком программу союза. Это — презумпции, если недостаточные, то все-таки очень важные.

были бы слишком вредными; но достаточно слабой закваски злости для того, чтобы поднялось огромное тесто глупости. Часто случается, что секта и толпа, удаленные одна от другой, были бы неспособны на преступление, но комбинация их легко становится преступной.

Секты, впрочем, могут обходиться и без толпы для того, чтобы действовать; это в тех случаях, когда преступление является у них главной целью или обычным средством, например, сицилийская мафия и неаполитанская каморра. Как было сказано выше, корпорации идут дальше, нежели толпы, как в дурном, так и в хорошем. Ничего нет благодетельнее средневековой Ганзы; ничего нет вреднее в наши дни анархистской секты[1]. Здесь и там — та же сила расширения благодетельного или ужасного. Родившись в 1241 году, Ганза в несколько лет с неслыханной в эту эпоху быстротой распространения сделалась «высшим выражением коллективной жизни, концентрацией всех купеческих гильдий Европы[2]». В XIV веке она образует федерацию, распространяющую свои фактории от Лондона до Новгорода. А между тем, она основана «только на вольном соглашении гильдий и городов; она не знает других средств дисциплины кроме исключения, и корпоративная сила так велика, что Ганза, несмотря на это, имеет влияние на всю Европу», к вящему интересу европейской торговли. Анархизм также распространился очень быстро. Около 1880 г. его изобретатель, основал в Женеве Prevolté; затем, в 1881 году, в Лионе Droit social, листки, почти не имевшие читателей. «В 1882 г., — говорит генеральный адвокат Берар[3], — существовало несколько адептов в Лозанне, или в Женеве, два или три отдельных индивидуума в Париже, одна или две группы в Лионе с разветвлениями в Сент-Этьене, в Вильфранш-на-Сене и в Вене — в общем шестьдесят, много сто человек: вот и весь тогдашний

---

[1] Я разумею анархизм, который производит или скорее *производил пропаганду действием*. Что же касается чистых приверженцев свободы, то они играют полезную роль, как противовес общественной дисциплинировке.

[2] Я заимствую эти строки у Прэна, известного бельгийского криминалиста, который в своей очень поучительной книге о *Демократии и парламентском режиме* (2-е издание) пространно говорит о корпоративном режиме, так процветавшем некогда и существующем еще в некоторых провинциях его страны.

[3] *Les Hommes et les Théories de l'anarchie*, Берара (Archives de l'antropologie criminelle, № 42).

анархический легион». Десять лет спустя, 28-го марта 1892 г., в Париже составился чисто анархический союз, одобряющий Равашоля и его сообщников. Там было 3000 человек, и многочисленные телеграммы были посланы из Франции, и из-за границы для того, чтобы соединиться сердцем в собрании. «Анархисты многочисленны, очень многочисленны в рабочем классе», говорит химик Жирар, который часто имеет дело с ними. По словам Жана Преваль[1], анархизм не есть простое скопище разбойников, но «партия на пути организации, с очень определенной целью и с надеждой, безусловно основательной, увлечь за собой, по мере достижения *успехов*, огромную массу городского пролетариата». Тот же писатель называет анархистов «легкой конницей социализма». Распространение нигилизма в России шло с не меньшей быстротой. Большие процессы, разразившиеся над ним в 1876 и 1877 г. могут служить доказательством этого.

Между самыми лучшими и самыми преступными корпорациями существует другое сходство: как те, так и другие суть не что иное, как формы этой знаменитой «борьбы за существование», которой так злоупотребляли; формула весьма удобная, которая тремя четвертями своего успеха обязана, подобно многим людям, единственно своей гибкости. Действительно, рассмотрим самые плодотворные корпорации средних веков: «Возьмите, — говорит Прэн, — самые древние самые простые гильдии в Абботсбурге, или в Кембридже, основанные в XI в. в Англии; гильдии в Монсе или Камбрэ, основанные в 1070 и 1076 г.; гильдию Amicitia в городе Эр во Фландрии, уставы которых были утверждены Филиппом в 1188 г.; изучите самые могущественные корпорации во времена их наивысшего блеска: гентских валяльщиков сукон, лондонских бакалейщиков, аугсбургских скорняков в XIV веке; везде вы увидите приложение одного и того же принципа: люди, не уверенные в будущем и страшащиеся за свои интересы, ищут точку опоры в солидарности. Впрочем, история их очень проста: это борьба маленьких против больших». То же можно было бы сказать и о прежних университетах, этих больших интеллектуальных корпорациях и даже артистических корпорациях той же самой эпохи, например, о корпорации художников, основанной в Генте в 1337 году под покровительством св. Луки. Но и банда разбойников есть тоже не что иное, как борьба против высшего общества. Только нужно признаться, что ее способ борьбы совершенно другой. Почему же

---

[1] *Anarchie et Nihilisme*, Жана Преваль (2-е издание, 1892 г.).

это? Почему одна и та же причина, горячее желание лучшей участи одних заставляет объединяться в работе, а других соглашаться друг с другом для убийства?

Этот вопрос — проблема «факторов преступления», так волнующая умы современных криминалистов; но это проблема, перенесенная с отдельных индивидуумов на группы и поставленная относительно коллективных злодейств. Перемещаясь таким образом, она освещается и расширяется и дает средство контролировать некоторые слишком поспешные решения, поводом для которых послужили индивидуальные преступления. Здесь не место распространяться относительно этого контроля. При помощи этого сравнения мы легко заметили бы, что влияние климата, времени года, расы, физиологических причин здесь несомненно, но что оно было сильно преувеличено. Мы увидали бы, что участие физических сил идет, все уменьшаясь, в группах, по мере того, как они, организуясь, делаются все более похожими на индивидуальную личность; что, следовательно, это влияние больше сказывается на толпе в ее образовании, в ее направлении, честном или преступном, нежели на дисциплинированных ассоциациях. Летом, на юге, днем в хорошую погоду, бесконечно легче вызвать беспорядки на улице, нежели зимой, на севере, ночью и под проливным дождем, между тем, как в периоды политического кризиса почти одинаково легко составить заговор как зимой так и летом, как на юге, так и на севере, ночью или днем, в проливной дождь, или при сиянии солнца. Мы увидали бы, наоборот, что «антропологический фактор», или, попросту говоря, состав группы имеет большее значение в ассоциациях, нежели в скопищах, образовавшихся под влиянием непосредственного и скоропреходящего чувства. Толпа, состоящая в большинстве из честных людей, может легко быть вовлечена в преступления, вызванные страстями; проявить вспышки моментального преступного умоисступления, в то время, как секта, одушевленная сильным и стойким чувством, совершает преступления только обдуманные и рассчитанные, всегда соответствующие ее коллективному характеру и с сильным отпечатком ее расы.

Но все это только второстепенные условия. Вопрос в том, каковы те причины, которые придают им тот или иной характер и заставляют их действовать. Не только не существует климата или времени года, предрасполагающих к пороку или к добродетели, потому что под одной широтой и в один и тот же месяц случаются всякого рода злодейства наряду с высокими и деликатными моральными поступками, но даже не существует такой

расы, которая была бы порочна или добродетельна по своему существу. Каждая раса производит зараз индивидуумов, которые *кажутся* обреченными чем-то вроде органического предназначения, одни — на различного рода преступления, другие — на различные проявления мужества и доброты. Только пропорция тех и других в один данный момент разнится в различных расах или, скорее, в различных народах. Но это различие не постоянно: оно изменяется до полной противоположности, когда превратности истории изменяют религию, законы, национальные установления, и понижают или повышают уровень благосостояния и цивилизации. Шотландия на протяжении целых веков была в Европе страной наиболее богатой убийствами, по статистике же нашего времени это страна с *наименьшим* количеством убийств из всех европейских стран с одинаковым количеством населения. Пропорциональное количество шотландцев, которых мы могли бы иметь право считать прирожденными убийцами, уменьшилось на девять десятых приблизительно, меньше чем в одно столетие. И если настолько численно изменчива так называемая прирожденная преступность, то насколько изменчивее должна быть преступность приобретенная? Как объясняются эти изменения? Почему преступления в более или менее значительном количестве *зарождаются*, или *делаются* таковыми, и почему в том или в ином роде? Вот где узел проблемы.

## VI

Между преступными ассоциациями мы также можем различать, как нам кажется, такие, которые рождены преступными, и это выражение, примененное здесь, встретит, без сомнения, меньше возражений, нежели употребленное в своем обычном смысле, так как, без сомнения, мы видим секты, рождающиеся именно для разбоя, грабежа и убийства и сильно отличающиеся в этом от многих других, которые, преследуя вначале самые благородные цели, впоследствии извратились; мафия и каморра, например, вначале представляли собою патриотические заговоры против чужеземного правительства, но это различие, казавшееся таким капитальным и возбудившее такую полемику относительно индивидуальной преступности, не имеет ни малейшего значения в приложении к преступности коллективной. Секта, будь она преступной по рождению или при развитии, секта, делающая зло, одинаково отвратительна, и часто наиболее опасными являются те, которые, возрастая, уклонились от своего первоначального

принципа. Если мы попытаемся добраться до причин, заставляющих рождаться для преступления одни секты, и впадать в преступления другие, то мы увидим, что эти причины одни и те же, а именно, причины психологического и социального порядка. Они действуют в обоих случаях двумя различными и дополняющими друг друга способами: 1) внушая кому-нибудь идею преступления, которое нужно совершить; 2) пропагандируя эту идею, точно так же, как и замысел и способ выполнить ее. Когда дело идет об индивидуальном преступлении, то концепция и резолюция, идея и выполнение всегда разграничены и идут последовательно друг за другом, но воспроизводятся в одном и том же индивидууме; в этом состоит главное различие с преступлением коллективным, где различные индивидуумы делят между собой задачи, где настоящие вожаки и подстрекатели никогда не бывают исполнителями, — различие аналогичное с тем, которое разделяет маленькую индустрию от большой: в первой ремесленник является в одно и то же время и предпринимателем и рабочим, он сам свой собственный патрон; во второй патрон и рабочий — это два разные лица; что слишком хорошо всем известно.

Итак, что же внушает идею преступления? Я мог бы также сказать, идею гения? Принципы и потребности, положения, признанные или непризнанные, и страсти, культивируемые более или менее открыто, которые царят в окружающем обществе, я не говорю всегда в большом обществе, но в обществе тесном и тем более плотном, куда человека забросит судьба. Идея преступления, точно так же, как и гениальное изобретение не вырастает из почвы самопроизвольным зарождением. Преступление — и это особенно верно по отношению к коллективным преступлениям — представляется всегда как смелый вывод, но не менее последовательный, чем смелый, из первых посылок, поставленных традиционными пороками или новой безнравственностью, окружающими предрассудками или скептицизмом, подобно наросту некоторым образом логическому, — а не только психологическому, — образовавшемуся на почве некоторого попустительства в поведении, известных привычных уклонений слова и пера, известных трусливых заискиваний из-за успеха золота, власти, известных скептических и непродуманных отрицаний, благодаря системам или вкусам, находящимся в обращении даже среди самых честных людей какой-нибудь эпохи и страны. В феодальной среде, управляемой чувством чести, совершается убийство из мести; в более современной среде, поглощенной ненасытной жадностью, воровство, мошенничество, корыстное убийство — вот

преобладающие преступления. Прибавим, что форма и характерные признаки преступления отмечены состоянием теоретических или технических познаний, распространенных в этой среде. Тот, кто задумал бы, раньше последних успехов химии, отравление при помощи минерального яда, будет думать теперь об отравлении при помощи яда растительного; тот, кто вчера усердно старался бы выдумать адскую машину, вроде Фиески, будет пытаться сегодня сфабриковать новый динамитный снаряд, более удобный и практичный, карманный снаряд. И это усовершенствование способов действия далеко от того, чтобы быть безразличным, так как, приумножая орудия преступления так же, как и орудия промышленности, развитие наук дает преступлению чудовищно возрастающую силу разрушения и делает идею и план преступления доступными для сердец более робких, более многочисленных, для все расширяющегося круга, так сказать, чувствительных совестей, которых устрашило бы весьма опасное управление адской машиной Фиески или Кадудаля, и которые не задрожат при мысли поставить под лестницей котел со взрывчатым веществом.

Изобретение вообще, — так как первая идея преступления есть только относительно очень легкая форма изобретения, — это есть работа прежде всего логическая; и вот почему часто говорилось в преувеличенной форме, но не без некоторой доли правды, что заслуга изобретателя ограничивается срыванием плода, готового упасть. Формула Ньютона логически выведена из трех законов Кеплера, а эти последние в виде намека заключались в результате астрономических наблюдений, накопившихся со времени Тихо Браге и халдейских астрономов. Локомотив вытекает из паровой машины Уатта, из старой повозки и из нашей возросшей потребности в перемене места; электрический телеграф вытекал из открытия Ампера и из наших сложных потребностей в сношениях друг с другом. Изобретатель научный, военный, промышленный, преступный — это представитель логики, сделавший последний вывод. Это не значит, что всем дано делать такие выводы, и что начатки, выработанные всеми, концентрируются сами по себе в одном мозгу без всякого активного участия этого последнего; он был, так сказать, их перекрестком, благодаря какой-нибудь своей характерной страсти; он обладал алчностью или любознательностью, эгоизмом или преданностью истине; эта страсть искала и нашла средства для достижения своих целей. И для того, чтобы оперировать с этими сконцентрировавшимися данными, для того, чтобы формулировать этот

вывод, перепрыгнуть через страхи ума и моральное отвращение, которые других людей удерживают в обычном состоянии бессознательной непоследовательности, либо гибельной, либо спасительной, — для всего этого нужна исключительная организация, нужен организм, образованный такой направляющей монадой, которая принадлежала бы к числу наиболее закаленных, замкнутых в себе — и стойких в своем бытии. Что же нам до того, что без специального обсеменения эта благоприятная почва индивидуального характера не пустила бы ни одного ростка?

И не только гениальные люди того или другого общества принадлежат этому обществу; ему принадлежат и преступники. Если оно по праву гордится одними, то оно с таким же основанием должно относить на свой счет и других, хотя имеет право приписывать им самим их действия. Этот убийца убивает с целью грабежа, потому что повсюду раздаются панегирики в честь денег; тот сатир слышит, как удовольствие провозглашается целью жизни; этот динамитчик исполняет только ежедневно повторяемые советы анархистских газет, а эти последние разве не заняты только тем, что выводят строго логические заключения из следующих аксиом: собственность есть грабеж, капитал есть враг. Всякий слышит, как смеются над нравственностью люди безнравственные для того, чтобы не быть непоследовательными. Высшие классы, которых постигает преступление, не замечают того, что именно они пустили в обращение принцип преступления, если не сами даже показали пример его.

До событий довольно недавнего времени можно было со всей строгостью отстаивать тот парадокс, что, если обилие преступлений, засвидетельствованное статистикой в последние три четверти века, само по себе является реальным злом, то оно отнюдь не имеет значения симптома, что испорченность преступников может повышаться и распространяться беспрерывно, и все-таки это не докажет никому в мире, что честность честных людей понижается. Напротив того, повышение нравственности культурных и некультурных масс реально прогрессирует, в то время как преступность прогрессирует в свою очередь. Эти вещи говорились и печатались оптимистами самым искренним образом, ярко отмеченные тем коллективным пристрастием, которое свойственно нашему времени. Но со времени динамитных взрывов и панамского дела я не думаю, чтобы продолжали говорить таким языком. В совпадении этих ужасов и этого скандала есть что-то знаменательное; первые говорят об отчаянии и ненависти внизу, второй о деморализации и эгоизме наверху. И все это превосходно

совпадает с восходящими кривыми уголовной статистики[1]. В виду такого зрелища наш социальный строй можно было бы сравнить с кораблем, потерпевшим крушение, на котором вот-вот произойдет взрыв пороха, если бы не мешала мысль о части европейских народов, сохраняющей вопреки всему силу и здоровье, именно об их армиях. И мы почти утешились бы в необходимости всеобщего вооружения, если бы она не таила в себе столь великих опасностей, из которых наименьшей, несомненно, является та опасность, что эта необходимость имеет свою небольшую долю участия в социальных условиях, из которых родилась, или, вернее, воскресла «идея» анархизма. Нельзя безнаказанно, как это делалось более тридцати лет, обращать изобретательную способность на изобретение новых военных взрывчатых снарядов, таких ужасных орудий, как торпеда или мелинитовые бомбы. Внося в качестве истинных благодетелей человечества изобретателей этих чудовищных орудий, мы приучили человеческое воображение к ужасам их действия. Когда эти орудия изобретены против внешних врагов, то нет ничего естественнее, как воспользоваться ими против внутреннего врага или соперника, против внутреннего иноземца.

## VII

Перейдем ко второму вопросу: раз возникла преступная идея, почему и как она распространяется и осуществляется? Почему и как в данную минуту она могла воплотиться в виде секты, более или менее обширной, более или менее сильной и ужасной, реализирующей эту идею, тогда как в другое время она не могла завербовать даже десятка адептов? Здесь все социальные влияния особенно преобладают над естественными предрасположениями. Эти последние, несомненно, требуются в известной неопределенной мере; например, склонность к злобному неистовству, к легковерной подозрительности. Но эти склонности сводятся к нулю, если к ним не присоединится, что чрезвычайно важно, подготовка умов посредством разговоров или чтения, частого посещения клубов, кафе, которые при помощи продолжительного заражения, вызванного медленным подражанием, бросают семена старых идей, которые подготавливают быстрое восприятие вновь явившейся идеи. Идея избирает себе таким образом

[1] Уже после того как были написаны эти строки, наступило некоторое улучшение с уголовной точки зрения.

людей среди тех, которых другие идеи к ней подготовили. В самом деле, идея не только выбирает, но она всегда создает для себя людей, как душа — или, если хотите, оплодотворенный зародыш — создает себе тело. И вот что еще делает она: она погружает и постепенно расширяет корни в почве, которая была для нее приготовлена. От первого, кто постиг ее, она, благодаря восприимчивости, еще подражательной, переходит сначала к одному новообращенному, затем к двум, трем, десяти, ста, тысяче.

Первая фаза этого развития зародыша есть ассоциация, состоящая из двух лиц. Это —элементарный факт, который следует хорошо изучить, потому что все последующие фазы представляют собой ни что иное, как повторение. Итальянский ученый Сигеле посвятил целую книгу[1] доказательству той мысли, что во всякой ассоциации, состоящей из двух лиц, супружеской, любовной, дружеской или преступной, всегда один из членов ее действует внушающим образом на другого и накладывает на него свою печать. И хорошо, что доказательства этой истины даны, хотя они и могут показаться излишними. Это слишком верно; берегитесь семьи, где нет ни вожака, ни ведомого; в ней недалеко до развода. Во всех парах, каковы бы они ни были, всегда более или менее явное или замаскированное, существует различие между тем, кто *внушает*, и тем, кто *подвергается внушению*, — различие, которым, впрочем, нередко злоупотребляли. Но по мере того как растет ассоциация, благодаря присоединению следующих неофитов, это различие не перестает действовать. Эта множественность, по существу, всегда остается великой двойственностью, и как бы ни была велика корпорация или толпа, она представляет собою также известный вид пары, где либо каждый подвергается внушению со стороны всех остальных — этого, так сказать, коллективного внушителя, включая сюда и господствующего вожака, либо группа следует внушению этого последнего. В этом последнем случае внушение остается односторонним; в первом случае оно становится в значительной степени взаимным; но факт сам по себе не изменился. Замечательно, что один из самых поразительных примеров такой власти авторитета некоторых людей, являющихся образцами, дает нам анархистская секта, в основе которой заключается полное отрицание принципа авторитета. Если существует общество, которое должно бы было обойтись без начальника, без вожака, то это именно

[1] С. Сигеле «Преступная толпа», переиздается в составе «Библиотеки социальной психологии» (*прим. ред.*)

анархистская секта. А между тем оказывается, что никогда роль вождей не была разыграна так блестяще, так необъяснимо хорошо, как главарями этой секты. Что, наконец, представляет собою *фактическая пропаганда*, превознесенная ею так успешно, если не завлечение при помощи примера.

Есть несколько способов быть вожаком, производить внушение, *впечатление*. Во-первых, можно производить их вокруг себя, но можно и на расстоянии — различие немаловажное. На расстоянии действует такой образец, который вблизи не произвел бы никакого действия или произвел бы иное действие, чего никогда не бывает в случаях настоящей гипнотизации... из чего, кстати, вытекает, что не следует заходить слишком далеко в уподоблении занимающего нас явления явлениям гипнотическим; Руссо, например, читаемый и перечитываемый, завладел Робеспьером. К Руссо Сигеле охотно применил бы слово *incube*, к Робеспьеру — *succube*. Но несомненно, что если бы они были лично знакомы, взаимное очарование существовало бы не долго и между ними произошел бы разрыв. Такие же отношения устанавливаются между журналистами и их читателями, между поэтом, художником и их поклонниками, которые их не знают, между Карлом Марксом, этим вещуном, и тысячами социалистов и анархистов, которые разобрали каждую букву его. Творение нередко обаятельнее творца. — Во-вторых, вдали или вблизи один человек получает власть над другими либо благодаря исключительному развитие воли, хотя при этом ум остается посредственным, либо благодаря исключительному развитие ума или только убеждения, хотя бы характер оставался относительно слабым; либо эту власть дает непреклонная гордость или сильная вера в себя, при которой человек превращает себя в апостола, либо творческое воображение. Нельзя смешивать эти различные способы вести за собой, смотря по тому, который из них преобладает, влияние, оказываемое одним и тем же человеком, может быть прекрасным или пагубным. Эти четыре главных вида влияния — железная воля, орлиная острота взора и сильная вера, могучее воображение, неукротимая гордость — очень часто соединяются вместе у первобытных народов; отсюда происходит глубокая сила поклонения известным вождям. Но с развитием цивилизации эти свойства разделяются и кроме некоторых исключений, например, Наполеона, начинают постепенно отличаться друг от друга. Так ум изощряется за счет характера, который смягчается, или за счет веры, которая слабеет. Преимущество заключается в тенденции придать характер взаимности

действию внушения, которое вначале было односторонним. Кроме того, власть при действии вблизи и при действии на расстоянии приобретается превосходством не одних и тех же качеств. При действии на расстоянии главную роль играет превосходство ума и воображения; при действии вблизи особенно заразительно действует сила решимости, даже зверская, сила убеждения, даже фанатическая, сила гордости, даже безумная. Цивилизация, к счастью, ведет беспрестанно к возрастанию пропорционального отношения действий на расстоянии к другим действиям, постоянно расширяя и район действия и число людей, завоевавших известность, благодаря распространению книг и газет. И это далеко не последняя услуга, которую она нам оказывает, и которая является ее долгом нам в награду за столько бедствий. Но когда речь идет о толпе, то именно действие вблизи распространяется со всей своей интенсивностью, беспорядочностью и непристойностью; когда мы имеем дело с корпорациями, оно сказывается в меньшей степени и лучше, если только это не преступные ассоциации без прошедшего и будущего, которые двигает зловредное влияние одного человека и которые умирают после него.

## VIII

Возвращаясь к *практической* анархической секте, следует заметить, что если она нова и не имеет прошлого — то только в своей современной форме; в самом деле, даже при поверхностном взгляде, брошенном на ее прежние формы, мы увидим, что она очень древнего происхождения. Апокалиптическая греза о всемирном разрушении для вещего блага Вселенной не нова под солнцем. Всем еврейским пророкам являлось это видение. После взятия Иерусалима и разрушения храма, в 70 году нашей эры, в римской империи возникло немало разных апокалиптических сказаний, еврейских и христианских, которые все сходились в предсказании полного и внезапного разрушения установленного порядка на земле и на небе; они видели в этом необходимую прелюдию к торжественному воскресению. В эпоху разрушения — извержения Везувия или великого землетрясения — самая обычная вещь встретить эту мысль о конце мира и последнем суде, как ни противоречит она *мизонеизму* древних народов. Таким образом, нынешние динамитчики только возрождают кошмар тысячелетий. Разница лишь в том, что иерусалимские фанатики желали всеобщего разрушения вследствие грехов человечества и несоблюдения

законов; они были убеждены на основании непогрешимых книг, что за этим разрушением настанет эра благоденствия, обещанная самим Богом. Они точно указывали подробности этого царства Мессии. А наши анархисты, когда их спрашивают о том, что они установят на место разрушенного до основания общества, или совсем ничего не отвечают или неопределенно говорят о возрождении «доброго естественного закона». Они не указывают нам священных книг, где можно было бы прочесть возвещение, сделанное им их Мессией, возвещение об его же неподдающемся выражению царстве. Далее не нравственное зло, а исключительно зло экономическое и материальное, от которого страдают люди, побудило их к их ужасному отрицанию.

Более непосредственные родственные узы соединяют анархистов с цареубийцами нынешнего столетия и прошлых веков, несмотря на внешнее различие побудительных мотивов, которые во втором случае имеют политический, а в первом — социальный характер. Если бы изобретатели адских машин, направленных против первого консула, Луи-Филиппа, Наполеона III, знали динамит, то, несомненно, это вещество выбрали бы они для своих покушений, как это сделали политические противники президента Венесуэлы, которые 2 апреля 1872 года во время междоусобной войны пытались взорвать динамитом его дворец, но благодаря какому-то чуду не осуществили этого. Впрочем, благодаря всеобщей подаче голосов, цареубийство в настоящее время является только пережитком прошлого.

Таковы преступления сект. Существуют и преступления толп, имеющие с ними не одну общую черту. Таковы массовые сожжения монастырей в эпоху Реформации, замков — в эпоху революции. Благодаря этим толпам поджигателей, среди белого дня срывавшимся с цепи, также как благодаря нашим динамитчикам, рассеянным во мраке, вспыхнула ненависть к правящим классам, а затем благодаря привычке — безумная и тщеславная ярость разрушения. За этими шайками также стояли софисты, которые должны были догматизировать их преступления, как за всяким деспотом стоит, по словам Мишле, юрист для оправдания его насилий. Пожары, как и взрывы, будучи собственно преступлениями, не грязнили пальцев, освобождали убийцу от необходимости видеть кровь своих жертв, слышать их раздирающие душу крики. И ничто так хорошо не примиряет с самой дикой жестокостью самую утонченную чувствительность нервов.

Это сравнение показывает, до какой степени преступная секта может быть еще ужаснее, чем преступная толпа. Но с другой

стороны, очевидно также, что репрессия имеет гораздо больше силы над первой, чем над второй. Опасность секты, составляющая в то же время ее силу, заключается в беспрерывном прогрессе ее путей. Системы фитилей и зажигания вначале были неудовлетворительны; их не замедлили заменить новыми, более совершенными. Явилась разрывная бомба, которая была адским изобретением гения.

Другая опасность сект заключается в том, что их состав не вербуется, как это бывает с толпами, исключительно из людей более или менее сходных между собою по своим природным инстинктам или по воспитанию; они собирают и дают работу разным категориям самых несходных между собою лиц. Люди сходные образуют собрание, но люди, дополняющие друг друга, образуют товарищеский союз; а для того, чтобы дополнять друг друга, необходимо различаться. Qui se ressemble s'assemble — эта истина особенно верна по отношению к сектам. Существует не один, а много типов якобинца, нигилиста, анархиста. Лионские анархисты 1882 года поразили Берара разнообразием своего состава. «Мистики, мечтатели, наивные невежды, преступники против естественного права... на одной скамье; рабочие, прочитавшие много, не понимавшие прочитанного, составившие самую странную амальгаму из всех доктрин; настоящие дикие звери, прекраснейшим образцом которых является Равашоль; наконец, царящий над всеми ими честный отпрыск самой чистой аристократии...» Мы уже не говорим о настоящих безумцах, входивших в состав этой группы. — Таковы практики сектантских преступлений; теоретики их, резко отличающиеся от практиков и нередко искренно отвергающие их — не менее многочисленны и разнообразны. Велико расстояние между угрюмым возвышенным гением, который кует против капитала правдоподобные теоремы, трибуном, который, подобно Лассалю, бросает их как зажигательные бомбы, и журналистом, который пускает их в обращение, применяет их и чеканит из них мелкую фальшивую монету[1]. И тем не менее, стечение всех этих несходных талантов, их соприкосновение

[1] Отношение существующее между вдохновителями прессы и исполнителями ясно обнаружилось в Лионе. В октябри 1882 г. в Лионе имели место два покушения; одно, в кафе, было за несколько дней до своего осуществления предсказано в анархистской газете; при этом один человек был убит и несколько ранены, другое было произведено перед зданием присутствия по воинской повинности; это покушение было предсказано в той же газете.

с мистиками, наивными людьми и преступниками, о которых только что говорилось, и которые сами сошлись вместе, — это двойное стечение и это соприкосновение необходимы для того, чтобы раздался взрыв динамитной бомбы.

В физическом отношении они так же разнородны, как и в нравственном. Некоторые представляют собою, так сказать, вырожденцев в физиологическом и анатомическом смысле; таково, по-видимому, было значительное число анархистов в Лионе. В этом отношении они не походили на своих люттихских собратьев. При этом следует заметить, что многочисленные покушения, совершенные этими последними в Люттихе, с марта до мая 1892 года, привели в результате только к материальному разрушению (именно в церкви Saint-Martin были разбиты дивные окна); есть даже основание думать, что они никогда и не хотели убивать или ранить кого бы то ни было. По крайней мере два замечательных криминалиста, долгое время наблюдавшие и изучавшие в тюрьме шестнадцать люттихских анархистов, именно Тири, профессор уголовного права в Люттихе, и Пренс, главный тюремный инспектор Бельгии, уверяли меня с изумительным единодушием, что не заметили у заключенных никакой физической аномалии. Оба были поражены «их вполне порядочным видом». Все эти люди казались Тири безупречными «с точки зрения трудовой, семейной или нравственной». Один из них был проникнут глубочайшим мистицизмом. «Многие, даже большинство, были вполне интеллигентными людьми». Но это не мешало, — говорит Пренс, — им быть чрезвычайно наивными. «Они, по их словам, хотели своими взрывами обратить внимание на несчастное положение народа. Парижская коммуна обратила внимание на положение рабочих; следует продолжать ее дело». Все они, за исключением их вождя Муано, раскаивались в своем безумии. Один этот факт показывает, какую власть он имел над ними. «Впрочем, нет сомнения, — писал мне Пренс, — что они взаимно настраивали друг друга при совместных беседах»; это служит объяснением переворота, совершившегося в них, когда они были размещены по одиночным камерам. «Я, — пишет дальше тот же наблюдатель, — был поражен приятным, открытым, интеллигентным и симпатичным лицом одного молодого человека, рабочего оружейной фабрики. Он рассказал мне, что все время, свободное от работы, он проводил за чтением. Он читал Монтескье, Прудона и т. д. У Монтескье он нашел оправдание права мятежей. У Прудона он прочел мысль, что собственность есть воровство. «La conquête de Paris» привело его в волнение. «Вы не можете

представить, — сказал он мне, — как хорошо это сочинение!» Сколько умов должны обладать способностью подвергаться такому же внушению!

Помещенное Гюгом Леру в «Matin» описание парижских анархистов, у которых он завтракал, вполне согласуется с наблюдениями Пренса и Тири. «Я смотрел, — говорит он, — с любопытством на своих хозяев. В их фигурах не было того ужасного отсутствия симметрии, той алкоголической лютости, которые придают такой печальный характер фотографиям Бертильона. То были люди по образованию ниже среднего, все — рабочие». Они излагают свои теории, сильно напоминающие те теории, которые два других «сотоварища», явившись в редакцию «Matin» (11-го ноября 1892 года), развивали там. Эти последние приходили собирать подписи для *soupes-conférences*. Пища телесная и пища духовная одновременно. Требование *panem et circenses*[1], представляло, быть может, меньше опасности.

Все эти идеи, распространение которых лежит на попечении этих «conférences», нам известны, мы знаем их происхождение. Ложными идеями, напыщенными речами, теориями, нередко темными, создаются секты. Производя впечатление, часто ложное впечатление, обманывая глаз, а не ум, поднимают толпу. Когда, при погребении Цезаря, Антоний хотел поднять римскую чернь, как он поступил[2]? После патетической речи, он приказывает поднять лежавший труп и снять с него покрывало; труп, обнаженный и покрытый двадцатью тремя ранами. «Народу кажется, будто сам Цезарь поднимается с смертного ложа, взывая о мести. Они бегут в курию, где он был убит, и поджигают ее. Они ищут убийц и, обманутые тождеством имени, разрывают в клочки трибуна Цинну, приняв его за претора Цинну[3]». На место этих обманчивых впечатлений чувства поставьте софизмы теологические, метафизические, экономические, смотря по месту и времени, и явится секта — гуситов, анабаптистов, якобинцев, нигилистов, анархистов — еще более зажигательная, смертоносная, страшная и притом гораздо более прочная, чем римские мятежники, повинующиеся трупу Цезаря.

---

[1] Хлеба и зрелищ (*лат. — прим. ред.*).

[2] См. Duruy, *Histoire des Romains*, т. III, стр. 430 и сл.

[3] В начале революции 1848 года труп одного мятежника, который провезли ночью по парижским улицам, послужил одним из главных толчков к народному восстанию.

От Карла Маркса до Кропоткина и от Кропоткина до Равашоля расстояние велико, но все трое являются звеньями одной цепи, — я сожалею о том, что входит в нее и первый из них. Он — превосходный экономист. От негодования, часто имеющего основание, против социального строя, который кажется несправедливым и дурным, фатально совершается переход к гневу, который заставляет клясть счастливцев этого несправедливого порядка, и к ненависти, которая побуждает убивать их. Разве нет людей, которые рождаются с неодолимой потребностью ненавидеть что-нибудь или кого-нибудь? Их ненависть рано или поздно находит свой объект, который она немедленно изливает на какую-нибудь личность, поражая ее посредством пера или железа, клеветы или убийства. Проповедники насилия в печати указывают эту личность уличным убийцам. Равашоль представляет собою тип анархиста-исполнителя, бескорыстного убийцы. Он принадлежит к числу тех рецидивистов, преступающих естественное право, которых всякая преступная секта насчитывает множество в своих рядах. «Многие анархисты, — говорит Берар, — были осуждены за воровство: Борда, Равашоль, Франсуа, виновник взрыва в Вери». При этом следует заметить, что даже при обыкновенном воровстве и убийстве, которое совершают анархисты, проявляется редкое свойство воли или особый своеобразный стимул. Какая печальная энергия обнаружена Равашолем при оскорблении могилы! Если при убийстве отшельника он убил для того, чтобы красть, то правильнее, может быть, было бы сказать, что он воровал для того, чтобы убивать, с целью доставить своим сотоварищам деньги, необходимые для существования их кровавых планов. Равашолем в данном случае руководила пагубная логика: этот старый отшельник — капиталист, всякий капиталист — вор, доводящий до голода и убивающий трудящегося человека; будем убивать капиталистов, отнимем у них свое имущество[1]; возьмем их золото, употребим его на то, чтобы уничтожить палачей народа и разрушить все их сооружения: соборы, музеи, библиотеки, рудники, заводы, железные дороги, эти многообразные формы, в которые воплотился или нарядился гнусный капитал.

Чудовищная логика такого рода еще сильнее обнаруживается у Равашоля, чем у Фиески, с которым, впрочем, он имеет немало

---

[1] Такую речь произнес анархист Зевако перед парижским судом присяжных в 1891 году: «Буржуа убивают нас посредством голода; будем воровать, убивать, производить динамитные взрывы; все средства хороши, чтобы избавить нас от этой гнили».

общего; и в этом отношении, так же как и в отношении пущенных в дело средств, совершался прогресс от первого ко второму. Та же театральная рисовка, безрассудная у обоих[1], та же сила духа. Фиески также был рецидивистом: он еще на родине своей, Корсике, воровал животных и подделал печати мэрии — впрочем, у этих островитян это были небольшие грехи. Но если в этом корсиканском ткаче было очень мало логики, если в этой грубой натуре не было все с такой ужасной последовательностью направлено к определенной цели, то, взамен этого, в нем было больше той мрачной и жестокой красоты, которая является лучом á la Рембрандт этих великих преступников. Он сознался во всем «для того, чтобы его не сочли лжецом[2]». Он стыдился лгать, этот бывший подделыватель! Смелость и кровожадность являются обыкновенно лицевой и обратной сторонами одной и той же древней медали; подобно стольким древним римлянам, он был храбр и жесток своей храбростью. Это презрение к чужой жизни, которое заставляет приносить в жертву десятки посторонних людей ради того, чтобы добраться до одного, если не искупается, то становится несколько более понятным благодаря тому, что оно соединяется с презрением к смерти.

Он оставил нам изображение своего душевного состояния в момент своего покушения. Это изображение слишком ярко для того, чтобы быть лживым; впрочем, культ правды был для него, благодаря его гордости, также обязателен, как и культ благодарности. Вот он в палате позади двадцати четырех орудий, приспособленных к моменту следования короля. Он поклялся исполнить свое роковое решение; он обещал это — Пепину и Морею, и он сделает это, во что бы то ни стало... Но он замечает в толпе Ладвоката «своего благодетеля». При виде его, он изменяет направление своих ружей, потому что он не может покуситься на эту священную для него жизнь. Но Ладвокат исчезает. Появляется король в сопровождении полка солдат. Снова сомнения: убить столько генералов, офицеров, «заслуживших свои чины на полях сражений, в битвах за родину, под командой великого Наполеона», великого корсиканца! У него не хватает решимости; но вот он вспоминает, что дал слово Пепину и Морею, и он говорит себе: «Лучше умереть — и даже убить — чем пережить подобный

---

[1] «Если бы я рассказал, что я совершил, — говорил Равашоль Комартену, — мой портрет появился бы во всех газетах».

[2] См. *Mémoires* de Gisquet, т. IV.

позор: дав обещание, оказаться затем трусом[1]...» И он нажимает курок. Можно ли утверждать, что люди такого рода — даже сами Фиески и Равашоль — были неизбежно предназначены для преступления? Покушение первого также не было простым делом. Для того, чтобы совершить его, нужно было, чтобы хитрость, Морея, холодная и безмолвная, финансовые и интеллектуальные средства, несколько более крупные, чем у Пепина, соединились с непреклонной энергией Фиески; кроме того, было необходимо, чтобы фанатизм всех троих ежедневно возбуждали и подогревали мятежные статьи нескольких журналистов, которых, в свою очередь, подбодряли тысячи читателей, озлобленных или развесивших уши. Уничтожьте один из этих пяти «факторов» — публику, газеты, мысль, деньги, смелость — ужасного взрыва не было бы. По поводу каждого взрыва бомбы — и каждого скандала, финансового или парламентского или другого, волнующего общественное мнение — мы все в большей или меньшей степени можем сказать mea culpa[2]; мы все более или менее повинны в самых причинах нашего смятения. Это наша общая вина, если эти могущественные организации получают дурное направление. Из этого, конечно, не следует, что нужно оправдывать этих преступников. Заражение, которому мы подвергаемся, еще больше открывает нас другим и часто — нам самим, чем овладевает нами; это заражение не освобождает нас от ответственности. Когда кровожадная толпа с остервенением набрасывается на мученика, некоторых зрителей увлекает она, других — он. Скажем ли мы, что эти последние, герои из подражания, не заслуживают, благодаря действию этого увлечения, никакой похвалы? Это было бы столь же справедливо, как если бы мы освободили от поношения первых только за то, что их кровожадность является отраженной. Но оставим теперь эти тонкие вопросы об ответственности. Приведенные выше рассуждения и документы имели целью исследование сравнительной психологии и патологии толп и преступных ассоциаций, а не изучение их карательной терапевтики.

---

[1] Он сильно заботился о том, что говорилось о нем на Корсике. Это господствующее внимание к маленькому обществу и это пренебрежение к большому характерны. Равашоль также заботился только о том впечатлении, которое его преступления производили на группу его «сотоварищей».

[2] Моя вина (*лат. — прим. ред.*).

# ПСИХОЛОГИЯ ТОЛП

*Компьютерная верстка Странников В. Ю.*

Сдано в набор 26.11.97. Подписано в печать 15.12.97.
Формат 60x90 $^{1}/_{16}$. Печать офсетная. Объем 26 печ. л.
Тираж 5000 экз.

Издательство «Институт психологии РАН».
129366, Москва, Ярославская ул., д. 13. Тел. 282-72-50.
Лицензия ЛР № 021044 от 25 марта 1996 г.

Издательство «КСП+».
113054, Москва, Новокузнецкая ул., д. 33, к. 2. Тел. 951-91-09.
Лицензия ЛР № 065163 от 7 мая 1997 г.

Макет и диапозитивы издания
изготовлены ЦИТ «Универсум»

Отпечатано с готовых диапозитивов
в Московской типографии № 2 ВО «Наука»,
121039, Москва, Шубинский пер., д. 6

Заказ № 2856




**в I–II квартале 1998 г. выходят следующие издания трудов классиков и современных авторов:**

---

*Сборник* **«Психология толп»**
*Г. Лебон «Психология толп»*
*Г. Тард «Мнение и толпа»*

*Сборник* **«Революционный невроз»**
*Кабанес и Л. Насс «Революционный невроз»*
*А. Фуллье «Психология французского народа»*

*С. Московичи* **«Век толп»** *(2-е изд., испр.)*

*С. Московичи* **«Машина, делающая богов»**

*Сборник* **«Преступная толпа»**
*С. Сигеле «Преступная толпа (Опыт коллективной психологии)»*
*З. Фрейд «Психология масс и анализ человеческого Я»*
*В. Вундт «Проблемы психологии народов»*

*М.-Л. Рукетт* **«О знании масс** (Опыт политической психологии)»

---

*Серия выходит под общей редакцией Института психологии РАН*